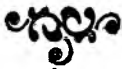


Александр
Дюма

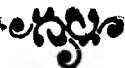
Блэк
Эрминия
Корсиканские
братья



АЛЕКСАНДР
ДЮМА



•••••
XIX
ВЕК
В РОМАНАХ
ДЮМА
•••••



Александр Дюма

Блэк
Эрминия
Корсиканские
братья
романы

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»
1994

84 4 Фр
Д 96

Переводы с французского

Составление
и общая редакция
Ю. П. Уварова

4703010100—2966
Д 080(02)—94 2966—94
ISBN 5—253—00785—7

© Уваров Ю. П.
Составление, 1994.
© Балахонцева Е. В.
Перевод, 1994.
© Дружина Н. В.
Перевод, 1994.
© Леонова Е. Ю.
Перевод, 1994.
© Важанов Ю. К.
Оформление, 1994.



БЛѢК
РОМАН

Перевод
Е. В. Балахонцевой



Глава I,

В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ ЗНАКОМИТСЯ С ДВУМЯ ГЛАВНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ РОМАНА

Шевалье де ля Гравери уже один раз обошел вокруг города и теперь, продолжая прогулку, вновь избрал тот же самый маршрут.

Возможно, было бы более логичным начать повествование, сообщив читателю, кто такой шевалье де ля Гравери и что он из себя представляет, а также, в каком из 86 департаментов Франции расположен город, вдоль валов которого прогуливался шевалье.

Но однажды, когда меня посетило чувство юмора, вероятно, появившееся у меня под воздействием тумана, которым я надышался во время недавнего пребывания в Англии, я решил создать совершенно новую вещь, нарушив существующую традицию в построении романов.

Вот почему я начинаю его с конца вместо того, чтобы начать с начала, как это было принято до сих пор. Уверен, что мой пример найдет подражателей и что через некоторое время все романы будут начинаться только с конца.

Впрочем, есть еще одна причина, по которой я выбрал именно этот прием.

Боюсь, как бы сухое перечисление биографических деталей не оттолкнуло бы читателя и не заставило бы его закрыть книгу после первой же страницы.

Итак, пока я ограничусь тем, что поведаю читателю (и то только потому, что не в силах это от него утаить), что действие происходит в 1842 году в городе Шартре ан Бос на тенистой аллее, поросшей вязами, которая вьется вокруг старых укреплений древней столицы племени карнутов; аллее, которая в течение двух веков служила последовательно сменявшим друг друга поколениям жителей Шартра одновременно и Елисейскими Полями, и своего рода маленьким Провансом.

Впрочем, решив не останавливаться слишком подробно на событиях прошлой жизни нашего героя или, точнее, одного из наших героев, чтобы читатель не обвинял меня в занудстве и в том, что я сыграл с ним злую вероломную шутку, я продолжаю.

Итак, шевалье де ля Гравери второй раз обходил город. Он находился в той части бульвара, которая возвышалась над казармой кавалеристов; отсюда взору в малейших деталях открывался весь обширный двор этой постройки.

Шевалье остановился.

Он останавливался здесь всегда.

Каждый день, выйдя из дома ровно в полдень, выпив перед этим чашечку крепкого кофе и положив в задний карман брюк три-четыре кусочка сахара, чтобы было что погрызть дорогой, шевалье де ля Гравери замедлял или, наоборот, убыстрял свой шаг во второй части прогулки с тем, чтобы оказаться в одном и том же месте, том самом, о котором я только что рассказал, в определенный час, когда сигнал трубы призывал кавалеристов чистить лошадей.

Но ничто, за исключением красной перевязи, которую он носил на одежде, не говорило о воинственных наклонностях шевалье де ля Гравери, его мысли были далеки от этого.

Напротив, доброта шевалье превосходила все, что только можно себе вообразить.

Но ему нравилось созерцать эту яркую и полную жизни картину, уносившую его в те времена, когда он сам (позже я вам расскажу, при каких обстоятельствах) служил в мушкетерах; факт его биографии, кото-

рым он страшно гордился с тех пор, как оставил службу,

Не ища утешения, по крайней мере явно, в воспоминаниях прошлого, философски относясь к своим годам, а волосы шевалье из светло-золотистых стали седыми; выходя вполне довольным своей наружной оболочкой, так же как куколка бабочки бывает довольна своей; не порхая в облаках подобно бывшим молодым аристократам, де ля Гравери вовсе не сердился, что в среде мирных буржуа, подобно ему приходивших к конюшням казармы в поисках ежедневного развлечения, он слыл подлинным знатоком военного искусства. И его не задевало, если его соседи говорили ему: «Знаете, шевалье, вы ведь тоже в свое время, должно быть, были замечательным офицером?»

Это предположение было тем более приятно для шевалье де ля Гравери, что было совершенно лишено оснований.

Равенство перед возрастом, перед морщинами, которое у людей всего лишь служит прелюдией к великому равенству перед смертью,— вот утешение тех, кому есть в чем упрекнуть природу.

У шевалье не было никаких причин восхвалять эту своенравную и прихотливую природу, снисходительную и щедрую к одним и подобную капризной махече по отношению к другим.

И именно сейчас, как мне кажется, настал момент описать внешность шевалье; его же духовный мир представит перед читателем чуть позже.

Это был человек невысокого роста, справивший свое сорокасемилетие, по-женски или, подобно евнухам, пухленький и кругленький. Как я уже отметил, волосы у него когда-то были золотистого оттенка, но в его описаниях они обычно выглядели как русые; в его больших голубых глазах было выражение беспокойства, и только когда он погружался в мечтательную задумчивость, а надо сказать, шевалье иногда предавался этому занятию, взгляд его становился мрачным и неподвижным. У него были большие плоские бесформенные уши; большие и чувственные губы, при этом верхняя — слегка нависала над нижней на австрийский манер; и, наконец, местами красноватый оттенок лица, которое было почти мертвенно-бледным и серым там, где не проступала краснота.

Всю эту верхнюю часть тела поддерживала массив-

ная и короткая шея, выступавшая из торса с выдающимся вперед животом, на фоне которой проигрывали тоненькие и короткие руки.

И наконец, это туловище передвигалось на маленьких ножках, круглых, как сардельки, и слегка искривленных в коленках.

Все это, вместе взятое, было одето в тот момент, когда мы познакомили с ним читателя, следующим образом. на голове — черная шляпа с широкими полями и невысокой тульей; на шее был повязан галстук из тонкого вышитого батиста; туловище облегал жилет из белого пике, поверх которого красовался голубой сюртук с золотыми пуговицами; и наконец, нижняя часть тела была засунута в нанковые панталоны, несколько коротковатые и тесноватые в коленях и в лодыжках, позволявшие увидеть пестрые носки из хлопка, которые исчезали в ботинках с огромными пряжками.

Таким, каков он был, шевалье де ля Гравери, как мы упоминали, превратил процедуру чистки лошадей в некое развлечение, увеселительный момент своей прогулки, которую он совершал каждый день со скрупулезной точностью, с которой методичные характеры, достигнув определенного возраста, начинают выполнять предписания врачей.

Он оставлял эту процедуру себе на закуску; он наслаждался ею с тем же аппетитом, с которым хороший гастроном вкушает десерт.

Дойдя до деревянной скамейки, стоявшей на краю откоса, спускавшегося к конюшням, де ля Гравери остановился и посмотрел, скоро ли начнется заветный спектакль; затем он, не торопясь, со всеми удобствами уселся на скамейку, подобно тому, как истинный заведующий расположился бы в партере Комеди-Франсез, и, опершись ладонями обеих рук на золотой набалдашник своей трости, а сверху положив на руки подбородок, стал ждать, когда звук трубы заменит три звонка режиссера.

И в самом деле, в этот день захватывающий спектакль чистки лошадей остановил, покори и очаровал многих других, менее любопытных и более пресыщенных, чем наш шевалье; не то чтобы эта каждодневная операция содержала бы в себе нечто необычное из ряда вон выходящее; нет, это были все те же лошади: гнедые, рыжие, пегие, сивые, вороные, белые, в яблоках, пятнистые, черно-белые, ржавшие или вздрагивавшие под

щеткой или скребком; это были все те же кавалеристы в сабо и в рабочих холщовых панталонах, те же скучающие младшие лейтенанты, тот же чопорный и важный майор, отслеживающий малейшее нарушение правил подобно тому, как кот отслеживает мышь или надзиратель следит за школьниками.

Но в тот день, когда мы повстречались с шевалье де ля Гравери, прекрасное осеннее солнце освещало всю эту копошащуюся массу двуногих и четвероногих и увеличивало притягательность всей картины в целом и каждой ее детали.

Никогда еще крупы лошадей так не блестили, каски не отбрасывали столько огня, сабли не сверкали столь ослепительно, а лица не были столь рельефно очерчены; словом, никогда еще картина, открывавшаяся его взору, не была столь потрясающе великолепна!

Два величественных шпиля, возвышавшихся над огромным собором, вспыхивали под горячим солнечным лучом; и можно было подумать, будто он залетел сюда из солнечного неба Италии; в резких перепадах света и тени еще явственнее проступали малейшие детали их тончайшей кружевной резьбы, а листья деревьев, росших по берегам Эвре, переливались тысячью оттенков зеленого, красного, золотого!

И хотя шевалье никогда не принадлежал к романтической школе и ни разу в голову ему не пришла мысль прочитать «Поэтические размышления» Ламартина или «Осенние листья» Виктора Гюго, это солнце, это движение, этот шум, это величие пейзажа застывали и околдовали его; но как все ленивые умы, вместо того, чтобы стать над спектаклем и вволю предаться своим мечтам, направив их по тому пути, который мог бы быть ему наиболее приятен, шевалье вскоре полностью растворился в нем и впал в то состояние умственной расслабленности, когда мысль, казалось, покидает мозг, а душа и тело, когда человек смотрит, ничего не видя, слушает, ничего не воспринимая, и когда сонмище грез и видений, сменяя друг друга, как цветная мозаика в калейдоскопе — при этом у мечтателя даже не достало бы сил поймать хоть одно из своих видений и остановить его, — в конце концов доводит его до состояния опьянения, отдаленно напоминающее опьянение курильщиков опиума или тех, кто потребляет гашиш!

Шевалье де ля Гравери уже несколько минут предавался этой ленивой сонной мечтательности, когда одно

из самых достоверных ощущений вернуло его к чувствам реальной жизни.

Ему показалось, что дерзкая рука украдкой пытается проникнуть в правый карман его редингота.

Шевалье резко повернулся и, к своему великому изумлению, вместо разбойничьей, бандитской рожи какого-нибудь карманника или мелкого воришки увидел честную и благодущную физиономию собаки, которая, ничуть не смущаясь, что ее застали с поличным на месте преступления, продолжала жадно тянуться к карману шевалье, слегка помахивая хвостом и умильно облизываясь.

Животное, которое столь внезапно вырвало шевалье из состояния мечтательной созерцательности, принадлежало к той обширной ветви спаниелей, которые пришли к нам из Шотландии в то же время, что и помощь, которую Яков I отправил своему кузену Карлу VII. Он был черным — разумеется, мы говорим о спаниеле, — с белой полосой, которая, начинаясь на горле, переходила, постепенно расширяясь, на грудь и, спускаясь между передних лап, образовывала нечто вроде жабо; хвост у него был длинным и волнистым; его шелковистая шерсть имела металлический отлив; уши, чуткие, длинные и низко посаженные, обрамляли умные, почти человеческие глаза, а между ними находилась слегка удлинённая, вытянутая морда с рыжеватой отметиной на самом ее кончике.

Для всех окружающих это было великолепное создание, которое полностью заслуживало того, чтобы им восхищались, но шевалье де ля Гравери, который стремился сохранять полное безразличие по отношению ко всем животным вообще и к собакам в частности, уделил всего лишь незначительное внимание достоинствам этого спаниеля.

Он был раздосадован.

За ту секунду, которой ему хватило, чтобы осознать, что происходит за его спиной, шевалье де ля Гравери успел выстроить целую драму.

В городе Шартре были воры!

Шайка карманников проникла в столицу департамента Бос с намерением обчистить карманы ее добропорядочных буржуа, которые, как было широко известно, наполняли их разного рода ценностями. Эти дерзкие злодеи, разоблаченные, арестованные, представшие перед судом присяжных, отправленные на каторгу,—

и все это благодаря пронизательности и обостренности чувств обыкновенного, простого фланера: это была великолепная мизансцена, и вполне понятно, как невероятно больно было падать с этих волнующих высот в монотонную рутину приевшихся каждодневных встреч на прогулке вокруг города.

Поэтому, поддавшись первому порыву своего плохого настроения, направленному против виновника этого разочарования, шевалье попытался прогнать непрошеного, назойливого визитера, сурово сдвинув брови, подобно олимпийскому богу; ему казалось, что животное не сможет устоять перед могуществом и всеилием этого жеста.

Но собака бесстрашно выдержала этот огненный взгляд и, напротив, с дружелюбным видом созерцала своего противника. Ее огромные желтые, совершенно влажные зрачки, из которых исходило лучистое сияние, так выразительно смотрели на шевалье, что это зеркало души, как называют глаза, как у людей, так и у собак, ясно говорило шевалье де ля Гравери:

«Милосердия, сударь, умоляю вас!»

И все это с таким смиренным, таким жалким видом, что шевалье почувствовал себя взволнованным до глубины души, и суровые морщины на его лбу разгладились; затем, порывшись в том самом кармане, в который спаниель пытался просунуть свою мордочку, он вытащил оттуда один из тех кусочков сахара, которые возбудили алчность воришки.

Собака приняла его со всей мыслимой деликатностью; видя, как она открыла пасть, ловя эту лакомую милостыню, никто никогда не мог бы и подумать, что гадкая мысль, мысль о краже могла прийти в эту честную голову; возможно, сторонний наблюдатель мог бы пожелать, чтобы физиономия спаниеля выражала бы чуть больше признательности, в то время как сахар хрустел на белых зубах животного; но чревоугодие, которое является одним из семи смертных грехов, было одним из тех пороков, к которым шевалье относился весьма снисходительно, рассматривая его, как одну из тех слабостей, что скрашивают человеческое существование.

И поэтому, вместо того, чтобы обидеться на животное за скорее чувственное, нежели признательное выражение его физиономии, шевалье с подлинным, почти завистливым восхищением следил за проявлениями гастрономического наслаждения, которые демонстрировало ему животное.

Впрочем, спаниель решительно был из породы попрашек!

Едва свалившаяся на него подачка была уничтожена, животное, казалось, вспоминало о ней лишь для того, чтобы выпросить еще одну; что оно и делало, сладко облизываясь и принимая вновь то же самое умоляющее выражение и тот же самый покорный и ласковый вид, выгоду которых оно уже успело оценить; не помышляя о том, что, почти как все попрошайки, из вызывающего участие и сострадание становится назойливым просителем; но вместо того, чтобы рассердиться на него за его навязчивость, шевалье, напротив, поощрял его дурные наклонности, щедро одаривая кусочками сахара, и остановился лишь тогда, когда его карман полностью опустел.

Наступил момент расплаты за сострадание. Шевалье де ля Гравери относился к его приближению с некоторой опаской; в благодеяниях, которыми мы одариваем собаку, всегда присутствует некий элемент самодовольства и даже эгоизма; нам нравится думать, будто вся их ценность заключена лишь в том, из чьих рук они исходят, и шевалье так часто видел разного рода должников, льстецов и лизоблюдов, которые отворачивались от своего благодетеля при виде опустевшей кормушки, что, несмотря на некоторое удовлетворение, о котором мы уже упоминали, он не осмеливался особо надеяться на то, что простой представитель собачьего племени не последует традициям и примерам, подаваемым его собратьям сынами Адама на протяжении ряда веков.

Как бы философски ни научил шевалье де ля Гравери его долгий жизненный путь относиться к подобного рода проблемам, ему трудно было вновь испытать, к тому же на своем горьком опыте, всеобщую неблагодарность; поэтому он желал всего лишь спасти свое случайное знакомство от этого тяжелого испытания, а себя самого избавить от тех унижений, которые оно могло бы повлечь за собой; и после того, как он в последний раз исследовал глубину кармана своего преддирингота и окончательно удостоверился, что продлить эти приятные отношения на величину хотя бы одного кусочка сахара нет никакой возможности, после того, как на глазах спаниеля он вывернул свой карман, чтобы дать ему доказательство своей искренности и доброй воли, он дружески приласкал животное, прощаясь с ним и одновременно

подбадривая его; затем, поднявшись, он возобновил свою прогулку, не осмеливаясь оглянуться и посмотреть назад.

Как вы сами видите, все это не обличает в шевалье де ля Гравери дурного человека, а в спаниеле злую, дурную собаку.

А это уже достаточно много — вывести на сцену человека и собаку так, чтобы человек не был злым, а собака бешеной. Поэтому я полагаю необходимым еще раз вам повторить, учитывая это первое несоответствие, что я предлагаю вашему вниманию вовсе не роман, а подлинную историю.

Случай свел на сей раз доброго человека и добрую собаку.

Но один раз не считается!

Глава II,

В КОТОРОЙ МАДЕМУАЗЕЛЬ МАРИАННА ОБНАРУЖИВАЕТ СВОЙ ХАРАКТЕР

Мы видели, что шевалье возобновил свою прогулку, не осмеливаясь обернуться, чтобы удостовериться, следует ли за ним собака: да или нет.

Но он даже не дошел до моста Ля Куртий — места, хорошо известного не только обитателям Шартра, но и жителям всего кантона, — как его решимость уже подверглась суровому испытанию, и только благодаря высокой силе духа ему удалось устоять перед нашептываниями демона любопытства.

Но в тот момент, когда шевалье подошел к воротам Морар, его любопытство достигло такой степени возбуждения, что внезапное появление со стороны старой парижской дороги дилижанса с упряжкой из пяти лошадей, несущихся бешеным галопом, послужило ему предлогом, чтобы отойти в сторону; но уступая дорогу, он как бы невзначай оглянулся и, к своему великому изумлению, увидел собаку, которая следовала за ним по пятам, не отступая ни на шаг, и ступала так важно и методично, как будто отдавала себе отчет в своих действиях и совершала их сознательно.

«Но мне нечем больше тебя угостить, мой бедный славный зверь!» — воскликнул шевалье, выворачивая опустевшие карманы.

Можно было подумать, будто собака поняла смысл

и значение этих слов; она стремительно бросилась вперед, сделала два или три немислимых прыжка, как бы стремясь выразить свою признательность; затем, увидев, что шевалье стоит на месте, и не зная, как долго продлится эта остановка, она легла на землю, положила голову на вытянутые передние лапы, два или три раза весело пролаяла и стала ждать, когда ее новый друг возобновит свой путь. При первом же движении шевалье собака резво вскочила и устремилась вперед.

Так же, как до этого животное, казалось, поняло слова человека, так и человек, по-видимому, догадался, что означают действия животного.

Шевалье де ля Гравери остановился и, всплеснув обеими руками, сказал:

«Хорошо, ты хочешь, чтобы мы дальше шли вместе, что же, я тебя понимаю; но, бедняжка, не я твой хозяин, и, чтобы следовать за мной, ты должна кого-то покинуть, кого-то, кто тебя вырастил, давал тебе приют, кормил, заботился о тебе, ласкал; какого-нибудь слепца, чьим поводырем ты, возможно, была, или пожилую даму, для которой ты, вероятно, служила единственной утехой. И вот несколько злосчастных кусочков сахара заставили тебя забыть о них, как позже, в свою очередь, ты забудешь меня, если я проявлю слабость и возьму тебя к себе. Пошла же прочь Медора! — сказал шевалье, обращаясь на этот раз к животному. — Вы всего лишь собака, вы не имеете права быть неблагодарной... А! Вот если бы вы были человеком, — продолжил как бы между прочим шевалье, — то это было бы другое дело».

Но собака, вместо того, чтобы повиноваться и уступить философским рассуждениям шевалье, залаяла еще громче, удвоила свои прыжки, и ее приглашения продолжить прогулку стали более настойчивыми.

К несчастью, мысли, под конец посетившие шевалье, были подобны сумеречному приливу после заката солнца, когда каждый вновь надвигающийся вал кажется более мрачным и угрюмым, чем предыдущий.

Конечно же, сначала он был польщен, что внушил такую внезапную привязанность, которую ему выказала собака; но затем в силу природной подозрительности он подумал, что скорее всего за этой преданностью, пожалуй, скрывается почти черная неблагодарность; он, взвесив прочность этой столь внезапно возникшей привязанности и в конце концов укрепился во

мнении, к которому, казалось, пришел уже много лет назад, мнению, согласно которому — я объясню это чуть позже — ни мужчины, ни женщины, ни животные не имели отныне права рассчитывать ни на малейшую долю его симпатий.

Благодаря этому столь умело и ловко составленному обзору читатель должен уже догадаться, что шевалье де ля Гравери исповедовал ту почтенную религию, богом которой является Тимон, мессией Альцест и которая зовется мизантропией.

Вот почему, твердо решив одним махом разделаться со всеми проблемами, оборвав возникшую связь в момент ее зарождения, он прибегнул к силе убеждения. Предлагая ей в первый раз покинуть его, он назвал ее, как вы помните, Медорой; затем он возобновил свои уговоры, награждая ее поочередно мифологическими именами Пирама, Морфея, Юпитера, Кастора, Поллукса, Актеона, Вулкана; потом последовали античные имена: Цезарь, Нестор, Ромул, Тарквиний, Аякс; затем имена скандинавских героев Оссиана, Одина, Фингала, Тора, Фериса; от них он перешел к английским именам: Трим, Том, Дик, Ник, Милорд, Стопп; с английских имен шевалье переключился на такие колоритные имена, как Султан, Фанор, Турк, Али, Мутон, Пердро. Наконец, он исчерпал все, что мог ему дать мартиролог собачьих имен, начиная со времен мифов и сказаний и кончая нашим рациональным, практичным веком, чтобы вбить в голову упрямого животного, что оно не должно дальше следовать за ним. Но если есть пословица, которая в отношении людей гласит, что худший глухой тот, кто не хочет слышать, совершенно очевидно, по крайней мере в данной ситуации, что эта пословица должна распространяться и на собак.

В самом деле, спаниель, только что буквально на лету угадывающий мысли своего нового друга, сейчас, казалось, был весьма далек от этого; чем больше лицо шевалье де ля Гравери принимало грозное и суровое выражение и чем больше он старался придать своему голосу резких металлических нот, тем более радостным, вызывающим и поддразнивающим было поведение собаки. Казалось, она подает реплики в какой-то забавной веселой клоунаде. Наконец, когда шевалье вопреки своей воле, но подчиняясь необходимости ясно и доходчиво выразить свое намерение, решился прибегнуть к *ultima ratio* для собак, замахнувшись своей тростью с золотым

набалдашником, бедное животное с печальным видом легло на спину и безропотно подставило свои бока под удары палки.

Жизненные неудачи, неудачи, скрывать которые от наших читателей я вовсе не собираюсь, смогли превратить шевалье в мизантропа, но от природы он вовсе не был злым и жестоким.

Столь смиренное поведение животного полностью обезоружило шевалье; он переложил свою трость из правой руки в левую и вытер лоб — эта сцена, которую он только что разыграл и во время которой ему пришлось сопроводить свои слова жестом, заставила его вспотеть, — и признавая себя побежденным, но при этом лстя свое самолюбие надеждой взять реванш, он вскричал:

«Черт возьми! Что же, иди, если хочешь, дрянь ты... этакая! Но клянусь, не рассчитывай переступить порог моего дома».

Но спаниель, видимо, придерживался того мнения, что тот, кто выигрывает время, выигрывает все; он немедленно вскочил и совершенно удовлетворенный, не испытывая ни малейшего волнения, оживлял дальнейшую прогулку многочисленными прыжками и кульбитами вокруг хозяина, которого он, казалось, сам себе выбрал.

Собака обращалась с шевалье, как его старый друг, и это так бросалось в глаза, что все жители Шартра, встретившиеся им по дороге, останавливались, изумленные, и возвращались домой в восторге от того, что могут загадать своим друзьям и знакомым эту загадку, преподнеся ее в виде вопроса-утверждения:

«Бог мой, разве у господина де ля Гравери теперь есть собака?»

Господин де ля Гравери, который стал мишенью для городских пересудов, и, возможно, даст повод для сплетен городских кумушек на протяжении еще двух-трех дней, этот господин де ля Гравери держал себя с большим достоинством: весь его вид свидетельствовал, что его абсолютно не волнует то любопытство, которое возбуждала у горожан его прогулка, а по отношению к своему компаньону он испытывает восхитительное безразличие.

Он вел себя в точности так, как будто совершал эту прогулку в полном одиночестве, останавливаясь повсюду в тех местах, где обычно привык останавливаться перед воротами Гийом, у которых реставрировали старые бойницы; напротив зала для игры в мяч, в который никак не могли вдохнуть подлинную жизнь шесть неук-

люжих игроков, а также крики дюжины подростков, споривших из-за действий маркера; рядом с веревочником, чья лавка расположилась у подножия вала Угольщиков и за работой которого он ежедневно следил с непонятным интересом, причину которого даже сам никогда не пытался понять.

И если порой обаятельная лукавая мордочка или какая-нибудь забавная дразнящая ласка собаки вызывали против его воли улыбку у шевалье, он старательно прятал ее где-то в глубине души и в то же время вновь принимал свой чопорный вид, подобно записному дуэлянту, которого ложный выпад противника заставляет раскрыться, но затем он вновь аккуратно занимает оборонительную позицию.

Таким образом они оба подошли к дому номер 9 на улице Лис, в котором вот уже на протяжении многих лет обитал шевалье де ля Гравери.

Подойдя к дверям дома, он понял, что все случившееся было всего лишь своего рода прологом и что настоящее сражение развернется именно здесь и сейчас.

Но собака, казалось, отдавала себе отчет только в том, что находится у конечной цели своей прогулки.

В то время, как шевалье вставлял ключ в замочную скважину, спаниель, усевшись на свой хвост, невозмутимо дожидался, по крайней мере с виду, пока откроется дверь. Он вел себя так, как будто давно уже привык считать этот дом своим собственным.

И как только дверь стала приотворяться, собака проворно проскользнула между ног шевалье и сунула свой нос на порог дома; но хозяин жилища буквально рванул на себя приоткрытую на три четверти дверь, и она захлопнулась перед носом животного, а ключ от толчка отлетел на середину улицы.

Спаниель бросился за ним и, несмотря на отвращение, которое обычно испытывают собаки, как бы хорошо выдрессированы они ни были, когда им приходится брать в зубы что-то железное, он осторожно взял ключ в пасть и принес его господину де ля Гравери, проделав все это, выражаясь на охотничий манер, по-английски, то есть повернувшись к нему спиной и встав на задние лапы с тем, чтобы никоим образом не испачкать его передними.

Этот маневр, каким бы соблазнительным он ни был, не тронул сердца шевалье, но дал ему пищу для раздумий.

Во-первых, он понял, что имеет дело не с первой попавшейся собакой и что, не будучи в прямом смысле этого слова ученой собакой, животное, давшее ему это доказательство своего воспитания, было собакой, имеющей хорошие манеры.

И хотя его первоначальное решение не было этим ничуть поколеблено, он тем не менее понял, что собака заслуживала некоторого уважения, и поскольку два или три человека уже стояли и смотрели на них, а занавески в некоторых окнах отодвинулись, он решил не унижать своего достоинства и не опускаться до борьбы, которая, принимая во внимание упрямство и силу животного, могла бы закончиться не в его пользу, и, приняв подобное решение, он надумал призвать себе на помощь третье лицо.

Поэтому он положил в карман ключ, который принес ему спаниель, и, потянув за лапку козы, подвешенную на железной цепочке, услышал, как в доме зазвонил колокольчик.

Но, несмотря на этот звон, который явственно доносился до ушей шеваляе, колокольчик не произвел никакого эффекта; дом оставался по-прежнему тихим и молчаливым, как если бы шеваляе позвонил у ворот замка Спящей красавицы; и лишь тогда, когда шеваляе удвоил свою энергию, и звон колокольчика уже не прекращался ни на минуту и становился все настойчивее и настойчивее, доказывая, что он не уступит первым, подъемное окно на втором этаже поползло вверх, и в нем показалась голова угрюмой раздраженной женщины лет пятидесяти.

Она с такими предосторожностями высунула голову из окна, как будто городу грозило новое вторжение норманнов или казаков, и попыталась выяснить, кто же поднял этот непонятный переполох.

Но господин де ля Гравери, разумеется, ожидал, что откроется входная дверь, а не окно на втором этаже, и встал как раз напротив двери, чтобы сократить себе этот путь, который ему предстояло как можно быстрее преодолеть, чтобы очутиться в доме. Его фигура оказалась в тени карниза, который обвивало бесчисленное множество левкоев, таких густых, сочных и ярко-зеленых, как будто они росли в ухоженном цветнике.

Кухарка никак не могла его разглядеть, она видела только собаку, которая, сидя на задних лапах в трех шагах от порога и так же, как и шеваляе, дожидаясь,

когда раскроется дверь, подняла голову и умным взглядом смотрела на новое действующее лицо этой сцены.

Но вид этой собаки никоим образом не мог успокоить Марианну — так звали старую кухарку, — а ее окрас тем более.

Вы помните, что за исключением двух огненно-рыжих пятен на морде и белого жабо на груди спаниель был черен как вороново крыло, а Марианна не помнила ни одного из знакомых господина де ля Гравери, у кого была бы черная собака, и ей на ум приходило, что только дьявола сопровождал пес такого цвета.

Она знала, что шевалье поклялся никогда не заводить собаку, и поэтому у нее и в мыслях не было, что это животное сопровождает шевалье.

Тем более что шевалье никогда не звонил.

У господина де ля Гравери, не любившего ждать, был свой ключ, с которым он никогда не расставался.

Наконец, после минутного колебания, она отважилась робким голосом спросить:

— Кто там?

Шевалье, одновременно ориентируясь на звук голоса и следуя за взглядом спаниеля, покинул свой пост, отошел от двери на три шага и, в свою очередь, поднял голову, приставив козырьком ладонь к глазам.

— А, это вы, Марианна! Спускайтесь же!

Но с того момента, как она узнала своего хозяина, Марианна перестала бояться и вместо того, чтобы повиноваться отданному ей приказанию, переспросила:

— Спускаться вниз? А это еще зачем?

— Ну, по-видимому, чтобы открыть мне, — ответил шевалье.

Лицо Марианны из слащавого и боязливого, каким оно было сначала, стало сварливым и угрюмым.

Она выдернула длинную спицу, воткнутую между чепцом и волосами, и, возобновив свое прерванное вязание, переспросила:

— Вам открыть? Открыть вам?

— Конечно.

— Разве у вас нет своего ключа?

— Есть он у меня или нет, я вам приказываю спуститься.

— Что же, значит, вы его потеряли. Я уверена, что сегодня утром он у вас был; когда я чистила вашу одежду, ключ выпал из кармана ваших брюк, и я его

положила обратно. Я не думала, что в вашем возрасте вы будете способны на такое легкомыслие. Видит Бог, век живи, век учись.

— Марианна,— шевалье стал проявлять легкие признаки нетерпения, доказывавшие, что он не настолько, как это можно было предположить, находился под каблуком у своей кухарки,— я вам приказал спуститься.

— Он его потерял! — закричала она, не заметив едва уловимые нотки в тоне шевалье.— Он его потерял! Ах, Бог мой, что же с нами будет? Мне придется обегать весь город, заменить замок, а возможно, и всю дверь; ведь я не стану спать в доме, ключ от которого где-то гуляет.

— У меня есть ключ, Марианна,— возразил шевалье, все больше теряя терпение,— но у меня есть на то свои причины, чтобы не доставать его.

— Господи, что за причины, спрашиваю я вас, могут быть у человека, у которого ключ действительно лежит в кармане, не войти с его помощью в свой собственный дом вместо того, чтобы заставляя старую измученную женщину бегать взад-вперед по лестницам и коридорам?.. И как раз вы мне напомнили, что у меня на плите стоит ужин. Ах, он горит, я чувствую, он горит! О чем вы думаете, Бог мой!

И мадемуазель Марианна повернулась, чтобы уйти.

Но терпение шевалье де ля Гравери истощилось; повелительным жестом он пригвоздил старую деву к месту и суровым тоном произнес:

— Довольно слов, идите и откройте мне дверь, полоумная старуха!

— Полоумная старуха! Открыть вам! — вскричала Марианна, судорожно задрав выше головы свое вязание и потрясая им на манер античных проклинательниц.— Как! У вас есть ключ! Вы в этом признаетесь; ~~вы~~ мне его даже показываете и после этого хотите заставить меня пройти через весь дом и двор? Этого не будет, господин. Нет, этого не будет! Я уже давно устала от ваших капризов и вовсе не собираюсь потакать еще одному.

— О! Отвратительная мегера,— пробормотал шевалье де ля Гравери, сильно удивленный этим сопротивлением и уже измученный борьбой с собакой.— По правде говоря, мне кажется, что, несмотря на ее виртуозное мастерство в приготовлении ракового супа и

рагу из кролика, я буду вынужден с ней расстаться. Но раз я любой ценой хочу не допустить того, чтобы этот проклятый спаниель переступил порог моего дома, уступим ей, даже если придется отложить расплату.

И он произнес более приветливым тоном:

— Марианна, я понимаю, что вас удивляет моя очевидная непоследовательность, но вот факт: вы видите эту собаку...

— Конечно, я ее вижу,— сказала эта сварливая особа, чувствуя, что, действуя с позиции силы, она отвоюет все, что шевалье был готов уступить.

— Ну вот, она сопровождает меня вопреки моей воле от казармы драгун; я не знаю, как мне от нее отделаться; и я хотел бы, чтобы вы вышли и отгоняли ее, пока я не войду в дом.

— Собака! — закричала Марианна. — И это из-за какой-то собаки вы беспокоите почтенную женщину, которая вот уже десять лет служит у вас. Собака!.. Хорошо же, я вам сейчас покажу, как их следует прогонять, этих собак!

И на этот раз Марианна исчезла из окна.

Шевалье де ля Гравери, уверенный, что раз Марианна отошла от окна, то только для того, чтобы спуститься вниз и помочь ему осуществить этот небольшой маневр по изгнанию собаки, подошел к двери; собака же, в свою очередь, решительно настроенная продолжить знакомство с человеком, из кармана которого появляются такие замечательно вкусные кусочки сахара, подошла к господину де ля Гравери.

Вдруг нечто вроде катаклизма разлучило человека и собаку.

Настоящая лавина воды, подобная Рейнскому или Ниагарскому водопаду, выплеснулась с первого этажа и окатила их обоих с ног до головы.

Резко раздался собачий визг, и животное скрылось.

Шевалье же вынул ключ из кармана, вставил его в замочную скважину, открыл дверь и переступил порог дома, испытывая вполне понятную ярость.

Он сделал это именно в то мгновение, когда Марианна послала ему несколько запоздалое предостережение: «Поберегитесь, господин шевалье! Поберегитесь!»

Глава III

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ

Дом номер 9 по улице Лис состоял из жилого корпуса, сада и двора.

Жилая часть дома находилась между садом и двором.

Но только ни двор, ни сад не были расположены так, как это бывает обычно: двор впереди, а сад позади дома.

Нет, на этот раз двор был слева от дома, а сад — справа.

Окруженный по бокам двором и садом, дом выходил прямо на улицу.

Во дворе, через который обычно проходили в дом, было одно-единственное украшение — старая виноградная плеть, которую не обрезали вот уже лет десять, и она пустила вдоль фронтона соседнего дома, к которому прилегала, побегι такой силы, что на память приходили дикие леса Нового света.

И хотя двор был вымощен песчаником, сырость и тень от крыш привели к тому, что в промежутках между плитами росла такая плотная, такая густая трава, что весь двор был похож на рельефную шахматную доску с клетками, обозначенными песчаником.

Но, к несчастью, шевалье де ля Гравери не был ни игроком в шахматы, ни игроком в шашки и никогда не помышлял извлечь выгоду из данного обстоятельства, которое составило счастье Мери и Лабурдонне.

Снаружи дом имел холодный и грустный вид, который присущ большинству зданий в наших старых городах; известковая штукатурка осыпалась большими кусками, и на оголенных местах хорошо просматривалась кладка из бутового камня, поверх которой местами одна рядом с другой были прибиты рейки. Все это придавало фасаду дома сходство с лицом человека, испещренным оспой.

Окна, утратившие свою первоначальную сероватую окраску и почерневшие от старости, были составлены из маленьких квадратиков, к тому же из экономии стекла для этих квадратиков были выбраны среди тех, что мы называем бутылочными донышками, и через эти квадраты в комнаты проникал лишь сумеречный зеленоватый свет.

Поскольку мы с вами пока всего лишь пересекли двор и продолжаем пребывать на первом этаже, необходимо слегка приоткрыть дверь на кухню, чтобы у вас могло сложиться полное и верное представление о хозяине дома; в щель приотворенной двери видны плиты из белого фаянса, вычищенные и сверкающие, как пол в голландской гостиной, и большую часть времени отсвечивающие багрянцем, отражая пурпурный отблеск раскаленного огня. Рядом с плитой очаг колоссальных размеров, в котором, как во времена наших предков, весело и щедро, даже расточительно, пылают огромные поленья, служит противнем и подставкой для вертела, вращающегося при помощи известного классического механизма, который так удачно имитирует маятник мельницы. В выложенной кирпичом жаровне пламенеют горячие, янтарного цвета угли, без которых немислимо хорошо зажаренное мясо, жаровне, которую ничто не сможет заменить и которую современные экономай — в большинстве своем отвратительнейшие гастрономы и ни на что не годные кулинары — вздумали подменить железной плитой. Напротив очага и плит, сверкая подобно мириадам пурпурных закатных солнц, красовалось около дюжины выстроившихся шеренгой соответственно своим размерам кастрюль, которые ежедневно начищали до блеска, подобно тому, как каждый день драят пушки на корабле высокого ранга, начиная с подавлявшего своей громадностью медного котла, предназначенного для варки сиропов и варенья, и кончая микроскопической посудинкой для приготовления подлив, острых овощных соусов и различных приправ китайской кухни.

Для тех, кто уже знает, что господин де ля Гравери живет один, не имея ни жены, ни детей, ни собак, ни кошек, ни разного рода приятелей и сотрапезников, с одной только Марианной, заменяющей ему всех домашних слуг, весь этот арсенал явился бы откровением, и они так же легко признали бы в шевалье утонченного гурмана, изысканного гастронома, предающегося радостям стола, как в средние века узнавали алхимика по колбам и ретортам, тигелям и горнам, перегонным кубам и чучелам ящериц.

А теперь, закрыв дверь на кухню, продолжим осмотр первого этажа.

Скромную прихожую украшали лишь две вешалки с шляпками в форме грибов, на которые шевалье, вернувшись домой, вешал: на одну — свою шляпу, а на дру-

гую — зонтик в те дни, когда он выходил из дома с зонтиком вместо трости; да дубовая скамья, на которой слуги ожидали своих господ, когда шевадье неожиданно принимал у себя кого-нибудь; а также квадраты из белого и черного камня, жалкая подделка под мрамор, но такие же холодные и сырые, как мраморные; холод и сырость, исходившие от них, не исчезали ни зимой, ни летом.

Просторная столовая и внушительных размеров гостиная, в которой разводили огонь только в те дни, когда шевадье де ля Гравери приглашал на обед гостей, то есть два раза в год, вместе с кухней и прихожей составляли весь первый этаж дома.

Впрочем, обе эти комнаты вполне соответствовали ветхой наружности дома: паркет в них разошелся и вздулся, потолок был какой-то серый от грязи, ободранные обои колыхались от дуновения ветра, когда открывали дверь.

Шесть деревянных стульев, выкрашенных в белый цвет, в стиле «ампир», стол орехового дерева, буфет составляли всю обстановку столовой.

В гостиной три кресла и семь стульев как бы гонялись друг за другом, но им никак не удавалось соединиться вместе, в то время как кушетка со спинкой, у которой и сиденье и спинка были набиты соломой, дерзко узурпировала место и название канапе; убранство и обстановку этой комнаты для гостей, комнаты, куда, за исключением торжественных случаев, владелец никогда не заходил, завершали круглый чайный столик с подсвечником, часы с застывшими стрелками и неподвижным маятником и зеркало, состоящее из двух половинок, в котором отражались коленкоровые занавески в желтую и красную полоску, грустно висевшие на окнах.

Но на втором этаже все было совсем иначе; правда, на втором этаже жил сам шевадье де ля Гравери, и прямо сюда привела бы нас из кухни нить клубка, если бы у лабиринта на улице Лис была бы своя Ариадна.

Представьте себе три комнаты, отделанные, обставленные, обитые с такой тщательностью и заботой, так изящно и со вкусом, что это кажется лишь делом богатых вдовушек или франтих: все было предусмотрено, чтобы сделать жизнь сладостной, удобной и приятной в этих трех похожих на бонбоньерки комнатах, у каждой из которых была своя изюминка.

В гостиной, а она благодаря своим размерам считалась самой главной комнатой в доме, стояла современная мебель, обитая с внушительной респектабельностью и с утонченной предусмотрительностью во всех местах, которые должны были служить точкой опоры для пухленького и круглого, как пончик, шеваляе.

Шкаф для книг из черного дерева с инкрустациями из кожи — считалось, что он вышел из-под резца самого Буля — был полон книг в переплетах из красного сафьяна; надо признать, что рука шеваляе редко прикасалась к ним, и они никогда надолго не привлекали его внимания; часы, изображающие Аврору на колеснице, колеса которой служили циферблатом, показывали время с ювелирной точностью; по бокам стояли два канделябра по пять свечей каждый; занавески из плотной шерстяной ткани, подобранные в тон мебели, были задрапированы на окнах с элегантностью, которая была бы уместна и в будуаре на Шоссе д'Антэн, а вот белые лепные украшения, на которых местами сохранились кое-какие следы позолоты, доказывали, что прежние жильцы или владельцы этого дома изяществом и изысканностью вкуса превосходили господина де ля Гравери.

Из гостиной перейдем в спальню.

Каждому, кто входил в эту комнату, прежде всего бросалась в глаза кровать колоссальных размеров как по высоте, так и по ширине. Увидевшему ее на ум прежде всего приходило, что человек, честолюбиво вознамерившийся лечь в эту кровать, чтобы взобраться на нее, должен прибегнуть к помощи лестницы, столь непомерно высока она была. Но достигнув вершины, человек, покоривший эту гору из шерсти и пуха, окруженную тройным рядом занавесок полога, находясь в самой середине алькова, устроенного подобно гнездышку щегла, с грудой мягких подушек и перин, этот человек чувствовал себя хозяином положения: оттуда он мог, проникнув взором в каждый уголок комнаты, провести смотр всем этим стульям, креслам, стульчикам у камина, софам, канапе, скамеечкам для ног, подушкам, лисьим шкурам, возвышавшимся, выставленным напоказ, красовавшимся, разложенным на толстом, шириною во всю комнату ковре с длинным густым ворсом, заглушающим любой шум, подобно коврам из Смирны. Кое-какие из этих предметов в расчете на зиму были покрыты мягкими, пушистыми тканями, другие, предназначенные для лета, были обиты кожей или сафьяном; все отличались изысканно-

стью и удобством формы, неожиданными, хитроумными изгибами, были приспособлены для отдыха и послеобеденного сна и, казалось, охраняли находившийся в их окружении камин со стоявшими на нем подсвечниками и канделябрами, украшенный экраном и сложенный так, чтобы ни грамма его тепла не потерялось. Эта комната, наиболее удаленная от улицы, выходила в сад, и ни шум проезжающей повозки или кареты, ни крики продавцов и лай собак не могли потревожить сон отдыхающего.

Направляясь из спальни в салон и пройдя его насквозь, вы бы наткнулись на огромнейшую старинную лаковую ширму, родиной которой является не просто Китай, а Коромандель. Этой ширмой была прикрыта дверь, ведущая в третью комнату, всю увешанную коврами; из всей мебели в ней стояли только круглый столик и кресло, оба красного дерева, да сервант, на мраморной подставке которого виднелись два ведерка из накладного серебра и золота для охлаждения шампанского. Однако все стены — разумеется, стены комнаты — были заставлены рядами застекленных шкафов, содержимое которых служило достойным и драгоценным приложением к кухне.

У каждого из этих шкафов было свое назначение.

В одном из них сверкало массивное серебро; сервиз белого фарфора с зеленой и золотой каймой и с вензелем шевалье; красный и белый богемский хрусталь, изящество его форм и тонкость линий, несомненно, должны были улучшать вкус вина, которое в нем подносили ко рту и мимо двух чувственных губ отправляли на дегустацию к нежным вкусовым бугоркам неба.

Во втором шкафу возвышались пирамиды столового белья, шелковистые переливы которого свидетельствовали о его тонкости и изысканности.

В третьем, как дисциплинированные солдаты на параде, неподвижно выстроились, встав по росту в две или три шеренги, столовые и десертные вина, привезенные из Франции, Австрии, Германии, Италии, Сицилии, Испании, Греции, заключенные в свою национальную посуду, в бутылки самой разной формы: одни коренастые с коротким горлышком, другие изящные и вытянутые, вот эти с этикеткой на пузатом животике, а те оплетенные соломой или тростником, — все такие пленительные, многообещающие, будоражащие одновременно и воображение и любопытство, окруженные с флангов, подобно тому, как армейский корпус бывает окружен легкой конни-

дей, ликерами — космополитами в стеклянных кирасах всех цветов и всех форм.

И, наконец, в последнем, самом большом, цеплялись за стены, висели по углам, нежились на полках разнообразные съестные припасы: паштеты из Нерака, колбасы из Арля и Лиона, абрикосовый мармелад из Оверни, яблочное желе из Руана, конфитюры из Бара, консервы из Мана, горшки с имбирем из Китая, пикули и разнообразнейшие английские соусы, стручковый перец, анчоусы, сардины, кайеннский перец, сушеные и засахаренные фрукты — все то, что милейший мудрец Дюфуию определяет и обозначает двумя словами, полными экспрессии и достойными того, чтобы быть запечатленными в памяти всех гурманов: *съестные припасы*.

После этого осмотра дома, возможно, несколько подробного и излишне детального, но тем не менее показавшегося нам необходимым, читатель без труда догадается, что шевалье де ля Гравери был человек, весьма сочувственно относящийся к своей собственной особе и проявляющий огромную заботу об удовольствиях своего желудка. Однако, дабы ни одна из черт того наброска портрета шевалье, что мы делаем, не осталась в тени, мы добавим, что эта ярко выраженная склонность к чревоугодию противоречила другой мании достойного дворянина — воображать себя постоянно больным и каждые четверть часа измерять свой пульс; добавим также, что он был ревностным коллекционером роз. И вот, дойдя до этого места в нашем повествовании и чувствуя, что дальнейший наш рассказ будет невозможен не только если мы не сделаем здесь остановку, но прежде всего если мы не вернемся на сорок восемь—пятьдесят лет назад, мы просим у нашего читателя позволения поведать, каким образом бедный шевалье приобрел эти три слабости.

Глава IV,

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ, КОГДА И ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РОДИЛСЯ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ

Пусть никто особенно не удивляется этому возврату в прошлое. Впрочем, читатель должен был это предугадать, видя, что мы встретились с нашим героем в возрасте, когда обычно самые интересные приключения в жизни, то есть любовные приключения, уже позади; впрочем,

я обязуюсь не заходить дальше 1793 года. В 1793 году барон де ля Гравери, отец шевалье, находился в тюрьме Безансона под двойным обвинением: в отсутствии патриотизма и в переписке с эмигрантами.

Барон мог бы в свою защиту сослаться на то, что, с его точки зрения, он повиновался всего лишь самым священным законам природы, посылая своему старшему сыну и своему брату, находящимся за границей, некоторую сумму денег; но есть такие периоды, когда общественные законы стоят выше законов природы, и барон де ля Гравери даже и не помыслил прибегнуть к этому оправданию. А его преступление было из числа тех, что в то время самым верным образом приводили человека на эшафот.

Баронесса де ля Гравери, оставшись на свободе, предпринимала, несмотря на последние месяцы беременности, самые отчаянные шаги, чтобы организовать побег своего мужа.

Благодаря золоту, которое направо и налево расточала эта несчастная женщина, ее небольшой заговор подвигался довольно успешно. Сторож обещал ослепнуть, смотритель передать заключенному напильник и веревки, с помощью которых тот должен был перепилить решетку и спуститься на улицу, где ждала его мадам де ля Гравери, чтобы покинуть вместе Францию.

Побег был назначен на 14 мая.

Никогда ни для кого время не тянулось так медленно, как тянулось оно для бедной женщины в тот роковой день — 13 мая. Каждое мгновение она смотрела на часы и проклинала их неторопливый ход. Временами у нее кровь прилиwała к сердцу, и она вдруг начинала задыхаться; ей казалось, что она не переживет эту ночь и никогда не увидит столь желанный рассвет.

К четырем часам вечера, не в силах более оставаться на месте, она решила, чтобы заглушить с недавшую ее тревогу, пойти к одному отказавшемуся принести присягу священнику, которого один из его друзей прятал у себя в подвале, и попросить его присоединить свои молитвы к ее собственным, дабы Божье милосердие снизошло на несчастного узника.

Итак, мадам де ля Гравери вышла из дома.

Пытаясь, несмотря на давку, пересечь одну из улочек, ведущую к рынку, она услышала доносившийся с площади глухой и неумолчный шум огромной толпы. Тогда она попробовала вернуться назад, но это было уже не

возможно: выход был перекрыт, толпа, продвигаясь вперед, увлекла ее с одним из своих потоков, и подобно тому, как река впадает в море, людской поток, захвативший ее с собой, выплеснулся на площадь.

Площадь была забита народом, и над всеми головами возвышался красный силуэт гильотины, на верху которой багрово сверкал в последних лучах заходящего солнца роковой нож, ужасный символ равенства, если не перед законом, то по крайней мере перед смертью.

Мадам де ля Гравери вздрогнула всем телом, ей захотелось убежать.

Но это было еще более невозможно, чем в первый раз.

Новый поток людей заполнил площадь и вынес ее в самый центр. Немыслимо было разорвать эти спрессованные ряды людей; попытаться это сделать — значило бы подвергнуться риску выдать себя, обнаружить в себе аристократку и поставить на карту не только собственную жизнь, но и жизнь мужа.

Ум баронессы, вот уже несколько дней направленный к достижению одной-единственной цели — бегству барона, приобрел удивительную ясность.

Она предусмотрительно подумала обо всем.

Мадам де ля Гравери безропотно покорилась и сделала над собой усилие, чтобы стойко вынести, не слишком выдавая свой ужас, этот отвратительный, устрашающий спектакль, который должен был развернуться на ее глазах.

Она не прикрыла лицо руками, жест, который привлек бы к ней внимание соседей, а поступила иначе — закрыла глаза.

Ни с чем не сравнимый шум, подкатывавшийся все ближе и ближе, подобно тому, как горит подоженный пороховой фитиль, объявил о том, что везут жертв.

Вскоре толпа заволновалась и пришла в движение, это проехала и встала на свое место повозка с осужденными.

Сдавленная, раскачиваемая толпой из стороны в сторону, порой повисая в воздухе, мадам де ля Гравери до сих пор держалась очень хорошо и не открывала глаз; но в эту минуту ей показалось, что какая-то неведомая, а главное, непреодолимая сила приподняла ее веки. Она открыла глаза и увидела в нескольких шагах от себя повозку, а в этой повозке своего мужа!

При виде этого она рванулась вперед, закричав так страшно, что окружавшая ее толпа любопытных раздалась и пропустила эту обезумевшую, задыхающуюся женщину с блуждающим взором; она с силой, которую даже самой хрупкой женщине придет пароксизм горя, переходящего в полнейшую безнадежность, оттолкнула тех, кто еще продолжал стоять между нею и осужденными, и, пробив, подобно пушечному ядру, в этой плотно спрессованной массе дыру, достигла повозки.

Ее первым порывом и первым движением было вскарабкаться на эту тележку и соединиться с мужем, но жандармы, оправившись от первоначального изумления, отпихнули ее.

Тогда она уцепилась за бок повозки, и из уст ее слышались безумные вопли; вдруг, внезапно остановившись, она без перехода начала умолять палачей своего мужа так, как сама жертва никогда не умоляла их.

Это был такой жуткий спектакль, что, несмотря на кровожадные инстинкты, которые неизбежно развила у толпы каждодневная обыденность этих чудовищных драм, немало непримиримых санкюлотов и многие из этих омерзительных рыночных мегер, которых так отвратительно и потрясающе метко окрестили «лизоблюды гильотины», почувствовали, как у них по щекам потекли обильные слезы. И когда природа изнемогла под щемящим чувством боли, когда мадам де ля Гравери, чувствуя, что силы покидают ее, была вынуждена отпустить повозку и потеряла сознание, несчастное создание нашло вокруг себя сострадательные сердца, готовые прийти ей на помощь.

Ее отнесли домой и немедленно послали за врачом.

Но потрясение было слишком жестоким; бедная женщина умерла через несколько часов в припадке горячки, сопровождающейся бредом, родив на два месяца раньше срока тщедушного и хилого, как тростинка, младенца; это был тот самый шевалье де ля Гравери, чью интереснейшую историю я вам сегодня рассказываю.

Старшая сестра мадам де ля Гравери, канонисса де Ботерн, взяла на себя заботу о маленьком бедном сироте, который, родившись семимесячным, был столь слабеньким, что врач считал его обреченным.

Но горе, причиненное трагической смертью сестры и зятя, пробудило у этой старой девы материнский инстинкт который Бог вкладывает в сердце каждой женщины, но одиночество иссушает его в сердцах старых дев, превращая их в камень,

Самым горячим желанием мадам де Ботерн было соединиться с теми, кого она оплакивала, но только после того, как она достойно и благочестиво выполнит задачу, которая после их смерти выпала на ее долю. Она решила с упрямством, свойственным всем одиноким женщинам, что ребенок должен жить, и, выказав бездну терпения и самоотречения, она опровергла предсказание этого ученого человека, который, впрочем, с большей уверенностью предсказывал смерть, нежели обещал жизнь.

Как только дороги стали свободными, вместе со своим сокровищем — так мадам де Ботерн называла Станислава-Дьедонне де ла Гравери — она отправилась в дорогу, решив укрыться в общине немецких канонисс, к которой принадлежала сама.

Но поспешим дать нашим читателям некоторые разъяснения. Община канонисс — это не монастырь, а совсем наоборот, скажу я вам, собрание светских дам, объединенных скорее общими вкусами и склонностями, чем суровостью данного обета. Они покидают обитель, когда им этого хочется, принимают у себя кого пожелают; даже их платье носит следы легковесности данных ими заповедей. А поскольку элегантность и даже кокетство, похоже, ставят под угрозу благочестие и добродетель лишь окружающих, к этим порокам в ордене относились снисходительно.

И именно в этом окружении, наполовину светском, наполовину религиозном, был воспитан маленький де ля Гравери. Он вырос среди этих добрых и приветливых дам.

Мрачные события, ознаменовавшие его рождение, вызвали необычайный интерес к его судьбе со стороны всей маленькой конгрегации; и ни одного ребенка, будь он наследником принца, короля или императора, никогда так не ласкали, не холили и не баловали, как его. Добрейшие дамы соревновались друг с другом в своей любви к де ля Гравери, изо всех сил баловали его и задаривали подарками. И в этом соперничестве мадам де Ботерн, несмотря на свою нежность к юному де ля Гравери, почти всегда оставалась позади. Одна слеза ребенка вызывала поголовную мигрень во всей общине; каждый его зуб был причиной десяти бессонных ночей, и не будь строжайших санитарных кордонов, которые тетушка установила против разного рода сладостей, и безжалостного таможенного досмотра, которому она подвергла его карманы, то молодой де ля Гравери скончался бы в младенческом возрасте, закормленный сладостями и

напичканный конфетами, подобно герою старой сказки. И на этом наше повествование уже закончилось бы, или, точнее, так никогда бы и не началось.

Всеобщая любовь и забота были так велики, что в определенной степени повлияли на его воспитание и образование.

Так, предложение, на которое однажды отважилась мадам де Ботери и которое всего-навсего состояло в том, чтобы Дьедонне отправился к иезуитам во Фрибург и там завершил свое образование, вызвало громкие крики возмущения у всех канонисс. Ее обвинили в черствости к бедному мальчику, и этот проект встретил такое всеобщее порицание, что любезная тетушка, чье сердце желало только одного — скорее сдаться, — даже не попыталась ему противостоять.

И в результате дело обстояло так, что маленький человек имел право выбора изучать только то, что ему нравилось, или где-то близко к этому. А поскольку природа не наградила его чрезмерной склонностью к наукам, это привело к тому, что он остался круглым невеждой.

И было бы наивным надеяться, что милейшие и достойные женщины будут развивать его нравственные понятия с большей предусмотрительностью, чем они занимались его образованием. Они не только ничего не поведали ребенку о людях, среди которых ему суждено было жить, и обычаях, с которыми ему предстояло столкнуться, но и вдобавок сверх меры развили у него той заботливостью, с которой ограждали свою маленькую куколку от грубой действительности этого мира, от впечатлений и потрясений, способных задеть его нежную душу и заставить содрогаться сердце, экзальтированную чувствительность, уже предрасположенную к крайним проявлениям благодаря тем волнениям, последствия которых мальчик, подобно Якову Первому, испытал в утробе матери.

Так же поступили и с физическими упражнениями, которые составляют воспитание дворянина; молодому Дьедонне не позволили взять ни одного урока верховой езды; дело дошло до того, что у ребенка никогда не было других верховых животных, кроме осла садовника. Но даже когда он садился на этого осла, одна из его добрых нянюшек вела животное под уздцы, добровольно исполняя при молодом де ля Гравери ту роль, которую с таким отвращением играл Аман при Мардохе.

В городе, где располагалась религиозная община, был превосходный учитель фехтования. И одно время даже встал вопрос, не отдать ли молодого Дьедонне учиться фехтованию; но, помимо того, что это очень утомительное упражнение, кто бы мог поручиться, что шевалье де ля Гравери с его милым характером, столь кротким и приветливым, пришлось бы когда-нибудь драться на дуэли! Надо было быть злобным и коварным чудовищем, чтобы желать ему зла, но, слава Богу, такие чудовища встречаются редко.

В ста шагах от монастыря протекала великолепная река, которая несла свои спокойные неподвижные воды, гладкие, как зеркало, мимо разноцветных лугов маргариток и лютиков; студенты из расположенного поблизости университета каждый день совершали здесь такие геройские безумства, перед которыми бледнеют деяния шиллеровского пловца. Можно было бы три раза в неделю отправлять Дьедонне на реку и под руководством искусного учителя плавания сделать из него настоящего ловца жемчуга, но в реке били ключи, их холодная вода могла бы пагубно отразиться на здоровье ребенка. Дьедонне довольствовался тем, что два раза в неделю плескался в ванной своей тетки.

В результате Дьедонне не умел ни плавать, ни фехтовать, ни ездить верхом.

Вы видите, что воспитание шевалье мало чем отличалось от воспитания Ахилла; но только если бы среди милых дам, окружавших шевалье де ля Гравери, появился бы новый Улисс, обнажающий меч, то вполне возможно, вместо того чтобы броситься на меч, как поступил сын Фетиды и Пелея, Дьедонне, ослепленный солнечными бликами на лезвии меча, спасался бы в самом глубоком подвале общины.

Все это крайне плачевно сказалось на физическом развитии и нравственных устоях Дьедонне.

Ему было шестнадцать лет, а он не мог видеть, как дрожат слезы на глазах другого человека, чтобы тут же не заплакать самому; смерть его воробья или канарейки приводила к нервным припадкам; он сочинял трогательные элегии по случаю кончины майского жука, раздавленного нечаянно; и все это к огромному удовольствию и общему одобрению канонисс, превозносивших утонченную деликатность его сердца, не подозревая, что развитие столь непомерной чувствительности обязательно должно привести их идола к преждевременному концу

или же придать эгоистическую окраску этим чрезмерно филантропическим чувствам.

Исходя из этих обстоятельств, невозможно было даже предположить, что Дьедонне мог бы получить от своих воспитательниц какие-либо наставления, касающиеся искусства нравиться, и уроки науки любви.

Но дело обстояло именно так.

У мадам де Флоршайм, подруги мадам де Ботерн, была племянница, которая, так же как и племянник последней, жила вместе с ней в обители.

Эту девочку, двумя годами младше Дьедонне, звали Матильда.

Она была белокура, подобно всем немкам, и, как у всех немок, с самого младенчества ее большие голубые глаза были влажны от избытка чувств и свидетельствовали о сентиментальности ее характера.

Как только малыши научились самостоятельно держаться на ногах, канониссам показалось забавным подтолкнуть их друг к другу, разбудить в них взаимное чувство симпатии.

И если Дьедонне не научили или не отдали учиться верховой езде, фехтованию и плаванию, то ему преподали совсем другой урок.

Когда, набегавшись в парке по цветнику, одетый, как пастушок Ватто, в курточку и панталоны из небесно-голубого сатина, в белый жилет, шелковые чулки и туфли на красных каблуках, Дьедонне возвращался с букетом незабудок или веточкой жимолости, его учили преподносить эту веточку жимолости или этот букет незабудок своей юной подруге, преклоняя перед ней колено, согласно старинному рыцарскому этикету.

В те дни, когда стояла плохая погода и нельзя было выходить, мадам де Ботерн садилась за спинет и исполняла минуэт Экзоде, а Дьедонне и Матильда, взявшись за руки, выступали вперед, подобно двум маленьким упругим куклам, начиналось хореографическое представление, заставлявшее радостно сиять глаза и расцветать сердца добрейших канонисс. Дьедонне был в костюме пастушка, а Матильда, разумеется, была одета пастушкой.

По окончании минуэта, когда Дьедонне галантно целовал у своей партнерши маленькую ручку, белую и надушенную, наступала минута всеобщего ликования: милые дамы млели от восторга, заключали детей в свои объятия, прижимали к себе, и маленькие танцоры буквально задыхались под градом поцелуев.

Это не был больше Дьедонне, и это не была больше Матильда; это были юный мужчина и юная женщина, и когда они углублялись под сень величественных деревьев парка, подобно двум миниатюрам с изображенным влюбленных, то вместо того, чтобы предостеречь их: «Дети, не ходите туда, уединение опасно, и следует избегать полумрака», — канониссы, если бы это было им подвластно, превратили бы полумрак в сумерки и прогнали бы из парка всех малиновок и сверчков, чтобы ничто не нарушало уединение их любимцев.

Получилось так, что оба ребенка забросили игры, свойственные их возрасту, и предались напыщенной жеманной мечтательности, которая преждевременно будила их чувственность и опустошала их души.

Ведь какими бы невинными, какими бы ангельскими ни казались отношения влюбленной пары добрым феям, которые ей покровительствовали, дьявол, исподтишка следивший за ними, давал себе слово не упустить здесь своего.

Но что вы хотите!

Для этих светских затворниц два бедных ребенка были подобны полному сожалений взгляду, которым путешественник окидывает прекрасную радующую взор долину, через которую он только что проехал и которую должен покинуть ради лежащих впереди бесплодных и унылых песков. По правде говоря, если эта картина и давала на короткое время отдых этим бедным старым сердцам, измученным страданиями, если она и смягчала горечь воспоминаний и позволяла вновь на несколько мгновений увидеть в розовом свете утраченные иллюзии молодости, если она и давала возможность на краткий миг забыть о зубах из слоновой кости и волосах, как будто посыпанных пеплом, то возвращение к окружающей их действительности в конечном счете стоило им больше пролитых слез, чем улыбок; после эфемерных радостей, доставленных этим миражом, было еще тяжелее безропотно сносить удары судьбы, надежды становились призрачнее, а вера менее горячей. И к молитвам, прочитанным истрадавшими сердцами, примешивалось немало вздохов, исходивших из нераскаявшихся, сокрушенных сердец.

И наконец, самое главное, степенные и важные дамы, совершенно не догадываясь об этом, надругались над самым что ни на есть светлым на этой земле — над детством.

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ

Когда Матильде исполнилось пятнадцать, а Дьедонне семнадцать, их неударжимые взаимные восторги странным образом остыли.

Дьедонне перестал приносить со своих прогулок незабудки и жимолость, по окончании минуэта он больше не целовал у Матильды руку, но ограничивался простым реверансом. И наконец, никто больше не видел, как они простодушно уединялись в тени парковых деревьев.

Однако внимательный наблюдатель мог бы заметить, как Матильда нежно подносила к губам увядшие букеты, появившиеся у нее неизвестно откуда, и поспешно прятала их обратно за корсаж.

И тот же самый наблюдатель мог бы заметить, что в тот момент, когда Дьедонне в танце предлагал Матильде свою руку, он бледнел, как мел, а Матильда вся заливалась краской, и нервная дрожь пробегала по их телам подобно электрическому току.

Наконец, все тот же наблюдатель, не видя их больше гуляющими вместе по аллее, ведущей в глубину парка, мог проследить взглядом, как один шел вправо, другая уходила влево, и приметить, что, войдя в лес с двух противоположных сторон, они встречались около прелестного маленького ручейка, чье тихое журчание служило восхитительным аккомпанементом пению соловья, свившему свое гнездо на его берегу.

В тот день, когда ему исполнилось восемнадцать, а Матильде соответственно шестнадцать, Дьедонне вошел в комнату своей тети, трижды поклонился так, как она его научила на тот случай, если бы ему пришлось представляться великой герцогине Стефании Баденской или королеве Луизе Прусской, и торжественно спросил у мадам де Ботерн, как скоро он сможет соединиться узам брака с мадемуазель Матильдой де Флоршайм.

Этот вопрос вызвал у канониссы одну из тех вспышек веселья, которые угрожали ее здоровью, поскольку были настолько бурными и неистовыми, что почти всегда заканчивались приступами кашля.

Через некоторое время, когда смех уже вызвал слезы на глазах канониссы, а кашель кровавую мокроту, между тем как Дьедонне по-прежнему в третьей позиции минуэта серьезно ожидал ее ответа, она сказала, что ему незачем торопиться, что у восемнадцатилетнего юноши

есть еще в запасе по крайней мере около четырех-пяти лет, и только после этого им приходит пора заботиться о таких вещах, а когда подойдет это время, мысли молодого человека на этот счет могут кардинально измениться.

Дьедонне, как и положено воспитанному племяннику, ничего ей не возразил и удалился, почтительно простившись с тетушкой: однако, хотя вечер прошел как обычно, без особых происшествий, поднявшись на следующее утро в комнату молодого человека, чтобы отнести ему традиционную чашку кофе со сливками, горничная нашла комнату пустой, а кровать совершенно нетронутой.

Она в ужасе побежала объявить об этой невероятной новости своей госпоже.

В то мгновение, когда она в третий раз повторяла мадам де Ботерн эту фразу: «Мадам, я вас уверяю, что господин шевалье не прилег даже и на минуту», — объявили о приходе мадам де Флоршайм.

Мадам де Флоршайм, вся бледная и совершенно потерянная, пришла поведать мадам де Ботерн, что ее племянница Матильда исчезла этой ночью.

Преступление юной пары, о котором красноречиво говорили эти две нетронутые кровати, было столь явным, как будто все видели воочию, как их две головы покоятся на одной подушке. Слух об этом двойном бегстве распространился в одно мгновение, и вся община была охвачена сильным волнением.

Естественно, что обе тетушки страдали больше всех; они молились и плакали.

Их подруги метали громы и молнии, не задумываясь о том, что пришло время собирать урожай, только и всего, и что они пожинали то, что когда-то посеяли.

Наконец, одна из них заявила, что слезы и мольбы делу не помогут и что было бы лучше без промедления отправиться на поиски беглецов.

Это суждение показалось здравым и было одобрено.

Беглецы были еще слишком неискушенными, чтобы прибегать к изощренным уловкам, дабы скрыть свои следы. И уже на следующий день агенты, посланные за ними в погоню, привезли молодых людей обратно в обитель.

Две заблудшие овцы вернулись в отчий дом.

Но история с побегом на этом не закончилась. Мадам де Флоршайм потребовала такого исхода этого дела, ко-

торый должным образом возместил бы ущерб, нанесенный чести ее дома в лице ее племянницы.

Мадам де Ботерн категорически ей отказала.

Ей удалось сохранить во Франции огромное состояние, и поэтому она полагала, что для наследника всех этих богатств недостаточно одной только чести породниться с одной из самых прославленных фамилий Баварии; она требовала, чтобы у невесты, помимо родовой чести, было еще и приданое, а поскольку у Флоршаймов были превосходные причины отвергнуть это требование мадам де Ботерн, пожилая дама настаивала на том, чтобы был сохранен существующий *status quo*, а прошлое предано забвению, или по крайней мере оно было бы прощено.

Она уверяла, что это была всего лишь детская забава, не имевшая никаких последствий, которую мадам де Флоршайм поощряла вместе со всей общиной.

Мадам де Ботерн клялась своей честью, что Дьедонне слишком благочестив, слишком хорошо воспитан, а главное — еще слишком молод, чтобы это путешествие в Мюнхен в обществе его юной подруги, — а я забыл сказать, что именно в Мюнхене нашли беглецов, — могло бы привести к неподобающим результатам.

Но через несколько месяцев, несмотря на то, что Дьедонне и Матильде после их возвращения в общину решительно запретили видеться друг с другом, мадам де Ботерн получила ясное доказательство тому, что она слишком поторопилась поручиться за невиновность своего племянника.

Дело обстояло столь серьезно, что по настоянию мадам де Флоршайм духовник мадам де Ботерн счел необходимым вмешаться.

Поддавшись уговорам своего уважаемого духовного наставника, мадам де Ботерн, стремясь лишний раз завоевать признательность обоих молодых людей, сделала вид, что уступает исключительно их слезам и мольбам, и, к великой радости всей общины канонисс, брак узаконил эту любовь, на которую они смотрели, как на дело своих рук.

Новую чету поселили в небольшом домике в окрестностях обители, и под покровительством канонисс, следивших за ними с ненасытностью, пытливой придирчивостью и ревностью приемных родителей, медовый месяц юных супругов грозил затянуться.

Смерть мадам де Ботери была первым облачком, омрачившим их счастье. Она оставила тридцать тысяч ливров ренты своему племяннику, но, к чести последнего, ни это значительное наследство, ни постоянное спряжение глагола «любить», в котором он упражнялся ежеминутно, не помешали Дьедонне найти искренние и благочестивые слезы, чтобы оплакать память своей второй матери.

Хотя Дьедонне уже минуло двадцать лет, и он превратился в молодого человека, ему так ни разу и не довелось пережить на своем веку тяжких испытаний, которые лишили бы его той мягкости, нежности и наивности, присущих ему в детстве.

Он сохранил свои порывы всеобщей нежности и безграничного сострадания; однако эти чувства приобрели легкий налет грусти и меланхолии, которые, вероятно, родились вместе с ним и явились следствием событий, предшествовавших его появлению на свет.

Он представлял собой удивительную картину: человек, у которого нет ни склонностей, ни увлечений, ни желаний. Из катехизиса он узнал названия страстей; но, повзрослев, он забыл их; весь целиком во власти любви, поглощенный Матильдой, растворившийся в Матильде, он с восхитительной покорностью потакал маленьким капризам своей супруги, обладавшей несколько более живым умом, чем он сам. В этой истории с бегством на долю Матильды пришлось половина, если не три четверти, замысла и исполнения. Впрочем, эти капризы, исполнявшиеся немедленно, как только о них заявлялось, не выходили за те тесные рамки, в которых они жили, не причиняли никаких неудобств и потрясений, не доставляли никаких волнений, никак не омрачали их существование, достойное Золотого века.

Ни разу в жизни шевалье де ля Гравери не бросил любопытного взгляда поверх тех стен, что окружали его земной рай; инстинктивно, не отдавая себе отчета «почему», он боялся окружающего мира, тот внушал ему страх; звуки, доносившиеся снаружи, заставляли его вздрагивать, и он изо всех сил пытался не подпустить их к себе, днем затыкая уши, а ночью натягивая одеяло себе на голову.

Поэтому сильно расстроенный уже смертью тетушки и еще не до конца оправившийся от горя, он был безмерно потрясен, когда ему пришло письмо со штемпелем Парижа, подписанное бароном де ля Гравери.

Дьедонне слышал о существовании этого старшего брата лишь однажды по случаю своей женитьбы и знал о нем из рассказа тетки.

Мы уже сказали, что Дьедонне затыкал уши, дабы не слышать, что происходило вокруг него.

Судите сами, достаточно ли хорошо он это делал.

До него едва донесся отзвук от первого падения трона Наполеона, и он совершенно ничего не слышал о его втором падении.

Разгромленная французская армия отступала по всей территории Германии; немецкая, австрийская и русская армии преследовали ее; людской поток разбивался об угол монастырских стен, обтекая монастырь справа и слева, и под защитой этого каменного корабля Дьедонне совершенно не чувствовал ударов этих живых волн.

Барон де ля Гравери сообщал своему младшему брату обо всем, что тому было неизвестно, то есть что Реставрация вернула во Францию принцев из королевского дома Бурбонов, и уведомлял его, что ему необходимо исполнить свой долг дворянина, приехав в Париж; ведь в подобные минуты дворяне должны сплотиться вокруг трона.

Само собой разумеется, первым порывом Дьедонне было отказаться; он проклинал Людовика XI вовсе не за то, что тот приказал казнить Немура и Сен-Поля, не за то, что он велел убить графа д'Арманьяка, и не потому, что Людовик XI внушал такой ужас своему отцу, бедному Шарлю VII, что последний предпочел умереть от голода из боязни быть отравленным,— он проклинал его за то, что тот изобрел почту!

Мы уже говорили, что Дьедонне был плохо образован, до такой степени, что путал верховую почту на перекладных с той почтой, что занимается доставкой писем; но, на самом деле, обе они восходят ко временам Людовика XI, и одна является следствием другой.

Он впал в такое сильнейшее отчаяние, что мадам де ля Гравери, открывшая в этот момент дверь, еще успела увидеть его руки, воздетые к небу, и услышала, как он тихо пробормотал фразу:

«И почему только я не родился на острове Робинзона Крузо!»

Она тут же поняла, что в жизни ее мужа должно было случиться нечто весьма ужасное, если он отважился на подобный жест и позволил себе произнести подобное пожелание.

Поэтому она незамедлительно справилась у шеваляе, что за событие послужило причиной столь красноречивого жеста и этой мизантропической колкости, вырвавшихся у него.

Дьедонне передал ей письмо с тем же видом, с которым Манлий-Тальма вручал письмо, раскрывавшее его измену, Сервилию-Дама.

Мадам де ля Гравери, прочтя письмо, похоже, несколько не разделяла огорчения своего мужа по поводу этой поездки. Воспитанная в стенах монастыря с его строгими правилами, Матильда наслушалась рассказов этих старых сплетниц, которые все принадлежали к аристократическим родам, не только о французском королевском дворе, до 1789 года разумеется, но и о других европейских дворах, как о местах, где царит одно лишь подлинное наслаждение. И повинувшись инстинкту врожденного кокетства, она страстно желала блистать там.

Она нашла двадцать причин,— при этом ни разу не признавшись в том, что сама мечтает об этом,— она отыскала двадцать причин, чтобы доказать своему мужу, что он должен подчиниться предписаниям главы семьи.

Но так много вовсе и не требовалось для человека, привыкшего повиноваться словам Матильды, подобно тому, как жители Аргоса повиновались Дельфийскому оракулу.

Итак, молодая чета решила покинуть прелестное гнездышко, под крышей которого расцвела их любовь, и уехать во Францию в июле 1814 года.

После первой же почтовой станции начались нравственные мучения шеваляе де ля Гравери.

Целиком отдавшись движению кареты, уносившей их обоих, чувствуя радость, что, наконец-то, может наслаждаться видом новых мест и новых вещей, Матильда отвлеклась и стала уже не так старательно исполнять свою партию в дуэте элегической нежной влюбленности, который де ля Гравери пел с утра до вечера.

Дьедонне быстро заметил это, и его крайне впечатлительная душа ощутила болезненный укол.

Поэтому он был в довольно печальном расположении духа, когда прибыл в Париж, и, найдя адрес барона внизу злополучного письма, послужившего причиной всего этого беспокойства, предстал перед своим старшим братом, который, будучи подлинным аристократом, обосновался в предместье Сен-Жермен на улице Варенн, 4.

Барон де ля Гравери был приблизительно на девятнадцать лет старше своего брата.

Он родился в самый разгар монархии, непосредственно в год вступления на трон Людовика XVI.

В 1784 году он предоставил доказательства, что его род берет свое начало в 1399-м, и в качестве пажа при королевских конюшнях был взят ко двору.

В 1789 году после взятия Бастилии он эмигрировал вместе со своим дядей.

Поэтому, никогда не видев своего брата, барон не питал к нему и особо нежных чувств.

К этому отсутствию нежности примешивалось живейшее чувство ревности, так как, увы! — как это будет видно из дальнейшего повествования, — барон де ля Гравери далеко не был безупречным человеком.

Вернувшись из эмиграции без малейшего состояния, избегнув тысячи опасностей, которым подвергалась его жизнь, он никак не мог простить своему младшему брату, что тот целиком унаследовал состояние канониссы де Ботерн, состояние, на которое, по его мнению, у него, как у старшего в роду, было больше прав, чем у младшего брата.

Как его брат получил это состояние? Ухаживая в стенах монастыря за двадцатью престарелыми дамами.

Если бы этот младший брат стал бы мальтийским рыцарем, как велел ему его долг, а именно в этом усматривал его барон, то, возможно, последний и простил бы ему то, что он называл похищением наследства.

Но Дьедонне, напротив, женился, и барон расценивал как верх неприличия то, что младший брат, а значит, существо, которое в его глазах принадлежало к среднему роду, помыслил взять в жены женщину, лишив таким образом будущих сыновей старшего брата того состояния, которое, будучи отобранным у их отца, должно было бы по крайней мере быть возвращено его детям.

И во время первого же свидания барон изложил ше-валье свои мысли и чувства по этому поводу и с восхитительным апломбом добавил, что Провидение, не позволившее мадам де ля Гравери благополучно доходить ее первую беременность, и дальше откажет — по крайней мере он питает подобную надежду — в каком-либо потомстве этой поистине контрабандной чете, и сделает так, что рано или поздно наследство канониссы вернется к старшей ветви рода, которой оно принадлежит по праву.

Это вступление вывело из себя мадам де ля Гравери, сопровождавшую супруга к барону, и вызвало две крупные слезы на глазах Дьедонне.

Чувствуя, что должен стать прекрасным отцом, он оплакивал свое потомство, которое по приговору барона не имело права появиться на свет.

Он переводил взор то на жену, то на брата, и, казалось, спрашивал у того, как он может ставить ему в упрек его Матильду, такую милую, такую добрую, такую любящую.

Достоинства, которыми обладала молодая женщина и которые его любовь удваивала, утраивала, учетверяла, разве они не служили достаточным оправданием? Или, подобно Альцесту, барон поклялся вечно ненавидеть женщин?

Но обратившись мыслями к себе самому, подумав, что в самом деле он, оставшийся во Франции, не подвергавшийся никаким превратностям войны и никаким лишениям жизни в эмиграции, он был теперь богат, в то время как его брат вернулся из изгнания лишь со шпагой на боку и эполетами на плечах; рассудив так, он испытал некоторые сомнения и спросил себя, не поступил ли он дурно, приняв наследство тетушки де Ботерн.

Тогда, даже не потрудившись все хорошенько обдумать, не останавливаясь перед знаками протеста, которые делала ему кроткая Матильда, не желавшая по примеру Святого Мартина довольствоваться половиной плаща, попросив прощения у старшего брата за допущенную ошибку, последствия которой он только что осознал, в тот же миг Дьедонне потребовал, чтобы барон взял себе половину состояния канониссы, и пожелал в тот же день подписать дарственную

Барон согласился, не заставив себя долго упрашивать.

Глава VI

КАК ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ СЛУЖИЛ В СЕРЫХ МУШКЕТЕРАХ

Каким бы бесчувственным и окаменевшим ни было его сердце, барона, казалось, тронула деликатность брата, и после того, как дарственная бумага, составленная нотариусом барона, была подписана шевалье и парафирована им внизу каждой страницы и после каждой ссы-

ки и каждого примечания, барон открыл ему свои объятия с таким душевным порывом, который почти заставил его забыть о своем достоинстве главы рода; шевалье бросился ему на грудь, разразившись слезами и, конечно же, испытывая за это простое проявление братской привязанности гораздо большую признательность, нежели чем барон испытывал к нему за пятнадцать тысяч франков дохода.

Со своей стороны после взаимных поцелуев и объятий барон объявил, что в дальнейшем он будет относиться к Дьедонне и любить его как собственного сына и приложит все свои силы и употребит все свое влияние, дабы устроить брату карьеру при дворе.

Желая дать ему в том неопровержимое доказательство, барон попросил для него патент на вступление в полк серых мушкетеров и, полагая приготовить чудесный сюрприз, ни слова не сказал ему о своих хлопотах. И вот однажды вечером, садясь за стол, Дьедонне нашел у себя под салфеткой патент, подписанный Людовиком, который гласил, что шевалье де ля Гравери удостоивается чести быть принятым в этот привилегированный полк.

И в самом деле это была огромная честь: отпрыски лучших фамилий Франции оспаривали право принадлежать к красным мушкетерам его величества, так звали их в эту пору.

Ведь черные мушкетеры, так же как и серые, были одеты в красное, и различие между ними было обусловлено мастью их лошадей, а не цветом их накидок; кроме того, каждый мушкетер имел чин лейтенанта.

Но как бы ни была велика оказанная честь, мы должны признать, что со времени получения письма, заставившего шевалье покинуть милые его сердцу уклады уединенной жизни среди природы, ни разу с тех пор де ля Гравери не испытывал более ужасного удара, чем тот, который он получил при виде этого пергамента.

У него закружилась голова, и он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок, холодный пот покрыл все его тело.

С энергией, которую никто не вправе был ожидать от этого покладистого и добродушного человека, он отклонил эту честь, выдвинув в свое оправдание множество причин, самой серьезной среди которых была, бесспорно, та, что в противоположность д'Артаньяну, своему знаменитому предшественнику, он не испытывал никакого влечения к мушкетерскому плащу.

Барон де ля Гравери узнал об этом отказе из письма, которое шевалье отослал ему.

Он пришел в неопишемую ярость; отказ шевалье его серьезно компрометировал: он использовал все свое влияние, чтобы добиться от короля драгоценной подписи.

И если бы один из де ля Гравери объявил бы, что неспособен нести воинскую службу, то именно барон стал бы посмешищем всего двора.

Поэтому он ответил брату, что хочет он того или нет, но ему придется одеть плащ мушкетера, и сообщил королю, что шевалье весьма признателен за оказанную милость, но, не в силах найти слова, чтобы выразить свою благодарность, поручил ему, барону, высказать Его Величеству всю свою признательность.

Для бедняги Дьедонне уже не было обратного пути. Барон дал ответ и поблагодарил от его имени.

Дьедонне питал глубокое уважение к семейной иерархии: он испытывал нечто большее, чем любовь, по отношению к своему брату, который взял на себя все жизненные огорчения и невзгоды, оставив ему самому лишь одни удовольствия и наслаждения, и несмотря на отказ от половины своего наследства, о котором он не пожалел ни на секунду, поспешим это отметить, шевалье все же порой продолжал вопрошать себя, не виноват ли он перед своим старшим братом, удерживая вторую половину?

Упреки в неблагодарности, которые барон самолично приехал высказать шевалье — поскольку, когда ему выпадала редкая возможность обратиться к своему брату с упреками, барон доставлял себе удовольствие сделать это лично, — эти упреки в неблагодарности так сильно задели Дьедонне, что, не зная, как ответить на них, он не мог вымолвить ни одного слова.

Мадам де ля Гравери лишь одними глазами попросила своего деверя пощадить ее бедного мужа, от имени которого она, казалось, давала согласие.

В самом деле Матильда, которая еще не успела, вращаясь во французском обществе, растерять свои немецкие иллюзии, Матильда видела в Дьедонне Антиноя девятнадцатого века и не сомневалась, что форма, тем более такая красивая, какой была форма мушкетеров, лишь подчеркнет достоинства, которые она в нем предполагала; поэтому из супружеского кокетства она решила принять сторону деверя и поддержать его план.

Впрочем, этот план больше не нуждался ни в чьей поддержке, потому что барон уже дал ответ и выразил признательность от имени шевалье.

Дьедонне отныне, хотел он того или нет, был самым что ни на есть подлинным серым мушкетером с головы до самых пят и состоял в подчинении у маршала де Рагуза, главнокомандующего личной охраной короля, мушкетерами и гвардейцами-телохранителями.

Так оно все и было: неделю спустя несчастный шевалье надел на себя форму, с покорностью и смирением пуделя, которого облачают в тогу и тунику трубадура, дабы заставить плясать его на натянутой веревке.

Форма была великолепна, особенно парадная.

Красная накидка, панталоны белого кашемира, сапоги выше колен, каска с колышущимся султаном, кираса с блестящим позолоченным крестом.

Но бедняге Дьедонне было не по себе в этой блестящей форме.

Он не мнил о себе лучше, чем был на самом деле, и поэтому чувствовал себя неловким смешным в этой амуниции.

Судите сами, невысокого роста, круглый, как мячик, с красным лицом, лишенным всякой растительности как у представителя черного духовенства конгрегации Святой Женевьевы; выглядевший бы прехорошеньким, облачись он в стихарь мальчика-певчего, шевалье производил до ужаса нелепое впечатление, обрядившись в форму.

Однако в одежде штатского шевалье был не более уродлив, чем позволяет себе быть большинство мужчин, и фраза, принятая в обиходе, дабы сгладить недостаток грации и изящества, характерный для некоторых мужских особей: «Он не хорош собой и не дурен», — могла бы с таким же успехом относиться и к шевалье, и мы бы даже сказали «с большим правом», как и ко всем остальным.

Но форма, придавая претензию этой скромной внешности, подчеркивала все ее недостатки.

Если он шел пешком, то складывалось такое впечатление, что сапоги выросли прямо из круглого живота, а рукав бильбоке брал свое начало непосредственно от головы. Поэтому одни из-за коротких и пухлых ручек сравнивали его с морской птицей, которая, лишившись этих столь полезных конечностей, была окрещена «безрукой» — пингвином; другие, увидев, как он проходит

мимо, спрашивали у первого встречного: «Сударь, прошу вас, не могли бы вы мне сказать имя этого плюмажа, который там прогуливается?»

Но это было еще не самое худшее.

Дабы иметь представление о том ужасе, который может пережить человек, и не умереть от него, надо было видеть шевалье де ля Гравери верхом на лошади.

В десятилетнем возрасте, когда маленький шевалье забирался на верх лестницы, он звал свою тетю, канониссу де Ботерн, чтобы та подала ему руку и помогла спуститься.

В пятнадцать лет, когда порой он залезал на спину ослу садовника, одна из его благородных покровительниц неизменно стояла у головы осла, а другая рядом с его противоположной частью, чтобы, если ослу взбредет в голову закусить удила, одна могла бы схватить его за поводья, а другая удерживать за хвост.

И как бы усердно шевалье ни посещал уроки верховой езды, как бы терпеливо ни изучал теорию, ему не удавалось согнуть свои круглые и одновременно потеврявшие всякую гибкость конечности в такт движению лошади.

Лошадь нашего героя, выбранная его братом, хотя шевалье и просил его найти самую смирную, была тем не менее безупречным конем, годным как для скачки, так и для сражения, полным жизни и огня.

Шевалье просил, чтобы лошадь была как можно ниже; но рост животных, принадлежавших придворным мушкетерам, гвардейцам или легким конникам, должен был соответствовать строго определенным меркам, и ни одна лошадь, чей рост был меньше требуемого, не могла быть допущена ко двору.

Шевалье, у которого кружилась голова, когда он смотрел сверху вниз с неподвижной площадки, испытывал особое, непередаваемое головокружение, когда сидел в седле на горячем и резвом коне.

Взгромоздившись на Баярда — таково было имя, которым барон считал уместным наградить лошадь своего брата в память о коне четырех сыновей Эмона, — почти с той же устойчивостью и с тем же изяществом, с каким мешок с мукой торчит на спине у мула, шевалье большую часть времени удерживался в седле лишь благодаря какому-то чуду равновесия, а в особо сложных обстоятельствах — благодаря благожелательной поддержке своих товарищей справа и слева.

При внезапной команде: «Стой!»,— шевалье спасал лишь его солидный вес, а иначе он уже раз двадцать нарушил бы строй, перелетев через голову своего коня.

К счастью для Дьедонне, его мягкость, его любезность, его скромность и его предупредительность тронули сердца его товарищей, которые постыдились сделать посмешищем это совершенно безобидное существо, хотя, если бы он обладал хоть малейшей каплей самодовольства, ничто не могло бы ему помешать считать себя самым блестящим наездником эскадрона.

Но все было совсем иначе, и Дьедонне так скверно чувствовал себя под этим прекрасным вышитым крестом, который носил на форме, что решительно отказался бы от мушкетерского плаща, если бы не опасался причинить этим огорчение своей супруге и рассориться со старшим братом.

Кроме того, было нечто, что внушало ему особенный ужас: а именно, что рано или поздно наступит его очередь состоять в эскорте короля. В этом случае мушкетеры уже не соблюдали строя; они галопировали у дверцы кареты, и каждый был сам за себя. А королевские выезды происходили с регулярностью, которая приводила шевалье в отчаяние; этот король, Людовик XVIII, отличался редким постоянством в своих привычках.

Его распорядок изо дня в день оставался неизменным, и это сильно упростило бы задачу современного Данжо, если бы у Людовика XVIII так же, как у его прославленного предшественника и предка, был бы свой Данжо.

Вот распорядок, которого ежедневно придерживался король со дня своего возвращения в Париж 3 мая 1814 года до 25 декабря 1824 года, дня его смерти; пусть мне простят, если я ошибусь на день или два, ведь у меня нет под рукой альманаха памятных дат.

Он вставал в семь часов утра, в восемь принимал первого камер-юнкера или господина Блака; на девять у него были назначены деловые встречи; в десять часов он завтракал со своей дежурной свитой и теми лицами, которым раз и навсегда было даровано позволение завтракать за королевским столом, то есть титулованными сановниками и капитанами личной охраны короля; после завтрака, который первоначально длился не более двадцати пяти минут, но затем стал продолжаться три четверти часа, и на котором всегда присутствовала герцогиня Ангулемская со своими фрейлинами, все переходило

ли в кабинет короля, где завязывалась беседа; без пяти минут одиннадцать, никогда ни минутой позже, ни минутой раньше, герцогиня удалялась, и тогда король, дабы позабавить своих слушателей, рассказывал несколько непристойных историй, которые дожидались своего часа; в десять минут двенадцатого, не позднее, он отпускал всех присутствующих; почти сразу после этого и до полудня наступало время аудиенций, даваемых частным лицам; в полдень король шел слушать мессу в сопровождении свиты, часто насчитывающей более двадцати человек и никогда менее этой цифры; возвратившись, он принимал министров или созывал свой совет, это случалось раз в неделю; после совета он час или два посвящал письму, или чтению, или набрасывал планы домов, которые затем бросал в огонь; в три или четыре часа, в зависимости от времени года, он выезжал на прогулку и делал четыре, пять, а то и все десять лье по улицам города в громадной берлине, с несущейся во весь опор упряжкой лошадей. Без десяти шесть он возвращался в Тюильри; в шесть ужинал в кругу семьи, ел много, но был разборчив в выборе блюд, законным образом претендуя на звание гурмана; королевская семья проводила вместе время до восьми вечера; в восемь все, кто имел право входить к королю, предварительно не испрашивая аудиенции, могли просить о том, чтобы их допустили к королю, и, в свою очередь, получали его согласие и бывали им приняты. В девять вечера Его Величество выходил и следовал в зал совета, где отдавал дворцовый пароль; некоторые лица обладали привилегией присутствовать там в этот момент и пользовались ею, чтобы предстать перед королем; церемония утверждения пароля длилась двадцать минут; после этого король удалялся в свою комнату и либо составлял комментарии к Горацию, либо читал *Виргилия* или *Расина*; в одиннадцать — он ложился спать.

Позже, когда мадам дю Кайла и господин де Каз стали пользоваться милостью короля, то мадам дю Кайла приезжала в среду после совета и проводила наедине с королем два или три часа; никто не смел их тревожить и входить к ним.

Что касается господина де Каз, то его очередь наступала вечером, он входил в комнату короля одновременно с Его Величеством, оставался с ним наедине и выходил от него лишь за четверть часа до того, как король ложился в постель.

Среди всей этой длинной череды мелких обязанностей, которые король возложил на себя и которые он выполнял со скрупулезной точностью, де ля Гравери-младшего волновал лишь один-единственный ритуал.

Он заключался в следующем:

«Каждый день, вне зависимости от того, хорошая или плохая стояла погода, Его Величество выезжал на прогулку и оставался вне стен дворца с трех часов дня до пяти часов сорока пяти минут вечера».

В этих прогулках короля каждый раз сопровождал эскорт из солдат его личной охраны. И мушкетеров назначали в этот эскорт точно так же, как солдат из других рот.

Но поскольку королевская охрана была многочисленна, то на долю каждого эта обязанность выпадала только раз в месяц.

Случай распорядился так, что шевалье пришлось двадцать пять дней ждать, пока наступит его очередь.

Наконец, она подошла.

Это был ужасный день! Матильда и барон были в восторге; они надеялись: один, что его брат, другая, что ее муж будет замечен королем.

При малейшем проблеске туманность могла стать звездой.

Увы! Злополучная будущая звезда была скрыта за кошмарной тучей — тучей страха.

Так же, как наступил этот день, настал и час; конвой верхом на лошадях ожидал во дворе.

Король спустился, и, как обычно, едва он сел в карету, лошади понеслись вскачь.

Если бы кто-нибудь взглянул в этот момент на шевалье де ля Гравери и увидел, каким мертвенно бледным тот стал, то он пожалел бы беднягу шевалье.

Он совершенно не в силах был справиться со своей лошадью; к счастью, благородное животное было столь же хорошо выдрессировано, сколь плохо был обучен его хозяин; лошадь управляла всадником.

Умное животное, казалось, все понимало, оно само встало в строй и больше не покидало свое место.

Нет смысла даже и заикаться о том, что можно было бы ухватиться за луку седла: в одной руке были поводья, в другой сабля.

Воображение шевалье уже рисовало ему картину того, как он, падая, натывается на свое собственное лезвие, и оно пронзает его, это причиняло ему такую трево-

гу, что его тело само собой непроизвольно отдалялось от сабли, а его рука от тела.

В этот день расстояние было огромным: объехали половину Парижа; король выехал через заставу Звезды, а вернулся через Тронную заставу.

И хороший наездник чувствовал бы себя разбитым; шевалье де ля Гравери был раздавлен до такой степени, как будто его сняли с колеса.

Хотя на дворе был январь, пот градом лился у него со лба, а рубашка насквозь промокла, как будто он купался в Сене.

Шевалье бросил лошадь на попечение своего слуги и, отказавшись от традиционного ужина во дворце со своими товарищами, вскочил в фиакр и через несколько секунд был уже на Университетской улице, № 1.

Каким бы коротким ни было это расстояние, он не чувствовал в себе достаточно мужества и сил, чтобы преодолеть его пешком.

При виде Дьедонне у Матильды вырвался крик: он, казалось, состарился сразу на десять лет.

Шевалье со всех сторон обложил свою постель сахаром, лег, три дня не вставал и потом в течение двух недель жаловался на боль во всем теле.

Увы! Как недосыгаемы для него сейчас были и та безмятежная полная покоя жизнь в маленьком баварском домике; и эти долгие свидания наедине, беседы, перемежающиеся ласками, эти нежные прогулки в сумерках по опушке леса и по берегу речки, прогулки, во время которых молчание обоих супругов столь же красноречиво говорило об их влюбленности, как и самые нежные слова и ласки, настолько полным было слияние их душ. Где оно, время, проведенное в эгоистическом уединении; где неподражаемое очарование тех часов, что они провели вдвоем у камина, мечтая о тихой совместной старости, как у Филимона и Бавкиды.

Но хуже всего было то — а история с болями в поянице еще больше заставила поверить ее в это, — хуже всего было то, что мадам де ля Гравери, сравнивая, была вынуждена признать, что ее шевалье не настолько уж и превосходил других мужчин, как она это предполагала до сих пор.

Тот миг, когда женщина начинает подозревать, что Создатель вполне мог бы и не отдыхать после того, как сотворил специально для нее объект, которому она до сих пор поклонялась как идолу, этот миг бывает роко-

вым для любой любви и означает ужасное испытание для супружеской верности.

Муж, перешедший в разряд официальной валюты, с этого момента имеет лишь искусственно завышенную котировку.

Мы вовсе не хотим сказать, что в тот день, когда Матильда сделала это роковое открытие, она перестала любить своего мужа, совсем наоборот, та заботливость, с которой она ухаживала за ним дома, во время его недомогания, вызванного этим несчастным и злополучным назначением в конвой короля, не шла ни в какое сравнение с теми заботами, которыми она окружала его на людях; некоторые ханжи даже полагали неприличной ту нежность, которую молодая немка открыто выказывала де ля Гравери; но мы должны признать, чтобы ни на шаг не отступить от истины, что, оставаясь наедине с шевалье, Матильда открывала рот лишь тогда, когда ее одолевала зевота, и что ее обязанности светской женщины стали странным образом день ото дня увеличиваться.

Не стоит говорить, что шевалье де ля Гравери не заметил ничего такого, что могло бы ему внушить подозрение, что он уже не самый счастливый муж на свете; он видел, что и после женитьбы его продолжали так же баловать, как и в детстве, поэтому мало-помалу он стал относиться к чрезмерным заботам, которые ему расточала Матильда, как к чему-то совершенно естественному и само собой разумеющемуся, и полагал, что это самое малое и самое лучшее из того, что она могла бы делать.

Де ля Гравери был бы безусловно самым счастливым из мужей, если бы одновременно с тем, что он стал мужем, ему не выпал бы этот злополучный жребий вступить в ряды серых мушкетеров.

А этот ужасный черед быть назначенным в эскорт короля, неотвратимо наступавший каждый месяц и, подобно дамоклову мечу, висевший у него над головой, особенно отравлял самые нежные его чувства!

Глава VII,

В КОТОРОЙ СЛУЧИЛОСЬ СОБЫТИЕ, НА ТРИ МЕСЯЦА ОСВОБОДИВШЕЕ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ ОТ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ

Вслед за январем прошел февраль; и вновь настал черед шевалье быть назначенным в эскорт короля. А с ним вернулись те же самые тревоги.

Но только на этот раз они имели под собой гораздо более веские основания.

Почувствовав, что поводья натянуты слабой рукой, лошадь мушкетера понесла, шевалье де ля Гравери вылетел из седла, перелетел через холку лошади, покатился по мостовой и вывихнул себе плечо. Когда его принесли домой, он был почти счастлив, что так легко отделался.

О случившемся с шевалье стало широко известно. Все придворные либо послали ему свои карточки, либо явились лично засвидетельствовать свое почтение.

Король трижды справлялся о нем.

Барон был вне себя от радости.

— Постарайся умело воспользоваться случаем,— говорил он ему,— и твоя карьера сделана.

Шевалье был бы не прочь воспользоваться случаем, но при условии, что ему ради этого не пришлось бы вновь сесть на лошадь.

Поэтому, хотя в домашней обстановке он и снимал свою руку с перевязи, а оставаясь один, показывал перед зеркалом кулак незнакомцу, который вполне мог быть бароном; и хотя, когда речь шла о том, чтобы обнять и прижать к груди жену, его поврежденная рука была столь же сильной, как и другая, перед посетителями, приходившими справиться о его здоровье, перед офицерами на службе у короля, навещавшими его с визитами, он притворялся, что его мучают непрекращающиеся боли, и корчил дьявольские гримасы при каждом, вольном или невольном, движении рукой.

Он надеялся, что подобным образом ему удастся хоть единожды избежать очередного назначения в эскорт короля.

В итоге он не только нигде не показывался, но даже и не выходил из своей комнаты, а с постели вставал лишь для того, чтобы уютно расположиться в огромном кресле «бержер» и вновь обрести это блаженство бесед с глазу на глаз, которое он считал навеки утраченным.

И действительно, в то время, как шевалье читал газеты и, в частности, «Монитер», который составлял его любимое чтение и в благодушном спокойствии которого он находил некое соответствие со своим характером, Матильда, сидя рядом с ним, что-нибудь вышивала, зевая с риском вывихнуть себе челюсть, при этом она всякий раз скрывала от своего мужа этот неприглядный

поступок, поднося свою работу к лицу и прикрывая открытый рот полотном.

Утром седьмого марта, когда Матильда трудилась над своей вышивкой, а шевалье, удобно устроившись в кресле, читал «Монитор», он увидел на его страницах следующее воззвание:

«Воззвание.

31 декабря мы приостановили действие Парламента с тем, чтобы он возобновил свои заседания 1 мая: все это время мы не покладая рук занимались деятельностью, призванной обеспечить общественное спокойствие и счастье наших подданных...»

— Да, это правильно,— промолвил шевалье,— и со своей стороны мне не в чем упрекнуть короля, кроме одного: его ежедневных выездов и его пристрастия к эс-кортам.

Затем он возобновил чтение:

«Это спокойствие нарушено; это счастье может быть поставлено под угрозу благодаря злему умыслу и предательству...»

— О! О! — воскликнул шевалье.— Ты слышишь, Матильда?

— Да,— ответила Матильда, подавляя зевоту,— я слышу: «благодаря злему умыслу и предательству»,— но только я не понимаю.

— И я тоже,— заметил шевалье,— но сейчас все станет ясно.

И он продолжил:

«Если враги нашей Родины возлагают свои надежды на разногласия, которые они всегда старались разжигать, то те, кто является ее опорой, ее законные защитники, опрокинут и разобьют эту преступную надежду благодаря непробиваемой силе нерушимого союза...»

— Безусловно,— сказал шевалье,— они опрокинут эту преступную надежду, и я первый стану в их ряды, если только моей руке станет лучше.

Затем он повернулся к Матильде.

— Какой великолепный слог у правительства! Не правда ли, дорогая?

— Да,— ответила Матильда, не раскрывая рта. Она боялась, что если она его раскроет, то уже не совладеет со своей челюстью.

— «Монитор» сегодня довольно занимателен,— заметил шевалье.

И продолжал далее:

«В связи с этим, выслушав доклад нашего любезного и преданного канцлера Франции, господина Дамбрей, командора наших орденов, мы предписываем следующее...»

— А! — сказал шевалье.— Посмотрим, что предписывает король.

«Пункт № 1. Палата пэров и палата депутатов от департаментов созываются в традиционном месте проведения их заседаний.

Пункт № 2. Пэры и депутаты, отсутствующие в Париже, обязаны вернуться в него немедленно после ознакомления с настоящим воззванием.

Продиктовано во дворце Тюильри 6 марта 1815 года, лето царствования нашего двадцатое.

Подписано Людовик».

— Вот странно, король созывает Парламент и объясняет, почему он его созывает,— сказал шевалье.

— Дьедонне, ты все время обещал ради развлечения сводить меня на заседание,— сказала Матильда, зевнув так, что чуть не сломала себе челюсть в предвкушении удовольствия, которое она там получит.

— Ах! Подожди, пожалуйста,— воскликнул шевалье.— «Ордонанс». Здесь есть какое-то постановление; возможно, это постановление нам все объяснит сейчас.

И он прочел:

«Ордонанс.

Выслушав доклад нашего любезного и верного канцлера Франции, командора наших орденов, мы приказываем и доводим до вашего сведения следующее:

Пункт № 1. Наполеон Бонапарт, вторгшийся с оружием в руках в департамент Вар, провозглашается изменником и бунтовщиком...»

— Та, та, та,— произнес шевалье,— что здесь такое пишет «Монитор»? Ты слышала, Матильда?

— Вторгшийся с оружием в руках в департамент Вар... изменником и бунтовщиком... Но кто это изменник и бунтовщик?

— Черт возьми! Наполеон Бонапарт! Но разве же они его не упрятали на остров?

— Да, действительно,— подхватила Матильда.— На остров Эльбу.

— Ну вот, значит, он не мог вторгнуться в департа-

мент Вар, если по меньшей мере там нет моста, соединяющего остров Эльбу с вышеназванным департаментом. Ну что же, посмотрим, что там дальше.

«Поэтому приказываю всем губернаторам, командующим вооруженными силами, солдатам национальной гвардии, гражданским властям и даже простым гражданам преследовать его...»

— Надеюсь, что ты будешь вести себя смиренно и не станешь развлекаться, гоняясь за ним?

— Постой! Постой! Это еще не все.

И шевалье возобновил чтение.

«Преследовать его, задержать и немедленно предать в руки военного трибунала, который, удостоверив его личность, именем закона предъявит ему обвинение и огласит приговор».

Но в этот момент шевалье пришлось прервать свое чтение, так как послышался стук открывающейся двери, ведущей в его спальню, и голос слуги, докладывающего о приходе его брата, барона де ля Гравери.

Барон был экипирован и вооружен, будто господин Мальбрук, собравшийся на войну.

Шевалье побледнел, когда барон предстал перед ним в столь внушительном виде.

— Ну,— сказал барон,— ты знаешь, что происходит?

— В общих чертах.

— Корсиканский людоед покинул свой остров и высадился в заливе Жуана.

— В заливе Жуана? А что это такое?

— Это небольшой порт в двух лье от Антиб!.

— От Антиб?

— Да, и я пришел за тобой.

— За мной? Пришли за мной! Но зачем?

— Но разве ты не видел, что всем командующим вооруженными силами, всем солдатам национальной гвардии и даже простым гражданам предписано преследовать его? Ну вот, я пришел за тобой, чтобы отправиться за ним в дорогу.

Шевалье устремил на Матильду умоляющий взгляд; он смиренно признавал, что всегда в чрезвычайных обстоятельствах она была изобретательнее его и обладала большей силой воображения, поэтому он рассчитывал, что она вытащит его из этой истории.

Матильда поняла этот молчаливый крик о помощи.

— Но,— сказала она, обращаясь к барону,— мне кажется, дорогой деверь, что вы забыли одну вещь.

— Что же?

— А то, что если вы вольны взять в руки вашу огромную саблю и гоняться за кем вам угодно, то Дьедонне не вправе этого делать; он не волен в своих действиях.

— Как! Он не вправе?!

— Нет. Дьедонне состоит в свите короля; и он будет делать то же, что и все остальные офицеры. Покинуть Париж в такое время даже ради того, чтобы ловить Наполеона, значило бы стать дезертиром.

Барон кусал себе губы.

— А! — заметил он.— Похоже, что это вы командир Дьедонне?

— Нет,— просто ответила Матильда,— командиром Дьедонне, по-моему, является герцог де Рагуз.

И она спокойно принялась за свою вышивку, в то время как шевалье не сводил с нее восхищенных глаз.

— Ну, что же, пусть так,— произнес барон,— я отправлюсь без него.

— И вся заслуга тогда будет принадлежать только вам, вам одному,— сказала Матильда.

Барон бросил на молодую женщину ненавидящий взгляд и вышел.

— Что ты скажешь о визите моего брата? — спросил Дьедонне, все еще дрожа.

— Я скажу, что, выманив у тебя половину состояния, он, пожалуй, не будет огорчен, если тебя убьют, и он унаследует оставшуюся часть.

Дьедонне поморщился, как бы говоря: «Ты вполне можешь оказаться права». Потом он подошел к Матильде и обнял ее, так прижав к своей груди, что она чуть не задохнулась; при этом он забыл, что обнимает ее с такой силой той рукой, которая его не слушалась.

Весь день в доме у шевалье было полно посетителей.

Каждый прибывший с визитом заводил разговор о странном событии; никто не сомневался, что через десять лет Наполеон будет схвачен и расстрелян.

Но на этот сакраментальный вопрос: «А вы, как поступите вы?» — который шевалье задавали в течение дня раз двадцать, он неизменно отвечал:

— Я принадлежу к охране короля и буду делать то, что будет делать она по приказу короля.

И все находили этот ответ вполне уместным.

Впрочем, все визитеры уже встречали барона с его огромной саблей, и каждый знал, что он готовится броситься в погоню за Корсиканским людоедом.

В тот же день к десяти часам стало известно, что граф д'Артуа отправляется в Лион, а герцог Бурбонский в Вандею.

В ответ на это двойное событие Дьедонне заявил, строя ужасные гримасы, что его рука причиняет ему невыносимую боль.

Известия, полученные восьмого и девятого, были весьма неопределенными.

Повсюду можно было встретить барона, который должен был вот-вот отправиться в погоню за Наполеоном, он только выжидал, когда станет известно, где тот точно находится.

Если не считать болезненных ощущений в руке, то Дьедонне испытывал удивительное чувство покоя.

Откуда к нему пришла эта философия? Принадлежал ли он к школе стоиков?

Нет.

Но у него родилась одна мысль, которая с упрямством, присущим эгоизму, прочно засела у него в мозгу.

Я едва осмеливаюсь признаться, что это была за идея.

Лярошфуко как-то сказал, что в несчастьях даже нашего самого близкого друга всегда есть нечто, доставляющее нам приятные мгновения.

К этому можно было бы добавить, что в самых грандиозных политических потрясениях, в катастрофах, свергающих троны, скипетры, короны, люди всегда находят какую-то свою мелочную выгоду, которая помогает им переносить эти разрушительные события без особого недовольства.

Дьедонне подумал, что если Наполеон вновь взойдет бы на трон, то Людовик XVIII покинул бы Париж; а покинув Париж, Людовик XVIII прекратил бы свои прогулки с трех до шести часов, а если бы он прекратил свои прогулки, то и его эскорт был бы упразднен.

А тогда не пришлось бы больше испытывать этот страх в течение целого дня и пребывать в состоянии гнетущего ожидания остальные тридцать.

О Господи, из каких мелочей порой складываются убеждения!

Сначала шевалье отбросил эту мысль как недостойную его; но она раз за разом все возникала и возникала,

пока не утвердилась у него в мозгу настолько, что не пожелала его больше покинуть.

В результате, когда девятого Дьедонне прочел в «Монитере», что Наполеон, вероятно, десятого вечером войдет в Лион, то эта новость не произвела на него такого сильного впечатления, как можно было бы ожидать.

Барон объявил, что, отныне зная, где найти Наполеона, он непременно одиннадцатого или двенадцатого бросится ему навстречу, то есть как только подтвердится его вступление во вторую столицу королевства.

Днем пятнадцатого распространился слух, что герцог де Рагуз добился от короля приказа укрепить Тюильри и что король укроется там с министрами, парламентом и со всеми офицерами своей охраны. В Тюильри могло поместиться три тысячи человек.

Барон пришел сообщить эту новость своему брату; он сказал, что надеется увидеть его в составе этого гарнизона.

— Я полагал, что ты уже уехал одиннадцатого,— ответил ему Дьедонне.

— Действительно, я уже собирался уехать, когда подумал, что из Лиона в Париж ведут две дороги: одна на Бургонь, а другая на Нивернэ; я испугался, что разминусь с узурпатором.

— Это веская причина,— заметила Матильда.

— Да, но я не вижу,— отвечал барон,— по какой причине мой брат не отдает себя в распоряжение короля.

— Именно это он и собирался сделать,— сказала Матильда.

И она взяла перо, чернила и бумагу.

— Что вы делаете? — спросил барон.

— Вы видите, я пишу.

— Кому?

— Герцогу де Рагузу.

— Что?

— Что мой муж отдает себя в его полное распоряжение.

— Разве Дьедонне больше не умеет писать?

— Нет, если у него вывихнута правая рука.

И Матильда написала следующее:

«Господин маршал.

Мой супруг, шевалье де ля Гравери, хотя и повредил себе руку так сильно, что я была вынуждена взять вместо него перо, чтобы написать вам, тем не менее имеет честь напомнить вам, что состоит в красных мушкетерах

короля. И какое бы решение вы ни приняли, он хотел бы разделить опасность со своими товарищами.

Его преданность Его Величеству заменит ему силу.

*Он имеет честь быть, господин маршал,
и т. д. и т. д.»*

— Так хорошо? — спросила Матильда у барона.

— Да, — ответил вне себя от гнева барон, — лучше и быть не может. И Дьедонне весьма повезло, что у него такая жена, как вы.

— А, каково! — наивно произнес Дьедонне. — Я ведь вам говорил, что это настоящее сокровище.

Барон удалился, сказав, что отправляется за новостями.

Матильда отослала свое письмо в Тюильри.

Девятнадцатого, в девять часов утра, в Париже узнали, что Наполеон семнадцатого вошел в Оксерр и продолжает свой марш на столицу.

В одиннадцать король, отвергнувший план герцога де Рагуза, вызвал маршала и объявил ему:

— Я уезжаю в полдень; отдайте соответствующие приказы штату моих офицеров.

Герцог де Рагуз сделал необходимые распоряжения.

В полдень шевалье де ля Гравери доложили о приходе адъютанта маршала.

Он передал ответ маршала, адресованный непосредственно мадам де ля Гравери, о том, что король, помня о серьезной травме, которая вынуждает господина де ля Гравери оставаться дома, и зная его преданность идее монархии, дает ему позволение остаться дома, прекрасная сознавая при этом, что если он не видит его рядом с собой в столь критический момент, то в этом повинна его рана, которую шевалье получил у него на службе.

— Хорошо, сударь, — ответила Матильда адъютанту, — передайте маршалу, что через час господин де ля Гравери будет во дворце.

Дьедонне широко раскрыл глаза.

Адъютант, в восторге перед этой героиней, восхищенно приветствовал ее и удалился.

Матильда передала письмо Дьедонне.

— Но мне кажется, что король отпустил меня, — сказал тот.

— Да, — заметила Матильда. — Но это услуга такого сорта, которую дворянин не должен принимать; вам следует сопровождать короля в его изгнании до тех пор, по-

ка он не покинет пределы Франции. Вероятно, вам придется привязать себя к лошади, если потребуется.

Господин де ля Гравери был высокого чувства долга. — Вы правы, Матильда, — сказал он.

Затем, тем же тоном, каким, вероятно, эту же команду отдавал Цезарь, он произнес:

— Мое седло и мою походную лошады!

Час спустя шевалье де ля Гравери был в Тюильри.

В полночь король выехал.

Прибыв в Ипр, король увидел шевалье и узнал его; он был третьим человеком, оставшимся с королем.

Король приказал принести три креста ордена Святого Людовика и самолично прикрепил их на мундиры этих трех верных ему офицеров.

Затем он отослал их во Францию, заявив, что надеется вскоре вновь там с ними увидеться.

Шевалье проделал около ста лье верхом на лошади, с него этого было более чем достаточно; он продал свою лошадь за полцены, сел в дилижанс и вернулся в Париж.

Невозможно выразить словами, каким величественным жестом он показал свой крест Святого Людовика Матильде.

Матильда вся сияла.

Дьедонне справился о брате.

Тот, наконец-то, уехал семнадцатого.

Однако он уехал в Бельгию, не желая оставаться в Париже, будучи скомпрометирован своими воинственными настроениями, которые он так неосторожно всем демонстрировал.

Глава VIII,

В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ ЗАВОДИТ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

События, последовавшие за возвращением с острова Эльба, известны.

Дьедонне, вернувшись к себе домой на Университетскую улицу, повесил крест Святого Людовика над изголовьем кровати своей жены в память о том, что этой наградой он обязан ей.

Сто дней не причинили ему ни малейшего волнения.

Дьедонне был самым счастливым человеком из всех живущих на земле.

Он был кавалером ордена Святого Людовика и не был больше мушкетером.

Настала пора второй Реставрации; барон вернулся вслед за Бурбонами и вновь вселился в свой дом на улице Варенн.

Однако он не зашел навестить брата. Он расценивал как огромную несправедливость то, что Дьедонне был награжден, а он нет.

В результате шевалье де ля Гравери, лишившись посредника, обратился со своей просьбой прямо к королю.

Он добился того, что поменял свою шпагу мушкетера на палочку церемониймейстера; обмен, доставивший ему огромную радость, так как эта новая должность, совершенно гражданская и абсолютно мирная, гораздо лучше соответствовала его склонностям, чем прежняя.

Но случилось так, что, раз разделившись со своей амуницией, шевалье, по какой-то аномалии, довольно часто встречающейся у людей его темперамента, стал жадно искать общества тех, кто носил военную форму.

Он, казалось, поставил себе задачей доказать целому свету, что и его голову некогда украшал этот благословенный плюмаж, доставлявший ему столько неудобств в ту пору, когда он имел право его носить.

Вот почему, когда он по долгу службы присутствовал на обеде в Тюильри, он предпочитал располагаться среди офицеров военной свиты и общался с ними на дружеской ноге.

Однажды он познакомился там с капитаном конных гренадеров, который в силу закона противоположностей понравился ему с первого взгляда.

Этот капитан был намного старше де ля Гравери, которому в эту пору исполнилось двадцать пять или двадцать шесть лет; всего лишь несколько месяцев отделяли этого офицера от того дня, когда приказом министерства он должен быть отправлен на пенсию.

У него были седые волосы, и несколько ранних морщин уже избородили его лоб. Но по складу ума, по настрою своего сердца и по своему характеру господин Думесниль — так звали капитана — по-прежнему оставался двадцатилетним; и, пожалуй, во всей гвардии не нашлось бы младшего лейтенанта, который мог бы сравниться с ним в веселости, остроумии и беззаботной беспечности.

Во всех физических упражнениях, которыми, впрочем, де ля Гравери, а точнее, старые канониссы, зани-

мавшиеся его воспитанием, безмерно пренебрегали, капитан Думесниль всегда был первым.

О его отваге в армий ходили легенды.

Эти качества произвели на шевалье чрезвычайно глубокое впечатление как раз именно потому, что сам он ими ни в коей мере не обладал; он тут же подумал, что подобный друг будет весьма ценным приобретением для такого весьма скучного жилища, каким был его дом; шевалье надеялся, что капитан развлечет Матильду, которая становилась все менее и менее общительной, оставаясь наедине с Дьедонне; он рассудил, что воспользуется хорошим настроением, которое не замедлит вернуться к его супруге, так как оно приходило к нему самому, когда шевалье слушал остроты своего нового знакомого. Вследствие всех этих соображений он немедленно стал ухаживать за капитаном так, как влюбленный ухаживал бы за желанной женщиной.

Спустя несколько часов их знакомство стало таким близким, что Думесниль, особо не заставив себя упрямиться, согласился отобедать на следующий день у шевалье дома.

Впрочем, капитан, заметив это так вскользь, принадлежал к той породе людей, что приняли бы и приглашение дьявола, если бы были твердо уверены, что жаркое там будет не слишком подгоревшим.

Не подозревая о том, где ля Гравери именно в этот момент переживал самый критический период в своих семейных отношениях.

Мадам де ля Гравери уже долгое время скучала. Скука у женщин, обладающих темпераментом Матильды, это легкий озноб, предвещающий лихорадку. Год, последовавший за второй Реставрацией, был насыщен весельем; молодая женщина пресытилась шумом и блеском, устала от танцев, ей наскучило банальное пустое кокетство: она переставала любить эти удовольствия и развлечения только ради их самих; она ощутила пустоту своего сердца, а мадам де ля Гравери в этом отношении напоминала природу: она ужасалась и не терпела пустоты.

Впрочем, по отношению к своему мужу она оставалась прежней или почти что прежней; благодаря привычке и воспитанию роль заботливой и внимательной супруги укоренилась в ее сознании, и какое бы направление ни принимал ход ее мыслей, это ни в коей мере не отражалось на той заботливой предупредительности, с

которой она относилась к Дьедонне; но, в сущности, меланхоличная нежность шевалье раздражала тонкую нервную систему его супруги, и взгляды, которые она бросала на него, якобы строя влюбленные глазки, понемногу стали наполняться той едва сдерживаемой ненавистью, которую женщины, подобные ей, всегда потихоньку питают в отношении мужа, упрямо отказывающегося предоставить им хоть малейший повод для жалоб, а следовательно, и малейшую возможность взять реванш.

В тот же день, когда де ля Гравери привел в дом своего друга, с которым познакомился накануне, барон, первый раз после долгого перерыва навестив Дьедонне, представил своей золовке молодого лейтенанта гусарского полка, сопроводив это представление крайне лестными рекомендациями.

Этот молодой гусар на самом деле был одним из самых блестящих офицеров, которых только можно было встретить; у него была токая и гибкая, как у женщины, талия, изящная осанка, ловко закрученные усы, самодовольный вид; короче, перед вами был готовый манекен, предназначенный для того, чтобы выгодно продемонстрировать в лучах солнца блеск золотых галунов доломана или лихо носить ташку.

Вопрос о том, какое влияние может оказать на самочувствие и настроение очаровательной молодой женщины приятная внешность и веселый, жизнерадостный нрав, пока недостаточно исследован и никогда не будет исследован до конца.

С того благословенного дня, как капитан гренадеров и лейтенант гусаров впервые расположились у домашнего очага шевалье де ля Гравери, состояние хозяйки дома значительно улучшилось: бледность, порой стирившая все краски на ее лице, исчезла; синеватые круги, затмевавшие блеск глаз, пропали; она вновь преисполнилась веселья и очаровательной улыбкой сопровождала все знаки внимания, оказываемые мужу, которые благодаря этому были ему в два раза милее и дороже.

Нежданный, но явный успех, достигнутый ими, невольно как-то особенно сильно привязал обоих лекарей к очаровательной больной.

Они все время находились рядом с ней, и не прошло и двух недель, как они стали не просто привычными со-трапезниками, а ежедневными завсегдатаями в особняке де ля Гравери.

На всех прогулках их постоянно видели вместе; неизменной компанией они появлялись на балах и спектаклях; дело дошло до того, что, как только где-либо показывалась мадам де ля Гравери, можно было держать пари, что господин де ля Гравери следовал за ней, а позади господина де ля Гравери шли двое верных рыцарей.

Это, вероятно, было самое необычное, но и самое очаровательное семейное содружество.

Это никоим образом не была обыкновенная вульгарная семейная пара, состоящая из мужа и жены; это не был и тот любовный треугольник, так называемая любовь втроем, которую на каждом шагу встречаешь в Италии. Нет, это была семья, состоявшая из четырех человек, в которой равными привилегиями пользовались все ее члены: хозяин дома, друг хозяина дома и протезе хозяйки; все трое на редкость искусно и лояльно вели свою партию в общем хоре, каждый получая со скрупулезной точностью приходящуюся ему долю улыбок, сердечных благодарностей и признательных взглядов, все трое снискав право поочередно, в качестве компенсации, предлагать свою руку прелестной Матильде, а также нести ее шаль, веер или букет.

Мадам де ля Гравери, распределяя свои знаки внимания, выказывала при этом отменное чувство справедливости, так что ни разу никому не дала повода ни к ревности, ни к недовольству.

Но самым довольным из этого мужского трио, самым признательным не только Матильде, но и двум другим, бесспорно был Дьедонне; он был вне себя от радости, когда размышлял о том, что нашел два новых объекта, на которых мог излить избыток нежности, переполнявший его сердце в дни уединения.

Как мадам де ля Гравери удавалось поддерживать это ровное настроение и это самоотверженное самоотречение при своем крохотном дворе?

Это один из тех женских секретов, в который, признаемся в этом честно, несмотря на наши беспрестанные и постоянно возобновляемые исследования в этой области, нам так и не удалось проникнуть.

Но самое поразительное заключалось в том, что общество практически не злословило по поводу этого странного союза. Молодая немка казалась такой простодушной; столько наивности было в ее самом компрометирующем обращении с обоими офицерами; она была так изумительно естественна, что если кто-нибудь осмелился

бы вдруг высказать хоть малейшее подозрение, то, весьма вероятно, мог бы быть обвинен в том, что у него злое сердце.

Барон де ля Гравери стал тем ангелом с пылающим мечом, который изгнал трех блаженных из их рая.

Однажды после полудня Матильда, чувствуя легкое недомогание, оставалась дома; господин де Понфарси — так звали лейтенанта гусаров — был на дежурстве, шевадьё де ля Гравери и его друг, капитан гренадеров, вдвоем гуляли по Елисейским Полям.

И хотя обычный квартет заметно поредел, де ля Гравери выглядел бесконечно радостным; он скорее подпрыгивал, чем шел, и это несмотря на полноту, ставшую весьма солидной, принимая во внимание его возраст. Малейшее происшествие вызывало у него раскаты смеха, он беспрестанно весело потирал ладони и, следуя священным законам дружбы, капитан Думесниль целиком и полностью разделял это великолепное настроение.

Гуляя, они столкнулись с человеком, который, похоже, не был так же доволен судьбой, как они.

Этим человеком был барон де ля Гравери.

Он шел с таким угрюмым, таким озабоченным выражением лица, так низко надвинув на глаза шляпу, что они наткнулись на него, даже не узнав.

Но он, почувствовав, что его задела, поднял голову и узнал их.

— Клянусь смертью Христовой! Я рад встретить вас, шевадьё,— сказал старший брат, схватив младшего за руку.

— В самом деле! — произнес тот с болезненной гримасой, так сильно барон сжал ему руку.

— Да, я направляюсь к вам.

Думесниль покачал головой, у него зародилось предчувствие несчастья.

Но быстро, вновь обретя свое хорошее настроение, шевадьё произнес:

— Надо же, как странно, я только что сказал Думеснилю: «Я должен прямо сейчас зайти к моему брату, чтобы сообщить ему эту радостную новость».

— Эту радостную новость? — повторил барон с мрачной улыбкой.— А, так у вас есть для меня радостное известие?

— Да.

— Ну, что же, тогда обмен будет не в вашу пользу, так как я собираюсь поведать вам нечто весьма неприятное.

Такому тонкому и искусственному наблюдателю, каким был Думесниль, легко было догадаться, что эта новость, которая должна была так огорчить шевалье, доставляла сильную радость барону.

По телу Думесниля пробежала дрожь, а поскольку рука шевалье опиралась на руку капитана, то он вздрогнул вместе с ним, пока скорее испытывая простое сочувствие, чем предчувствуя что-либо.

— Но что же случилось? — пробормотал бедняга Дьедонне, весь побледнев, настолько был силен ужас, который он почувствовал заранее лишь при одном слабом отблеске той бомбы, с помощью которой барон собирался взорвать его счастье.

— Ничего. Пока.

— Как! Пока ничего?!

— Нет, позже я вам расскажу об этом, когда мы будем у меня в доме, если вы сообразоволяете туда последовать за мной.

Думесниль видел, что барон желал бы поговорить со своим братом насдине, к тому же, поскольку первый несколько не скрывал от второго, что собирается говорить с ним о вещах малоприятных для слуха, капитан тем более предпочел бы не присутствовать при беседе.

— Извините меня, мой дорогой Дьедонне,— сказал он,— но я вдруг вспомнил, что меня ждут у полковника.

И он протянул одну руку шевалье, в то время как другой приветствовал барона.

Но Дьедонне, оказавшись перед лицом неожиданного несчастья, был не таким человеком, который способен встретить его в одиночку, и, хотя капитан только что попрощался с ним, отняв свою руку, шевалье вновь схватил ее и просунул себе под руку.

— Ба! — произнес он.— Еще сегодня утром вы мне говорили, даже больше, чем говорили, заявляли, что свободны весь день; вы останетесь, господин скромник, и мой брат будет говорить при вас. Что за черт! Только что вы согласились разделить со мной мою радость; теперь самое меньшее, что вы можете сделать,— это взять на себя вашу часть моего горя.

— И правда,— сказал барон,— я в самом деле не вижу причин, почему бы мне не позволить господину капитану выслушать эту конфиденциальную новость, к которой он почти в той же степени, что и вы, приложил свою руку.

Капитан вскинул голову, как будто конь при звуках грубы, и слегка покраснел.

«Черт бы побрал этого старого иезуита! Он испортит нам весь день!» — прошептал он на ухо Дьедонне.

И затем произнес громким голосом, в котором одновременно звучали просьба и угроза:

— Господин барон, без сомнения, хорошо подумал, прежде чем принять решение; однако позволю себе все же ему заметить, что откровения, о которых я говорю, порой столь же опасны для того, кто их делает, сколь мучительны они бывают для того, кто их выслушивает.

— Сударь, — сухо ответил барон, — я знаю, к чему обязывает меня мой долг главы рода де ля Гравери, и предоставьте мне самому судить о том, как мне следует поступить в соответствии с требованиями моей чести.

— Что все это означает, Господи? — прошептал про себя бедный шевалье, покачивая головой. — У Думесниля такой вид, будто он отлично знает, что собирается сообщить мне брат, а сам он мне ничего не пожелал сказать! Итак, мой дорогой барон, будьте откровенны и не тяните дольше; растерянность и смущение, в которое вы нас повергли, гораздо болезненнее и мучительнее для меня — я твердо уверен в этом, — чем та новость, которую вы хотите мне поведать.

— Тогда следуйте за мной, в мой дом, — сказал барон.

И оба, и Дьедонне, и капитан, держась по обе стороны от барона, спустились вниз по Елисейским Полям и, миновав мост Согласия и Бургонскую улицу, очутились на улице Варенн, где жил барон.

Все трое были так озабочены, что во время всей этой длинной дороги ни один из них не проронил ни слова.

Беспокойство бедняги Дьедонне удвоилось, когда он увидел, что старший брат провел их в самый отдаленный кабинет своих апартаментов и плотно закрыл за ними дверь.

Приняв эти меры предосторожности, призванные обеспечить полную конфиденциальность предстоящей беседы, барон торжественно вытащил из своего кармана письмо и правой рукой показал его своему младшему брату, в это время левой он крепко сжимал руку последнего и с глубоким сочувствием в голосе повторял:

— Бедный брат! Бедный брат! Несчастный шевалье!

Это вступление звучало так мрачно, что Дьедонне никак не решался взять в руки это письмо.

Этих мгновений растерянности было достаточно Думеснилю, чтобы бросить взгляд на письмо и узнать этот изящный, бисерный почерк. И прежде, чем шевалье принял какое-либо решение, капитан гренадеров выхватил письмо.

— Ради всего святого! — воскликнул капитан. — Он не станет его читать, господин барон! Он не станет читать ваше письмо!

Затем, выпрямившись и затянув потуже ремень своего мундира, он увлек господина де ля Гравери-старшего в угол комнаты.

— Я принимаю ваши упреки и готов нести всю тяжесть последствий случившегося, но я не позволю разрушить, раздавить счастье вашего бедного брата; есть люди, которые могут существовать лишь в идеальном мире, мире своей мечты. Подумайте об этом!

И, понизив голос, он продолжил:

— Именем Господа, заклинаю, даруйте жизнь бедному ягненку; он, несомненно, создан из самого лучшего теста, которое небо когда-либо посылало на землю в подарок.

— Нет, господин капитан, нет! — ответил барон, возвышая голос. — Нет, вопросы чести для нашей семьи превыше всего.

— Прекрасно! Великолепно! — сказал капитан, желая обернуть все в невинную шутку. — Согласитесь, честь чем-то сильно напоминает оскорбленного мужа; она останется незапятнанной, если никто ни о чем не подозревает, и слегка задетой, когда все становится известно.

— Но, сударь, есть виновный, а безнаказанность не следует поощрять.

Капитан схватил барона за руку.

— Но кто, черт возьми, просит вас о пощаде? — Глаза капитана засверкали. — Разве вы до сих пор еще не поняли, что я в полном вашем распоряжении, сударь?

— Нет, — продолжал барон, все больше и больше возвышая голос. — Нет, необходимо, чтобы Дьедонне знал, что его недостойная супруга и его не менее недостойный друг...

Капитан побледнел, как мертвец, и попытался рукой закрыть барону рот.

Но было слишком поздно, шевалье все слышал.

— Моя жена! — вскричал он. — Матильда! Неужели она мне изменила? Нет, это невозможно!

— Все же он добился своего, вот негодяй! — заметил капитан.

И, пожав плечами, он отошел от барона и сел в углу комнаты с видом человека, который сделал все, что мог, дабы помешать катастрофе; но видя, что, несмотря на все его усилия, она все же разразилась, безропотно покорился неизбежному.

— Невозможно? — с негодованием переспросил барон, не обратив никакого внимания на жалобные, просящие нотки в голосе брата. — Если вы мне не верите, то попросите господина капитана вернуть вам письмо, которым он завладел вопреки всем приличиям и правилам хорошего тона, и вы найдете в нем доказательство вашего бесчестия.

Капитан Думесниль, сидя в своем углу, внешне выглядел совершенно невозмутимым; но он кусал свой ус, как человек, который далеко не так уж спокоен, как хотел бы казаться.

В это время Дьедонне становился все бледнее и бледнее; несколько вырвавшихся у него слов объяснили его все возрастающую бледность.

— Моего бесчестия! — повторил он. — Моего бесчестия! Брат, но как же мой ребенок?..

Барон рассмеялся.

— Этот ребенок, — продолжал шевалье, как будто и не слышал саркастического смеха своего брата, — этот ребенок, которому я так радовался все эти два дня, после того как Матильда сказала мне о нем; этот ребенок, о котором я мечтал, просыпаясь, и думал, засыпая; этот ребенок, которого я представлял уже лежащим в колыбели с бело-розовым, ангельским личиком; этот ребенок, чье нежное воркование уже заранее звучало в моих ушах; этот ребенок может быть не моим?.. О Господи, Господи! — Голос шевалье перешел в рыдания. — Я лишился разом и жены, и ребенка!

Капитан приподнялся, как будто движимый желанием обнять шевалье, но тут же сел снова, и вместо того, чтобы кусать усы, стал кусать кулаки.

Но барон, словно и не заметив ни отчаяния своего брата, ни гнева капитана, отвечал с грубой прямоотой:

— Да. Ведь в этом письме, который случай вручил мне в руки и с содержанием которого я хотел вас познакомить, но вот капитан Думесниль завладел им и не отдает обратно, ваша супруга шлет своему любовнику поздравления по случаю своего будущего материнства,

Бедняга Дьедонне ничего не ответил; он упал на ко-

лени, закрыл лицо руками и судорожно разрыдался. Капитан не мог долее выносить этой сцены.

Он встал и направился прямо к барону.

— Сударь,— обратился он к нему вполголоса,— в этот момент, и вы прекрасно это понимаете, потому что сделали для этого все, что могли, я больше себе не принадлежу; но как только ваш досточтимый брат получит причитающееся ему по праву удовлетворение, я смогу по достоинству оценить ваше поведение, как оно того заслуживает, и поверьте, я не премну это сделать.

Закончив свою речь, офицер попрощался и пошел к двери.

— Сударь, вы уходите? — спросил у него барон.

— Признаюсь вам,— ответил капитан,— я чувствую, что у меня неостанет сил вынести эту ужасную сцену.

— Что же, убирайтесь! Но верните мне письмо мадам де ля Гравери.

— А почему я должен вам его возвращать? — надменно спросил капитан, нахмурив брови.

— Ну, хотя бы по той простой причине, что оно адресовано вовсе не вам,— проговорил барон.

Капитан оперся о стену, иначе бы он упал.

Действительно, капитан до сих пор думал, и читатель, должно быть, об этом догадался, что роль обвиняемого давала ему право быть более активным участником этой истории, чем предполагал барон.

Он быстро достал письмо, которое положил перед этим в один из своих карманов, развернул его и пробежал первые строчки.

По вырвавшемуся у него произвольному жесту, по выражению его лица барон догадался обо всем.

— И вы тоже! — вскричал он, всплеснув руками.— Вы тоже! Что ж, значит, она гораздо большая мошенница и негодяйка, чем я полагал.

— Да, сударь, я тоже.— подтвердил капитан, понизив голос.

— Как же так?

— Да, я тоже. Я презренный человек, такой же презренный, как и она, потому что посмел обмануть этого прекрасного и достойного, этого честного малого; но скажите ему, когда он придет в себя...

Но Дьедонне, который за это время вышел из своего состояния оцепенения, прервал капитана.

— Думесниль! — закричал он.— Думесниль! Не покидай меня, мой друг; подумай, что, кроме твоей дружбы,

у меня в этом мире не осталось ничего, что бы могло меня спасти и утешить.

Капитан, терзаемый угрызениями совести, колебался.

— О Господи, Господи! — воскликнул несчастный шевалье, ломая в отчаянии руки — Неужели дружба такое же пустое слово, как и любовь?

Барон сделал движение по направлению к брату.

Это движение предопределило решение капитана.

Он с такой силой схватил старшего брата за руку, что у того лицо исказилось от боли, и, глядя ему прямо в глаза, вполголоса повелительно заявил:

— Ни слова больше, сударь. Впервые приключение подобного сорта вызывает у меня угрызения совести, и эти угрызения так мучительны, что не знаю, клянусь вам, хватит ли мне всей моей жизни, чтобы искупить свою вину; но тем не менее я постараюсь это сделать, полностью посвятив себя вашему брату, окружив его заботой и нежностью, без которых он не может больше жить.

Сударь, не говорите ему больше ничего; не в вашей, да и не в моей власти перечеркнуть прошлое, но не терзайте еще сильнее это бедное сердце.

— Я ни перед чем не остановлюсь, — язвительно возразил ему барон, — чтобы заставить моего брата выгнать опозорившую его супругу и отказаться от ребенка, который похитил состояние, принадлежащее другим.

— О, скажите, состояние, принадлежащее вам, так будет честнее. И с позиций эгоизма ваше поведение, возможно, поддается объяснениям, — ответил капитан, бросая на барона взгляд, полный презрения. — Пусть будет так; но этого письма, написанного мадам де ля Гравери господину де Понфарси, будет более чем достаточно, чтобы получить, даже в судебном порядке, то, что вы желаете.

— Тогда отдайте мне это письмо.

Думесниль подумал несколько мгновений.

Потом сказал:

— Я согласен, но при одном условии.

— Условии?

— О! Это вам решать, принимать его или нет, сударь, — продолжал нетерпеливо капитан, постукивая ногой. — Итак, поспешим. Или вы даете слово, или я разрываю это письмо.

— Сударь, клянусь своей честью дворянина...

— Дворянина, — прошептал Думесниль с глубочай-

шим презрением.— Что же, хорошо, поклянитесь вашей честью дворянина! Ведь, похоже, хотя вы и поступаете подобным образом, вы все еще продолжаете быть дворянином. Так вот, поклянитесь мне, что вы никогда не скажете вашему брату, что его одновременно предали двое мужчин, которых он звал своими друзьями; поклянитесь мне, наконец, что вы не станете препятствовать искуплению содеянного мною; я посвящу этому весь остаток своей жизни.

— Я клянусь вам, сударь,— сказал барон, пожирая глазами драгоценное письмо.

— Великолепно. Я настолько доверяю вам и вашей клятве, что даже не стану говорить, что я сделаю с вами, если вы ее нарушите.

И капитан вручил барону письмо, написанное Матильдой господину де Понфарсен.

Затем, подойдя к шевадьё, сидевшему все так же без сил, он сказал:

— Ну же, Дьедонне, вставай и обопришь о меня; мы ведь с тобой мужчины.

— О, спасибо, спасибо,— ответил шевадьё, с усилием поднимаясь и падая в объятия капитана.— Ты ведь меня не покинешь, правда? Ты меня не покинешь?

— Нет, нет,— пробормотал капитан, нежно глядя шевадьё, как будто бы это был ребенок.

— Знаешь,— продолжал шевадьё, речь которого прерывали рыдания,— я боюсь сойти с ума, так страшит меня мое будущее, до такой степени я уверен, что сравнение прошлого с настоящим делает невыносимо отвратительным мое существование.

— Мужайся,— проговорил барон.— Даже самая лучшая из женщин не стоит и половины тех слез, что ты здесь проливаешь вот уже четверть часа об этой мерзавке.

— О! Вы не знаете, вы не можете знать,— прервал его Дьедонне,— кем для меня была эта женщина! У всех у вас есть салоны, двор, честолюбивые мечты, которые занимают вас; почести и награды, которых вы добиваетесь; у вас есть развлечения, которые наряду со сплетнями о работе обенх палат занимают свое место в ваших сердцах; у вас также есть новые назначения, награды и отличия, которые получают ваши противники. У меня же в этом мире была только она, она одна; она была моей жизнью, моим счастьем, моей радостью, моими честолюбивыми надеждами. Только те слова, которые я

слышал из ее уст, только они одни имели для меня значение; а сейчас, когда я чувствую, что все это внезапно уходит у меня из-под ног, мне кажется, что я вступаю в пустыню, где нет ни воды, ни солнца, ни света и где отныне мерилом времени будут лишь мои страдания! О Господи, Господи!..

— А, ерунда,— сказал барон.— Все это чепуха!

— Сударь!— Голос капитана звучал почти угрожающе.

— Вы не помешаете сказать мне брату,— повторил барон, не теряя из виду свое наследство,— вы не помешаете мне сказать ему, что ради чести своего рода, чье имя он носит, он не должен допускать, чтобы это родовое имя было унижено и втоптанно в грязь; перестав уважать женщину, недостойную вас, вы перестаете ее любить.

— Все это, брат мой, софизм, парадокс, заблуждение! — вскричал шевалье с отчаяньем в сердце.— В этот самый миг, слышите ли вы, в то самое мгновение, когда ее вина разбивает мне сердце, когда краска стыда заливает мне лицо, так вот, в это мгновенье я люблю ее! Я ее люблю!

— Друг,— проговорил капитан,— надо быть мужчиной; надо жить!

— Жить! Зачем мне теперь жить?.. Ах, да, чтобы отомстить за себя, чтобы убить ее любовника. Да, по законам света, по законам чести один из нас, я или он, должен теперь умереть, потому что Бог создал ее женщиной, а значит, вероломной, коварной и бесчестной; и из-за того, что она, вероломная и бесчестная, нарушила супружескую верность, нарушила свои обязательства, должен погибнуть человек, и все это ради удовлетворения света, ради чести, как будто бы свет волновало то, каким образом у меня украли мою радость, как будто бы честь когда-либо тревожилась о моем блаженстве или моих невзгодах. Но и свет, и честь заботит лишь одно — кровь. Они как должное воспринимают то, что оскорбление должно быть смыто кровью. Эта кровь их не пугает.

— Неужели вы боитесь, брат мой? — спросил барон. Взгляд, которым шевалье посмотрел на брата, выражал полную отрешенность.

— Я боюсь только одного: оказаться на месте того, кто убьет...— ответил он.

Воодушевление и решимость, с которыми он произ-

нес эти слова, доказывали, насколько искренен он был.

Затем, сделав усилие и положив руку на плечо капитана, шевалье сказал:

— Пойдем, мой бедный Думесниль. Помогите мне отомстить за себя, потому что я не могу доверить эту миссию Богу, не прослывав трусом.

И, повернувшись к барону, добавил:

— Барон, я клянусь честью, что завтра в это время один из нас, господин де Понфарси или я, будет мертв. Это все, чего вы требуете, защищая честь семьи?

— Нет, ведь я знаю вашу мягкотелость, брат мой. Я требую юридических полномочий представлять вас на официальном бракоразводном процессе, который будет начат против вашей недостойной супруги.

— И этот документ, эта доверенность, соответствующим образом подготовленная и составленная, конечно же, у вас при себе сейчас, брат мой?

— На ней не хватает лишь вашей подписи.

— Я так и думал... Перо, чернила, доверенность.

— Вот все, что вы требуете, мой дорогой Дьедонне,— сказал барон, одной рукой подавая брату документ, а другой перо и чернила.

Шевалье подписал без единой жалобы, без единого вздоха.

Но при этом его рука так дрожала, что подпись можно было разобрать с большим трудом.

— Тысяча чертей! — вскричал капитан, увлекая за собой своего друга и бросая на барона прощальный взгляд.— Скольких людей повесили, хотя они и заслуживали этого гораздо меньше, чем этот негодяй.

Глава IX

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

У двери на улицу между шевалье и его другом разыгралось почти настоящее сражение.

Шевалье хотел повернуть налево, капитан старался увести его вправо.

Дьедонне хотел только одного: вернуться к себе, бросить в лицо Матильде обвинение в измене и сказать ей последнее «прости».

Капитан, напротив, в интересах своего друга и в своих собственных имел веские причины не допустить этого свидания.

Он пустил в ход все свое красноречие, чтобы заставить Дьедонне отказаться от его намерения, но только с большим трудом ему удалось убедить шеваляе де ля Гравери не показываться дома и пожить несколько дней в его скромной квартирке.

Устроив гостя в маленькой комнате, капитан снял свою форму, переделался во все черное и собрался уходить.

Бедный шеваляе был настолько погружен в свое горе, что догадался о намерениях своего друга только тогда, когда тот открывал дверь.

Он подобно ребенку протянул к нему руки.

— Думесниль, ты покидаешь меня одного?

— Мой бедный друг, разве ты уже забыл, что должен кое у кого потребовать отчет в том, как он распорядился, я уже не говорю твоей честью, но и ее честью тоже?

— О! Да! Да! Признаюсь, я забыл об этом, Думесниль! Я думал о Матильде

И шеваляе вновь разразился слезами.

— Плачьте, плачьте, мой друг,— сказал капитан.— Бог милостив, все, что он делает, он делает на совесть, поэтому он снабдил сердца добрых и слабых существ большими клапанами, через которые изливаются их страдание и боль, в противном случае убившие бы их... Плачьте! И если кто-то вам скажет: «Утрите слезы!» — то это буду не я.

— Хорошо, мой друг, идите! — сказал шеваляе.— Идите! Я благодарю вас, что вы напомнили мне о моем долге.

— Я ухожу и отправляюсь туда.

— Но только одно пожелание.

— Какое же?

— Постарайтесь не откладывать это надолго; устройте, если возможно, так, чтобы все состоялось завтра утром.

— Будьте спокойны, мой друг.— Капитан обнял шеваляе и прижал его к груди.— Я буду очень огорчен, если дело уже не закончится сегодня вечером.

Шеваляе остался один.

И именно здесь я прерву свой рассказ, чтобы почтительно попросить прощения у читателей.

В самом начале я объявил, что эта книга совсем не похожа на остальные романы. И вот тому доказательство.

Герои всех романов хороши собой, прекрасно сложе-

ны, стройны, высоки ростом, храбры и сильны, умны и находчивы.

Они либо жгучие брюнеты, либо блондины с пышной шевелюрой и большими черными или голубыми глазами.

Они столь горды и обидчивы, что при малейшем оскорблении хватаются за эфес шпаги или за ствол пистолета.

Наконец, они тверды в своей решимости: ненависть вызывает у них ответную ненависть; любовь же — ответную любовь.

Наш герой совершенно иной: он скорее неказист, чем хорош собой; мал ростом, чем высок; не стройный, а кругленький; скорее простодушный, нежели умный, и трус, нежели храбрец.

Он не был ни жгучим брюнетом, ни блондином: его волосы имели желтоватый оттенок; глаза вместо голубых или черных были зелеными.

Нанесенное ему оскорбление было велико, и, однако же, как он сам сказал, он будет драться, но только потому, что таково требование общества.

И наконец, он крайне нерешителен и, вместо того, чтобы ненавидеть, он продолжает любить ту, которая его обманула.

Уже давно мне казалось, что мы отказываем обездоленным, слабым натурам в праве любить и страдать.

И мне кажется, что совсем не обязательно быть красивым, как Адонис, и смелым, как Роланд, чтобы получить право на высшее проявление любви и горя.

Я искал в своем воображении мечту, в которую мог бы вдохнуть жизнь; и вот случай мне помог встретить именно такого человека.

Это был бедный шевалье де ля Гравери.

Он явился живым примером того, как, не будучи ничем похожим: ни физически, ни духовно, — на героя романа, можно испытать все человеческие страсти, заключенные в этих нескольких словах: он любил, он был обманут.

Оставшись один, Дьедонне не стал уподобляться Антонию или Вертеру, а просто и совершенно естественно предался своему отчаянию.

Он ходил по комнате, и вдоль, и поперек, и из угла в угол, называя Матильду отнюдь не вероломной, жестокой и неблагодарной, а самыми нежными и ласковыми словами, которые предназначались ей обычно; он обращался к ней с упреками, как будто она могла его

слышать. Он готов был обвинить во всем самого себя и пытался понять, не подал ли он Матильде каких-либо поводов для огорчения, которые могли бы оправдать ее измену. Он вытирал слезы, чтобы через несколько мгновений вытереть их снова.

Признаюсь, все мое сочувствие отдано несчастным именно такого рода. Слабость человека, сохранившего полную беспомощность ребенка, разрывает сердце: ведь заведомо знаешь, что, не найдя утешения в себе самой, она не станет его искать и в других; для нее все зависит от Бога. Не то чтобы эта слабость черпала силы в вере; ведь она не говорит: «Ты дал мне мое счастье, Ты его у меня и отнял, будь благословен, Господи». Нет, она говорит: «Что я сделал такого, что так страдаю, Господи! Господи! Сжался надо мной!»

Знаете ли вы, какое желание овладело этим несчастным, так жестоко обманутым своей супругой?!

Желание вновь увидеть Матильду, только раз, еще один только раз.

Осыпать ее упреками, высказать всю боль и обиду, душившие его.

Желание...

Кто знает? А вдруг ей удастся оправдаться, доказать свою невиновность!

После тысячи сомнений, после тысячи колебаний он наконец решился и бросился к двери.

Но замок не поддавался его усилиям, и шевалье понял, что капитан закрыл его на два оборота.

Он подбежал к окну и принялся проклинать своего друга.

То, что он мог проклинать кого-то другого, а не Матильду, принесло ему некоторое облегчение.

Вдруг ему пришло в голову, что если он станет кричать в окно, то, возможно, придет консьержка и сможет открыть дверь запасным ключом, который, несомненно, должен у нее быть. Он открыл окно и закричал.

Двор по-прежнему оставался пустынным.

Но чем больше препятствий вырастало на пути у шевалье, тем все сильнее и сильнее становилось его желание вновь увидеться с Матильдой.

«Да, да, да,— громко вслух говорил он,— мне необходимо ее увидеть, и я ее увижу!..»

Затем он вскричал: «Матильда! Матильда! Матильда! Дорогая Матильда!»

И, заламывая руки, он рухнул на ковер.

Вдруг он приподнялся и осмотрелся.

Его взгляд остановился на кровати: это было именно то, что он искал.

Он ринулся к кровати, подобно тому, как тигр бросается на свою добычу, сорвал простыни, разорвал их на полосы и стал связывать эти полосы одна с другой.

Закончив эту работу, он устремился прямо к окну.

Проходя мимо двери, шевалье остановился и еще раз попытался ее открыть, но это было бесполезно; он изо всех сил навалился на нее всем телом, но дверь была крепкой и прочной, она устояла.

«Вперед!» — сказал шевалье.

И привязал один конец своей веревки к перекладине окна.

Настала ночь или по крайней мере уже спустились сумерки.

Шевалье взглянул вниз и отпрянул назад; высота окна вызвала у него головокружение.

«У меня кружится голова, потому что я смотрю вниз. Если я не буду смотреть, то и голова больше не закружится».

И он закрыл глаза, встал на окно, уцепился обеими руками за веревку и начал свой спуск.

На высоте второго этажа, то есть на полдороге, шевалье услышал треск у себя над головой; затем, вдруг ничем более не удерживаемый, он всей тяжестью упал с высоты пятнадцати футов.

Импровизированная лестница оборвалась; возможно, был плохо завязан узел или же старые простыни, уже износившиеся и разорванные на тонкие полоски, не выдержали веса человека.

Первым чувством шевалье была радость, что он находится на земле.

Он испытал сильное сотрясение во всем теле, но у него нигде ничего не болело.

Он попытался было встать, но тут же свалился снова.

Его левая нога отказывалась ему служить.

Она была сломана на три дюйма выше лодыжки.

Все же он попробовал сделать несколько шагов.

Но именно в этот момент его пронзила нестерпимая боль, настолько ужасная, что он закричал, он, который, тадая, даже не вскрикнул.

Потом у него все закружилось и поплыло перед глазами. Он добрался до стены, чтобы опереться о нее; но стена уходила от него, плывя, как и все остальное вокруг.

Он чувствовал, что теряет сознание.

Он еще раз произнес имя Матильды; это было последним проблеском его ума или, точнее, последним порывом его сердца, и сознание покинуло его.

При звуке этого имени ему показалось, что какая-то женщина ответила и направилась к нему и что это была Матильда.

Но разум его был подернут уже слишком густой дымкой и не мог с ясностью различать происходящее; шевалье протянул руки к милому образу, не зная, мечта это или реальность.

Этой женщиной действительно была Матильда, которая, совершенно не подозревая о событиях дня и видя, что Дьедонне не возвращается, дождалась наступления темноты и, набросив на шляпу густую вуаль, сначала побежала к господину де Понфарси.

Господина де Понфарси не было дома.

Тогда она побежала к господину Думеснилю.

Она пересекала двор, направляясь к черной лестнице, ведущей в скромные апартаменты капитана, когда услышала крик, а затем увидела человека, который шатался, как пьяный, и в конце концов упал, выкрикивая имя «Матильда».

И только тогда она узнала в этом человеке своего мужа.

Она метнулась к нему, обхватила его ладони своими руками, позвала:

— Дьедонне! Дорогой Дьедонне!

Звук этого голоса заставил Дьедонне содрогнуться в его небытие, он открыл глаза, и непередаваемое выражение восторга и счастья отразилось у него на лице.

Он хотел заговорить, но силы изменили ему, голос его не слушался, глаза вновь закрылись, и до Матильды донесся всего лишь протяжный и болезненный вздох.

В этот момент третье действующее лицо присоединилось к участникам этой сцены.

Это был капитан Думесниль.

Он увидел Дьедонне, лежавшего без чувств, около него плачущую Матильду, разорванные на полоски простыни, свисавшие из окна, и все понял.

— А, мадам, вам не хватает только стать причиной его смерти, и его тоже.

— Как?! Его тоже? — спросила Матильда. — Что вы хотите сказать этим?

— Я хочу сказать, что тогда их будет двое.

И капитан бросил на брусчатку двора две шпаги, которые, отскочив от нее, зазвенели.

Затем он, как ребенка, поднял на руки Дьедонне и отнес его к себе.

Пребывая в полной прострации, Дьедонне все же имел смутное представление о происходящем.

Ему казалось, что он узнал комнату капитана; его положили на кровать, лишившуюся простыней; он слышал раздававшийся у него над ухом резкий и звучный голос своего друга и вторивший ему нежный, ласковый голосок Матильды.

Она называла капитана: «Шарль!»..

Раненому, у которого началась горячка, все время казалось, что он является свидетелем странного спектакля, в котором героями были его друг и его жена; судя по тому, что он слышал или скорее воображал, что слышит, его друг тоже обманывал его. Однако капитан проклинал ту, которая толкнула его на этот шаг, который он теперь считал преступлением, и объявлял ей, что постарается искупить свою вину, посвятив себя отныне душой и телом своей жертве.

Матильда же стояла на коленях перед его кроватью; она поддерживала его, обнимала, целовала ему руки; признавая свою вину, просила пощады то у Думесниля, то у него, и клялась искупить ее, живя, в свою очередь, в строгости и покаянии.

Затем глухой гул в ушах, возникающий, когда кровь подобно бурному потоку устремляется к сердцу и приливает к голове, поглотил переливы голосов, и сознание полностью покинуло шевалье де ля Гравери.

Когда он пришел в себя, то почувствовал, что нога его уже взята в лубки. Он находился в комнате капитана и при свете лампы, горевшей на ночном столике, увидел, что его друг сидит в изножье кровати.

— А Матильда, — спросил он, обводя глазами комнату, — где она?

Этот вопрос заставил капитана подскочить на стуле.

— Матильда! Матильда! — невнятно пробормотал он. — Почему вы спрашиваете о Матильде?

— Куда она ушла?.. Она ведь только что была здесь.

Если бы Дьедонне в эту минуту посмотрел бы на честное, открытое лицо своего друга, он мог бы подумать, что тот сейчас, в свою очередь, упадет без чувств, так он был бледен.

— Друг мой,— сказал Думесниль,— ты бредишь, никогда твоя жена не приходила сюда.

Дьедонне посмотрел на Думесниля блестящими от горячки глазами.

— А я тебе говорю, что она была только что здесь и вся в слезах стояла на коленях, целуя мне руки.

Капитан сделал усилие, чтобы солгать.

— Ты сошел с ума! Мадам де ля Гравери, без сомнения, находится сейчас у себя, ничего не подозревая о случившемся, и поэтому ей совершенно незачем было появляться здесь.

Шевалье издал тяжкий стон, и его голова упала на подушку.

— И все же я мог бы поклясться, что она была здесь всего несколько мгновений назад и, рыдая, просила прощения; что она... что она звала тебя.

Нечто подобное молнии пронзило мозг несчастного. Он выпрямился, почти угрожая.

— Как вас зовут? — спросил он у своего друга.

— Но ты же это хорошо знаешь, если только горячка не отняла у тебя память.

— Нет, скажите, как ваше имя?

Капитан понял.

— Луи,— ответил он,— разве ты не помнишь?

— Да, это правда,— сказал Дьедонне. В самом деле, это было единственное имя, под которым он знал капитана, звавшегося Луи-Шарль Думесниль.

Потом ему пришло в голову, что, тревожась о судьбе мужа, его жена по крайней мере должна была бы прийти и справиться о нем.

— Но если ее здесь не было и нет,— с горечью пробормотал он,— то где же она?

И прибавил так тихо, что Думесниль с большим трудом смог что-то расслышать:

— Конечно же, у господина де Понфарси.

Это предположение вновь пробудило его гнев.

— А! Знаешь, Думесниль, я должен его убить или пусть он убьет меня!

— Он не убьет тебя, а уж ты его и подавно,— глухо ответил капитан.

— Это почему же?

— Потому что он убит.

— Убит? Как же это?

— Непринужденным ударом шпаги, нанесенным из четвертой позиции прямо в грудь.

— А кто его убил?

— Я.

— Вы, Думесниль? И по какому праву?

— Я должен был уберечь тебя от верной смерти, мой бедный большой ребенок; твой брат, возможно, наденет траур по случаю того, что ты остался в живых, но тем хуже для него!

— И ты вызвал его, несчастный, сказав, что дерешься вместо меня, потому что Матильда мне изменила?

— Нет, успокойся; я дрался с господином де Понфарси, потому что он пил неразбавленный абсент, а я не выношу людей с такой ужасной привычкой.

Шевалье обеими руками обнял капитана за шею и, порывисто поцеловав, прошептал:

— Определенно, мне все привиделось.

Но тот, у кого это восклицание вызвало новые угрызения совести, нежно высвободился из объятий шевалье, отошел от него и в полном молчании сел в углу комнаты.

— О! Матильда! Матильда! — шептал про себя шевалье.

Глава X,

В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ПУТЕШЕСТВИЯ ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР ЮНОШЕЙ

Было решено, что шевалье останется у Думесниля до тех пор, пока не поправится.

Признаться, капитан принял это решение, не посоветовавшись ни с кем, кроме самого себя.

Он положил раненого на свою постель, а сам устроился на канапе. Для человека, проделавшего почти все военные кампании времен Империи, это был не такой уж утомительный бивак.

Шевалье ни на минуту не сомкнул глаз: всю ночь он ворочался в постели, сдерживая рыдания, но отчаянно вздыхая.

На следующий день Думесниль попробовал его отвлечь: он заговорил с ним об удовольствиях, об учении, о новых привязанностях; но шевалье де ля Гравери, отвечая ему, всякий раз неизменно возвращался к Матильде и к своему отчаянию.

Думесниль здраво рассудил, что одно лишь время может исцелить Дьедонне от тоски и уныния, а чтобы больной мог перенести эти страдания, ему необходимо

отправиться в путешествие, как только его состояние это позволит.

Полностью подчинив свою жизнь данному им обещанию, капитан, чей возраст с некоторого времени уже позволял ему выйти в отставку, предпринял необходимые шаги, чтобы оставить службу и уладить вопрос о пенсии.

Перелом был довольно простым, и выздоровление шло без осложнений, поэтому через шесть недель, когда его друг вновь начал ходить, Думесниль попросил шеваляе де ля Гравери отправиться вместе с ним в Гавр, где, по его словам, у капитана было какое-то дело.

По приезде туда, поскольку Дьедонне впервые видел море, Думесниль настоял на том, чтобы они посетили пакетбот; шеваляе безропотно последовал за ним; но, как только они поднялись на борт, капитан объявил ему, что для них были заранее заказаны места на этом пакетботе и что завтра в шесть утра они отплывают в Америку.

Шеваляе с изумлением выслушал его, но ни слова не возразил против этого плана.

В Париже в тот день, когда его друг, возможно, не без умысла оставил его одного, шеваляе тайно наведаясь на Университетскую улицу, чтобы, вне всякого сомнения, увидеться с мадам де ля Гравери, а может быть, и простить ее.

Консьержка ответила ему, что на следующий день после того, как сам он не вернулся домой, мадам де ля Гравери уехала и никому не известно, что с ней стало.

Все усилия шеваляе де ля Гравери отыскать ее убежище привели лишь к тому, что он утвердился в мысли, что она покинула Францию.

И только после того, как бедный шеваляе убедился, что не может оказать своей жене снисхождения, доказательства которого он готов был ей предоставить; только после этого он согласился последовать за своим другом в Гавр.

Впрочем, если Матильда покинула Францию, то, возможно, она покинула ее через Гавр, и, может быть, в Гавре благодаря счастливому случаю он что-нибудь узнает о ней.

Здесь надо признаться, что шеваляе несколько утратил свою веру в судьбу и самым заурядным образом стал полагаться на случай, прежде всего на счастливый случай.

Никаких препятствий к тому, чтобы покинуть Францию, не было, ведь Матильды больше не было во Франции. Поэтому он устроился у себя в каюте, даже не выразив желания вновь сойти на берег.

На следующий день с чисто американской пунктуальностью пакетбот поднял якорь и вышел в море.

В течение всего плавания бедняга шевалье страдал от морской болезни, и поэтому вместо того, чтобы думать о Матильде, он не думал больше ни о чем; так что капитан подобно тому заключенному, которому до смерти наскучила его тюрьма и которому объявили о предстоящих ему пытках, готов был воскликнуть:

— Хорошо! Это хоть как-то развлечет на мгновение!
Прибыли в Нью-Йорк.

Суэта большого торгового города, поездки по окрестностям, прогулки по Гудзону, посещение Ниагары сделали трехмесячное пребывание здесь вполне терпимым.

Но среди всего этого случались ужасные потрясения.

Время от времени шевалье встречал женщину, которая либо лицом, либо осанкой походила на Матильду.

Тогда он отстранял руку своего друга, бросался сломя голову вперед и семенял за дамой до тех пор, пока не сознавал свою ошибку; поняв, что обознался, он падал без сил прямо там, где стоял: или на скамейку, или на каменную тумбу, или даже прямо на землю, — и так оставался до того момента, пока его друг не приходил за ним.

Вот почему капитан решил его полностью избавить от этих испытаний, удалив от цивилизации.

Он поднялся с ним по реке Святого Лаврентия до Верхнего озера, по Миссисипи отплыл из Чикаго, спустился по реке до Сент-Луиса, поднялся по Миссури до форта Мандан и там, присоединившись к каравану, следовавшему вдоль русла реки Желтого Камня, пересек вместе с ним Сьерру де Лос Мемброс и достиг Санта-Крусса; затем по Колорадо спустился до Калифорнийского залива, пользуясь этой возможностью показать шевалье новые места, а главное женщин, которые ни своим лицом, ни осанкой, ни фигурой не могли бы напомнить шевалье мадам де ля Гравери.

В эту пору Калифорния еще принадлежала Мексике и поэтому все еще была пустыней. Капитан и его друг остановились в бараке, стоявшем на том месте, где сегодня находится театр Сан-Франциско; в бараке, который в эту пору почти одиноко смотрелся в серебристые воды бухты.

Шевалье проделал всю эту долгую дорогу, то плывя на пароходе, то сидя верхом на муле или лошади; его прежние страхи улетучились, и, не став первоклассным наездником, он все же научился более или менее справляться с различными верховыми животными, на которых ему приходилось садиться.

Помимо этого, его друг, воспользовавшись яростью, которую вызывала у шевалье неумолчная болтовня зеленых попугайчиков, целые стаи которых встречаются на просторах от Санта-Круса до Калифорнийского залива и которые отвлекали шевалье от его раздумий, дал ему в руки ружье, и мало-помалу под его руководством шевалье научился обращаться с этим оружием.

Шевалье де ля Гравери не стал первостатейным стрелком, но тем не менее с тридцати шагов и прицелившись он был почти уверен в своем зеленом попугайчике.

Стремясь разнообразить удовольствия, капитан время от времени заменял ружье на пистолет, а пулю на дробь.

Де ля Гравери начал с того, что, сделав первые сто выстрелов по первым ста попугайчикам, промазал все сто раз; потом он все же попал в одного из них, упустив остальные пятьдесят; затем он стал уже попадать в одного из двадцати пяти, из двенадцати, даже из шести; наконец, он смог подстрелить одного попугая из четырех.

Его меткость в стрельбе из пистолета никогда не поднималась выше этого предела, но капитан, стрелявший своих попугайчиков без промаха, посчитал, что его друг добился изрядных успехов, и заявил, что крайне им доволен.

Затем под тем предлогом, что де ля Гравери склонен к полноте, он вынудил его заняться фехтованием. Ради этого упражнения, заставлявшего шевалье выйти из своего обычного состояния апатии, капитану потребовалось употребить всю свою силу воли; но шевалье привык повиноваться, как ребенок, и, будучи на третьем месте в стрельбе из ружья, на четвертом в стрельбе из пистолета, он, по всей вероятности, был где-то на шестом или на седьмом в искусстве фехтования.

Все это само по себе не представляло ни для кого никакой опасности; но теперь при необходимости шевалье мог защитить себя, на что ранее он был совершенно неспособен.

Но капитан вынашивал еще более дерзкий и отчаянный план: он хотел воспользоваться первым же судном,

отплывающим на Танти, и предоставить своему другу возможность провести год в этом райском уголке Тихого океана, этой жемчужине Полинезии.

Случай не замедлил представиться.

Шевалье поднялся на борт, даже не заинтересовавшись, в какую точку земного шара он поплывет под этими парусами.

Двенадцать дней спустя они высадились на берег в Папаэти.

До сих пор капитан ни разу не замечал, чтобы его друг обращал хоть малейшее внимание на окружающий пейзаж; даже Ниагарский водопад всего лишь на мгновение смог привлечь его внимание; он заткнул себе уши и сказал:

— Уйдем отсюда, а то я оглохну.

Это было единственное, в чем выразилось его удивление.

Он спустился по Миссисипи и видел, как мимо него проплывают эти колоссы в три этажа, похожие на плавучий городской квартал, но он даже не поднял глаз, чтобы увидеть их вершину; он пересек девственные леса, но, затерянный среди них, он нимало не волновался, как они сумеют выбраться оттуда; он блуждал в поисках пути в бескрайних прериях и ни разу вопросительно не смотрел на горизонт, пытаясь угадать, придет ли им когда-нибудь конец.

Но, прибыв в Папаэти, он не мог удержаться, чтобы не сказать:

— В добрый час! Вот страна, которая производит на меня приятное впечатление... Как она называется, Думесниль?

— У нее много имен,— ответил капитан.— Кирос, который первым побывал здесь, назвал ее Саиттария; Бугенвиль, как истинный француз XVIII века, окрестил ее Новым Сите; Кук островом Друзей; как видишь, у тебя широкий выбор.

Шевалье не стал спрашивать дальше, и этого для него было уже слишком много.

Лоцман-индеец, поднявшийся на борт, провел судно между рифами, и оно бросило якорь в тихой, как озеро, бухте.

Множество канакских пирог приплыло за пассажирами; эти пироги, как и подобные им в Новой Зеландии, на Сандвичевых островах и на острове Пен, были выдолблены из целого ствола дерева.

Шевалье, спрыгнув в лодку, чуть ее не опрокинул, но это его не особенно взволновало:

— Подумать только,— сказал он,— еще немного, и я бы утонул.

— Как, разве ты не умеешь плавать? — спросил Думесниль.

— Нет,— просто ответил шевалье,— но ведь ты меня научишь, не правда ли, Думесниль?

Думесниль уже столькому научил шевалье, что тот нимало не сомневался, что тот научит его плавать, так же как научил фехтовать, ездить верхом, стрелять из ружья и пистолета.

— Нет,— сказал Думесниль,— я не научу тебя плавать.

— О! — Дьедонне был удивлен.— Почему? Что это значит?

— Дело в том, что здесь в качестве учителей плавания выступают женщины.

Шевалье покраснел; он находил эту шутку несколько вольной.

— Лучше посмотри,— сказал Думесниль.

Они подошли к борту, было пять часов вечера, и капитан смог ему показать целую стайку женщин, резвившихся в воде.

Шевалье проследил глазами за движением рук капитана.

И тогда он увидел подлинный спектакль, который невольно покори́л его.

Около двенадцати женщин, обнаженных подобно античным nereidam, плавали в этой голубой воде, такой прозрачной, что в тридцати — сорока футах под водой можно было рассмотреть ту изумительную подводную растительность, которая мало-помалу создала эти коралловые отмели и рифы, окружавшие остров.

Вообразите себе гигантские мадрепоры, имеющие форму громадных губок; каждая пора в этих губках была подобна огромной зияющей пропасти; было видно, как в них туда-обратно сновало бесчисленное множество рыб всех форм, всех расцветок: голубые, красные, желтые, золотистые.

И посреди этого великолепия, не обращая никакого внимания ни на скалы, ни на пропасти, ни на акул, время от времени стремительно пронесившихся на горизонте, подобно стрелам из полированной стали, плавали женщины, нимфы, не только не ведавшие, что такое стыд, но

даже и не знавшие такого понятия: в языке местных жителей нет слова, обозначающего эту чисто христианскую добродетель. Распустив свои длинные волосы, служащие им единственным одеянием, женщины ныряли в этой воде, такой чистой и прозрачной, что она походила на плотный сгустившийся слой воздуха, приближались и удалялись, кружились на одном месте, и чувствовалось, что море — это их вторая стихия, и едва ли им требовалось выныривать на поверхность, чтобы перевести дыхание.

Шевалье был близок к обмороку: у него все поплыло перед глазами, как у пьяного.

Когда он ступил на землю, капитану пришлось его поддерживать.

Он сел вместе с шевалье под панданусом из цветов.

— Ну что ты думаешь об этом уголке, мой дорогой Дьедонне?

— Это рай,— ответил тот.

А потом со вздохом произнес:

— О! Если бы Матильда была здесь с нами!

И с меланхолическим выражением, которое так было чуждо всей его округлой, пухленькой фигуре, взор шевалье устремился в глубины бескрайнего горизонта.

Капитан оставил его предаваться мечтаниям под панданусом, а сам вступил в разговор с местными жителями; каким бы теплым ни был воздух, каким бы нежным ни было дуновение ветерка в бухте Папезэти, капитан не собирался ночевать под открытым небом.

Затем он вернулся к Дьедонне.

Было шесть часов вечера, время, когда наступает ночь; солнце, похожее на раскаленный круг, быстро опускалось в море.

На Таити и ночь, и день длятся ровно двенадцать часов, в любое время года солнце встает в шесть утра и заходит в шесть вечера, и каждый в любое из этих мгновений дня может поставить свои часы по этому уникальному небесному механизму с такой же точностью, с какой в прошлом это делали парижане по часам Пале-Рояля.

Капитан кончиком пальца дотронулся до плеча Дьедонне.

— Что такое? — спросил его шевалье.

— Ничего. Это я,— сказал капитан.

— Что ты хочешь?

— Черт возьми! Я хочу спросить, что ты собираешься делать?

Шевалье посмотрел на капитана удивленными глазами.

— Что я собираюсь делать? — повторил он.

— Конечно.

— Боже мой! — вскричал почти в ужасе шевалье. — Разве это меня касается?

— Да. Ведь речь идет о том, где мы будем жить. Ты собираешься остаться здесь на некоторое время?

— Так долго, как ты этого захочешь.

— Ты хочешь жить здесь по-европейски или по обычаям местных жителей?

— Мне все равно.

— Поселиться в гостинице или в доме?

— Как ты хочешь.

— Ладно, пусть все будет так, как хочу я, но потом не жалуйся.

— Разве я когда-нибудь жаловался? — спросил Дьедонне.

— Это правда, бедный агнец Божий! — прошептал капитан про себя; и затем, обращаясь к шевалье, сказал:

— Хорошо, посиди здесь еще минут десять, полюбуйся закатом солнца, а я пойду позабочусь о нашем жилище.

Дьедонне кивнул головой в знак согласия; он имел все такой же грустный и печальный вид, но к нему вдруг пришло ранее не ведомое ощущение физической гармонии.

Едва солнце скрылось в море, как сразу же почти с волшебной быстротой спустилась ночь.

Но что это была за ночь!

Это не была черная непроглядная мгла; просто кто-то взял и выключил яркий дневной свет. Но в воздухе по-прежнему разливалось сияние, он был светел и прозрачен, как это бывает в самые прекрасные закатные часы в наших широтах; море, где каждая рыба отражала серебристый переливчатый свет; небо, в котором каждая звезда, казалось, распускалась подобно розе или серебристому васильку.

Капитан вернулся за Дьедонне.

— О! — сказал тот. — Дай мне еще полюбоваться этой красотой.

— А! — радостно откликнулся капитан. — Наконец-то, ты почувствовал это!

— Да, и мне кажется, что только с этого момента я начинаю жить.

— Пойдем, ты сможешь наслаждаться всем этим из твоей комнаты.

— Из окна?

— Нет, через перегородку. Идем же!

Впервые Дьедонне не сразу послушался капитана. Оба направились к дому.

В состоянии шевалье были заметны и другие перемены; он, побывавший в стольких домах после того, как покинул комнату капитана, и не обращавший на них никакого внимания, с интересом осмотрел свое будущее жилище.

Отдадим должное: оно было весьма примечательным.

На первый взгляд оно скорее напоминало клетку для птиц, нежели жилье человека.

Дом был почти квадратным, но из-за того, что обе его стороны были закруглены, он казался скорее вытянутым в длину, чем в ширину. Стены его покрывали листья пандануса, заходящие друг на друга подобно черепице.

Его можно было принять за большую решетчатую шпалеру, похожую на те, которые ставят вдоль стен наших садов, чтобы по ним поднимались вверх лианы дикого винограда и вьюнка.

Крыша опиралась на столбы.

Она состояла из балок, покрытых красно-черными циновками; в углу валялся матрас, набитый морскими водорослями, с большим белым куском полотна. Это были постель и белье.

В середине комнаты возвышался маленький стол, на котором стояли фрукты, молочные продукты, хлеб.

Все это освещалось с помощью зажженных фитилей, опущенных в сосуды из тыквы, заполненные кокосовым маслом, заменявшие лампы.

Через ажурные стены видны были небо, море и как бы парящий между этими двумя безбрежными стихиями, столь же безбрежный хоровод золотистых звезд.

— Итак,— сказал Думесниль Дьедонне,— ты понял, что ничто тебе не мешает видеть, что творится снаружи.

— Да, мой друг,— ответил шевалье,— но..

— Что но?

— Если мне ничто не мешает видеть происходящее снаружи, то также ничто не мешает человеку, находящемуся вне дома, наблюдать за мной.

— Ты собираешься заняться чем-то плохим?

— Боже сохрани!

— Но тогда чего же тебе бояться?

— Действительно, чего мне бояться? — повторил ше-
валье.

— Совершенно нечего.

— Нет ни змей, ни ужей, ни крыс?

— Ни одного вредного животного на всем острове.

— Ах! — вздохнул шевалье. — Матильда! Матильда!

— Опять! — вырвалось у Думесниля.

— Нет, друг мой, нет! — вскричал шевалье — Но если
бы она была здесь...

— Что тогда?

— Я никогда бы не вернулся во Францию.

Капитан посмотрел на своего друга и, в свою очередь,
не смог сдержать вздоха.

Но как бы сильно один вздох ни был похож на дру-
гой, вздох капитана ничем не напомнил вздоха шевалье.

Первый был рожден глубокой печалью; второй —
раскаиванием.

Глава XI

МАЛУНИ

Шевалье сел за стол, съел гуайяву, два или три ба-
нана, некий неземной ему фрукт, красный, как клуб-
ника, и большой, как яблоко ранета.

Затем вместо хлеба он обмакнул в чашку с кокосо-
вым молоком клубни маннокки; и затем на вопрос дру-
га — а шевалье вступал в разговор только тогда, когда
его спрашивали, — объявил, что никогда в жизни еще
так славно не ужинал.

После ужина капитану с трудом удалось его угово-
рить раздеться, чтобы лечь в постель. Эти хлипкие сте-
ны — жалюзи тревожили его стыдливость и целомудрие.

И только после того, как Думесниль убедил его, что
после десяти часов вечера все жители Папезети уже ле-
жат в постелях, шевалье решился снять одежду.

И все же, как ни уверял его капитан, что в этом по-
линезийском Эдеме женщины и мужчины спят обнажен-
ными, испытывая высшее наслаждение, когда их кожу
ласкает нежное бархатистое дуновение ночного ветерка,
он наотрез отказался расстаться со своей рубашкой и
кальсонами.

Уложив шевалье в постель, как он это обычно делал
каждый вечер вот уже в течение трех лет, капитан уда-
лился к себе, иначе говоря, во вторую из отведенных им
в доме комнатушек.

Две оставшиеся комнаты занимала семья жителей Таити, у которых капитан снял жилье и которые согласно взаимной договоренности незамедлительно освободили две комнаты.

Шевалье не знал об этом; он никогда ничем не интересовался и ни о чем не спрашивал, и поскольку перегородка, отделявшая шевалье от его хозяев, была плотно закрыта, ему и в голову не пришло спросить, что находится по другую ее сторону.

Единственное, что притягивало взор шевалье, когда что-то все же притягивало его взор, была грандиозная, величественная картина природы, которая, казалось, была создана для того, чтобы служить фоном для глубокого чувства. И не забывайте, мы уже говорили об этом, что прошло всего несколько часов, как бедняга Дьедонне вспомнил о том, что у него есть глаза.

Он лег и, постепенно все дальше и дальше возвращаясь в своих воспоминаниях, любовался сквозь отверстия хижины этим прекрасным небом и этим лазурным морем.

В нескольких шагах от хижины, невидимая в зарослях, села птица; это был соловей Океании, птица любви, великолепный туи, который бодрствует, когда все спят, и поет, когда все кругом замолкает.

Шевалье, опершись на локоть и приблизив лицо к одному из отверстий, слушал и смотрел, его обволакивала некая непередаваемая атмосфера: он испытывал одновременно и грусть, и удивительное чувство блаженства; можно было подумать, что умиротворение этой ночи, чистота этого неба, гармония этого пеня материализовались, и все это вместе породило некую очистительную атмосферу, предназначенную самим Провидением для того, чтобы освежить усталые члены и заставить сильнее биться страдающие и измученные сердца.

Шевалье показалось, что впервые за три года он дышал полной грудью.

Вдруг ему послышались легкие летящие шаги ребенка, который шел, едва касаясь травы. И в прозрачной темноте ночи перед его взором возникли очертания прелестной фигурки юной девушки четырнадцати-пятнадцати лет, единственным одеянием которой служили ее длинные волосы, а все украшения ей заменяли два изумительных в своем великолепии цветка лотоса: белый и розовый; того лотоса, который стелется по поверхности мелких рек и ручейков и цветки которого юные таитянки

избрали своим любимым украшением, вставляя их гирлянды себе в уши.

Девушка лениво тянула за собой циновку.

В десяти шагах от хижины под апельсиновым деревом напротив зарослей, в которых пел тун, она расстелила эту циновку и улеглась на нее.

Шевалье не знал, что подумать: видит ли он это наяву или во сне, должен ли он закрыть глаза или может держать их по-прежнему открытыми.

Никогда из-под резца скульптора не выходило более прекрасное произведение; но только, казалось, оно было выполнено из флорентийской бронзы, а не из бледного каррарского или паросского мрамора.

Несколько мгновений она забавлялась, слушая пение тун, время от времени движением плеча раскачивая апельсиновое дерево, о которое опиралась спиной и которое осыпало ее дождем своих белоснежных благоухающих цветов.

Затем, не имея никакого другого одеяния, кроме своих длинных волос, которые, впрочем, почти целиком, как покрывалом, окутывали ее фигуру, она плавно опустилась на землю и заснула, прикрыв голову рукой, подобно тому, как птица прячет ее под крыло.

Шевалье, чтобы заснуть, потребовалось гораздо больше времени, и ему это удалось лишь после того, как он повернулся спиной к перегородке и произнес имя Матильды, как щитом заслоняясь им от увиденного.

На следующее утро капитан, войдя в комнату своего друга, нашел его не только проснувшимся, но и уже вполне одетым, хотя едва пробило шесть часов. Шевалье пожаловался, что плохо спал этой ночью. Думесниаз предложил ему, дабы поднять настроение, пойти прогуляться, с чем шевалье охотно согласился.

В тот момент, когда они собирались уходить, в перегородке открылась дверь, и в проеме появилась молодая девушка.

Она поинтересовалась у двух друзей, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Дьедонне узнал в ней свою спящую красавицу, свое видение минувшей ночи и покраснел до ушей.

На сей раз, однако, она была в своем дневном наряде.

Что представляло из себя ее ночное одеяние, нам известно.

Дневной же наряд состоял из длинного белого платья, совершенно прямого, открытого спереди и ничем не стя-

нутого на шее; поверх этого платья вокруг бедер был обмотан кусок материи типа фуляра с огромными розовыми и желтыми цветами на голубом фоне.

Руки, ступни и ноги до колен оставались обнаженными.

Весь красный, шевалье рассмотрел ее более пристально, чего не осмелился сделать прошлой ночью.

Как мы уже сказали, это была девочка четырнадцати лет; однако на Тапти четырнадцатилетняя девочка уже женщина. Она была невысокого роста, как это свойственно таитянкам, но при этом прекрасно сложена; ее кожа имела великолепный медный оттенок; у нее были, и об этом нам тоже уже известно, длинные волосы, шелковистые и черные как вороново крыло, красивый разрез бархатистых глаз, опущенных длинными черными ресницами, широкие и раздувающиеся ноздри, напоминающие ноздри индейцев, созданные для того, чтобы вбирать в себя опасность, наслаждение и любовь, выдающиеся скулы, несколько плоский нос, округлый и чувственный рот, белые, как жемчуг, зубы, маленькие, изящные, красивой формы руки, талия, гибкая, как тростинка.

Капитан поблагодарил юную островитянку, объяснив своему другу, что это дочка их хозяйки, и заявил, что вернется лишь в девять часов.

Девушка, похоже, прекрасно поняла все, что ей было сказано, и капитан, закончив говорить, казалось, ожидал, что его друг поступит точно так же, как он; но Дьедонне воздержался. Он посторонился, чтобы не задеть кусок фуляровой материи, которую девушка носила на бедрах, и прошел мимо нее, раскланявшись так, как будто приветствовал парижанку на бульваре Капуцинов.

После чего быстро увлек за собой своего друга.

Было очевидно, что молодая девушка внушает ему своего рода ужас.

Но капитана все это вовсе ничуть не удивило; он знал, что шевалье совершенно теряется в присутствии женщин, но он не предполагал, что его друг увидит в какой-то таитянке настоящую женщину.

И, указывая на молодую девушку, с грустью смотревшую, как они удаляются, он спросил у шевалье:

— Почему ты ничего не сказал Маауни? Это ее обидело.

— Ее зовут Маауни? — в свою очередь, задал вопрос шевадь.

— Да; не правда ли, красивое имя?

Дьедонне промолчал.

— Ты что-то имеешь против этой девушки? Когда мы переедем в другую хижину, — сказал капитан.

— Нет, нет, — живо ответил Дьедонне.

И они продолжили свой путь. Думесниль, подобно Тарквицию, срубал головы у слишком высоких трав, со свистом размахивая своей бамбуковой палкой. Дьедонне молча шел вслед за ним.

В самом деле, это молчание было столь характерно для шевадь, что, если капитан и заметил его, то оно ничуть его не беспокоило.

Этой первой прогулки было достаточно, чтобы два друга признали, что по крайней мере в плане растительности этот уголок земного шара, по которому они бродили, был настоящим чудом природы.

Город имел одновременно простодушный и чарующий вид; имея честь носить титул столицы, он скорее выглядел, как огромная деревня, нежели чем, как город; каждый домик стоял в саду, окруженный деревьями, под сенью которых он, казалось, прятался; чуть дальше на окраине, где кончались постройки и улицы уступали место тропинкам, деревья самой причудливой формы, сплошь усыпанные цветами и изобильно растущими плодами, смыкали свои кроны наподобие бесконечного зеленого свода; вдоль посыпанных мельчайшим песком аллей тянулись сводчатые галереи, образованные банановыми деревьями, кокосовыми пальмами, гуайявами, папайей, апельсиновыми и лимонными деревьями, панданусом; и среди них выросло железное дерево, со своей красной древесиной и своими ветками напоминавшее гигантскую спаржу, оставленную на семена.

Благоуханное струящееся дыхание ветерка, овевающий стволы деревьев; птицы самых причудливых расцветок; птичье пение и женские голоса, раздающиеся под сводом леса, — это было подлинное волшебное царство фей, которое можно было бы назвать островом цветов и благоволий.

После часовой прогулки, обойдя вдоль и поперек нечто отдаленно напоминающее английский сад, капитан остановился; до него доносилось какое-то странное щебетание, природу которого он никак не мог определить; Думесниль сошел с тропинки, прошел около пятидесяти

шагов между деревьями, раздвинул листву, подооно тому, как поднимают занавес, и, восхищенный, неподвижно замер, онемев от восторга.

Дьедонне проследил за ним взглядом; когда он был рядом с капитаном, то казалось, что вся его сила воли переходила к его другу; он повиновался ему, как тело повинуетя душе, он следовал за ним, как тень следует за телом.

Капитан молча сделал Дьедонне знак приблизиться.

Дьедонне машинально подошел к капитану и рассеянно взглянул.

Но его рассеянность быстро улетучилась; спектакль, который предстал перед его взором, мог бы привлечь внимание даже самого Рассеянного, персонажа Детуша, олицетворяющего собой рассеянность.

Деревья, из-за которых капитан и Думесниль любовались открывшейся их взору картиной, росли вдоль берега реки.

В реке кружком, как в каком-нибудь салоне, сидели и лежали около тридцати женщин; они были совершенно обнажены.

Поскольку высота воды в реке едва достигала двух футов, то у тех, кто сидел, водой была прикрыта лишь нижняя часть тела; вода же была столь прозрачной, что не могла служить даже легкой вуалью; а у тех, кто лежал, из воды высовывались лишь одни головы.

Волосы у всех были распущены и все с наслаждением вдыхали свежий утренний воздух, сплетая из цветов венки, подвески и гирлянды.

Кувшинки, китайские розы и гардении широко использовались для этого туалета.

Эти восхитительные создания, как будто понимая, что сами они не что иное, как ожившие цветы, отдавали всю свою любовь цветам, своим безжизненным сестрам; рожденные на ложе из цветов, они жили среди цветов, а после смерти их погребали под цветами.

Украшая венками голову, одевая гирлянды на шею, вдевая эти цветы себе в уши, женщины не умолкали ни на минуту: они беседовали друг с другом, что-то рассказывали, щебетали, как стайка птиц, живущих в пресных водах, которые, прилетев на озеро, принимаютя щебетать взахлеб, наперегонки, перебивая друг друга.

— Мой друг, — сказал шевалье, указывая пальцем на одну из женщин, — вот она!

— Кто? — спросил капитан.

Шевалье покраснел; он узнал спящую красавицу минувшей ночи, прелестную хозяйку сегодняшнего утра; но он забыл, что ни слова не сказал капитану о своем видении, и показал ему прекрасную Маауни.

Капитан, у которого не было таких весомых причин, как у шевалье, обратить на нее свое внимание, повторил вопрос.

— Кто? — спросил он во второй раз.

— Никто, — сказал шевалье, отступая назад.

Можно было подумать, что движение шевалье послужило сигналом к окончанию этой водной процедуры.

В одно мгновение все тридцать купальщиц были на ногах.

Они выбрались на маленький островок, покрытый травой, где лежала их одежда, выждали какое-то время, пока вода, струясь, стекала по их прекрасным телам, как по бронзовым статуям; затем струйки понемногу подсохли, и капли стали реже; можно было бы перечесть по пальцам те жемчужины, что скатывались со лба на щеки и со щек на грудь; наконец, каждая, подобно Венере Астарте, выходящей из моря, подобрала и отжала волосы, одела платье, закрутила вокруг бедер цветочную гириянду и, не торопясь, направилась по дороге домой.

Капитан напомнил своему другу, что подошло время обеда; он зажег свою сигару, по привычке предложил Дьедонне разделить с ним это удовольствие; предложение, которое Дьедонне отклонил — канониссы, среди которых он воспитывался, питали к табаку непреодолимое отвращение, — и они отправились домой.

Случайно или благодаря своему умению ориентироваться капитан избрал самую короткую дорогу; поэтому они нагнали на своем пути прекрасную Маауни, которая по своей беспечности и беззаботности, напротив, выбрала самую длинную.

Заметив двух друзей, она остановилась на обочине дороги, перенеся всю тяжесть тела на одно бедро и дугой выгнув другое, в одной из тех поз, которую женщины принимают, пребывая в полном одиночестве, и которой художник никогда не сможет добиться от своей модели.

Затем, испытывая пристрастие к тому наслаждению, которое дарит сигара и к которому с пренебрежением относился Дьедонне, она сказала, обращаясь к капитану:

— Ma ava ava iii.

Что на таитянском языке означало: «Мне сигару маленькую».

Капитан не понял слов, но поскольку девушка притворилась, будто она вдыхает и выдыхает дым, он понял этот жест.

Думесниль достал сигару из кармана и протянул ей.

— *Na, da,*— произнесла она, отстраняя нетронутую сигару и указывая на ту, что дымилась во рту капитана.

Тот понял, что это капризное дитя желает зажженную сигару.

Он ее ей отдал.

Таитянка поспешно сделала две затяжки, почти тут же выдохнув дым обратно.

Затем она затянулась в третий раз, на сей раз так глубоко, как только смогла.

После этого она кокетливо попрощалась с офицером и ушла, откинув голову назад и пуская кольца дыма, который набирала в рот, а затем выпускала прямо в воздух.

Все это сопровождалось теми движениями бедер, секрет которых, как полагал до сих пор капитан, знали одни лишь испанки.

Думесниль исподтишка взглянул на своего друга, который шел опустив глаза и совсем тихо шептал одно имя.

Это было имя Матильды.

Однако Думесниль с некоторым удовлетворением заметил, что Дьедонне теперь уже едва слышно шептал то имя, которое раньше так громко звучало в его устах.

Выпустив последнее кольцо дыма, девушка сняла цветочную гирлянду с бедер, широко расставив руки, подняла ее над головой и исчезла в лесу цитрусовых деревьев.

Ее можно было принять за летящую бабочку.

Вернувшись в хижину, друзья нашли свой стол накрытым.

Так же как и накануне, им отрезали часть плода хлебного дерева, дали корень маниоки, испеченный в золе, разнообразные фрукты, молоко и масло.

Но внутри хижины никого не было. Можно было подумать, что стол накрыли феи.

Но похоже, в это время ели не только гости, но и хозяйка. Дьедонне, сидевший так, что мог видеть сквозь стены хижины, заметил молодую девушку, которая, встав на цыпочки, снимала небольшую корзинку, висев-

шую на нижних ветвях гардении; затем, сев и опершись спиной о ствол дерева, она принялась доставать из нее свой обед.

Он состоял из полдюжины фигов, дольки плода, похожего на дыню, из куска рыбы, завернутой в лист банана и так испеченной в золе, и из ломтя плода хлебного дерева

Шевалье позабыл о своей еде, наблюдая за трапезой Маауни.

Думесниль заметил рассеянность своего сотоварища; он повернул голову и увидел молодую девушку, которая обедала, не помышляя о них.

— А! — сказал капитан. — Ты разглядываешь нашу хозяйку.

Шевалье покраснел.

— Да, — сказал он.

— Если хочешь, я позову ее отобедать с нами.

— О! Нет, нет! Я думал только о том, как хорошо и свежо под этими деревьями.

— Если хочешь, мы присоединимся к ней и отобедаем там.

— Нет же, нет! — сказал шевалье — Нам хорошо здесь; однако давай поменяемся местами: солнце бьет мне в глаза.

Капитан покачал головой. Было ясно, что он догадался, что за солнце слепило глаза шевалье.

Он без единого возражения пересел на его место.

После обеда шевалье спросил:

— Что мы будем делать?

— То, что здесь всегда делают после еды — отдыхать. Это называется сиестой.

— О! — согласился шевалье. — В самом деле, я очень плохо спал этой ночью и чувствую себя совершенно разбитым.

— Я думаю, — ответил капитан.

И оба вышли из хижины в поисках подходящего места; ведь сиеста на свежем воздухе гораздо приятнее, чем сиеста в хижине, как бы хорошо та ни проветривалась.

Шевалье не желал, чтобы его беспокоили во время сна

Капитан указал ему на сад их хижины, как на самое надежное место.

Они вместе обошли его, подыскивая подходящий уголок,

Шевалье остановил свой выбор на пушистом ковре газона, затененного ветками гардении, которые, ниспадая до самой земли, образовывали нечто вроде шатра.

Источник прозрачной и прохладной воды, бывший из-под корней гардении, слегка увлажнял этот газон, понравившийся шевалье.

Думесниль, в большей степени заботящийся о прозе жизни, чем его друг, предусмотрительно захватил с собой просторную циновку; он расстелил ее на траве, покрытой каплями влаги.

— Оставайся здесь, — сказал он, — раз тебе нравится, я же пойду поищу какое-нибудь другое местечко, где тень будет такой же густой, а трава более сухой.

Дьедонне редко возражал, когда его друг принимал какое-нибудь решение; он расстелил подстилку, на которой могли бы улечься четыре человека, проследил, чтобы под ней не было ни одного камешка, способного впиться ему в тело, и только после этого заметил ее размеры. Он обернулся с намерением сказать капитану, что, на его взгляд, здесь вполне достаточно места и для двоих.

Но капитан уже исчез.

Тогда шевалье решил один воспользоваться всей циновкой. Он снял свой редингот, свернул его и положил вместо подушки под голову. Некоторое время он созерцал бесплодные попытки солнечных лучей проникнуть сквозь ветки гардении, следил взором за маневрами двух ятичек, которые, казалось, были высечены из целого куса сапфира, затем закрыл глаза, открыл их, вновь закрыл, вздохнул и заснул.

Глава XII

КАК ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ НАУЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ

Сон не такое уж надежное убежище против тех видений, что со вчерашнего дня преследовали шевалье.

Поэтому он спал очень беспокойно.

Сначала ему приснились прекрасные ныряльщицы, виденные вчера; но только у них, как у сирен около мыса Цирцей, были русалочьи хвосты; одна из них держала в руках лиру, другая сестру, — у каждой был какой-нибудь инструмент, которым она аккомпанировала восхитительному пению, голосу, обещавшему любовь и несказанное наслаждение; но шевалье, воспитанный в мифологиче-

ских традициях восемнадцатого века, зная, какую опасность сулит подобный концерт, отворачивал голову и, подобно Одиссею, затыкал уши. Затем он высадился на землю. Где? Этого он и сам не знал; вероятно, в Фивах или Мемфисе, так как по дороге, справа и слева, на мраморных пьедесталах он видел сидящих на задних лапах монстров с телом льва, но с головой и торсом женщины, этот символ Ночи, богини мудрости, которые в античности были окрещены сфинксами: но вместо того, чтобы быть высеченными из мрамора, как и их пьедесталы, эти сфинксы были живыми, хотя и прикованными к своему месту; их глаза открывались и закрывались; их грудь вздымалась и опускалась, и шевалье казалось, что они его буквально обволакивали ласковыми, любящими взглядами; наконец, один из них, с усилием подняв лапу, простер ее к шевалье, который, дабы избежать прикосновения, отпрыгнул в противоположную сторону; но второй сфинкс, в свою очередь, поднял лапу; за ним последовали остальные.

И все же было очевидно, что египетские монстры — их нежные взгляды и вздымающаяся грудь служили тому доказательством — не имели злого умысла против шевалье.

Даже наоборот.

Но шевалье, казалось, больше опасался доброжелательного отношения монстров, чем их ненависти.

Он искал, куда убежать, и думал, как это сделать.

Это была нелегкая задача, пьедесталы пришли в движение, будто заведенные каким-то гигантским механизмом, и он оказался в непроницаемом кольце.

В этот миг шевалье показалось, что рядом с ним возникло облако, из которого исходило сияние, облако, на котором в театре обычно возлежат зачарованные принцессы. Оно, казалось, только и ждало того момента, когда шевалье опустится на него, чтобы покинуть землю.

А глаза монстров становились все нежнее, их грудь волновалась все сильнее и сильнее, их когти уже почти разрывали его одежду, и шевалье отбросил все сомнения: он лег на облако и вознесся вместе с ним.

Но теперь бедному Дьедонне показалось, что облако оживает, что его белая дымка, похожая на хлопья снега, — это не что иное, как газовое платье, а твердое основание, на которое он опирался, — это тело; и так же, как тело Ириды, посланницы богов, способное, как и она, пересекать пространство, это тело принадлежало красивой

молодой девушке с округлыми формами, с живой трепещущей плотью и огненным дыханием.

Она спасла шевалье, но спасла для себя одной; она уносила его прочь от опасности, но уносила в свой грот; она положила его на ложе из мельчайшего золотого песка, но положила рядом с собой и, как будто ее дыхание было в силах зажечь в земной груди огонь, горевший в ее божественной груди, прекрасная посланница, казалось, обожгла его губы пламенным дыханием своего сердца.

Это ощущение было столь явственным, что шевалье вскрикнул и проснулся.

Оказалось, он грезил лишь наполовину.

Маауни спала рядом с ним, и именно дыхание молодой таитянки обжигало его.

Подобно шевалье, Маауни после обеда принялась за поиски места, где могла бы насладиться дневным отдыхом.

Она заметила шевалье, спящего в самом очаровательном уголке сада и лежащего на подстилке, размеры которой в три раза превышали потребности одного человека; она не увидела ничего плохого, прелестное дитя природы, в том, чтобы позаимствовать у него на час или два ненужный ему кусочек подстилки.

И на этом куске циновки она заснула без всякой задней мысли, как ребенок около своей матери.

Однако во время сна ее так же, как и шевалье, вероятно, преследовало какое-то видение; она откинула вытянутую руку, ее грудь бурно вздымалась, а ее огненное дыхание обожгло губы шевалье.

Она по-прежнему продолжала спать.

Шевалье деликатно отстранил руку молодой девушки, лежавшую на его плече, со всеми мыслимыми и немыслимыми предосторожностями отодвинулся, с трудом встал на ноги, но, почувствовав, что ноги повинуются ему, бросился бежать куда глаза глядят, оставив свой редингот, который он перед сном положил на землю, дабы воспользоваться им как подушкой, и который в данный момент служил подушкой Маауни.

Шевалье спасался бегством в сторону моря и остановился только тогда, когда оно возникло у него на пути, как препятствие.

Было около часу дня, а значит, солнце в своем зените жигало лучами небо, а рикошетом и землю.

Шевалье представил, какое пленительное наслажде-

ние, какое восхитительное блаженство должны испытывать ныряльщики, которые, так же, как рыбы или женщины Таити, способны скользить в волнах. И вот тогда он почти до боли пожалел, что не изучал это искусство, составляющее неотъемлемую часть мужского воспитания.

Но, не умея плавать, он тем не менее мог насладиться той прохладой и свежестью, которую дарила вода; в изгибах побережья он заметил естественные гроты, в которых море создало нечто вроде ванны.

Там его ждали те два наслаждения, которых он так жаждал: тень и освежающая прохлада.

Шевалье решил воспользоваться ими.

Он спустился на берег моря, а это было нелегко сделать, так как настала пора отлива, и словно по мановению волшебной палочки, исполнявшей все его желания, он нашел грот, высеченный, казалось, по образцу грота Калипсо.

Шевалье тщательно осмотрел все его закоулки, но грот был абсолютно пустынным.

Тогда он, удостоверившись, что его целомудрие не подвергается никакой опасности, одну за другой снял все детали своего костюма, сложил их в маленький грот, расположенный рядом с большим и представлявший его миниатюрную копию, и, нащупывая ногами дорогу, проник под свод утеса.

Даже в самом глубоком месте шевалье едва ли намерял три фута.

Эта теплая вода, однако сохраняющая свою свежесть благодаря тому, что находилась в тени утеса, доставила ему самые дивные ощущения, которые он когда-либо испытывал.

Он спрашивал себя, как человек может не уметь плавать.

Но тут же отвечал сам себе, что для того, чтобы научиться плавать, необходимо предстать перед другими людьми почти голым, а Дъедонне дамами-канониссами было привито такое понятие стыдливости, что он вздрагивал даже при мысли, что его учителем плавания станет Думесниль, хотя тот и был его лучшим другом.

К счастью, он открыл для себя этот грот; он никому о нем не скажет ни слова и будет проводить здесь часть своего времени; чувство блаженства, испытанное им в этом месте, было таково, что могло бы заменить для него любой другой отдых.

Очевидно, что рассудок не требует никакого другого развлечения, когда чувство физического удовольствия так сильно, что человеку не достает всех его физических и интеллектуальных сил, чтобы полностью насладиться им.

Шевалье блаженствовал так час или два, совершенно позабыв о времени.

Как вдруг звук тяжелого тела, упавшего в воду, вывел его из этого состояния экстаза.

Он смутно различил какую-то тень, промелькнувшую в воздухе, но не мог сказать, что это было такое.

Через мгновение он увидел, как на поверхности моря появилась смеющаяся голова.

Это была Маауни.

Она выкрикнула несколько слов, похожих на призыв к своим товаркам.

Зов был не напрасным.

Тело пересекло пространство, промелькнув со скоростью молнии, и погрузилось в воду с тем же шумом, который был уже знаком шевалье.

Затем еще одно, третье, четвертое, десятое, двадцатое.

Это были все те же прекрасные бездельницы, которых шевалье видел утром купающимися в реке и которые, дабы разнообразить свое удовольствие, принимали теперь морские ванны.

На поверхности одна за другой показались все головы, затем эти дочери Амфитриты, как сказал бы греческий поэт, предались своей любимой забаве — нырянию.

Дьедонне видел их, но они не могли видеть его, спрятавшегося под сенью своего грота.

Прошел второй час, и мы должны признать, что он показался шевалье не длиннее первого.

Добавим также, что спектакль, разыгравшийся у него перед глазами, завладел всем его вниманием, и он не заметил, как прибывает вода, пока она не дошла ему до подмышек.

Все объяснялось просто: начинался прилив.

Дьедонне не придавал значения этому феномену и испытал беспокойство, лишь увидев, как на поверхности моря плавают его одежда.

Грот, в котором шевалье оставил ее, был расположен ниже, чем тот, в котором он находился; море проникло в него в первую очередь и унесло с собой вещи шевалье.

Заметив свой костюм, качающийся на волнах, ше-

валье захотел было закричать, но это означало выдать свое присутствие женщинам; но он не осмелился.

Если на нем хотя бы были те вещи, что удалялись сейчас, покачиваясь, он без колебаний появился бы одетым перед женщинами; ведь они не были похожи на богинь, готовых наказать его на манер Актеона.

Но если бы он был одет, то у него не было бы причин звать на помощь.

Шевалье ошибался в этом, так как его положение становилось серьезным.

Вода, доходившая ему до пояса, когда он только вошел в грот, и постепенно поднимаясь до подмышек, теперь уже достигала его подбородка.

Правда, отступив на несколько шагов, он мог выиграть один фут.

Но шевалье уже начинал понимать свое положение.

Вода прибывала.

Осмотревшись вокруг себя, он мог определить, на какую высоту море заливало грот.

В самый пик прилива уровень воды был бы на четыре фута выше его головы.

Шевалье чуть не лишился чувств, ледяной пот смочил ему волосы.

В этот момент ныряльщицы подняли громкий крик, они заметили его одежду.

Поскольку они не знали, что все это означает, то всей стайкой поплыли к гроту.

Но вместо того, чтобы позвать их на помощь, Дьедонне, переполненный стыдом, отступил вглубь настолько, насколько это ему удалось.

Женщины с озадаченным видом взяли в руки — одна жилет, вторая брюки, третья рубашку; они спрашивали себя, как эти вещи могли попасть сюда.

Сомнений бычь не могло, это была одежда европейца.

Шевалье испытывал горячее желание потребовать у них обратно свои вещи; но заполучив их вновь в свои руки, что он будет с ними делать? Ведь они промокли насквозь.

Спасаясь, их пришлось бы взять с собой, а у него уже не было шансов спастись самостоятельно.

Вода безостановочно прибывала.

Шевалье знал, что через десять минут она накроет его с головой.

Одна накатившаяся волна, более высокая, чем все остальные, покрывала его лицо пеной.

У шевалье инстинктивно вырвался крик.

И этот возглас был услышан ныряльщицами.

За первой волной последовала вторая.

Дьедонне подумал о капитане, и, словно тот мог его услышать, он закричал:

— Ко мне, Думесниль! На помощь! Спаси меня!

Ныряльщицы не поняли этих слов, но в голосе, каким они были произнесены, было столько отчаяния, что они догадались: тот, кто так кричал, подвергался смертельной опасности.

Крики, несомненно, доносились из грота.

Одна из них, нырнув и проплыв под водой, проникла туда.

Внезапно шевалье увидел, как в двух шагах от него из воды выросла голова.

Это была Маауни.

По искаженному лицу шевалье она поняла, в какую беду тот попал.

Маауни закричала, призывая на помощь, и все ее товарищи поспешили к ней.

Положение шевалье точь-в-точь напоминало положение Виржинии на мосту Сен-Жеран: она была бы спасена, если бы захотела принять помощь обнаженного матроса, который вызвался отнести ее на берег, и погибла, если бы отказала ему.

Островитянки показывали жестами и пытались словами объяснить Дьедонне, что ему всего лишь следует опереться о них, и они отнесут его на землю.

Две из них, тесно обнявшись и переплетясь, образовали нечто вроде плота, на который он мог бы лечь, держась при этом обеими руками, и правой, и левой, за плечи двух ныряльщиц.

И все же отдадим шевалье должное: какое-то мгновение он колебался, на одну секунду ему в голову пришла целомудренная мысль умереть подобно девственнице Иль-де-Франса.

Но любовь к жизни одержала в нем верх. Он закрыл глаза, лег на этот живой плот, положил свои ладони на округлые плечи прекрасных нимф и дал себя унести.

Шептал ли он имя Матильды?

Мы не присутствовали при этом и ничего не слышали, поэтому не станем отвечать на этот вопрос.

Три или четыре месяца спустя после этого происшествия, о котором Дьедонне благоразумно не стал ничего

говорить капитану, охотясь со своим другом на морских птиц, он, неосторожно свесившись за борт, упал в море.

Капитан, издав ужасающий крик, проворно скинул свою куртку и жилет, чтобы броситься вслед за Дьедонне.

Но в тот момент, когда Думесниль собирался подобным образом доказать свою преданность, к своему великому изумлению, он вновь увидел шевалье, который появился на поверхности моря благодаря мощному толчку ногой, произведенному им под водой, и который, вынырнув на поверхность, поплыл брассом, хотя и не так мастерски, как завзятый пловец, но как вполне добросовестный новобранец.

Думесниль был так поражен увиденным, что не только не мог ни слова вымолвить, но даже не мог и пошевелиться.

— Ну, что же ты, — сказал Дьедонне, — подай же мне руку и помоги подняться в лодку.

Думесниль протянул ему руку; шевалье вновь очутился в лодке рядом с другом.

— Но где ты, черт возьми, научился плавать? — спросил у него Думесниль.

Дьедонне покраснел до ушей.

— А! Притворщик! — сказал капитан.

Затем, рассмеявшись, добавил:

— Согласись, что здесь такие учителя плавания, которые стоят тех, что были у Делиньи?

Дьедонне промолчал; но ловкость, с которой он сумел избежать опасности, свидетельствовала, что капитан был прав.

Глава XIII

ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ, А БОГ РАСПОЛАГАЕТ

В этом земном раю шевалье и капитан провели три года; по истечении этих трех лет Дьедонне, хотя и неокончательно, но все же избавился от этой глубокой меланхолии, которую привез с собой из Франции.

Вся заслуга этого нравственного «почти что» выздоровления принадлежала капитану, подобно тому, как заслуга физического выздоровления принадлежала врачу.

И тот, и другой, правда, прибегали к средствам, предоставленным им матерью-природой; но если разобратся, то эти средства были всего лишь лекарствами;

в то время как истинным целителем является тот, кто их прописывает.

Итак, шевалье казался счастливым; если он еще и произносил имя Матильды, то только во сне. Когда же он просыпался, то его воля брала над этим верх, и если это не было выздоровлением, то по крайней мере это была победа.

В течение этих трех лет ни разу не заходила речь о возвращении шевалье во Францию и, если он, вероятно, и вспоминал ее порой, то опять же ни разу не сожалел о ней.

Правда, все эти три года капитан постоянно подыскивал для своего друга развлечения, заботился о том, что могло бы ему понравиться, стремился, чтобы он по-прежнему был окружен теми знаками внимания и той заботой, к которым привык благодаря своему воспитанию и семейной жизни.

Всякий раз, заметив нахмуренный лоб шевалье, капитан пытался разглядить эти морщинки, возвращая к жизни остатки того веселого нрава, который был свойственен Дьедонне в юности.

Словом, Думесниль ни на минуту не расставался с той ролью, которую угрызения совести заставили его принять на себя.

Зная сердечные наклонности шевалье де ля Гравери, можно понять, насколько подобный друг, которому он был обязан спокойствием своего сердца, стал ему дорог, а главное, необходим.

Взрослое дитя всегда нуждается в матери или по крайней мере в няньке.

Так что Дьедонне полностью утратил обыкновение самостоятельно принимать какие-либо решения, касалось ли это его физической или духовной жизни; он просто жил, любил и наслаждался.

А вот капитан был вынужден думать за двоих.

Однажды вечером, когда они вместе совершали прогулку — капитан, куря сигару, а шевалье, грызя кусочки сахара, — окруженные толпой прелестниц, просивших у одного лишние кусочки сахара, у другого остатки его недокуренной сигары, а сверх этого время от времени еще и глоток коньяка, и дававших взамен благоухание, поцелуи и любовь, капитан внезапно почувствовал недомогание.

Думесниль, обладавший геркулесовым здоровьем, не придал никакого значения этому нездоровью и наме-

ревался продолжить прогулку; но через мгновение ноги у него подкосились, лоб покрылся испариной, и он ощутил такую слабость, что пришлось принести ему стул, чтобы он не упал; все это время Дьедонне поддерживал капитана.

Не было никаких сомнений: некая болезнь заявила о себе пугающим нарастанием симптомов.

Шевалье настоятельно стал требовать врача.

В эту пору, предшествующую английскому вторжению и французскому протекторату, на острове не было гарнизона, а следовательно, и врачей, кроме туземных шарлатанов, которые утверждали, что с помощью определенных трав и определенных заклинаний приносят больному исцеление; и, возможно, они их и исцеляли — если и есть какое-либо предположение, которое допускает сомнение, то это именно оно, — подобно врачам в белых халатах.

Маауни, всегда готовая оказать шевалье любую услугу, которая была в ее силах, предложила сходить за одним из этих знахарей; но шевалье, научившийся бегло говорить на местном языке, объявил, что он желает видеть европейского доктора; и если это возможно, то французского, а поскольку в порту стоят корабли разных стран и среди них французский, прибывший вчера, то именно на этот корабль и надо обратиться за помощью.

Маауни, два или три раза повторив по-французски слово «врач», смогла его произнести довольно внятно, затем она с разбегу нырнула вниз головой с вершины уже знакомого нам грота и с быстротой дриады поплыла к кораблю, трехцветный флаг которого свидетельствовал о его французском происхождении.

Эта последняя строчка показывает, что, пока шевалье жил на Таити, произошла революция 1830 года; но это событие, которое совершенно очевидно многое бы перевернуло в его жизни, оставаясь он во Франции, здесь за три тысячи пятьсот лье от Парижа прошло для него почти незаметно.

Приблизившись к «Дофину», таково было название французского брига, Маауни наполовину поднялась из воды, показав свой великолепный торс, и закричала изо всех сил, хотя и с очень мягким произношением:

— Midissin! Midissin!

Несмотря на незначительное искажение, с которым таитянка выговорила это слово, капитан отлично понял,

о чем просила пловчиха; он подумал, что заболела королева Помаре, и приказал корабельному врачу «Дофина», молодому человеку двадцати шести — двадцати семи лет, совершавшему свое первое плавание, отправиться на землю.

Увидев, как спускают лодку, а в лодке врача, Маауни догадалась, что ее поняли, и, несмотря на настойчивые просьбы молодого врача, уговорившего ее вернуться на берег вместе с ним в барке, она нырнула, появилась на поверхности через двадцать шагов, вновь нырнула, чтобы вынырнуть еще дальше и, намного опередив барку с четырьмя гребцами, достигла Папезети.

Ни минуты не мешкая, она побежала к домику двух друзей, одному из тех, что стояли ближе всего к побережью, крича им:

— Midissin! Midissin!

Затем она вернулась на пляж, чтобы отвести доктора в хижину.

В некотором роде барка следовала в воде по стопам юной пловчихи и пристала к берегу в том же месте, где та вышла из воды.

Доктор прыгнул на землю, пошел вслед за своим гидом и через несколько секунд был у порога хижины.

Шевалье бросился к нему и, извинившись за причиненное беспокойство, провел к постели капитана.

Доктор, увидев, что имеет дело с французами, понял, почему посланница обратилась на «Дофин», отдав ему предпочтение перед другими судами.

Ни о чем не спрашивая, он подошел прямо к больному.

— Как?! — воскликнул он. — Это вы, капитан?

Капитан, впавший уже в состояние почти полной прострации, открыл глаза и, в свою очередь, узнал врача, улыбнулся, протянул ему руку и с усилием проговорил:

— Да, вы видите, это я.

— Конечно, я вас вижу, — сказал доктор, — но это ничего не значит. Мужайтесь! Что вы чувствуете?

Шевалье испытывал жгучее желание узнать, выяснить, откуда доктор и капитан знают друг друга; но, видя, что капитан собирается рассказать о том, что он чувствует, он отложил свои расспросы на будущее.

— То, что я испытываю, очень трудно передать словами, — отвечал капитан. — Внезапно я почувствовал сильное недомогание, которое сопровождалось прострацией, оно вынудило меня вернуться домой и сразу же лечь в постель.

— А с той минуты, как вы находитесь в постели?

— У меня судороги и конвульсии, дрожь во всех членах и попеременно то озноб, то сухой жар.

— Стакан воды,— попросил доктор. Затем, подавая его больному, сказал:

— Попробуйте выпить.

Думесниль проглотил несколько глотков.

— Все вызывает у меня отвращение,— произнес он.— Впрочем, мне трудно глотать.

Доктор двумя пальцами надавил чуть пониже желудка.

У больного вырвался крик.

— У вас еще не было приступов тошноты?

— Пока нет.

Доктор поискал глазами бумагу и чернила. Но в хижине, разумеется, не было ни того, ни другого.

Думесниль попросил подать свой дорожный несессер. Ему принесли его.

Ключ от несессера висел у Думесниля на шее.

Капитан с предосторожностями, как будто бы в нем хранились такие вещи, которые никто не должен был видеть, открыл свой дорожный несессер, достал оттуда бумагу, чернила и перо и передал их доктору, который, написав несколько строчек, спросил, кто сможет отнести записку на барку.

Это был приказ, адресованный его помощнику, взять в аптечке брига и немедленно доставить ему лауданум, эфир, мятную настойку и нашатырный спирт.

Поскольку Маауни не могла дать гребцам необходимых указаний, шевалье сам вызвался отнести записку на барку.

Он дал луидор четверым матросам, чтобы они действовали проворнее, и те столкнули лодку, которая немедленно заскользила по гладкой поверхности бухты, напоминая тех водных пауков на длинных лапах, что движутся, едва задевая поверхность озер.

Затем он вернулся в хижину.

Врача не было; шевалье осведомился, куда тот ушел, капитан указал ему на реку.

Шевалье торопился переговорить с доктором наедине.

Он бросился ему вослед и нашел стоящим по колена в воде и собирающим траву, которую называют речной горец.

— А, доктор! — обратился он к нему.— Я вас ищу.

Тот приветствовал шевалье и вновь вернулся к свое-

му занятию с видом человека, сознающего, что от него ждут известий, и понимающего, что не в силах подарить надежду.

— Вы знаете капитана Думесниля? — настаивал шевадье.

— Вчера я встретился с ним впервые на борту «Дофина», — ответил доктор.

— На борту «Дофина»? Но что же его привело туда?

— Он приходил справиться, нет ли у нас известий из Франции, и так упорно добивался встречи с одним из наших пассажиров, что, хотя мы его и предупредили о том, что у нас на корабле желтая лихорадка, он настоял на своем и все же поднялся на борт.

Услышав эти слова, шевадье испытал нечто вроде озарения.

— Желтая лихорадка! — вскричал шевадье. — Так, значит, у Думесниля желтая лихорадка.

— Боюсь, что это так, — ответил молодой человек.

— Но ведь от желтой лихорадки, — пролепетал, весь дрожа, Дьедонне, — ведь от нее умирают.

— Если бы вы были матерью, дочерью или сыном капитана, то я бы ответил вам: «Иногда», — но вы мужчина, вы всего лишь его друг, и я вам отвечаю: «Почти всегда!»

Шевадье издал крик.

— Но уверены ли вы, что это желтая лихорадка?

— Я еще хочу надеяться, что это острый приступ гастрита, — отвечал доктор. — Первые симптомы у них одинаковы.

— А от острого гастрита вы бы его спасли?!

— По крайней мере у меня было бы больше надежды.

— О! Господи! Господи! — Шевадье разрыдался.

Молодой врач смотрел на этого человека, который плакал, рыдая и заливаясь потоками слез, подобно женщине.

— Капитан ваш родственник? — спросил он.

— Он для меня больше, чем родственник; он мой друг.

— Сударь, — молодой человек, тронутый глубиной горя шевадье, протянул ему руку, — с того момента, как вы обратились ко мне, вы можете быть уверены, что ваш друг будет окружен заботой и вниманием. Во Франции французы друг для друга всего лишь соотечественники; за ее пределами — это братья.

— О! Господи! Господи! Зачем он только поехал на этот корабль? Почему не послал меня? Если бы он меня

отправил туда, то это бы я лежал сейчас больной, а не он; я умирал бы, а не Думесниль.

Доктор с некоторым восхищением смотрел на этого человека, который так просто предлагал свою жизнь Господу в обмен на жизнь того, кого он любил.

— Сударь,— сказал он ему,— я повторяю вам, что еще неокончательно потерял надежду. Это с такой же вероятностью может быть приступ острого гастрита, как и желтая лихорадка, и если это острый гастрит, то кровопусканиями мы излечим его.

— Но кто этот пассажир, с которым он так хотел поговорить?

— Один из его друзей.

— У Думесниля не было других друзей, кроме меня; так же как у меня нет другого друга, кроме него,— меланхолично произнес шевалье.

— Однако они обнялись и расцеловались, как люди, которые счастливы встретиться вновь.

— А как зовут этого человека? — спросил шевалье.

— Барон де Шалье,— сказал доктор.

— Барон де Шалье, барон де Шалье... Я не знаю такого. Ах! Почему он не отправил меня переговорить о этом бароном де Шалье, будь он проклят?!

— Несомненно, в его намерения входило самому побеседовать с бароном,— с умыслом отвечал доктор.— По всей видимости, он не хотел, чтобы вы знали о принятом им шаге; и поэтому я попрошу вас ни слова ему не говорить о моей нескромности, принимая во внимание, что в его состоянии малейшая неприятность может оказаться для него роковой.

— Ах, сударь, будьте спокойны,— ответил шевалье, сложив руки,— я не пророню ни слова.

Они вернулись в хижину; шевалье сжал пылающие руки своего друга, заботясь лишь о том, в каком состоянии пребывает шевалье, и не волнуясь ни о чем другом.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— Плохо. У меня ужасные боли внизу живота,

— Я сделаю вам кровопускание,— сказал доктор.

Затем, обращаясь к де ля Гравери, он продолжал:

— Шевалье, залейте эту траву литром воды и вскипятите ее.

Шевалье подчинился с безропотностью ребенка и усердием сиделки.

За это время доктор перетянул больному руку и приготовил ланцет.

Вены на руке вздулись.

— Шевалье,— сказал доктор,— пусть за отваром следят женщины, поручите это им, а сами держите таз.

Шевалье повиновался.

Врач вскрыл вену; но организм капитана был уже настолько подорван болезнью, что кровь не пошла.

Он сделал надрез более глубоким.

На этот раз кровь пошла, но черная и уже разложившаяся.

Несколько капель брызнули в лицо шевалье.

Почувствовав, как теплая влага растекается у него по лицу, шевалье отшатнулся и лишился чувств.

Капитан, казалось, хотел воспользоваться этим обстоятельством.

— Сударь,— обратился он к молодому врачу,— я смертельно болен, я это чувствую и знаю. Я вас прошу, скажите господину Шалье, что я еще раз поручаю его заботам ребенка, о котором я вчера ему говорил, и что я его умоляю, если случай вдруг сведет его с шевалье де ля Гравери, ни слова не говорить последнему о ребенке, если только не возникнут какие-либо очень важные основания для того, чтобы он узнал о Терезе; судить об этих основаниях я доверяю господину Шалье... Вы меня хорошо расслышали и хорошо поняли?

— Да, капитан,— ответил доктор, проникшийся важностью данного ему поручения.— И я сейчас постараюсь слово в слово повторить сказанное вами.

И действительно, он повторил наказ капитана, ничего в нем не изменив: ни его формы, ни малейшей детали его содержания.

— Отлично! — сказал больной.

Затем, повернувшись к молодой девушке, добавил, обращаясь к таитянке:

— Маауни, побрызгай холодной водой в лицо бедного шевалье.

Маауни, которая, сидя на корточках перед огнем и следя за отваром, даже и не заметила, как шевалье упал в обморок, повиновалась распоряжению капитана с готовностью, выдававшей интерес, который она питала к своему ученику по плаванию.

Шевалье пришел в себя как раз в тот момент, когда доктор остановил больному кровь и затворил ему вену.

Кровопускание временно облегчило страдания капитана; но к двум часам ночи, несмотря на прием опиума и эфира, начались приступы рвоты.

Доктор бросил на шевалье взгляд, говоривший: «Вот то, чего я боялся».

Шевалье все понял и вышел, чтобы выплакаться от души.

Весь следующий день больному было попеременно то лучше, то хуже. Однако к вечеру его состояние резко и бесповоротно ухудшилось.

Лицо его было багровым, он почти не мог глотать; выделявшиеся рвотные массы сначала были полны желчи, а потом стали черными и к ним примешивались какие-то темные кусочки, похожие на сажу, в которых легко можно было узнать частички разложившейся, гниющей крови. Врач снял аппарат для кровопускания и увидел на этом месте рану, окруженную черным ободком.

И поскольку капитан был все еще в полном рассудке, доктор отвел шевалье в сторону и предупредил, что его друг находится в безнадежном состоянии с тем, чтобы тот не терял времени, если намеревается отдать какие-либо распоряжения относительно своего завещания.

Сам же молодой врач, по его словам, был вынужден вернуться, хотя всего лишь и на несколько часов, на корабль; на завтра он снова собирался навестить капитана, а пока оставлял письменные указания по уходу за больным, которых шевалье должен был придерживаться и главный пункт которых предписывал поддерживать и поднимать, сколько это возможно, настроение капитана.

Совет был совершенно бесполезным; болен был человек сильный духом, а слабовольным был тот, кто чувствовал себя здоровым.

С того момента, как капитан слег, шевалье ни на минуту не отходил от его изголовья, в свою очередь, воздавая ему сторицей за все те заботы, которыми капитан окружал его, когда у шевалье была сломана нога, ухаживая за ним с усердием и нежностью матери, не позволяя, чтобы чьи-то чужие руки, кроме его собственных, подносили капитану чашку с отваром.

Подобное поведение бедного Дьедонне требовало от него большого мужества; ведь его тревога была столь велика, что тысячу раз, чувствуя, что изнемогает, он был уже готов покинуть свой пост и бежать, куда глаза глядят, чтобы больше не видеть страданий своего друга.

Вы уже видели, что при простом соприкосновении с кровью капитана он упал без чувств.

А после того, как врач практически признался бед-

тому шевалье, что больше надеяться не на что, ему стало еще тяжелее выносить все это. Если больной начинал ворочаться в постели, Дьедонне чувствовал, как по всему его телу каплями выступает холодный пот; если же, напротив, Думесниль затихал и забывался сном, Дьедонне расценивал это состояние, как один из самых тревожных симптомов и, тормоша больного, вопрошал его:

— Как ты себя чувствуешь? Ответь мне; ну, что ж ты, отвечай!

Если больной молчал, то он ломал себе руки и раздражался рыданиями.

В разгар одного из этих взрывов горя Думесниль, который не спал, но размышлял, счел, что пришел момент дать своему другу последние наставления.

Капитан был человеком твердой воли и настоящим стойком; он без страха, по крайней мере за себя самого, смотрел на тот мрачный и печальный переход из одного мира в другой, который ему предстояло преодолеть, и в этот момент его волновало только одно: мысль о том одиночестве, в котором он оставляет своего друга.

— Послушай, мой дорогой Дьедонне,— обратился он к нему,— оставь все эти стенания, эти жалобы и эти слезы, недостойные мужчины, и позволь мне дать тебе несколько советов, как тебе устроить свое существование, когда меня не станет.

При первых же словах больного шевалье умолк, как по волшебству. Думесниль, не раскрывавший рта уже почти в течение двух часов, заговорил и говорил так спокойно, что можно было подумать, будто Бог сотворил чудо, выказав ему свою милость; но как только он произнес эти слова: «Когда меня не станет»,— Дьедонне издал вопль отчаяния, рухнул на кровать умирающего, сжимая его в своих объятиях и проклиная несправедливость Провидения и жестокость судьбы.

Силы капитана, изнуренного болезнью, не позволяли ему бороться с буйными проявлениями горя у своего друга.

Он собрал весь остаток сил и слабым умирающим голосом проронил:

— Дьедонне, ты меня убиваешь!

Шевалье отскочил назад; затем, встав на колени, сложив молитвенно руки, он пополз на коленях к кровати.

— Прости меня, Думесниль, прости меня! Я не двинусь с места, не пророню ни слова, я благоговейно выслушаю тебя.

И только беззвучные слезы текли у него по щекам. Думесниль несколько мгновений смотрел на него с глубокой жалостью.

— Не плачь так, мой дорогой товарищ, мне потребуются все мои силы, чтобы преодолеть этот последний путь, как подобает мужчине и солдату... а твоя скорбь разрывает мне душу.

Затем с чисто военной твердостью он произнес:

— Мы должны расстаться в этом мире, Дьедонне.

— Нет, нет, нет! — закричал Дьедонне. — Ты не умрешь! Это невозможно!

— Однако именно к этому тебе следует быть готовым, милое мое взрослое дитя, — ответил больной.

— Я больше не увижусь с тобой! Я больше тебя не увижу! Нет, Бог не может быть так жесток! — воскликнул Дьедонне.

— Если только я не увижу, что там наверху занимаются переселением душ, — сказал, улыбаясь, капитан, — нам придется смириться с этим ужасным расставанием, мой бедный друг.

— Ах! Господи! Господи! — простонал Дьедонне.

— Но должен признать, что это столь же невероятно, как и мое воскрешение.

— Переселение душ? — машинально повторил Дьедонне.

— Да, и в этом случае я на коленях умолял бы милосердного Бога одеть на меня шкуру первой попавшейся собаки, в облике которой, где бы я ни находился, я razorву свою цепь, отыщу тебя, и мы вновь соединимся.

Эта шутка на пороге вечности не могла не пробудить мужества в сердце Дьедонне, он поднял к небу глаза и крепко обнял и поцеловал Думесниля.

— Ну же, мужайся! — продолжал последний. — По правде говоря, из нас двоих это ты выглядишь так, будто собираешься покинуть этот мир. И пока у меня еще достаточно для этого сил, позволь мне дать тебе один добрый совет: если можешь, оставайся здесь, хотя я и сомневаюсь, чтобы ты особо развлекался тут без меня.

— О! Нет! Нет! — вскричал шевадье. — Если случится такое несчастье, и я тебя потеряю, я вернусь во Францию!

— Как хочешь, друг мой, в этом случае отвези туда мое тело; для тебя это будет мучительным развлечением и тебе будет казаться, что я еще не совсем покинул тебя; я родом из бедного провинциального городка, довольно скудного и довольно унылого, из Шартра; одна-

ко в Шартре похоронены мой отец, моя мать и моя сестра, которых я так любил; у нас там есть фамильный склеп, в котором еще осталось пустое место, ты положишь туда мое тело и прикажешь замуровать дверь: из нашей семьи никого больше не осталось, я последний ее отпрыск. Завершив эту церемонию, удались от всех, веди жизнь старого холостяка; это значит живи для себя, стань гурманом, чревоугодником, люби желудком, но не люби больше никого сердцем, даже кролика, его могут посадить для тебя на вертел. Ах! Мой бедный Дьедонне, тебе не по силам любить!

Думесниль, изможденный, упал на подушку.

Через несколько минут он впал в забытие, сопровождавшееся бредом.

Но и в бреду, казалось, только одна мысль преследовала умирающего: мысль о переселении душ — метемпсихозе.

Он повторял: «Собака... хорошая собака... черная собака... Дьедонне!»

И это доказывало, что последней мыслью его слабеющего рассудка было не расставаться со своим другом.

В это время вошел врач; он вернулся для очистки совести и потому что обещал вернуться.

При первом же взгляде на капитана он понял, что все кончено.

Что касается Дьедонне, то, услышав это тревожное и сильное дыхание, этот предсмертный хрип, предвестник последнего вздоха, он пал на колени, захлебываясь в рыданиях, кусая в отчаянии край простыни капитана и понемногу впадая в состояние прострации, из которого его вывели лишь следующие слова, произнесенные молодым доктором:

— Он умер!

Тогда он выпрямился, издал страшный крик; затем в неописуемом порыве горя бросился на тело капитана и обнял его так крепко и так тесно прижался к нему, что потребовалось применить силу, чтобы оторвать его.

Глава XIV

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИЮ

К счастью, умирая, капитан поручил Дьедонне исполнить его последнюю волю.

Он хорошо знал своего друга, когда говорил ему, что

хлопоты, связанные с возвращением его тела во Францию, послужат для шевалье пусть мучительным, но все же развлечением.

Одиночество — вот чего больше всего страшатся слабые натуры, и только избранные, одни они осмеливаются остаться наедине со своими мыслями, отрешиться от всего и от всех, чтобы посвятить себя страданию; большая же часть человечества, напротив, спешит распалить себя, довести проявления своего горя до крайней стадии возбуждения и отчаяния, как будто предчувствуя, что вслед за опустошением придет спокойствие и умиротворение.

«Дофин», совершавший кругосветное плавание, во время которого на стоянке в Маниле на борт и была занесена желтая лихорадка, направлялся к берегам Франции, намереваясь обогнуть мыс Горн. Он отплыл на следующий день.

Именно это и надо было шевалье. Оставшись один, он возненавидел этот земной рай, где был так счастлив со своим другом.

Он написал письмо капитану «Дофина» с просьбой взять на борт его самого и гроб с телом его друга.

Молодой врач взялся уладить это дело; он ушел, сказав, что сможет это сделать без малейших трудностей.

Вернувшись в хижину, он застал Дьедонне дающим объяснения местным плотникам, как изготовить гроб по французскому образцу. На острове росло железное дерево, самое подходящее из всех древесных пород для такого рода изделий.

Дьедонне снял с шеи капитана изящный ключик от сундучка, а поскольку капитан во время агонии неоднократно обращал свой взор к этому предмету, как бы поручая его шевалье, он повесил этот ключ себе на шею, счастливый, что может прижать к своей груди эту реликвию, оставшуюся ему от друга.

Затем он распорядился завернуть тело капитана в кусок самой белой материи, какую только можно было отыскать, собственноручно украсил дно гроба листьями пандануса и банановой пальмы, положил тело на эту мягкую подстилку, которую женщины острова в изобилии усыпали цветами, вынутыми из своих волос и из-за ушей, в последний раз поцеловал своего друга в лоб и приказал забить крышку гроба. При каждом ударе молотка его сердце обливалось кровью; но как ни тяжело ему было, как ни хотелось бежать прочь, он оставался ря-

дом с гробом до тех пор, пока не был забит последний гвоздь.

Тем временем наступила ночь.

Шлюпка с «Дофина» должна была забрать и мертвого, и живого лишь завтра утром; а поскольку хозяева хижины из-за распространенного среди местных жителей суеверия воспротивились тому, чтобы тело капитана оставалось эту ночь под крышей их дома, Дьедонне пришлось положить гроб под то апельсиновое дерево, куда приходила спать Маауни в его первую ночь пребывания на острове.

Затем он расстелил свой матрас, одним концом положив его на гроб.

И, не переставая плакать, лег спать; голова его покоилась на гробе капитана.

На следующий день он собрал все вещи, принадлежавшие Думеснилю: одежду, оружие, трости и т. д.

Главное место среди этих предметов занимала шкапулка.

Но Дьедонне чувствовал, что у него пока не хватает сил открыть этот сундучок; вероятно, в нем хранилось некое завещание, какие-то распоряжения, сделанные на случай смерти, которые могли бы разбить сердце шевалье.

Он сказал себе, что будет правильным открыть его во Франции, в Шартре, вечером того дня, когда тело капитана будет предано земле.

Затем он раздал своим безутешным подругам, конечно же, лучшую часть отдав Маауни, все те мелкие предметы, которыми эти наивные дети природы, казалось, так страстно желали завладеть.

Час настал, за шевалье пришла лодка; помимо четверых гребцов, в ней было четверо матросов, боцман и доктор.

Все жители Папезти провожали гроб и шевалье до самого берега моря.

Они любили капитана, человека честного и прямого, но сурового.

Они обожали шевалье, человека мягкого, с нежным сердцем, всегда готового подарить что-нибудь; а когда он не дарил сам, то позволял брать.

Мужчины, дойдя до берега моря, простились со своим гостем.

Женщины же не пожелали расстаться с ним здесь:

они бросились в море и подобно сиренам поплыли вокруг лодки.

Некоторые, посчитав дистанцию несколько длинною, прокричали шевалье свое прощальное приветствие и покинули его на полпути.

Но пятеро или шестеро держались бодро и, подплыв к кораблю, Дьедонне, будь он магометанином, вполне мог бы еще иметь согласно завету пророка четыре законных жены.

В тот миг, когда шевалье поставил ногу на трап корабля, Маауни вся в слезах бросилась ему на шею, вопрошая, не желает ли он увезти ее с собой во Францию.

Мысль о жертве, на которую ради него была готова пойти эта прекрасная дочь природы, глубоко тронула шевалье; он заколебался, не принять ли ему эту жертву, но вспомнил совет своего друга: «Не отдавай больше никому своего сердца, даже кролику: его могут насадить тебе на вертел».

Он ожесточил свое сердце, отвернул голову, отстранил прекрасную Маауни и устремился на палубу корабля.

Таитянки еще некоторое время кружили вокруг брига подобно сиренам; но их друг шевалье не показывался, и они стали удаляться, отплывая к острову.

Два или три раза Маауни останавливалась и поворачивала голову в сторону брига; но, не видя Дьедонне, она уверилась, что окончательно покинута, нырнула, чтобы смыть свои слезы, и появилась на поверхности с улыбкой на устах.

Мы упоминаем об этом, чтобы наши читатели, убаюканные романсами, в которых юные островитянки, покинутые европейцами, умирали от тоски, поджидая их на берегу моря, обратив свой взор в ту сторону, где корабль неблагодарного скрылся на горизонте; для того мы упоминаем вам об этом, чтобы наши читатели не предавались чрезмерному умилению по поводу судьбы таитянской Ариадны.

Дьедонне не появился больше на палубе, потому что устраивал в своей каюте гроб с телом своего друга; он решил не расставаться с ним ни на мгновение в течение всего плавания.

В то время как он был занят этими хлопотами, в каюту вошел премилый черный спаниель, с любопытством следя своими большими умными, почти человеческими глазами за действиями шевалье.

Заметив его, шевалье рухнул на стул и принялся плакать.

Он вспоминал эту трогательную фразу, которую вчера утром, всего лишь двадцать четыре часа назад, произнес его друг: «Если переселение душ существует, я буду умолять милосердного Бога надеть на меня шкуру собаки, в образе которой, где бы я ни был, я разорву свою цепь, отыщу тебя, и мы соединимся вновь».

Он обнял обеими руками голову собаки — так, будто это была голова человека.

Собака, без сомнения, напуганная подобным проявлением чувств, тем более что шевадьё, вероятно, при этом не проявил особой осторожности, убежала.

С глазами, полными слез, шевадьё спросил у матроса, помогавшего ему устанавливать гроб, кому принадлежит этот прелестный спаннель, столь любопытный и одновременно столь пугливый.

Матрос ответил, что это собака одного из пассажиров, и, вероятно, чтобы шевадьё меньше придавал значения ее исчезновению, добавил, что она вчера вечером родила четырех великолепных щенков, но трех из них утопили в море, и, по всей видимости, именно страх, что и с четвертым тоже может что-нибудь случиться, помешал ей со всей пылкостью ответить на ласки шевадьё.

«Впрочем,— заметил тот, покачав головой,— мне настойчиво советовали никому не отдавать свое сердце; собака хорошо сделала, что убежала, иначе я был бы вынужден ее прогнать».

Матрос расслышал эти слова шевадьё, но поскольку он был человеком сдержанным и неболтливым, то, хотя и не понял их значения, не стал спрашивать объяснения у шевадьё.

Вечером подул благоприятный ветер, и капитан решил выйти в море; подняли якорь и взяли курс на Вальпараисо, куда «Дофин» должен был доставить одного из своих пассажиров.

Шевадьё не забыл, какие мучения доставила ему морская болезнь во время плавания из Гавра в Нью-Йорк и из Сан-Франциско на Таити; поэтому первое, что он сделал, когда почувствовал, как корпус корабля сотрясается под его ногами, так это лег на свою койку и препоручил заботу о себе своему матросу.

Это было весьма своевременным и нужным шагом: три дня, в течение которых шевадьё не осмелился отважиться выйти на палубу, стояла превосходная погода, но после этого налетел шквал, и море было беспокойным целых две недели

Все это время шевалье пролежал в каюте, еду ему подавали в постель, и каждый день он видел, как вслед за матросом в каюте появлялся спаниель, прекрасно знавший, какую выгоду сулит ему этот маневр: шевалье едва притрагивался к приносимым ему кушаньям, и они почти не тронутыми доставались собаке.

На восемнадцатый или девятнадцатый день, когда на море по-прежнему штормило и шевалье все так же оставался в своей постели, собака пришла как обычно, но на этот раз за ней следовал ее детеныш, который, неуверенно передвигая разъезжающиеся лапы, принялся бегать по палубе. Щенок, миниатюрная копия своей матери, был очарователен.

Несмотря на свою решимость ни к кому и ни к чему не привязываться сердцем, шевалье осыпал ласками маленького Блэка — так звали юного спаниеля, — угощая его мелкоколотым сахаром, который тот весь тщательно слизал с его руки вплоть до малейших пылинок сахарной пудры, застрявших в складках его ладони.

Раз десять в голову шевалье приходило спросить у матроса, не думает ли тот, что хозяин щенка собирается от него избавиться; но в эти минуты он вспоминал совет Думесниля: «Никому не отдавай своего сердца», — и тогда он отвергал эту идею подарить кому бы то ни было, пусть даже собаке, частицу своего сердца, которое должно было все целиком принадлежать его другу.

При любых других обстоятельствах Дьедонне утомило бы это долгое одиночество, и он сделал бы над собой некоторые усилия, даже рискуя увеличить свое недомогание.

Но не забывайте, в каюте он был не один. Рядом с ним находилась частица его самого, которую смерть так беспощадно вырвала у него, и он испытывал нечто вроде чувства удовлетворенного самолюбия, свойственного некоторым натурам с нежным сердцем, говоря себе, что его нежность будет неистощима, а слезы никогда не иссякнут.

Прошло еще четыре или пять дней, а море все еще продолжало волноваться; наконец однажды утром без какого-либо перехода корабль вдруг застыл неподвижно.

Дьедонне позвал своего матроса и заинтересовался у него, в чем причина этого затишья.

Матрос ответил, что они встали на рейде Вальпараисо, и если шевалье пожелает встать, то увидит побережье

Чили и вход в эту долину, столь прекрасную, что она была названа Вальпараисо, что означает райская долина.

Шевалье заявил, что он поднимется с постели; но, поскольку Блэк и его мать находились в каюте, он прежде всего приступил к своей обычной раздаче: матери — хлеба и мяса, а щенку — сахара.

В самый разгар их пиршества пронзительный свист заставил вздрогнуть взрослого спаниеля, который, подняв голову, застыл в нерешительности.

Второй раздавшийся свисток, сопровождаемый именем Дианы, покончил со всеми колебаниями; несомненно призываемая своим хозяином, собака исчезла, а вместе с ней и щенок.

Шевалье, почувствовав, что корабль стоит прочно, решил привести себя в порядок и подняться на палубу.

Это заняло у него приблизительно около получаса.

В тот момент, когда его голова показалась в люке, от корабля отошла лодка, чтобы высадить на берег пассажира, которого должны были доставить в Вальпараисо.

Машинально шевалье, ослепленный великолепием спектакля, который представал его взору на этом восхитительном побережье Чили, подошел к борту корабля.

Его взгляд упал на лодку, отошедшую от корабля уже шагов на сто.

Шевалье вздохнул.

В лодке, положив морду на колено пассажира, покидавшего корабль, сидел красавец спаниель.

Шевалье позвал своего матроса.

— Франсуа! Блэка и его мать увозят навсегда? Они уже не вернуться?

— Именно так, господин шевалье, — ответил матрос. — Эти двое животных принадлежат господину Шалье, и они последуют за ним.

Дьедонне вспомнил это имя.

Так звали того друга, к которому на борт «Дофина» приезжал Думесниль и который послужил невинной причиной смерти капитана.

Но хотя Шалье и был неповинен в этой смерти, это не помешало Дьедонне затанить против него зло и обиду.

— А! — сказал шевалье. — Я очень доволен, что он убирается прочь, этот господин Шалье, которого так любил Думесниль: мне было бы больно видеть его. Однако, — добавил он, — я сожалею о щенке.

Затем с жестом, выражающим задумчиво-грустное удовлетворение, он продолжал:

— Пусть будет так. Это счастье, что эта собака не осталась на борту, я стал к ней привязываться.

На следующий день корабль отплыл и через два месяца пришвартовался в Бресте.

Наконец, через неделю после высадки во Франции шевалье со своим скорбным багажом въехал в Шартр.

Глава XV,

В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ОТДАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ КАПИТАНУ И ПОСЕЛЯЕТСЯ В ШАРТРЕ

Шевалье остановился в гостинице и немедленно навел справки.

У капитана Думесниля когда-то была в Шартре семья; но, как он и говорил Дьедонне, от его семьи не осталось в живых ни одного человека.

Однако многие жители Шартра когда-то хорошо знали капитана и отдавали должное его мужеству и порядочности.

Шевалье разыскал могильщика, тот показал ему склеп семьи Думесниля; капитан был прав: одна из ниш была свободна.

Шевалье позаботился выправить с помощью доктора, капитана и его помощника с «Дофина» свидетельство о смерти, удостоверяющее кончину и личность Думесниля.

Имея на руках такое свидетельство, он мог потребовать и получить это последнее мраморное ложе, на котором его друг будет спать вечным сном.

Он послал письменные уведомления всем влиятельным лицам и именитым жителям города и поместил в газетах объявления о том, что капитан Думесниль умер и будет похоронен в следующий понедельник.

Между письменными уведомлениями, объявлениями в газетах и похоронами должна была пройти неделя.

Таким образом, если у Думесниля и оставались какие-либо родственники, то они были бы предупреждены.

Если они проживали в окрестностях Шартра, то у них было время приехать и принять участие в погребальной процессии.

Если же они были где-то далеко, то они могли бы написать, дать о себе знать и заявить о правах на наследство капитана, наследство, состоявшее всего из нескольких сотен франков, поскольку у капитана не было дру-

гих источников дохода, кроме тысячи четырехсот или тысячи пятисот франков пенсии.

Похороны состоялись через неделю, то есть по истечении положенного срока; никто из родственников на них не появился, зато присутствовал весь город.

Шевалье возглавлял траурное шествие, и, видит Бог, ни один сын не горевал бы сильнее о смерти отца, чем Дьедонне горевал о смерти друга.

Его слезы, до конца не выплаканные, ждали только подходящего момента, чтобы вновь пролиться, и он испытал непередаваемое блаженство, когда почувствовал, как они заструились у него по щекам.

Когда гроб с телом положили в нишу фамильного склепа, шевалье де ля Гравери пожелал сказать несколько слов этой толпе людей, которые, половина из любопытства, а половина из чувства симпатии, шли за гробом с телом капитана Думесниля до самого кладбища; но рыдания задушили его.

Это был лучший способ выразить свою признательность; с этого момента, если шевалье и не слыл в городе за большого умника, то в нем видели совсем другие достоинства — его нежное и чувствительное сердце. Де ля Гравери проводили до дверей его гостиницы.

И только войдя к себе в комнату, шевалье наконец действительно остался один.

Но он еще не наплакался вволю.

Он собрал различные предметы, принадлежавшие капитану, среди них был и дорожный несессер.

Эти святые реликвии вызвали новые слезы на его глазах.

Тогда он принял решение остаться в Шартре; он не испытывал особой любви ни к одному месту на свете; такой унылый и такой по провинциальному тихий город, как Шартр, со своим гигантским собором, постоянно вздымающим в небо две руки, будто моля Господа о милосердии, прекрасно подходил ему.

Он не хотел никого видеть из своих прежних друзей, никого, кто бы знал его жену и мог бы спросить его, что с ней случилось.

И, однако, странное дело, он вернулсЯ во Францию, влекомый смутной надеждой вновь встретиться с Матильдой.

На углу любой улицы, за который он поворачивал, ему мнилось, что вот сейчас он окажется лицом к лицу с ней, и что она кинется ему на шею с криком: «Это ты!»

В тот же день он стал подыскивать себе дом и на улице Лис нашел тот, который мы вам уже описали.

Он ему показался подходящим во всех отношениях.

Шевалье пригласил торговца мебелью, заказал ему обстановку по своему вкусу и написал своему нотариусу, прося того прислать принадлежавшие ему деньги, а также самые ценные предметы мебели и столовое серебро, которые Думесниль после катастрофы поместил в надежное место.

Нотариус, который во время семилетнего отсутствия шевалье высылал ему всего лишь половину от суммы его доходов, мог иметь в своем распоряжении от тридцати до сорока тысяч франков.

Помимо этого, шевалье имел еще двадцать тысяч ливров ренты.

А с двадцатью тысячами ливров ренты в таком городе, как Шартр, можно считать себя сказочно богатым.

Через неделю дом был готов принять шевалье.

Его водворение там стало целым событием.

Мы уже описывали, вы это не забыли, с каким комфортом были обставлены салон, комната для хранения вин и различных солений и копченостей, а в особенности спальня.

Но в ту пору мы умышленно ни слова не сказали о туалетном столике шевалье.

Вы еще не забыли о несессере, который он унаследовал от своего друга Думесниля, и о том, с каким беспокойством тот поручил его вниманию этот несессер в последние минуты своей жизни.

В первый вечер своего новоселья шевалье решил открыть его.

Собравшись с силами, сосредоточившись, он сел на свой прекрасный ковер из Смирны, поставил несессер между ног и открыл его, не забыв заранее приготовить носовой платок.

Так оно и было, первые же увиденные им вещи вновь прорвали плотину его слез.

Это были повседневные предметы туалета, принадлежавшие капитану, который всегда тщательным образом следил за своей особой.

Шевалье один за другим вынул их из ячеек и расставил вокруг себя.

Дойдя до последнего, он заметил, что несессер имеет двойное дно.

Он стал искать его секрет и довольно легко обнаружил, так как мастер, из чьих рук вышел несессер, не давался особой целью утаить его.

В этом секретном отделении хранился аккуратно запечатанный и перевязанный пакет, на конверте которого шевалье прочел следующее:

«Я прошу моего друга де ля Гравери во имя двух священных понятий: дружбы и чести — вручить этот пакет мадам де ля Гравери, если он когда-либо увидится с ней; в противном же случае сжечь его в тот же день, когда ему станет известно о ее смерти, НЕ ПЫТАЯСЬ УЗНАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ.»

Думесниль»

Шевалье на минуту задумался; но потом ему пришло в голову, что Думесниль виделся с Матильдой, пока он, Дьедонне, лежал со сломанной ногой, и она, вероятно, дала ему какое-то поручение, которое он сумел или не сумел исполнить, а в этом пакете содержится его ответ.

И он аккуратно положил пакет обратно на дно несессера, закрыл его, повесил ключ себе на шею, поставил несессер в шкафчик, находившийся у изголовья его кровати, и разложил на туалетном столике все вещи, служившие когда-то капитану, которыми в память о последнем он хотел теперь пользоваться сам.

В течение нескольких дней воспоминания об этом запечатанном и перевязанном пакете приходили ему на ум; но никогда у шевалье даже и мысли не возникало вскрыть его, чтобы посмотреть, что в нем заключено.

Будучи совершенно одиноким в чужом городе, Дьедонне был избавлен от необходимости выслушивать банальные выражения сочувствия, которые вместо того, чтобы утешить, лишь ожесточили бы такое сердце, как у него.

Безразличные окружающих послужило лучшим лекарством для его горя. Предоставленное само себе, никем не поддерживаемое извне, оно притупилось тем быстрее, чем сильнее были его проявления.

Тогда шевалье впал в глубокую, но тихую печаль, и в таком расположении духа он поселился в своей новой обители.

Накануне в одном из офицеров гарнизона он узнал одного из своих прежних товарищей-мушкетеров; он колебался, стоит ли ему возобновлять это знакомство, но, вспомнив, что на следующий день гарнизон покидает

город, он перестал видеть в этом какое-либо неудобство для себя.

Офицеру стоило больших трудов узнать его: они не виделись почти восемнадцать лет.

Дьедонне стал расспрашивать о людях, которых он оставил когда-то молодыми, блистающими, полными жизни и здоровья.

Многие из них уже лежали в могилах, как старики, так и юноши; смерть не разбирает, кто перед ней, и не имеет привязанностей; однако порой она, похоже, умеет ненавидеть.

На шевалье произвел сильнейшее впечатление этот постоянно повторяющийся ответ, который сопровождал большинство его вопросов:

— Он скончался!

Он был настолько поражен, что благодаря этой нехронологической беседе, считая тех, кто не явился на переключку, подобно генералу, считающему павших на поле битвы, он еще крепче утвердился в своем решении, внушенном Думеснилем и в глубине сердца уже одобренным им самим: отрешиться отныне от этих эфемерных привязанностей, заставляющих столькими тревогами и волнениями платить за те немногочисленные радости, которыми они скупо одаряют, словно бросают милостыню. Он решил оградить себя от всего, что могло бы отныне нарушить покой его существования; а для начала, распрощавшись с офицером, с которым он, вероятно, не должен был больше увидеться, поскольку тот на следующей неделе уезжал в Лилль, он дал сам себе слово никогда не наводить справки о том, что стало с его старшим братом, и это было не так уж трудно, ни даже, что было в действительности новой жертвой с его стороны,— о судьбе Матильды.

Обособившись подобным образом от всего и от всех, Дьедонне оставалось делать только одно: предаться культу своей собственной персоны, поначалу методично, затем фанатично, и, наконец, довести его до подлинного обожествления самого себя.

С обществом Шартра он установил только те отношения, которые были необходимы, чтобы не стать объектом назойливого любопытства; ведь всякое проявление крайней эксцентричности вызывает пристальный интерес в провинции, где человек, проживавший ранее в Париже, совершает самую большую ошибку, считая, что сможет сбойтись без какого-либо знакомства с провинциалами.

Шевалье особенно заботливо следил, чтобы его отношения из вежливых и доброжелательных не перерастали в близкие и дружеские. Если в небольшом кругу своих знакомых он позволял себе поддаться очарованию беседы, если вследствие каких-либо благоприятных обстоятельств он чувствовал некоторую симпатию к мужчине; если крючковатые атомы его рассудка или его сердца грозили соединиться с такими же атомами женщины, молодой ли, старой ли, красивой или уродливой, он рассматривал это расположение своего духа как предостережение свыше и бежал от мужчины или женщины, слишком милого и обходительного создания, как будто это создание вместо того, чтобы подарить ему нежную дружбу, могло заразить его чумой. Он оставлял свое лучшее обхождение для глупцов и для злых людей, которых, несмотря на малую населенность старого Шартра, было предостаточно в этом городе, избранном для себя шевалье.

Шевалье де ля Гравери придерживался не менее строгих правил и в своей личной жизни.

Он изгнал из своего дома кошек, собак и птиц, в которых видел повод для терзаний и неприятностей.

У него была всего лишь одна служанка; он нанял ее, так как она превосходно готовила, но была при этом стара и сварлива, и шевалье всегда мог ее держать на почтительном расстоянии от своего сердца, безжалостно прогоняя ее прочь, но не тогда, когда она его раздражала, а, напротив, когда он замечал, что ему весьма приятно ее обслуживание.

В этом отношении небо, казалось, задалось целью осчастливить шевалье, дав ему Марианну, то есть ту служанку, которая во второй главе этой истории, как мы видели, обрушила целый водопад на голову своего хозяина и собаки, встреченной шевалье.

Марианна была уродлива, и она сознавала это, что в немалой степени сформировало у нее один из самых отвратительных характеров, с которыми шевалье когда-либо посчастливилось встретиться.

Сердечные огорчения — а, несмотря на недостатки своей внешности, Марианна обладала сердцем, — сердечные огорчения ожесточили ее характер, и под благовидным предлогом мести одному улану, изменившему ей, она третировала беднягу шевалье, не подозревая о том удовольствии, которое доставляла ему; ведь он имел в ее лице такую служанку, к которой при всем желании

было невозможно привязаться. Но признаемся, что дерзость Марианны, ее злобный и сварливый нрав, ее безумные требования были не единственными качествами, горювшими в ее пользу в глазах шеваляе.

Марианна имела неоспоримое превосходство искусной поварихи над самым хваленым шеф-поваром Шартра, о котором мы упоминали в самом начале нашего повествования.

Чревоугодие стало любимым грехом де ля Гравери. Искушив свое сердце, он позволил желудку развиться до невероятных размеров; меню ужина играло огромную роль в его жизни, и, хотя расстройство желудка порой доказывало ему, что, подобно всем земным наслаждениям, чревоугодие имеет свою обратную сторону, нетерпение, с которым он каждый день ждал того часа, когда сядет за стол, от этого не становилось меньше, а кулинарное искусство Марианны не падало в его глазах.

Понемногу де ля Гравери настолько привык к этому существованию отшельника, что малейшие случайности, нарушавшие его покой, превращались для шеваляе в целое событие; жужжание комара вызывало у него лихорадку; а поскольку он, подобно всем людям, которые сверх меры поглощены заботами о своей собственной персоне, дошел до того, что без конца щупал пульс и изучал свой душевный настрой, то время от времени его покой все еще нарушался; однако возмутителями спокойствия были ничтожные атомы, которые в его взволнованном воображении, как в микроскопе, увеличивались в десятки раз. В последнее время, застывший в оцепенении от этого полного отсутствия каких-либо эмоций, он так сильно боялся всего, что могло бы нарушить его покой, что подобно трусам испытывал страх перед самим страхом.

Было бы, однако, неправильным утверждать, что сердце де ля Гравери стало злым, что он позаимствовал некоторую жесткость и твердость у той раковины, в которой укрылся; но мы должны признать, что вследствие этой постоянной заботы о самом себе его первоначальные качества, достигавшие предела в своем проявлении, а потому превращавшиеся в недостатки, значительно притупились, и теперь уровень их эмоциональности был столь же низок, сколь ранее был высок их накал. Его доброта стала негативной, он не мог выносить мучений себе подобных; но его гуманизм проистекал скорее из нервного потрясения от самого вида страданий, нежели

из чувства подлинного милосердия. Он охотно удвоил бы сумму раздаваемой милостыни, лишь бы это его избавило от вида нищих; жалость стала для него всего лишь неким ощущением, в котором сердце перестало принимать какое-либо участие, и чем больше он старел, тем больше его сердце застывало.

Пороки и добродетели похожи на любовниц: если в течение месяца, будучи разлученными с любимой женщиной, мы не стремимся вновь оказаться рядом с ней, то по прошествии этого месяца мы сможем прекрасно обойтись без нее весь остаток нашей жизни.

Вот каким был шевалье де ля Гравери через восемь или девять лет своего пребывания в Шартре, то есть в тот момент, когда началась эта история.

Глава XVI,

В КОТОРОЙ АВТОР ВОЗОБНОВЛЯЕТ НИТЬ СВОЕГО ПРЕРВАННОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

В тот момент, когда было предпринято это длительное отступление, а оно само является целой историей, мы оставили шевалье де ля Гравери промокшим до нитки из-за варварского вмешательства Маринны в его спор с новой знакомой.

Бормоча ругательства, шевалье поднялся в свою спальню; если бы ему на лестнице попала служанка, то, можно не сомневаться, ее постигла бы суровая кара; но шевалье чувствовал, как ледяной холод, проникая сквозь кожу, пронизывает его до костей. И он счел, что было бы неразумным в приступе горячности поддаться чувству необузданной злобы, не приняв прежде необходимых мер против насморка и простуды.

Яркий и весело потрескивающий огонь, тот славный огонь в очаге, что питается добрыми дровами и который можно встретить лишь в провинции, разом прогнал и дрожь, и плохое настроение шевалье; наслаждаясь приятным, почти сладострастным ощущением тепла, он забыл свой гнев; затем, повинувшись естественному ходу мыслей, цепляющихся одна за другую, он подумал о бедной собаке, с которой обошлись не лучше, чем с ним, но которой, вероятно, чтобы высушить свою шелковистую одежду, пришлось довольствоваться бледными и немощными лучами осеннего солнца.

Эта мысль заставила шевалье де ля Гравери покинуть

кресло, в котором он столь восхитительно нежился около огня, принимая эти теплые ванны как компенсацию за ледяной душ; он подошел к окну, поднял занавески и увидел животное, которое дрожа сидело на другой стороне улицы около тюремной стены, расположенной напротив дома шевалье.

Злополучная собака, насторожив уши, с глубокой печалью разглядывала жилище, в котором ей был оказан такой негостеприимный прием.

В этот момент то ли случайно, то ли движимая инстинктом, подняв голову, она заметила через оконное стекло шевалье. При виде его ее физиономия стала еще более красноречивой, и на ней появилось выражение горестной укоризны.

Первым порывом де ля Граверн, порывом, которого великий дипломат советовал остерегаться, так как он всегда бывает добрым, было признать перед самим собой неправоту, допущенную им по отношению к благородному животному; но давно усвоенная привычка подавлять свои симпатии взяла верх над этими остатками его прежнего темперамента.

— А! Нет! — громко сказал он, как будто отвечая на свою собственную мысль. — Пусть она возвращается к своему хозяину, и Марианна тысячу раз была права, что не стала делать дружеского различия между собакой и мной. Если привечать у себя всех бродячих собак, то не хватит никакого княжеского состояния! К тому же у этой собаки масса недостатков: она любит поест, а следовательно, должна быть воровкой; она разграбит и разорит весь дом, и потом... и потом... я не желаю иметь у себя в доме животных; я дал себе слово, а главное, я поклялся в этом Думеснилю.

После этого шевалье вернулся в свое кресло, где он постарался заглушить угрызения совести, о которых свидетельствовал его монолог, предавшись сладкой дреме.

Но вдруг в мозгу у шевалье стало твориться нечто странное.

По мере того как он погружался в дрему, предметы, окружавшие его, мало-помалу исчезали, уступая свое место другим: стены растворялись и превращались в решетки из дерева, напоминающие клетку; нежный, чистый и благоуханный воздух проникал через эти щели, и через них же, если посмотреть вверх, было видно ясное небо, а если взглянуть на горизонт, то лазурное море.

Невольная греза, магнетическая сила перенесла шевалье в Папээти.

Перед ним было ложе, набитое соломой, желтоватый воск горел в изголовье и в изножье кровати; на этой кровати, завернутое в саван, лежало тело человека; постепенно этот саван становился все прозрачнее и прозрачнее, и сквозь полотно шевалье де ля Гравери узнавал пожелтевшее и осунувшееся лицо, остановившиеся глаза и приоткрытый рот капитана Думесниля и слышал голос своего друга, отчетливо произносившего вот эти слова: «Если только я увижу, что там наверху занимают-ся переселением душ, то я буду умолять милосердного Бога надеть на меня шкуру собаки, в облике которой, где бы я ни был, я разорву свою цепь, отыщу тебя, и мы вновь соединимся».

Затем погребальная вуаль отделила шевалье от мертвого тела капитана и видение растаяло в тумане.

Шевалье издал вопль, словно он катился куда-то в пропасть, проснулся и, придя в себя, заметил, что сидит, вцепившись в подлокотники кресла.

— Черт возьми!.. — вскричал он, вытирая лоб, покрытый густыми каплями холодного пота. — Какой кошмар! Бедняга Думесниль!

Затем, после паузы, во время которой его глаза оставались неподвижно устремлены на то место, где появилось видение, он произнес:

— Это в самом деле был он.

И, как будто движимый этой убежденностью, приняв трудное, но неизбежное решение, шевалье поднялся и быстро направился к окну.

Но на полдороге он остановился.

— А! Это ужасно глупо! — пробормотал он. — Мой бедный друг умер, и, к несчастью, его уже не воскресить; и я, как добрый христианин, могу надеяться лишь на то, что Господь смилостивился над ним и принял к себе его душу. Нет, это абсурдно! Я слишком много ходил сегодня; душ Марианны вызвал у меня лихорадку, а от этой проклятой собаки у меня помутился разум. Нет, нет, не будем больше думать об этом.

Де ля Гравери отправился в библиотеку; и чтобы больше не думать об этом, то есть о капитане Думесниле и черной собаке, взял первую попавшуюся под руку книгу, снова как можно удобнее устроился в своем кресле, поставил ноги на выступ камина, наудачу раскрыл взятый том и взгляд его упал на следующие строчки:

«Ни одного письменного наставления не сохранилось до наших дней из той системы, которой учил Пифагор;

но, судя по преданиям, дошедшим до нас, можно утверждать, что он верил в смерть одной лишь материи, физической оболочки, и ни в коем случае той жизненной энергии, которая дается человеку при рождении. Эта жизненная энергия, будучи бессмертной, не может быть ни растрачена, ни ослаблена человеком; однако она переходит в другие материальные тела — существа той же самой природы, если боги полагают необходимым вознаградить жизнь, прожитую мужественно, самоотверженно и честно; существа низшей природы, если человек во время своего пребывания на земле совершил какое-либо преступление или даже какую-либо ошибку, которую должен искупить. Поэтому он утверждал, что узнал одного из своих друзей, Клемена де Тасос через восемь или десять лет после его смерти под внешностью собаки...»

Шевалье не стал читать дальше; он выронил книгу, давшую столь прямой ответ на его мысли, и пошел, робко посмотрел в окно.

Спаниель по-прежнему сидел на том же месте, все в той же позе, все так же устремив глаза на то самое окно, из-за занавесок которого шевалье в данный момент сам разглядывал его; и как только он увидел фигуру шевалье в оконном переплете, его взгляд оживился, и он стал вежливо помахивать хвостом.

Эта упорная настойчивость животного настолько была созвучна мыслям, смущавшим его рассудок, что шевалье де ля Гравери был вынужден призвать на помощь весь свой разум, чтобы не видеть сверхъестественного явления в своей встрече с черной собакой.

Стыдящийся своих суеверных поползновений, измученный странной симпатией, которую он вдруг внезапно почувствовал к своему товарищу по прогулке, он решил пойти на компромисс, который позволил бы ему не противиться той привязанности, что поселилась в его сердце, к бродячей собаке, но при этом, однако, не пускать к себе в дом непрошенного гостя.

Шевалье торопливо спустился в кухню.

Марианны не было.

Шевалье облегченно вздохнул, он слышал, как чуть раньше хлопнула дверь, и действительно рассчитывал, что Марианна ушла.

От ее отсутствия шевалье испытал сильнейшее чувство радости.

Ведь, решившись на это благое дело, шевалье все же побаивался того нравоучения, которое могла бы ему прочесть его служанка, о том грехе, который он собирался совершить, бросая хлеб Божий какой-то собаке, когда столько бедных лишены этой милости.

Но это вовсе не означало, запомните это хорошенько, что, следуя этой заповеди, Марианна делилась с обездоленными своим хлебом или даже хлебом своего хозяина.

Но решение шевалье было твердым; он заранее все обдумал: если бы Марианна осмелилась сделать ему замечание, он припомнил бы ей ведро воды, которое она обрушила ему на голову и которое он ей так и не простил, и величественным тоном, воздействие которого он неоднократно имел возможность оценить, заявил бы ей:

«Марианна, мы больше не можем жить под одной крышей; я даю вам расчет!»

Эта фраза, произнесенная с соответствующим величием, всегда приводила к тому, что мадемуазель Марианна становилась раболепно услужливой.

Но с некоторого времени Марианна стала капризнее, чем обычно, и шевалье предполагал, что переполнявшее ее недовольство и крайнее раздражение, которое она испытывала по отношению к нему, вызваны предложениями, которые ей сделал мэр Шартра, добивающийся того, чтобы она покинула шевалье и поступила на службу к нему в дом.

А поэтому было весьма вероятно, что, если в подобных обстоятельствах шевалье отважится на свое величественное: «Я даю вам расчет!», Марианна действительно соберет свои вещи и уйдет от него.

Шевалье удалось победить свои сердечные симпатии и привязанности, но он был не в силах заглушить вопль своего желудка.

Марианна была пусть не самая любезная, но зато самая умелая кухарка, которая когда-либо у него была.

Вот что заставляло его так опасаться встречи с Марианной на кухне; и вот почему у него стало так легко на сердце, когда он обнаружил, что ее там нет.

Итак, шевалье воспользовался обстоятельствами и торопливо приблизился к буфету.

Буфет был закрыт на ключ.

Марианна была очень аккуратна.

Тогда он взял нож и, вставив его между створками, попытался открыть буфет без ключа.

Но тут он подумал, что может сказать Марианна, ес-

ли вернется именно в этот момент и застанет его на месте преступления, уличив во взломе собственного буфета.

Собственного? А был ли он все еще его собственным? Разве Марианна когда-нибудь говорила: «Кухня госпо-дина шеваля?»

О! Нет! Марианна говорила: «Моя кухня».

Нож выпал из рук Дьедонне, и он отчаянным взором обвел вокруг себя.

Рядом с дверью, на высокой полке вне досягаемости каких-либо хищных животных, он заметил курицу; утром он съел у нее всего лишь одно крылышко.

Итак, не считая крыла, птица оставалась нетронутой.

А это была отменная пулярка из Ле-Мана.

Разумеется, памятуя об ужине шеваля, Марианна рассчитывала наилучшим образом распорядиться этими остатками, выглядевшими самым аппегитным образом: белое мясо, пропитанное жиром, обжаренное до золотистой корочки, такое нежное, уютно покоящееся в собственном соку.

Воображение шеваля в несколько секунд нарисовало ему, как он вкушает эти сочные остатки пулярки, приготовленные в виде фрикасе под маринадом, под байонезом или майонезом (мнение ученых разделилось в этом вопросе кулинарной технологии), и хотя эти закуски были несколько грубоваты, как и все блюда повторного приготовления, шеваля обожал их до невозможности.

Поэтому его взгляд стал обшаривать все углы и все полки в надежде, не послала ли ему счастливая случайность какого-нибудь другого съестного, которое заняло бы место пулярки в его планах.

Но шеваля напрасно искал, он ничего не нашел.

Тогда он взял птицу за лапы, поднес ее к глазам и принялся изучать, испуская вздохи сожаления и вожде-ления, изо всех сил подавляя желание впитаться в нее прямо зубами.

Вот каков был результат его осмотра и, возможно, он поддался бы искушению, как вдруг скрип уличной двери, поворачивающейся на заржавевших петлях, положил конец его колебаниям.

Шеваля вышел победителем из этого сражения, которое его сердце вело с его желудком. Он решительно спрятал пулярку под полу своего домашнего халата и взобрался по лестнице, ведущей в кухню, с ловкостью и проворством, которые в свои сорок пять лет и не думал вновь обнаружить в ногах.

Выйдя из кухни, он чуть не столкнулся с Марианной.

Он проворно укрылся в кладовой и стоял там, едва переводя дух, до тех пор, пока Марианна не спустилась в свою кухню, расположенную в цокольном этаже, как теперь принято выражаться.

Тогда он на цыпочках, стараясь не дышать, вышел из кладовой, добрался до своей лестницы и, перешагивая сразу через две ступени, вернулся в свою комнату, закрыл дверь, опустил задвижку и упал на стул.

Силы оставили его.

Шевалье хватило пяти минут, чтобы прийти в себя; он вновь поднялся на ноги, подошел к окну, решительным жестом открыл его, позвал собаку, все так же, подобно сфинксу, сидевшую на одном и том же месте, и роскошным движением руки кинул ей курицу.

Животное схватило ее на лету и, вместо того, чтобы убежать со своей добычей, как этого ожидал шевалье и на что он, вероятно, надеялся, пес зажал курицу между лап и с видом собаки, уверенной в своем праве, принялся на месте разрывать ее на части с силой, делавшей честь крепости его челюстей.

«Браво, мой мальчик! — восторженно закричал шевалье. — Так ее, отлично! Рви, раздирай. Вот целое крыло исчезло в пасти; вот одна ножка, так, теперь другая, а вот и голова; что же, пришел черед тушки... Но ты же умираешь от голода, бедняга?»

При этой мысли де ля Гравери тяжело вздохнул, поскольку идея о переселении душ вновь возникла в его мозгу, а вместе с ней и образ капитана.

И мысль, что тот, кто в облике человека был так добр к нему, может страдать от голода в другой телесной оболочке, какой бы она ни была — особенно если это черная собака, которая, возможно, разорвала свою цепь, чтобы отыскать его, — вызвала у шевалье слезы на глазах.

И никто не взялся бы предсказать, куда могла бы завести шевалье эта мысль, если бы у него было время остановиться на ней.

Но разъяренные крики, донсившиеся с первого этажа, грубо прервали ход его размышлений.

Шевалье, пребывая в соответствующем расположении духа и сознавая свою вину, без труда узнал голос Марианны.

Он быстро захлопнул окно, подбежал к двери и открыл задвижку.

Это и вправду была Марианна, которая, обнаружив пропажу своей птицы, стонала и причитала так, словно весь дом был обращен в пепел.

Шевалье счел, что будет лучше предупредить опасность или даже вызвать огонь на себя.

Если Марианна случайно подошла бы к уличной двери и увидела бы собаку, грызущую остатки пулярки, ей бы все стало ясно.

Если же, напротив, шевалье отвлек бы ее внимание, пусть даже всего и на пять минут, то по темпу, какой взял спаниель, было очевидно, что через пять минут исчез бы и самый последний кусочек птицы.

Осталась бы облизывающаяся от удовольствия собака, ожидающая новую курицу; но собаки не говорят.

Впрочем, если бы спаниель даже и заговорил бы, то он выглядел слишком умным, чтобы поведать Марианне о своих гастрономических отношениях с шевалье.

От двери своей комнаты, находясь на верхней площадке лестницы, то есть занимая господствующее положение, он закричал хозяйским голосом:

— Ну, Марианна, что случилось и по какому поводу весь этот шум?

— Почему весь этот шум? И вы еще спрашиваете, сударь?

— Разумеется, я вас спрашиваю об этом.

Затем он добавил со все возрастающим достоинством:

— Черт возьми, я, кажется, имею полное право знать, что происходит в моем доме.

И он с какой-то совершенно особой интонацией произнес конец фразы, сделав акцент на притяжательном местоимении «мой» и существительном «дом».

Марианна почувствовала жало.

— В вашем доме! — сказала она. — В вашем доме! Ну, что же, знайте, что в нем происходят премилые вещи.

— Так что же все-таки случилось? — дерзко спросил шевалье.

— В вашем доме воруют; вот что случилось в вашем доме, — с непередаваемым выражением произнесла Марианна, особенно последнее слово.

Шевалье закашлялся и уже менее твердым голосом поинтересовался:

— И что же украли?

— Украли ваш ужин: только и всего. Не думаете же вы, что в четыре часа дня я еще раз пойду на рынок. Впрочем, там уже ничего и не было бы, на этом рынке.

Да даже и будь там куры, они были бы непригодны сегодня к употреблению. Каждый знает, что курица будет съедобной, только если пролежит по меньшей мере два дня.

Шевалье очень хотелось ей сказать: «Пойдите к кондитеру на углу, там вы найдете слоеный пирог с мясом или грибами или что-то еще, что заменит вашу пулярку».

Но, несомненно, спаниель находился все еще у двери, а шевалье не хотел подвергать его расправе Марианны.

И он ограничился следующим ответом:

— Ба! Что такое? Приготовить незамысловатый ужин, разве на это надо много времени?!

Это суждение настолько не соответствовало характеру шевалье, что Марианна, напротив, привыкнув к педантичным, дотошным замечаниям своего хозяина, была им совершенно ошеломлена.

— А! — проворчала она. — Вот как ты заговорил; хорошо же, больше не станем церемониться.

И Марианна вернулась к себе в кухню, дав слово, что припомнит это шевалье; ее гордыня была уязвлена.

А шевалье, подарив курицу и лишившись из-за этого ужина, а также поругавшись с Марианной, счел себя свободным от каких-либо дальнейших шагов по отношению к спаниелю.

Не подходя больше к окну, он направился прямо к креслу и оставался в нем до того момента, когда Марианна открыла дверь его комнаты и с насмешливым видом объявила:

— Сударь, ужин подан.

Эти слова раздавались ежедневно в пять часов вечера.

Шевалье спустился и сел за стол.

Марианна церемонно положила перед шевалье кусок отварной говядины, поставила тарелку со сладким горошком и салат из зеленой фасоли, предупредив, что эти три блюда составят сегодня весь его ужин.

Бедный шевалье с нескрываемым отвращением атаковал кусок совсем сухого жилистого мяса, заставившего его быстро перейти к фасоли; но, к счастью, совершенная им прогулка, полученный душ, а главное непривычное волнение, пережитое им, вероятно, раскрыли перед его аппетитом новые возможности; ибо если он и предпринял всего одну атаку на кусок говядины, то дважды возвращался к горошку и трижды к фасоли и закон-

чил тем, что, встав из-за стола, поклялся совершенно сбитой с толку Марианне, что уже давно так хорошо не ужинал.

После ужина шевалье обычно отправлялся в свой клуб. Ни за что на свете шевалье не отказался бы от этой привычки. Что бы он стал делать, если бы отказался от своего виста по два лиарда за фишку?

Однако, опасаясь, как бы курица вместо того, чтобы внушить спаниелю мысль убраться восвояси, не породила бы у него желание остаться, и подозревая, что, выйдя из дома, он встретит его у двери, шевалье решил ловко провести его.

Это всего-навсего значило покинуть дом через сад вместо того, чтобы пройти по улице.

Сад выходил на пустынный переулок, в котором никогда ни одна бродячая и потерявшаяся собака даже и не помыслила бы ждать своего хозяина.

В результате этого обходного маневра, избежав нежелательной встречи, шевалье кружным путем дошел до своего клуба, расположенного на площади Комеди. Он пробыл там до десяти часов вечера.

«Этот чертов спаниель так упрям,— пробормотал сквозь зубы шевалье,— что способен до сих пор оставаться на своем посту; если он будет там, то у меня не достанет мужества оставить его на улице; вернемся же домой так же, как я пришел сюда».

И шевалье все тем же кружным путем попал в свой переулок, войдя в сад через заднюю калитку; он ускорила шаги, так как вдалеке сверкала молния и раздавались раскаты грома.

Когда он шел по саду, упали первые капли дождя, такие же большие, как шестифранковые монеты.

На лестнице он встретил Марианну, которая, подумав, что, вероятно, несколько далеко зашла в своем желании отомстить, обратилась к шевалье, пытаясь принять свой самый любезный вид:

— Господин хорошо сделал, что вернулся.

— Почему же это? — спросил Дьедонне.

— Почему? Потому что собирается гроза, но такая гроза, когда хороший хозяин и собаку не выставит за дверь.

— Гм! — произнес шевалье. — Гм! Гм!

И, обойдя Марианну, он прошел к себе в комнату.

Он испытал огромное желание подойти к окну и посмотреть, по-прежнему ли пес сидит перед домом, но не осмелился.

Дождь с силою хлестал в ставни, и с каждым разом удары грома становились все ближе и ближе.

Шевалье быстро разделся, поспешно закончил свой вечерний туалет, улегся в постель, погасил свечи и натянул одеяло на уши. Но гроза была такой сильной, что, несмотря на принятые предосторожности, он продолжал слышать стук дождя в ставни и раскаты грома, грохочущие над головой, так как гроза потихоньку продвигалась вперед и, казалось, в этот час вся ее сила сосредоточилась над домом шевалье.

Вдруг среди шума ливня, грохота грома ему послышался протяжный, скорбный, заунывный стон, похожий на вой собаки, который доносился все явственнее и громче.

Шевалье почувствовал, как дрожь прошла по всем его членам.

Неужели спаниель, встреченный сегодня утром, был все еще здесь? Или это была другая собака, попавшая сюда случайно?

Завывания, услышанные им, имели так мало общего с радостным лаем сегодняшнего утра, что шевалье вполне мог предположить, что этот лай и этот вой не имели между собой ничего общего и не могли выйти из одной глотки.

Шевалье еще глубже вдавился в постель.

Гроза продолжала грохотать все страшнее и страшнее.

Ветер сотрясал дом так, будто хотел вырвать его с корнем.

Вторично послышался заунывный, мрачный, протяжный вой.

На этот раз шевалье больше не мог устоять перед ним, казалось, этот вой против его воли вытаскивал шевалье из постели; тогда он поднялся, и, хотя занавески, окно и ставни были закрыты, вспышки молнии, следовавшие друг за другом без перерыва, освещали комнату.

Как будто движимый какой-то более могущественной силой, чем он сам, шевалье неуверенной походкой подошел к окну; приподняв занавеску, через отверстия в ставнях он увидел несчастного спаниеля, сидевшего на прежнем месте под потоками ливня, которые были способны растопить даже собаку, сделанную из гранита.

Глубокая жалость овладела шевалье.

Ему показалось, что в этом упорстве собаки, которую он видел впервые, было нечто сверхъестественное.

Машинальным движением он поднес руку к шпингалету на оконной раме, чтобы открыть его, но в тот же момент такой удар грома, какого он до сих пор не слышал, грянул прямо у него над головой; мрак раскололся, огненная змея прочертила воздух, собака испустила громкий вопль ужаса и, завывая, убежала; в то время как шевалье, пораженный электричеством, которое, войдя через руку, касавшуюся железа шпингалета, прошло по всему его телу, попятился и без сознания упал навзничь у изножья своей кровати.

Глава XVII

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

Когда шевалье пришел в себя, гроза прошла, была темная, густая ночь, и стояла полная тишина.

Он лежал все это время, не зная, что с ним случилось; ничего не помня, так как не мог догадаться, как получилось, что он оказался лежащим на полу около своей кровати в одной ночной рубашке осенней ночью, уже такой холодной, как и зимняя ночь.

Он чувствовал себя совершенно заочевенным; в ушах у него раздавался шум, похожий на отдаленный гул водопада.

Двигаясь вслепую, он встал на колени, ощупью на расстоянии ладони нашел свою кровать и, тяжело вздохнув, с беспримерным усилием вскарабкался на пирамиду из матрасов.

Там он нашел свои простыни еще теплыми — это доказывало, что его обморок был недолгим, — а свое пуховое одеяло наполовину сползшим вниз. Он скользнул между простынями, испытал при этом чувство неслыханного наслаждения, с головой натянул на себя свой пуховик, свернулся клубочком, чтобы быстрее согреться, и попытался заснуть.

Но, напротив, мало-помалу память стала возвращаться к нему, а по мере того, как возвращалась память, сон бежал прочь.

Шевалье в малейших деталях припомнил все, что произошло, начиная с пулярки из Ле-Мана и кончая раскатом грома.

Тогда он прислушался, не нарушат ли тишину испи завывания собаки.

Все было тихо и спокойно.

Впрочем, разве в тот момент, когда он почувствовал удар электричества, от которого у него до сих пор немеет рука, он не видел, как убегала испуганная собака?

Значит, он избавился от этого животного, упорно преследовавшего его, подобно призраку.

Но не было ли это животное странным образом связано с единственными воспоминаниями, которые были ему дороги: со смертью его друга Думесниля?

Все это было слишком сильным потрясением для шевалье, чья жизнь вот уже восемь или девять лет текла размеренно и гладко, подобно поверхности озера, а со вчерашнего дня, казалось, превратилась в бурный поток, увлекаемый против его воли к какому-то ужасному водопаду, подобному Рейнскому или Ниагарскому.

В этот момент послышался удар часов.

Это могла быть или половина какого-то или же час ночи.

Шевалье мог подняться, зажечь спичку и посмотреть.

Но испытывая, подобно испуганному ребенку, робость, шевалье не осмелился встать, так как ему казалось, что привычный порядок вещей полностью нарушился.

Он ждал.

Через полчаса часы пробили еще раз.

Значит, был час ночи.

Шевалье предстояло еще шесть часов ждать наступления дня.

Он вздрогнул и почувствовал, как от ужаса у него по всему телу выступил пот; было совершенно очевидно, что если ему не удастся заснуть, то до наступления дня он сойдет с ума.

Стиснув зубы и сжав кулаки, шевалье с яростью приказал себе: «Спать!»

К несчастью, известно, что здесь человек не властен над собой; шевалье напрасно говорил себе: «Спать», а сон не шел к нему.

Но вместо сна начался бред измученного ума!

Шевалье впал в некое оцепенение, похожее чем-то на сон, стало казаться, что это он, а не Думесниль, лежал на кровати, завернутый в саван; но только произошла ошибка, и летаргический сон приняли за смерть, собираясь похоронить его заживо.

Пришедший могильщик, взяв его с кровати, а сам он был не в состоянии ни говорить, ни кричать, ни стонать,

ни шевелиться, ни сопротивляться, положил его в саване в гроб, закрыл гроб крышкой и принялся его заколачивать; но один из гвоздей коснулся тела и шевалье закричал и проснулся.

Когда он проснулся или полагал, что проснулся — ведь шевалье был во власти непрерывной галлюцинации, — ему показалось, что он вдруг перенесся в фантастический мир, населенный животными странных форм, которые с угрозой смотрели на него; он хотел убежать, но на каждом шагу, как перед рыцарем в садах Армиды, перед ним возникали новые монстры, драконы, гиппогрифы, химеры, которые слились в единую свору, гнавшуюся за ним; несчастный шевалье спотыкался, падал и вновь поднимался, продолжая свой бег; но вскоре настигнутый, подобно загнанному оленю, он приготовился к смерти, не имея сил бороться с ней; однако боль, которую причинил ему первый же укус, разбудила его, и он снова сказал себе:

«Это все неправда, я лежу в своей постели, мне нечего бояться; это какое-то сновидение, кошмар».

И шевалье приподнялся и сел, обхватив голову руками; он напрасно уверял себя, что никогда не будет столь чувствительным, чтобы придавать хоть малейшее значение снам; повторение этих потрясений, состояние прострации, в которое он впал от бессонницы, начинали расшатывать его мозг.

Но даже в этой позе он не мог избежать этого ужасного сонного оцепенения, с помощью которого фантастическое, ирреальное входило в его жизнь и овладевало всеми его способностями и рефлексам.

Одна его рука безвольно упала вниз и вытянулась вдоль пирамиды из матрасов; но едва она повисла, как ему стало казаться, что ее ласкает нежный и горячий язык собаки; затем мало-помалу этот язык становился все холоднее и холоднее, пока не стал жестким и твердым, как сосулька.

Шевалье открыл или думал, что открыл глаза; в этот момент его воля настолько не подчинялась ему, что он был не в состоянии сказать: «Вот это происходит во сне, а вот это наяву». Он вздрогнул всем телом, увидев спящего рядом с кроватью: его черная шелковистая шерсть сверкала в ночи, как будто фосфоресцируя, и освещала комнату вокруг животного, так что Дъедон не мог видеть пристальный взгляд собаки, неподвижно обращенный на него.

Ее глаза были полны печали и нежной укоризны, они перестали быть глазами собаки и приобрели чисто человеческое выражение.

И это было именно то выражение, с которым Думениль, умирая, смотрел ему в глаза.

Шевалье не смог этого выдержать, он соскочил с кровати и, в темноте натыкаясь на мебель, добрался до камина, где с помощью заранее приготовленных спичек зажег свечу.

Свеча разгоралась, и шевалье, весь в трепете, прыгнув с постели с зажмуренными глазами, наконец, осмелился их открыть и оглядеться вокруг.

Комната была совершенно пустой.

Он вернулся к окну, вновь поднял занавеску: улица была так же пустынна, как и комната.

Шевалье упал в кресло, вытер пот, струившийся по лбу, и, чувствуя, что холод вновь овладевает им, поднялся и опять лег в постель, оставив догорать свечу.

Вероятно, свет разогнал всех призраков, так как шевалье больше не видел ни одного из них, он пребывал в таком лихорадочном состоянии, что слышал даже, как стучало в висках.

Едва занялся новый день, как он позвонил Марианне, чтобы та зажгла ему огонь.

Но Марианна, привыкшая входить в комнату шевалье не раньше половины девятого, не обратила ни малейшего внимания на столь необычный звонок, несомненно, подумав, что это проделки какого-то домового, стремящегося помешать ее отдыху.

Шевалье поднялся, открыл дверь и позвал.

Но Марианна осталась так же глуха к голосу хозяина, как и к призыву звонка.

Смирившись, шевалье надел брюки и домашний халат и лично занялся хлопотами по хозяйству.

Он разжег огонь и, удостоверившись, что собака действительно исчезла, снова принялся звонить.

Поскольку время Марианны уже наступило, то Марианна вошла, неся все необходимое для розжига огня.

Огонь горел уже всюю и шевалье грелся около него, когда Марианна застыла как вкопанная на пороге двери.

— Мой завтрак! — произнес шевалье.

Марианна попятилась.

Никогда еще прежде шевалье не вставал раньше девяти часов и не садился за стол раньше десяти!

Ведь было только половина девятого, а шевалье уже встал, развел огонь и приказывал подавать завтрак.

— Ах! Сударь,— сказала она,— но что же здесь произошло, Боже мой?

Шевалье охотно рассказал бы ей обо всем, если бы осмелился, но он не мог.

— Бог мой,— произнес он, уклоняясь от ответа,— здесь можно умереть, не дождавшись помощи; я звал, звонил, кричал, но увы! Не получил никакого ответа, как будто в доме не было ни души.

— Черт возьми, сударь, такая бедная женщина, как я, которая работает каждый день, выбиваясь из последних сил, не прочь поспать немного ночью.

— Нельзя сказать, чтобы вчера вы перетрудились сверх меры,— с некоторой язвительностью ответил шевалье,— но не будем больше об этом: я просил вас подать мне завтрак.

— Господи Иисусе, завтрак в этот час! Разве для него настало время?

— Да, настало, раз вчера я так плохо поужинал.

— Вам придется обождать, пока я вернусь с рынка; в доме нет ни крошки.

— Хорошо, отправляйтесь на рынок; но не смейте никуда больше заходить, только туда и обратно.

Марианна собиралась было отважиться на какое-то замечание.

— Черт возьми! — сказал шевалье, резким движением ударив щипцами по огню, разожженному им самим, от чего в разные стороны посыпались мириады искр.

Всего дважды ей приходилось слышать из уст шевалье это безбожное ругательство; и оно произвело на нее должное впечатление.

Она повернулась, закрыла дверь, спустилась по лестнице и засемила по дороге на рынок.

Марианна покорилась, но покорилась, подобно конституционному монарху, который соглашается с реформой, навязанной ему парламентом, но соглашается с твердым намерением взять скорый реванш.

Все так же вопреки своим привычкам, шевалье поел на скорую руку, не предаваясь своим обычным застольным размышлениям, на которые его наводило воспоминание о великолепном кофе, отведенном им в его путешествиях, и с которым то, что ему подавали в Шартре,— хотя Шартр — это именно тот город Франции, в котором, как здесь утверждают, лучше, чем где бы то ни

было, жарят кофе,— и с которым то, что ему подавали в Шартре, могло сравниться так же, как чистый цикорий с нормальным кофе.

В хозяйстве старого холостяка все было настолько отлаженным и застывшим, что Марианна не могла поверить ни своим ушам, ни своим глазам.

Почтальон принес газету.

Марианна, движимая желанием помириться, поторопилась отнести ее хозяину.

Но тот, вместо того, чтобы добросовестно прочесть ее, начиная с заголовка и кончая подписью наборщика, как он это делал ежедневно, рассеянным взглядом пробежался по странице, бросил газету на круглый столик и поднялся обратно в спальню.

— По правде говоря,— вскричала Марианна, расставляя свою посуду,— я не узнаю хозяина; сегодня ему не сидится на месте. Он даже не заметил, что вареные яйца плохо чистились, котлеты подгорели, а его зеленая фасоль пожелтела при варке.

Затем, воздев обе руки вверх, словно испытав внезапное озарение, она воскликнула:

— Неужели он влюбился?

Но после некоторого раздумья, сама рассмеявшись столь безрассудному предположению, продолжила:

— Ну нет, нет, это невозможно, однако какого черта он замышляет в своей комнате? Надо посмотреть.

И подобно скромной благовоспитанной служанке, Марианна на цыпочках прошла через весь салон и прикинула глазом к замочной скважине в двери, ведущей в спальню.

Она увидела своего хозяина, который, несмотря на резкий холод осеннего утра, открыл окно и внимательно смотрел в него на улицу.

— Однако, глядя на него, можно подумать, что он ждет, когда кто-то пройдет по улице,— сказала Марианна.— Господи Иисусе! Нам только это не хватало; женщина в доме; я бы уж скорее ему простила вчерашнюю собаку.

Но шевалье де ля Гравери, вероятно, не обнаружив на улице то, что искал, закрыл окно, и в то время, как Марианна, еще больше заинтригованная и теряющаяся в догадках, вернулась в столовую, он принялся взад-вперед шагать по комнате, скрестив на груди руки, нахмурив брови, и было заметно, что его снедает какое-то сильное беспокойство.

Затем он вдруг порывисто сбросил халат, как человек, принявший внезапное решение, и сунул руку в рукав своего сюртука.

Но приступив к этой детали своего туалета, он бросил взгляд на настенные часы.

Они показывали половину одиннадцатого.

Увидев это, он некоторое время задумчиво ходил по комнате, волоча за собой сюртук, державшийся у него лишь на одном плече.

Если Марианна увидела бы его в этот момент, она ни в коем случае не ограничилась бы предположением, что шевалье влюбился.

Она бы сказала: «Шевалье сошел с ума!»

Но было бы еще гораздо хуже, если бы она видела, как шевалье в подобном состоянии вышел из своей комнаты и, по-прежнему одна рука в рукаве, другая нет, спустился в сад.

Только выйдя на воздух, он заметил свою рассеянность и надел второй рукав.

Что он собирался делать в саду?

Этого Марианна, несомненно, тоже не смогла бы понять, как и всего остального.

Шевалье искал, шел вперед, возвращался, останавливался, как правило, в углах; с помощью трости измерял квадраты, то длиною в один метр, то в два, в зависимости от пространства.

Потом он произнес сквозь губы:

— Здесь — нет; а вот там было бы вполне возможно... Прямо сейчас я пошлю за каменщиком; впрочем, конура из кирпича или из камня была бы сыровата. Я думаю, что лучше всего будет конура из дерева; я не пошлю за каменщиком, я пошлю за плотником.

Было очевидно, что тело шевалье было здесь, а ум его витал где-то далеко.

Но где был его ум?

Надеемся, что решение этой загадки, столь таинственной в глазах Марианны, для читателя совершенно ясно.

Он уже догадался, что шевалье принял решение.

Он решил сделать из собаки своего сотрапезника и теперь искал место, где бы мог ее поселить со всеми мыслимыми удобствами.

Ведь той самоотверженности, которую шевалье проявил, пожертвовав своей пуляркой и заглушив угрызения совести по поводу плохого обращения с Марианной,

было более недостаточно после этих злосчастных грез и сновидений, а также после этих роковых галлюцинаций, которые уличали его в неблагодарности к животному, выказывавшему по отношению к шевалье всяческие знаки симпатии.

Нет, он не мог допустить, чтобы ночные видения при свете дня обрели плоть и кровь: метемпсихоз как система существовал только у Пифагора. Разум и религиозные чувства шевалье в равной степени восставали против этого поверья.

И все же, несмотря на разум, несмотря на свои духовные устремления, он сомневался, а сомнение смертельно для умов такого склада, как у шевалье.

Конечно, он мог бы поклясться, что абсурдно полагать, будто некая сила, управляющая телом черной собаки, могла бы иметь хоть малейшее отношение к душе его бедного друга, ушедшего в мир иной; однако, несмотря на все настойчивые уговоры, с которыми шевалье обращался сам к себе, он чувствовал к этой собаке такой глубокий и такой нежный интерес, что это приводило его в ужас, но подавить его он никак не мог решиться.

Он думал о бедном животном, которое одиннадцать часов не могло нигде укрыться от осеннего ненастья, дрожало от пронизывающего северного ветра, захлебывалось в потоках воды, падающих с неба, ослепленное вспышками молнии и оглушенное раскатами грома, и уstraшенное бегало во мраке; а с наступлением дня стало жертвой жестокости детей, было вынуждено искать свой завтрак по помойкам, короче, испытывало все лишения бродячей жизни — этой последней ступени падения для собак, — лишения и неудобства, наименьшее из которых состоит в том, чтобы быть убитой на месте, якобы будучи надлежащим образом уличенной в бешенстве.

Короче, господин де ля Гравери, еще позавчера отдавший бы всех собак в мире за цедру лимона, особенно если она должна была придать соответствующий вкус крему, господин де ля Гравери, чувствуя, как его сердце разрывается, а глаза наполняются слезами, когда он думает о несчастьях бедного спаниеля, решил положить конец этим несчастьям, дав ему приют, и, как вы видели, он выбирал и промерял то место, где должна была быть воздвигнута конура его будущего товарища.

Однако этому решению предшествовала жестокая борьба, и шевалье оказал упорное сопротивление прежде чем сдаться.

Но даже и после этого время от времени он восставал и все еще продолжал сражаться.

Но чем больше он негодовал на свою слабость и пытался обуздать свое воображение, тем сильнее оно разыгрывалось и тем сильнее его слабость подрывала его волю.

И все же хотя ему и удалось изгнать из своего рассудка те сверхъестественные ассоциации, благодаря которым с этой собакой были связаны воспоминания о его друге Думесниле, тем не менее животное от этого не стало занимать его меньше, он уже не думал о нем иначе, чем думают об одном из братьев наших меньших, и все же он по-прежнему думал лишь о нем.

А дело в том, что эта собака отличалась от всех других собак: как бы мало он ее ни видел, каким бы коротким ни был срок его общения с ней, шевалье убедил себя, что спаниель должен обладать бесчисленным множеством замечательных и исключительных качеств, и, как следует подумав, он, казалось, припоминал, что сумел прочесть их на честной физиономии животного.

Итак, напрасно шевалье, убежденный эгоист, пытался укрыться за своими прошлыми решениями; напрасно он взывал к своим клятвам; напрасно он громко говорил, что поклялся никому не открывать своего сердца на этом свете, будь это двуногое, четвероногое или крылатое существо; напрасно представлял он себе тысячу неудобств, которые, безусловно, повлечет за собой та привязанность, зарождавшаяся, как он чувствовал, в нем к этому животному.

Мы видели, к чему пришел в итоге шевалье.

Он не хотел, чтобы собака жила под одним из тех навесов, в одной из тех конюшен или под одной из тех построек, что уже существовали.

Он решил выбрать ей место, самое лучшее, разумеется, и построить для нее конуру, где бы она могла жить в полное свое удовольствие.

И как бы извиняясь, де ля Гравери сказал самому себе:

«В конце концов это всего лишь собака».

И, покачивая головой, добавил:

«Я еще недостаточно стар и уже недостаточно молод,

чтобы, отказавшись от общества мне подобных, отдать остаток своего чувства какому-то там животному».

Затем, протягивая руку к тому месту, где он решил воздвигнуть конуру своего спаниеля, он продолжил:

«А этот, после того как я сделаю для него все, что полагаю должным, может спокойно потеряться или умереть, я тогда даже и пальцем не пошевелю. Я уже не буду обязан, если мне вдруг стала необходима собака, что я, впрочем, категорически отрицаю, так вот, я уже не буду обязан брать на ее место преемника. И разве, если хоть немного разобраться, я нарушаю свои обеты, пытаюсь противопоставить невинное развлечение этому монотонно-размеренному существованию? Впрочем, выбрав себе в удел одиночество, я не помню, чтобы я обрекал бы себя к тому же и на рабскую зависимость, которая в сто раз хуже каторги. Нет, черт возьми! Тысячу раз нет!»

Отведя душу столь безбожным ругательством, выдававшим то крайнее раздражение, в котором пребывал де ля Гравери, шевалье выпрямился, желая убедиться, позволит ли кто-нибудь себе утверждать обратное.

Никто не вымолвил ни слова.

Тогда шевалье счел, что данная проблема получила свое законное и надлежащее ей решение.

Однако, чтобы приступить к выполнению своего плана, ему недоставало самого главного — собаки, которая, в ужасе от обрушившегося на нее потока воды, с воем убежала.

Шевалье решил выйти на свою обычную прогулку.

Конечно же, он не станет утруждать себя поисками спаниеля, но если тот попадется ему на пути, то это будет приятная встреча.

Таковы были благие намерения шевалье де ля Гравери в тот момент, когда большой колокол собора пробил полдень.

Несмотря на то, что шевалье де ля Гравери никогда не выходил из дома раньше часу, принимая во внимание серьезность положения, он решил ускорить начало своей прогулки на целых шестьдесят минут.

Он поднялся к себе в комнату, взял свою шляпу — мы уже упоминали, что у шевалье была трость, так как именно своей тростью он вымерял пространство, предназначенное для конуры спаниеля, — набил свой карман кусочками сахара, прибавил к ним плитку шоколада, на тот случай, если сахар послужит недостаточной приман-

кой, и вышел из дому, но не с определенной целью отыскать собаку, а лишь в надежде на то, что благодаря случаю их пути пересекутся.

Шевалье прошел через площадь Эпар, поднялся на вал Сен-Мишель и сел на скамейку напротив здания казармы.

Само собой разумеется, Марианна следила за тем, как он уходил, с удивлением, которое с каждой минутой становилось все сильнее и сильнее.

Ведь это впервые за те пять лет, что она служила у шевалье, шевалье покидал дом раньше часа.

Поскольку время чистки еще не наступило, то казарма была погружена в тишину, а двор был пуст; лишь изредка какой-нибудь лишенный права покидать казарму кавалерист пересекал его из конца в конец.

Впрочем, в том новом расположении духа, в котором пребывал наш шевалье, его волновало совсем другое.

Он смотрел вовсе не на двор или помещения казармы, он осматривался вокруг себя, продолжая при этом вести мысленную дискуссию с самим собой.

Однако время от времени, когда желание стать хозяином красивого и грациозного животного брало в нем верх над целой серией неудобств, которые влечет за собой содержание животного, он вставал, забирался на свою скамейку и осматривал все вокруг себя.

Наконец, поскольку, несмотря на это вознесение, горизонт все же оставался ограниченным, он решил сделать эту уступку своим желаниям и пойти бросить взгляд вдаль, за линию зеленых насаждений аллей.

Шевалье де ля Гравери провел четыре долгих часа на этой скамейке, но он смотрел напрасно, ибо так и не увидел никого, кто приближался бы к нему.

Чем больше проходило времени, тем сильнее опасался шевалье, что собака больше никогда не появится: вероятно, это некое стечение обстоятельств, а вовсе не ежедневная привычка, привело ее в это место: шевалье, который каждый день приходил сюда, никогда до этого не встречал здесь спаниеля.

После этого четырехчасового ожидания шевалье так твердо решил увести с собой спаниеля, если тот вновь появится, что предусмотрительно, на тот случай, если собака не захочет, как накануне, последовать за ним по доброй воле, приготовил и скрутил жгутом свой платок, чтобы обхватить им шею животного.

Это было бесполезно: шевалье услышал, как пробило

пять часов, а он так и не видел спаниеля; он не видел вообще ни одного животного, которое хоть на мгновение мог бы принять за свою долгожданную собаку и тем самым доставить себе хотя бы мимолетное утешение.

Шевалье решил дать ему еще полчаса сроку, рискуя тем, что может сказать и подумать Марианна, привыкшая видеть, как он возвращается каждый день точно в четыре часа.

Но и в половине шестого аллея была совершенно пустынной.

Шевалье, обманутый в своих ожиданиях, в первый раз вспомнил о своем обеде, который дождался его с пяти часов и должен был бы совсем остыть, если ждал его на столе, или сгореть, если стоял все это время на огне.

В ужасном настроении он зашагал домой.

От самого начала улицы издалека он увидел Марианну, поджидавшую его на пороге дома.

Марианна готовилась взять реванш и сбить спесь со своего хозяина, как обещала это сделать двум или трем своим соседкам.

И в тот момент, когда она уже собиралась открыть рот, к ней обратился шевалье:

— Что вы здесь делаете? — сурово спросил он ее.

— Вы же отлично видите, сударь, — ответила изумленная Марианна, — я жду вас.

— Место кухарки не на улице у порога двери, — наставительно произнес шевалье, — а на кухне около ее плиты и кастрюль.

Затем, втянув ноздрями воздух, идущий из «лаборатории», как говорят химики и искусные кухарки, он добавил:

— Остерегайтесь подать мне подгоревший обед: ваш завтрак сегодня утром никуда не годился.

— А! А! — приговаривала Марианна, в плачевном состоянии возвращаясь к себе на кухню. — Похоже, я дала маху, и он заметил это. Решительно, он не влюблен... Но если он не влюблен, что же тогда с ним такое?

Глава XVIII,

В КОТОРОЙ МАРИАННЕ СТАНОВЯТСЯ ИЗВЕСТНЫМИ ЗАБОТЫ ШЕВАЛЬЕ

Вернувшись, шевалье торопливо поел, нашел все отвратительным, разругал Марианну, никуда не выходил

вечером и эту ночь провел почти так же плохо и беспокойно, как и предыдущую.

Рассвет следующего дня застал де ля Гравери почти больным от усталости и изнеможения, пережитых этой второй ночью; мучительные видения его воображения приняли такой характер, что его вчерашнее желание, несколько смутное и неопределенное, — стать владельцем спаниеля переросло в твердую решимость найти собаку и во что бы то ни стало завладеть ею.

Как Вильгельм Нормандский, де ля Гравери пожелал сжечь свои корабли; он послал за плотником и в присутствии Марианны, нимало не обращая внимания на ее воздетые к небу руки и на ее восклицания, заказал великолепную конуру для своего будущего сотрапезника; затем он вышел из дома под предлогом покупки цели и ошейника, но на самом деле чтобы отправиться на встречу случаю, который должен был вернуть ему в руки столь страстно желаемую собаку.

На этот раз он не ограничился простым ожиданием, как это было накануне; презрев всякие пересуды, де ля Гравери принялся собирать интересные его сведения, поместил объявления в двух газетах Шартра и расклеил афишки на всех углах.

Но все было бесполезно: собака возникла и исчезла, подобно метеору, никто не мог ничего о ней сообщить. За несколько дней де ля Гравери стал худым, как палка, и желтым, как лимон, он перестал есть, а если и садился за стол, то ел чисто механически, выполняя заученные движения, принимая садовых овсянок за жаворонков и доходя до того, что путал блюдо из молок карпов с бланманже. Он больше не мог заснуть или, вернее, как только он засыпал, то в углу комнаты ему чудились светящиеся глаза спаниеля, блестящие, как рубины. Тогда он испытывал мгновенную радость; собака была найдена, и он звал пса; спаниель ползком приближался к нему, ни на секунду не отводя от него своих глаз, и, цепenea от их завораживающего блеска, шевалье, вздохнув, недвижно падал на кровать, свесив руки; собака принималась лизать ему руку своим ледяным языком, затем потихоньку забиралась на кровать и в конце концов усаживалась на грудь шевалье, свесив красный, как кровь, язык и устремив на него пылающие глаза; и этот кошмар, длившийся несколько секунд, доставлял несчастному целую вечность страданий.

Де ля Гравери просыпался измученным, разбитым и мокрым от пота...

Вы понимаете, что эти перемены в физическом облике шеваляе сказались и на его моральном облике.

То он ходил задумчивый и угрюмый, как факир, погруженный в созерцание своего пупа, то становился раздражительным и вспыльчивым, как больной гастритом, и Марианна всем заявляла, что история с собакой всего лишь предлог, что ее хозяина терзает какая-то сильная страсть и что это место стало невыносимым даже для нее, чья кротость известна каждому.

Дабы найти применение конуре, построенной плотником, а также поводку и ошейнику, выбранным им самим, шеваляе объявил, что собирается приобрести собаку.

Это заявление послужило сигналом для всех торговцев собаками.

Шеваляе приводили десятка два четвероногих в день, начиная с комнатных собак турецкой породы, кончая сенбернарами.

Но, само собой разумеется, шеваляе не мог сделать выбор.

Нет, его сердце принадлежало спаниелю с длинной блестящей шерстью, белым жабо, огненно-рыжей мордочкой, спаниелю с добрыми и грустными глазами и лаем, в котором слышались почти человеческие нотки.

У него находились различные причины, чтобы одного за другим отвергнуть всех животных, которых ему показывали.

Если это был мопс, то он желал заполучить также и его даму сердца, чтобы, как он говорил, продолжить род, а найти ее, естественно, было невозможно; если это был бульдог, то он слишком походил на городского жандарма и шеваляе опасался попасть в скверную историю; одна собака была слишком злобной, другая слишком грязной; борзым, левреткам и шпицам он не мог простить их глупых физиономий. Он утверждал, что легавые заеживаются перед всеми подряд; и, перебрав всех свободных животных в округе, де ля Граверн, все более и более поражаясь сверхъестественным качествам черного спаниеля, изумлялся той колоссальной разнице, которая отделяет одну собаку от другой.

Прошло десять дней с тех пор, как это бурное оживление сменило в доме на улице Лис размеренное спокойствие, царившее там столько долгих лет.

Было воскресенье; восхитительное солнце согревало воздух; его лучи, беспрепятственно проникая сквозь кро-

ну деревьев с облетевшими листьями, освещали валы под сенью старых стен, и все жители Шартра высыпали на аллеи, чтобы в последний раз насладиться этим теплом.

Горожанки, шествуя под руку со своими мужьями, торжественно проводили еженедельный показ своих новых шелковых платьев; радостная болтовня, шумные взрывы смеха доносились из-под чепчиков гризеток, украшенных яркими лентами; деревенские жители из окрестных сел с прямыми волосами, коротко остриженные, в своих красных или желтых платках, все скорее лихорадочно оживленные, нежели радостные, шли в одном строю подобно гренадерам, порой задерживая движение; военные, вытянув ногу и выпрямив колено, правой рукой поглаживая усы, левой придерживая саблю, смешивались с этой разномастной толпой с улыбками, которым они силились придать обольстительное выражение; в то время как старые буржуа, пренебрегавшие тщеславными и пустыми забавами, довольствовались тем, что, как истинные эпикурейцы, наслаждались этим последним чудным деньком, который подарил им Господь.

Шевалье де ля Гравери занял свое место в толпе этих людей, искавших развлечений; его привели сюда как праздность, так и привычка; неизменно преследуемый своим видением, наполовину безумный от отчаяния и бессонницы, обескураженный неуспехом своих поисков, он, хотя и не покорился судьбе, но все же потерял всякую надежду отыскать диковинного и фантастического спаниеля.

Шевалье больше не был тем бездумно счастливым и благодушным фланером, которого мы встретили в первой главе этой истории; как и все, кого мучает тайная рана, он выглядел еще более грустным и мрачным из-за окружавшего его всеобщего веселья: это веселье казалось ему прямым оскорблением его собственных чувств; ему чудилось, что даже само солнце неудачно выбрало день, чтобы засиять вновь; толпа его раздражала, он направо и налево раздавал тычки локтем, которые, казалось, говорили тем, кому были адресованы:

«Вернитесь домой, дорогие мои, вы мне мешаете».

Вдруг в тот момент, когда шевалье, чувствуя, что его плохое настроение все растет и растет, спрашивал себя, не будет ли с его стороны благоразумнее самому следовать тому совету, который он давал другим, и вернуться домой, он так вскрикнул, что стоявшие рядом с ним люди обернулись.

Шевалье был бледен, его глаза неподвижно застыли, руки вытянулись.

Только что в ста шагах от себя он увидел в толпе черную собаку, как две капли воды схожую с его спаниелем.

Шевалье хотел ускорить шаг, чтобы догнать животное, но в этот момент скопище людей было таким плотным, что выполнить это намерение было совсем не просто.

Добропорядочные дамы бросали разгневанные взгляды на этого толстяка, который разрушал гармонию их туалетов; гризетки не скупилась на сомнительные шуточки в его адрес; а некоторые офицеры, задетые им, останавливались и вызывающим тоном обращались к нему со следующими словами:

— А, вот как! Милейший, вам следует быть повнимательнее!

Но все эти жалобы, насмешки и угрозы нимало не волновали шевалье, продолжавшего прокладывать себе дорогу подобно кораблю, оставляя за кормой пенистый и рокочущий след.

К несчастью, если шевалье все же продвигался вперед, то животное, преследуемое им, подобно ужу скользая между ног мужчин, продираясь через юбки дам и гризеток, тоже двигалось вперед; и в этой гонке с препятствиями преимущество могло бы оказаться не на стороне шевалье, если бы, бросившись в боковую аллею крепостного вала и пробежав около восьми шагов, он не оказался бы рядом с этим четвероногим.

Это на самом деле был спаниель, так сильно поразивший воображение шевалье де ля Гравери; это был он со своими длинными шелковистыми ушами, столь кокетливо обрамлявшими его мордочку; это был он, одетый в свою черную и блестящую шубу, с хвостом трубой.

У него исчезли последние сомнения, когда собака, словно притягиваемая какой-то невидимой магнетической силой, повернувшись в сторону де ля Гравери, узнала шевалье, подбежала к нему и самым красноречивым образом принялась расточать ему щедрые ласки.

Но в этот момент молодая девушка, на которую шевалье не обращал до этой минуты ни малейшего внимания, обернулась и позвала всего лишь один раз:

«Блэк!»

Животное подскочило и, не слушая шевалье, в свою очередь, закричавшего во все горло: «Блэк! Блэк!

Блэк!» — большими прыжками вернулось к своей хозяйке.

Шевалье остановился, от ярости топая ногой. Ему показалось, каким бы безобидным он ни был, как в его сердце проникает вирус ненависти и ревности к этой молодой девушке, так внезапно оборвавшей единственные мгновения, доставившие ему за эти две недели удовлетворение.

Но в пылу разочарования он испытал острейшее чувство радости.

Теперь он точно знал, что его спаниель существует на самом деле, что это вовсе не какая-то фантастическая собака, как спаниель Фауста.

К тому же он узнал ее кличку: спаниеля звали Блэк.

Шевалье испытал то ощущение, которое испытывают молодые влюбленные, когда впервые слышат, как произносят имя их возлюбленной, и после того, как он громко, но, как мы видели, безуспешно выкрикивал его, он повторил еще несколько раз:

— Блэк! Мой дорогой Блэк! Мой маленький Блэк!

Но это было еще не все: ясно, что де ля Гравери, который произвел почти полный осмотр всего собачьего рода с целью найти своего феникса, не должен был так просто упустить возможность стать его владельцем; он был полон решимости соблазнить юную хозяйку Блэка, но, пустив в ход не свое личное обаяние, а предложив ей кругленькую сумму, которая могла возрасти до любых размеров.

Однако стыд перед людьми развеял эту непреклонную решимость; шевалье де ля Гравери, характер которого нам известен, прежде всего боялся выглядеть смешным; поэтому он не мог решиться затеять этот торг у всех на виду; шевалье подумал, что самым разумным было бы последовать за девушкой до ее жилища, и уже там, вдали от ушей и любопытных глаз, вступить в эти важнейшие переговоры.

К несчастью, бедняга шевалье, за всю свою жизнь ни разу не выступавший в роли соблазнителя, совершенно не подозревал о тех маленьких уловках, которые позволяют следовать за женщиной тайком от окружающих.

Движимый желанием приблизиться к объекту своих вожделений, он не нашел ничего лучше как подбежать к девушке на расстояние десяти шагов; затем, сохраняя эту дистанцию, он зашагал позади нее, в точности по-

второя все ее движения, когда толпа заставляла последнюю замедлять шаг.

При виде того, как эта поступь методично принаравливается к другой поступи и, видя возраст молодой девушки, преследуемой шевалье, легко догадаться, что, даже не слишком утруждая свое воображение, все жители Шартра, вышедшие на валы города, заподозрили шевалье в непристойных намерениях, которых у него и в мыслях не было, и что во всех группках слышались фразы, похожие на эти:

— Вы видели этого старого распутника де ля Гравери, который преследует юную девушку среди бела дня у всех на виду? Какое неслыханное неприличие!

— Ну, ну! Малышка недурна.

Но шевалье был в полном неведении на этот счет.

— Моя дорогая,— отвечала та женщина, что завела разговор,— я всегда была плохого мнения о человеке, который все свое состояние тратит на обжорство.

— Знаете ли, его будет довольно сложно принимать после подобного скандала... Но посмотрите, у него уже глаза вылезли на лоб. Отлично! Теперь он ласкает собаку, чтобы подобраться к хозяйке.

Не подозревая о возмущении, которое вызвало его поведение, шевалье продолжал следовать за собакой.

Что касается ее хозяйки, на которую, как мы уже говорили, шевалье не обратил ни малейшего внимания, то это была молодая девушка шестнадцати-семнадцати лет, стройная и хрупкая, но замечательно красивая; у нее была та матовая белизна лица, которую у брюнеток порождает его крайняя бледность; черные глаза, которым длинные ресницы придавали грустное выражение; черные же, тонко изогнутые брови и великолепные, представляющие собой странный контраст с этой изумительной матовостью кожи, белокуро-пепельные волосы; их густые пряди выступали из-под маленькой соломки шляпки.

Что касается ее туалета, то он был весьма прост: ее незатейливое платьице из мериносовой ткани хотя и выглядело весьма опрятно, но не имело того блеска, который отличает обычно воскресные выходные платья у женщин того класса, к которому она, казалось, принадлежала. Было заметно, что этот скромный наряд разделяет со своей хозяйкой и ее трудовые будни, отсюда можно было сделать вывод, что он составляет весь ее гардероб.

Молодая девушка в конце концов так же, как и все, хотя и позже всех, заметила настойчивость, с которой пожилой господин, не отставая, следовал за ней; она ускорила шаги, надеясь подобным образом избавиться от него; но, дойдя до одного из заграждений, перекрывающих лошадям и каретам въезд на аллеи, предназначенные для пешеходов, она была вынуждена остановиться, чтобы пропустить тех, что шли впереди нее, и оказалась бок о бок с шевалье, который воспользовался этим обстоятельством, но не для того чтобы познакомиться с ней, а чтобы возобновить свое знакомство со спаниелем.

Девушка вторично окликнула собаку; затем, полагая, как и все остальные, что собака служит всего лишь предлогом, выдуманном шевалье, чтобы приблизиться к ней, она достала из кармана небольшой поводок, зацепила его за ошейник животного и продолжила свой путь, даже не оглянувшись назад.

Но, как бы он ни был поглощен действиями и движениями собаки, де ля Гравери не мог удержаться, чтобы не взглянуть безо всякой задней мысли на ее хозяйку в то время, когда та совершала этот маленький маневр, о котором мы упомянули.

У него вырвался возглас изумления, и он неподвижно застыл на месте.

Эта девушка до странности напоминала собой мадам де ля Гравери.

Во время этой остановки, вызванной удивлением, девушка сделала около тридцати шагов.

Эта схожесть с Матильдой была для де ля Гравери дополнительной причиной последовать за владелицей спаниеля; и он с еще большей энергией засеменял вслед за ней.

Но испуг придавал девушке силы: она летела, как на крыльях, несших ее со все возрастающей скоростью, так как она покинула аллею для гуляний и углубилась в тихую, уединенную улицу; и поэтому, хотя шевалье бежал изо всех сил, с каждой минутой он отставал все больше и больше.

Так они добежали до того места в городе, которое называлось Малые луга. Эта местность была почти безлюдной; там, несмотря на все свои усилия, шевалье заметил, что с каждым шагом девушка увеличивает разделяющую их дистанцию, и изменил тактику, закричав самым любезным тоном:

— Мадемуазель, мадемуазель, умоляю вас, остановитесь! Я уже совсем выдохся!

Но девушка не поддалась на просьбу того, кого считала своим преследователем, и вместо того, чтобы остановиться, она еще больше ускорила шаг.

Шевалье, подумав, что его не услышали, соединил ладони в рупор и уже набрал воздуха, чтобы голос его зазвучал басом вместо того тенора, которым было исполнено его первое обращение, когда насмешливые улыбки, подмеченные им на многих лицах, побудили его отказаться от задуманного.

Шевалье вновь тронулся в путь, однако на этот раз он уже не семеня, он бежал.

Но чем быстрее он бежал, тем еще быстрее бежала девушка, и тем больше увеличивалось расстояние между ними; он мог ее видеть лишь время от времени, а затем и вовсе потерял бы из виду, если бы не два пятна, которые все время притягивали его взор: шотландские ленты ее соломенной шляпки и Блэк, мелькавший вдали черным пятном.

Но когда он добежал до ворот Гийом, то и эти последние ориентиры исчезли из виду, де ля Гравери больше ничего не мог обнаружить.

Шевалье остановился.

Свернула ли она в предместье? Вернулась ли в город? Он пребывал в нерешительности.

Поколевавшись несколько минут и направившись сначала в сторону предместья, де ля Гравери все же изменил потом свое решение и, отдав предпочтение городу, вступил под мрачные своды старых ворот.

Но миновав их, он вновь заколебался.

Перед ним открылись две улицы: одна шла направо, другая налево, и бедный шевалье потерял еще массу времени, прикидывая, какой из них девушка могла отдать предпочтение, а поскольку сомнения в правильности сделанного им выбора охватывали шевалье с новой силой каждые десять минут, то уже настала глубокая ночь, а де ля Гравери все еще обивал мостовые доброго города Шартра, не найдя ни малейшего следа того, кого он разыскивал.

Шевалье был так разбит, измотан и пребывал в таком отчаянии, что не мог, даже под угрозой того, что подумает об этом Марианна, решиться вернуться домой.

Поэтому он вошел в первое попавшееся кафе, сел за столик и потребовал бульон.

Бедняга шевадье, который частенько сам следил за приготовлением своего рагу, когда ему казалось, что усердие Марианны остывает, должно быть, плохо был знаком с нравами и обычаями такого рода заведений, если заказал бульон в подобном месте. Едва он осторожно отведал несколько капель того, что ему подали, как тут же у него сорвалось с языка весьма выразительное: «Фу, гадость!» и, положив ложку на стол, он принялся грызть булочку, которую подавали вместе с кошмарным варевом и которую, к счастью, ему не пришлось в голову покрошить в похлебку. Занимаясь своей булочкой, шевадье осмелился оглядеться вокруг.

Он попал в кафе, завсегдатаями которого были офицеры гарнизона: на одно пальто или редингот приходилось десять униформ; головные уборы уставного образца, шлемы, сабли и шпаги, развешенные по стенам, придавали убранству зала довольно живописный вид; под каждым столом вытягивались ярко-красные панталоны, на каждом стуле сияли фраки и куртки, отделанные красным кантом; одни постигали стратегию карточной игры, другие предавались самому разнообразному дегустированию; те просто спали, а эти, потягивая свой кофе или абсент, делали вид, что о чем-то размышляют.

Справа и слева доносились занимательные разговоры, скрашивающие досуг, который Марс оставляет своим питомцам. В этом углу продвижение по службе — эта неисчерпаемая тема для честолюбцев в эпохатах — давало обширное поле для жалоб каждого.

А в другом — серьезно рассуждали о том, какой фасон ташки лучше: в форме герба, сердца или каре, — а также о превосходстве старого покроя сапог над новым.

Здесь выводили целую теорию о чистке обуви, в то время как дальше отбивали хлеб у редакторов «Военного вестника», пытались в бесконечных спорах дать оценки и прокомментировать новые назначения своих товарищей по службе, с которыми они были когда-то знакомы.

Все эти милейшие разговоры велись в полный голос; ни одно слово не терялось для слуха публики; поэтому штатские, горящие желанием приобщиться, легко могли воспользоваться этим,

Вывеска этого кафе-пансиона гласила: «Солнце светит всем».

И только лишь два младших лейтенанта тихо беседовали о чем-то вполголоса.

Глава XIX

ДВА МЛАДШИХ ЛЕЙТЕНАНТА

Эти двое были самыми ближайшими соседями де ля Гравери, который, несмотря на принятые ими предосторожности, почти против воли оказался третьим участником их конфиденциальной беседы.

Одному из этих офицеров могло быть около двадцати четырех — двадцати пяти лет: волосы у него были огненно-рыжего цвета, но, несмотря на бьющую в глаза пронзительность этого оттенка, черты его лица не были лишены известной привлекательности и изящества.

Второй был тем, кого принято называть бравый вояка.

Он был пяти футов шести дюймов ростом, широкоплечий, с такой стройной талией, что завистники — а при таких достоинствах их всегда полно, — что завистники, повторяем мы, уверяли, будто это немислимое изящество достигается благодаря искусственным приспособлениям, позаимствованным у прекрасного пола.

Эта осиная талия чудесным образом подчеркивала великолепную мускулатуру грудных мышц и непомерно развитые бедра, которые казались еще больше благодаря широким панталонам. Можно было бы подумать, что под них подложен кринолин, если бы кринолин был уже изобретен в эту пору. Это физическое совершенство дополняло лицо, на котором расцветали все оттенки розово-красного и все оттенки фиолетового, вплоть до синего включительно: последний был обязан своим происхождением черной бороде, которая, как бы тщательно она ни была выбрита, все же давала о себе знать интенсивностью красок.

На этом лице, примечательном, как вы видели во многих отношениях, помимо всего прочего, красовались еще и усы, тщательно намазанные каким-то столь сильноедействующим составом, что издали можно было подумать, будто они вырезаны из дерева. У него был сильно вздернутый нос, на одном конце которого, как раз

над усами, темнели раскрытые отверстия двух ноздрей, а другой конец, как перегородка, разделял два больших глаза навывкате; их выражение свидетельствовало о том, что вряд ли интеллект когда-либо мог спорить с физическим развитием их владельца.

Улыбка, блуждавшая на толстых губах младшего лейтенанта, не отличалась особой тонкостью и остроумием, но он выглядел таким счастливым, таким довольным тем даром, что достался ему в удел от природы, что можно было бы отважиться недвусмысленно дать понять этому бравому молодому человеку, что ему есть о чем сожалеть в этом мире.

— Следует признать, мой дорогой друг, что вы еще очень-очень молоды,— говорил этот блестящий офицер своему товарищу.— Как! Вот уже месяц гризетка принимает вас у себя в комнате, она мила, вы тоже неуродливы; ей восемнадцать лет, но и вы далеко не старик; она нравится вам, и вы нравитесь ей, и, тысяча чертей, вы все еще довольствуетесь самой невинной и платонической формой любви. Знаете ли вы, мой дорогой Гратьен, что вы тем самым способны нанести бесчестье всему офицерскому корпусу, начиная с полковника и кончая тромпет-мажором, и что это, наконец, целый год еще может служить поводом для насмешек со стороны тех доблестных служак, которых Его Величество король Луи-Филипп дал нам в сотоварищи.

— Ах, мой дорогой Лувиль,— отвечал тот, кого только что называли Гратьеном,— не все обладают вашей дерзостью, я не тешу себя славой записного покорителя женских сердец; да и к тому же присутствия третьего достаточно, чтобы заморозить мечя в тот момент, когда я сильнее всего испытываю любовное влечение.

— Как третьего? — воскликнул младший лейтенант, подпрыгнув на стуле и удостоверившись, что его усы по-прежнему сохранили твердость шила.— Разве вы не говорили мне, что она совсем одна, что она одинока; что она имеет счастье принадлежать к той благословенной категории детей, чье появление на свет было случайностью судьбы, и у которых нет ни отца, ни матери, ни брата, ни дяди, ни кузена; в общем, ни одного облачка из тех, что омрачают этим бедным девушкам единственные приятные моменты их существования, без конца толкуя им о венчании и о супружеской жизни с каким-нибудь честным столяром или добропорядочным

жестянщиком, в то время, как офицер и особенно младший лейтенант может сделать их гордыми и счастливыми как королев, освободив при этом от стольких церемонии и необходимости ломать комедию.

— Я сказал вам правду, Лувиль. Она круглая сирота,— ответил Гратьен.

— Но кто же вас тогда останавливает? Кто вас удерживает? Неужели мадемуазель Франкотт, хозяйка той лавки, где она работает, повадилась приходить слушать те нежности, что вы нашептываете на ушко вашей возлюбленной? Может, эта старая тетеря хочет узнать, так же ли сейчас крутят любовь, как в 1808 году, или же, очерстнев под старость сердцем, она сделалась блюстительницей нравственности? Если дело обстоит именно так, то тогда, Гратьен, смело садитесь напротив нее и напомните ей об одной вечеринке, во время которой гусары пятого полка вымазали ее в саже, наказав за то, что она совершила чудо умножения, но не хлебов и рыбы, а своих любовников! Каково! Что скажете на это? Мне кажется, я вам дал в руки достаточно действенное средство, чтобы вы могли избавиться от этой весгницы несчастья.

Гратьен покачал головой.

— Это все не то,— сказал он.

— Но кто же тогда?! — спросил Лувиль.

— Ля Франкотт предоставляет ей полную свободу, как и другим своим работницам.

И он вздохнул.

— Тогда,— продолжал Лувиль,— это, должно быть, хозяйка комнаты.

— Нет.

— А! Значит, подружка, ревнивая подружка? Ну, я угадал; ведь нет лучшего средства сберечь честь женщины. Что же, готов пожертвовать собой.

— Что вы имеете в виду?

— Я возьму подружку на себя, будь она даже страшной, как смертный грех. Ну, как?! Разве это не преданность? Или я ничего не смыслю в этом.

— Вы далеки от истины, дорогой друг.

— Но, тысяча чертей, что же тогда?

— Вы будете смеяться, Лувиль. Знаете ли вы, из-за кого остаются невысказанными все мои слова и мольбы о любви? А ведь они желают только одного — вырваться на волю! Знаете ли вы, кто подавляет, а вернее, сдерживает все мои вольности, хотя я умираю от желания позво-

лить их себе, кто замораживает мои самые страстные порывы, кто заставляет меня запинаться посреди начатой фразы, кто делает меня скромным и целомудренным, глупым и смешным, в то время как я хотел бы быть совсем другим? Угадайте! Держу пари на сотню!

— Даже если бы вы поставили тысячу, мы и то не слишком бы продвинулись вперед. Ну же, Гратьен, выкладывайте; вы знаете, что я не силен в подобных ребусах.

— Мой дорогой Лувиль, тот, кто ограждает Терезу от всех моих намерений; тот, кто до сих пор защищает ее — а именно это служит причиной того, что она не является и никогда не будет моей любовницей, — это всего лишь этот чертов черный спаниель, который ни на минуту ее не покидает.

— Что такое? — подпрыгнул шевалье.

— Что вы сказали, сударь? — спросил Лувиль, глядя на шевалье, — может быть, вам случайно наступили на ногу?

— Нет, сударь, — сказал шевалье, вновь усаживаясь со своим обычным смиренным.

Лувиль повернулся к Гратьену и прошептал:

— По правде говоря, эти буржуа несносны.

Затем он вновь вернулся к прерванному разговору.

— Я, вероятно, ослышался, не правда ли?

— Нет.

Лувиль расхохотался, и смех его зазвучал тем более неудержимо и раскатисто, что какое-то время он полагал себя обязанным постараться сдержать его.

Стекла кафе задрожали от его раскатов.

Шевалье воспользовался моментом, когда молодой человек, откинувшись назад, буквально умирал от смеха, и повернулся спиной к двум офицерам, но выполняя этот маневр, он незаметно приблизился к ним.

— А! Это прелестно! — воскликнул Лувиль, когда взрыв его веселья несколько поутих. — Дракон Гесперид воскрес весьма кстати, Гратьен; клянусь честью, это восхитительно!

Гратьен кусал губы.

— Я ожидал подобных взрывов смеха, — сказал он, — чтобы считать их для себя оскорбительными; однако все, что я вам рассказываю, абсолютно достоверно и полностью соответствует действительности; стоит мне только отважиться и начать какую-либо прочувственную фра-

зу, как это дьявольское животное принимается ворчать, будто желая предупредить свою хозяйку; если я продолжаю, то раздается лай; если я настаиваю, собака переходит к завываниям, и ее голос заглушает мой; я ведь не могу сказать Терезе: «Дорогая моя, я вас обожаю», — голосом, способным перекричать целую свору.

— В этом случае, мой дорогой, замените слова выразительной и живой пантомимой, подобно тому, как играют в провинциальных театрах.

— Пантомима? А, конечно, это совсем другое дело; представьте себе, эта проклятая собака не выносит пантомим. Как только я позволяю себе какой-нибудь жест, она больше не ворчит, не лает и не воеет, она показывает зубы; если я не прекращаю свое представление, то она идет еще дальше, она вонзает их мне в тело, а это мешает вести разговор о любви, не говоря уже о том, что во время этой нелепой борьбы, проистекающей из-за несходства наших мнений, я должен казаться безумно смешным той, которую обожаю.

— И что, никаким способом вы не могли завоевать расположения этого ужасного четвероногого?

— Никаким.

— Но, тысяча чертей! Когда мы учились в колледже, пора, о которой я ничуть не сожалею, разве мы не читали у лебеда из Мантуи, как называл его наш преподаватель, что где-то жил булочник, выпекавший пироги для Цербера?

— Блэк неподкупен, мой дорогой.

Шевалье вздрогнул, но ни Гратьен, ни Лувиль не заметили этого.

— Неподкупен? Только для тебя.

— Я ради него набиваю свои карманы лакомствами, он с признательностью их съедает, но неизменно по-прежнему бывает готов обойтись со мной так же, как с моим угощением.

— И он не спит? Никогда не выходит?

— Это тянется уже дней пятнадцать — двадцать. За это время он пропадал где-то один вечер и одну ночь, и я надеялся, что он больше не вернется, но он вернулся.

— И с тех пор?

— Он не двинулся с места, должно быть, эта проклятая собака умеет читать мысли.

— Мне скорее кажется, — ответил Лувиль, — что ваша Тереза гораздо более хитрая штучка, чем вы думаете.

те, и что она научила эту собаку таким хитрым уловкам, которые нарушают ваши планы.

— Как бы там ни было, но мое терпение иссякает, мой дорогой, и, клянусь, я уже почти готов отказаться от задуманного.

— И были бы неправы.

— Черт возьми! Хотел бы я вас видеть на моем месте. Шевалье весь превратился в слух.

— Если бы я был на вашем месте, мой дорогой Гратъен,— ответил Лувиль,— то вот уже в течение двух недель мадемуазель Тереза пришивала бы мне пуговицы к моим фланелевым жилетам и сегодня вечером я привел бы ее на ужин с господами младшими лейтенантами, чтобы проверить, сколько шампанского может влить в себя гризетка, привыкшая пить свежую воду, так, чтобы не скатиться под стол.

Шевалье задрожал, сам не зная почему.

— Ах, мой дорогой Лувиль, сразу видно, что вы ее совсем не знаете! — со вздохом сказал Гратъен.

— Подумаешь, зато я знаю других,— ответил Лувиль, любовно поглаживая свои усы.— Гризетка есть гризетка, черт возьми!

— А собака, о которой мы совсем забыли? — сказал Гратъен.

— Собака! — повторил Лувиль, пожав плечами.— Собака! Но для кого же тогда готовят все эти шарики и котлеты с начинкой?

При этих словах шевалье подскочил на стуле.

— Ах, так! — сказал Лувиль так, чтобы Дьедонне мог его услышать.— Этот буржуа ведет себя так, будто его укусил тарантул!

И он искоса посмотрел в сторону шевалье, надеясь, что тот повернется и ему предоставится возможность завязать ссору.

Но шевалье вел себя осторожно: его очень заинтересовал разговор двух молодых людей, и он хотел знать, что же последует дальше.

— Ах, честное слово, нет,— сказал Гратъен,— все эти приемы вызывают у меня отвращение; к тому же я охотник и предпочитаю скорее упустить эту девушку, чем причинить хоть малейшее зло этому зверю.

— Славный молодой человек! — прошептал шевалье.

— Что же, тогда надо на что-то решаться, мой дорогой Гратъен,— сказал Лувиль.— Оставьте Терезу, и тогда посмотрим, не окажусь ли я более удачливым, чем вы.

— А! Вы хотите, чтобы я уступил вам место? — Лицо Гратьена омрачилось.

— Мне кажется, лучше уступить место другу, чем дать шанс занять его какому-нибудь постороннему.

— Я так не думаю, — ответил Гратьен. — И потом, Лувиль, я хочу пощадить ваше самолюбие и избавить вас от стыда поражения.

— Вот как? Неужели вы думаете, что Тереза первая недотрога, которая попадается на моем пути?

— Я знаю, что вы опасный покоритель женских сердец, Лувиль, — сказал Гратьен, но тут же добавил с улыбкой, не лишённой иронии: — но я не думаю, что у вас есть то, что надо, чтобы понравиться этой девушке.

— Что же, именно это мы и проверим.

— Как?! Именно это мы и проверим?

— Я клянусь вам, — вскричал Лувиль, лицо которого побагровело от гнева, — я клянусь вам, потому что вы бросаете мне вызов, что я овладею этой девушкой, и чтобы доказать вам, как безгранично я уверен в вашей неловкости и вашем неумении взяться за дело, я даю вам еще неделю и предоставляю полную свободу действий; только через неделю я начну свою атаку.

— И тем не менее, Лувиль, я просил бы вас ничего не предпринимать, согласны?

— Так теперь вы просите меня ничего не предпринимать, а только что вы позволили себе слегка подшутить надо мной и хотите, чтобы я это проглотил.

— А как же собака? — сказал Гратьен, пытаясь прервать все в шутку.

— Собака? — переспросил Лувиль. — Поскольку я хочу, чтобы в течение этой недели вы действовали в таких же благоприятных условиях, в каких и я рассчитываю вести мою атаку, мы избавимся от нее прямо сегодня вечером.

Шевалье, который для вида пил маленькими глотками сладкую воду из стакана, чуть не поперхнулся, услышав слова Лувилья.

— Сегодня вечером? — повторил Гратьен, не зная, должен ли он принять предложение своего товарища или отказаться от него.

— Разве у вас не назначено сегодня в девять вечера свидание с Терезой у ворот Морар? — спросил Лувиль. — Вот и хорошо, идите на ваше свидание, и уверяю вас, что вы сможете свободно в свое удовольствие ворковать с

вашей горлинкой, не опасаясь того, что Блэк обойдется с вами, как с буржуа из Сен-Мало.

Де ля Гравери не стал слушать дальше; он быстро встал, посмотрел на свои часы и вышел из кафе с совершенно ошеломленным видом, возбудившим пересуды за-всегдатаев.

Шевалье в самом деле был потрясен, что, когда он отошел на десять шагов от кафе, его догнал официант, вежливо ему заметивший, что он ушел не заплатив.

— О! Господи! — закричал шевалье.— Старый осел! Вы правы, мой друг, возьмите, вот пять франков, заплатите за меня по счету, а остальное оставьте себе.

И шевалье пустился бежать во всю прыть своих коротких ножек.

Шевалье было ясно, что собаке, которую он страстно желал заполучить обратно, угрожала смертельная опасность.

Глава XX, В КОТОРОЙ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ ИСПЫТЫВАЕТ НЕОБЪЯСНИМУЮ ТРЕВОГУ

То, что офицер, назвавшийся Гратьеном, рассказал о сверхъестественной сообразительности животного, особенно поразило Дьедонне.

По мере того, как два офицера продолжали вести разговор о Блэке, и Гратьен все больше и больше его расхваливал, предположения о переселении душ вновь пришли на ум шевалье, и на этот раз они были гораздо более настойчивыми, чем когда-либо.

Само собой разумеется, у него не было сомнений в том, что его спаниель — это спаниель Терезы, точно так же, как он не сомневался в том, что Тереза — хозяйка Блэка, — и есть та молодая девушка, которую он видел.

Он, не колеблясь, решил спасти бедное животное от злого умысла, который родился против него в голове у Лувля и который тот готовился исполнить тем же вечером.

Он пошел по дороге, ведущей к воротам Морар, с намерением предупредить молодую девушку об опасности, которой разом подвергались и ее добродетель, и тот, кто стоял на страже ее чести.

Кроме того, больше дорожа и беспокоясь о жизни Блэка, чем о чести девушки, он рассчитывал предложить ей хорошую цену за собаку.

— А вдруг она откажется расстаться с Блэком! — бормотал шевалье, поспешая изо всех сил. — Что же, — продолжал он, — я удвою цену: я дам ей триста, четыреста, пятьсот франков, а за пятьсот франков, черт возьми, гризетка, мне думается, отдаст не только собаку, но и еще кое-что. А в случае неудачи, — вновь решительно заговорил он, — я предупрежу ее, черт побери! Я не хочу подвергать себя опасности увидеть беднягу Думесниля, забившимся в угол у какой-нибудь каменной тумбы, отравленным в шкуре моего несчастного Блэка.

Шевалье должен был быть вне себя, если дважды и за такой короткий промежуток времени отважился на ругательство, которое отпускал только в особых случаях.

Но, дойдя до ворот Морар, шевалье нашел место встреч безлюдным.

Он вдоль и поперек обшарил всю площадку, исследовал взглядом все углубления ворот, но не обнаружил ни прохожего, ни прохожей; на башне собора прозвонило девять часов, а в этот час весь Шартр ложился в постель.

Шевалье начал опасаться, что он плохо расслышал; плохо понял; он испытывал, считая минуты, все чувства, которые терзают сердце влюбленного, когда он ждет любимую женщину, и эта любовь — его первая любовь.

Наконец, шевалье услышал в темноте шаги и, изо всех сил вытаращив глаза, различил женский силуэт, неясный и расплывчатый, возникший в проеме ворот Морар.

Шевалье собирался броситься вперед, когда эта фигура, пройдя под уличным фонарем, соединилась с другим силуэтом, который, казалось, поджидал ее.

Было слишком поздно; Тереза с кем-то встретилась. С кем же?

Вероятно, с Гратьеном.

Шевалье потерял всякое терпение.

Ему следовало прибегнуть к уловкам американских следопытов, к военным хитростям Натти Кожаного Чулка и индейского вождя Чингачгука; но все это одновременно противоречило привычкам и претило нраву шевалье.

К несчастью, ни минуты нельзя было терять на размышления, если он хотел остаться незамеченным; поэтому шевалье проворно соскользнул на откос, который вел к реке, и лег там прямо на живот.

Влажный и холодный газон, служивший ему подстилкой, заставил шевалье задрожать; каждый стебелек, каждая травинка дышала ревматизмом.

Это был тот миг, когда пылкость страстей шевалье была достойна сожаления.

Шевалье и сокрушался о ней от всего сердца, но остался, однако, на своем месте, хотя оно и было насквозь пропитано росой.

За это время молодые люди миновали мост и прошли в десяти шагах от него.

О! Это была та самая молодая девушка, которую Дьедонне преследовал сегодня утром; это был тот самый рыжеволосый офицер, чьи откровения он нечаянно подслушал.

Блэк следовал за ними, не отставая ни на шаг, с таким серьезным видом, который показывал, насколько честное животное сознавало всю важность своих нынешних обязанностей.

Офицер, судя по его жестам, что-то хотя и негромко, но тем не менее горячо говорил своей спутнице; девушка, казалось, с вниманием слушала его; она выглядела грустной и задумчивой.

Время от времени черный силуэт спаниеля вырисовывался на более светлом фоне платья его хозяйки, и он поднимал голову, дотягиваясь до ее руки и добиваясь, чтобы она приласкала его.

Вдруг шевалье услышал шаги какого-то человека, который взошел на мост и осмотрительно, со всеми предосторожностями продвигался вперед.

Он повернул голову в ту сторону, откуда слышался шум; но, вероятно, незнакомец шел, пригнувшись, по ту сторону парапета, так как он ничего не смог различить.

В этот момент прогуливавшаяся парочка вернулась к тому месту, откуда шевалье вел свое наблюдение; тут же шум, донесшийся до ушей шевалье, внезапно стих.

Затем, когда молодые люди, повернув назад, прошли шагов пятьдесят в обратном направлении, де ля Гравери отчетливо различил приглушенный звук чего-то мягкого, брошенного на мостовую. Ему показалось, что он видел какой-то предмет величиной с яйцо, покотившийся в нескольких шагах от него посреди тротуара; после этого ему стало ясно, что невидимка, впрочем, столь явственно заявивший о своем присутствии, поспешно удалился.

Тереза и Гратьен находились в этот момент в конце пешеходной дорожки.

Шевалье прикинул, что ему как раз хватит времени выполнить тот достойный план, ради которого он явился сюда.

Он вскочил на ноги, с быстротой, на которую уже не считал себя способным, выскочил на дорогу и, рискуя тем самым нажать себе серьезные неприятности, принялся шарить руками в грязи, с тревогой разыскивая то, что, по его предположениям, было приманкой, приготовленной, чтобы соблазнить своим аппетитным видом бедного Блэка.

Не все было так гладко в действиях шевалье; но после двух или трех ошибок, о которых он немедленно догадался благодаря своему тонкому осязанию, ему попало то, что он искал; он увидел, что это был кусок мяса, по всей вероятности, сдобренный мышьяком.

Шевалье зашвырнул этот кусок мяса как можно дальше и с удовлетворением услышал, как тот упал в реку.

Но преступная мысль Лувилля внушила ему, в свою очередь, невинную мысль, вполне соответствующую его характеру.

Он решил, подобно тому, как Мальчик с пальчик разбрасывал камешки, которые должны были потом привести его обратно к дому, разбросать куски сахара, которые должны будут привести к нему Блэка.

Но если бы уловка по-настоящему удалась, то в его сердце поселилось бы раскаяние.

Он раскаивался бы в том, что ему пришлось взять собаку, которая ему не принадлежала, и, взяв ее, он лишил бы защиты добродетель молодой девушки.

Но если он немедленно не завладеет Блэком, то Блэк погибнет. В его намерения входило не забирать, а купить Блэка у девушки. Вот только почему девушка не предстала перед ним одна?

Будь она одна, он бы предупредил ее.

В обществе Гратьена это было невозможно.

Следовательно, он стал жертвой обстоятельств, и похищение Блэка, будучи вынужденным похищением, стало новилось простительным.

Впрочем, он рассчитывал, что если ему удастся завладеть Блэком, то он оставит его себе, щедро возместив эту потерю его хозяйке.

Шевалье обдумывал все это, лежа на животе под на-

гыпью и наблюдая, как двое влюбленных приближаются к нему.

Эффект, на который он рассчитывал, был достигнут.

Найдя благодаря своему тонкому обонянию первый кусок сахара, Блэк выказал живейшее удовлетворение.

Он слегка отстал от своей хозяйки.

Затем, вместо того, чтобы последовать за ней дальше, он принялся отыскивать второй кусок сахара.

И так, двигаясь от одного куска к другому, он приблизился к тому месту, где его лежа поджидал шевалье, зажав в кулаке кусок сахара.

Протягивая спаниелю это лакомство, шевалье едва слышно свистнул, подзывая его.

Собака, узнав человека, на чье обращение она не могла пожаловаться — а Блэк был слишком умен и слишком справедлив, чтобы отождествлять ведро воды, вылитой на него Марианной, с куском сахара, полученным из рук шевалье, — Блэк, узнав человека, повторяем мы, на чье обращение он не мог пожаловаться, подошел к нему без всякого недоверия и даже выказывая некоторое удовлетворение. Шевалье начал его вероломно ласкать; затем, злоупотребляя доверием Блэка, не спеша накинул на него свой платок в качестве ошейника и, завязав прочный узел, продолжал отвлекать его кусочками сахара до тех пор, пока его хозяйка, слишком взволнованная, чтобы заметить исчезновение Блэка, не повернула обратно и не прошла по мостовой мимо шевалье.

Тогда, увлекая за собой Блэка, он пробрался по склону до самого моста; около моста шевалье согнулся так же, как это сделал Лувиль, и пересек его незамеченным. Преодолев это препятствие, он зашагал в глубь города, ведя за собой где силой, а где — добровольно столь страстно желаемую добычу.

Очутившись перед домом, де ля Гравери тихо вставил ключ в замочную скважину и постарался бесшумно открыть дверь; но ржавое железо заскрипело, и как эхо раздалось ужасное «кто там?», произнесенное Марианной.

В то же мгновение служанка возникла в коридоре, в одной руке она держала свечу, а другой пыталась прикрыть пламя от ветра, который с силой задувал из-под двери.

— Кто там? — повторила Марианна.

— Что за черт! Это я, — ответил шевалье, пряча у себя за спиной свою добычу и изо всех сил пытаюсь скрыть

ее.— Что, я уже не могу вернуться домой без вашего позволения? Почему вы шпионите за мной?!

— Шпионите! — повторила Марианна.— Шпионите! Знайте, господин шевалье, что только те люди, что творят зло, опасаются глаз ближнего своего.

В этот момент кухарка заметила, какой беспорядок царил в одежде шевалье.

— А, мой Бог! — воскликнула она, отступив на два шага назад, как будто бы увидела привидение.— А, Боже мой!

— Ну, что с вами? — сказал шевалье, пытаясь пройти.

— Но на вас нет шляпы!

— И что же, разве я не могу пройти с непокрытой головой, если мне так нравится?

— Ваша одежда вся забрызгана грязью!

— Меня обрызгали.

— Обрызгали! Святая Дева, что за жизнь вы ведете, если позволяете себе возвращаться домой в подобном виде и в столь неподобающе позднее время!

В этот момент Блэк, ведший себя до сих пор достаточно спокойно, возбужденный резким и пронзительным голосом Марианны,— в которой он к тому же, быть может, признал своего старого недруга,— Блэк, в свою очередь, залился неподражаемым лаем.

— А, пусть так, тем хуже! — сказал шевалье.

— Небо правое! Собака! — завизжала Марианна.— И что за собака! Ужасное черное чудовище с двумя горящими, как уголья, глазами. Держите ее, сударь, держите! Разве вы не видите, что она сейчас меня разорвет?

— Послушайте, успокойтесь и дайте мне пройти.

Но в намерение Марианны не входило отступить просто так.

— Что станет с нами? — возобновила она свои причитания, пытаясь придать голосу слезные нотки.— Боже мой, по вашему внешнему виду можно судить, во что превратится дом, если в нем будет подобный гость. К счастью, надеюсь, вы его посадите на цепь.

— На цепь? — возмущенно закричал де ля Граве-ри.— Никогда!

— Вы оставите это животное на свободе? Вы подвергнете меня опасности быть искусанной в любое мгновение дня и ночи? Нет, сударь, нет, я этого не допущу.

И, вооружившись своей щеткой, Марианна приняла позу гренадера старой гвардии, защищающего свой очаг.

— Вы позволите мне выгнать эту мерзкую собаку,

не правда ли? — сказала она. — Или сию же минуту ноги моей не будет в этом доме.

Терпение де ля Гравери лопнуло, он так резко оттолкнул служанку, что та, не ожидавшая подобного нападения, потеряла равновесие и упала, издавая пронзительные вопли.

Свет погас, но проход был свободен.

Шевалье переступил через тело Марианны, преодолел прихожую и с юношеским проворством взлетел по лестнице; затем, подтолкнув собаку в дверь своей комнаты, он вошел туда вслед за ней, закрыл дверь на два оборота и опустил задвижки, все это было проделано с таким трепетным волнением, которое испытывает сгорающий от страсти любовник, когда его бесценная и обожаемая возлюбленная находится на месте черного спаниеля.

Шевалье взял со своих кресел-бержер три лучших подушки, положил их рядом одна с другой и устроил из них постель для Блэка, хотя тот был весь от кончика носа до кончика хвоста испачкан в грязи.

Блэк решил этот вопрос без всяких затруднений, он трижды повернулся вокруг себя и лег, свернувшись калачиком.

Шевалье не сводил с него влюбленных глаз до тех пор, пока тот не заснул; после чего он разделся, лег в постель и, в свою очередь, заснул.

Вот уже три недели, как у шевалье не было такого крепкого и спокойного сна.

Глава XXI,

В КОТОРОЙ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННОЙ СИЛЫ ВОДВОРЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ В ДОМЕ

Проснувшись на следующий день, шевалье почувствовал боль во всех конечностях; впервые за последние сутки он подумал о тех неблагоразумных и опрометчивых поступках, которые он совершил, движимый своей страстью, и он вздрогнул, представив, что эти безрассудства вполне могли бы вызвать плеврит, приступ подагры или ревматизм.

Тогда он пощупал свой пульс, занятие, которым шевалье пренебрегал вот уже в течение месяца, и, найдя его спокойным, ровным, ритмичным и умеренной частоты, еще раз удостоверился, что Бог оберегает его от разных экзальтаций.

Успокоившись насчет своего здоровья, он спрыгнул с кровати на пол и принялся играть со своей собакой, даже не заметив, что в камине не зажжен огонь.

В девять часов утра, как обычно, Марианна вошла в комнату своего хозяина, но уже с более злобным выражением лица, чем обычно.

Но утро вечера мудренее.

Осмотрительная дама больше не заговаривала о своем уходе, хотя и клялась вчера, что не станет медлить.

Шевалье же, в свою очередь, был слишком счастлив, что ему наконец-то удалось завладеть тем предметом, которым он вот уже месяц желал обладать так страстно, что поступился принципами благородства.

Однако одна мысль отравляла ему эту радость: это было наполовину опасение, наполовину угрызение совести.

Шевалье дрожал при мысли, что юная владелица Блэка может узнать своего спаниеля и потребовать, чтобы его вернули ей обратно.

Он спрашивал себя, что станет с его репутацией честного человека, если в городе узнают, каким образом животное попало в его руки.

Затем его вновь посетили вчерашние мысли.

Действительно ли он имел право завладеть Блэком, зная, что его жизни угрожает опасность со стороны младшего лейтенанта?

Шевалье сожалел о тех последствиях, которые могло бы иметь для несчастной молодой девушки похищение Блэка, и напрасно он повторял себе, что всего лишь вырвал Блэка из лап верной смерти. Ему никак не удавалось полностью успокоить на этот счет свою совесть.

Он попытался это сделать, положив в конверт банкнотный билет достоинством в пять тысяч франков и отправив его на имя мадемуазель Терезы в магазин мадемуазель Франконт.

К этой денежной купюре он присовокупил еще несколько строк, в которых предупреждал Терезу, не объясняя причин подобной щедрости, что такая же сумма ей будет отправлена и на следующий год.

С такими деньгами девушка была бы ограждена от опасностей, связанных с нищетой, этим демоном-искусителем, которого де ля Гравери считал самым грозным из всех демонов.

Таким образом, десять тысяч франков щедро компенсировали бы потерю спаниеля.

Оставалось принять необходимые меры, дабы предотвратить побег собаки.

Шевалье решил, что никогда не позволит спаниелю ступить за порог дома.

Но весь сад будет отведен для его шалостей и забав.

Стены, окружавшие сад, были так высоки, что не стоило опасаться любопытства соседей.

Блэк будет спать в комнате своего хозяина.

Когда последний будет вынужден оставлять дом на час, два или три, то будет запирает собаку в туалетной комнате, надежно закрывающейся на замок с секретом, способный оградить бедное животное от злопамятства Марианны, которую шевалье все же несколько побаивался.

Лишь одна нескромная болтливость последней могла бы нарушить безмятежное счастье тех дней, которые шевалье предвкушал провести в обществе Блэка.

Но в тот же самый вечер случай позаботился, чтобы неуживчивая кухарка попала в полную зависимость от шевалье.

Ни до, ни после обеда шевалье никуда не выходил.

Он позавтракал и отобедал в обществе своего друга.

Наконец, следуя намеченному плану, вечером он вышел с ним на прогулку в сад.

В то время, как шевалье занимался шиповником, который сам привил по весне и побег которого внушал ему опасения, Блэк, несмотря на заботливое и сердечное отношение к себе, все же, казалось, о чем-то сожалевший, Блэк воспользовался тем, что дверь, ведущая в сад, была приоткрыта, и отправился на поиски пути, который мог бы привести его к тому, что было так дорого его сердцу.

Но, к несчастью для его планов бегства, прежде чем попасть на улицу, он должен был пересечь вестибюль и миновать дверь кухни. А из этой двери доносились истинные сладостные запахи жаркого.

Блэк вошел на кухню, в которой на первый взгляд, казалось, никого не было.

Он решил найти источник этого притягательного аромата.

Вдруг во время своей охоты он внезапно замер на месте, сделал стойку, как собака, почуявшая дичь, и принялся лаять на большущий шкаф, как будто хотел обвинить его в том, что тот таит в себе вежделенный предмет его поисков.

Тем временем в кухне возникла Марианна, она прибежала, услышав лай Блэка.

Она уже схватила свое обычное оружие; но де ля Гравери, заметивший исчезновение Блэка, появился следом за Марианной.

Поза шевалье, его властный вид заставили кухарку выронить метлу из рук.

Однако, не обращая ни малейшего внимания на происходящее вокруг него, настолько он был увлечен, спаниель продолжал яростно облаивать шкаф. Де ля Гравери распахнул обе дверцы шкафа и, к своему огромному изумлению, увидел кирасира, который, признав в шевалье хозяина дома, почтительно поднес руку к своей каске. Этот жест, как известно каждому, означает военное приветствие.

Марианна упала на стул, как будто собиралась лишиться чувств.

Шевалье все понял.

Но вместо того, чтобы предаться бездумному гневу, он тут же осознал всю выгоду, которую мог извлечь из этого события.

Де ля Гравери благодарно приласкал собаку и сделал Марианне знак следовать за собой.

Но он повел ее не дальше прихожей.

Там он остановился и суровым голосом проговорил:

— Марианна, я вам плачу триста франков жалованья, вы обкрадываете меня на шестьсот...

Марианна попыталась перебить шевалье, но тот оборвал ее решительным жестом.

— Вы крадете у меня еще шестьсот франков, на которые я закрываю глаза, что делает ваше место самым доходным в городе; кроме того, лишь я один в состоянии выносить ваш несносный характер. Вы заслуживаете быть с позором изгнанной, но я вас не прогоню.

Марианна хотела перебить своего хозяина, чтобы выразить ему свою благодарность.

— Подождите! Моя снисходительность выставляет свои условия.

Марианна кивнула в знак того, что готова принять самые унижительные условия, которые ее хозяину заблагорассудится назначить.

— Вот,— торжественно продолжал шевалье,— вот собака, которую я нашел; по причинам, о которых я вовсе не обязан вам сообщать, мне желательно, чтобы она оставалась в моем доме, и более того, я хочу, чтобы она

Бла счастлива у меня, и если в результате вашей неводержанной болтовни от меня потребуют вернуть этого спаниеля, если ненависть, которую вы к нему питаете, приведет к его болезни и, наконец, если, воспользовавшись вашей преднамеренной небрежностью, она убежит, даю вам слово, что вы будете немедленно уволены. А теперь, Марианна, вы можете, если вам этого хочется, пойти к вашему кирасиру; я сам был солдатом,— сказал шевалье, расправляя плечи,— и не испытываю предубеждений к военным.

Марианна просто сгорала от стыда, что ее застали на месте преступления, а в словах шевалье звучала такая гвердость и решимость, что она без единого возражения повернулась и пошла к себе на кухню.

Шевалье же был в восторге от этого происшествия; оно вместе с другими его уловками, казалось, гарантировало ему безмятежное обладание спаниелем.

И он не ошибся.

С этого дня для Дьедонне и для его четвероногого друга началась полная блаженства жизнь; спокойное существование не сделало шевалье ни безразличным, ни равнодушным к чарам и прелестям животного; напротив, с каждым днем он все больше привязывался к своей отвоёванной находке, стоившей ему столько трудов и усилий; каждый день он открывал в Блэке такие изумительные качества, что порой мысли о вечном переселении душ вновь приходили ему на ум; тогда он не мог удержаться, и во взгляде его, адресованном Блэку, сквозило умиление. Он говорил с ним о прошлом, главным образом останавливаясь на тех эпизодах, в которых принимал участие Думесниль. Иногда, блуждая среди этих воспоминаний, как в заколдованном лесу, он забывался до такой степени, что кричал, как капитан кричит ветерану:

— Ты помнишь?

И если в этот момент собака поднимала свою умную голову и смотрела на него своими выразительными глазами, то шевалье чувствовал, как постепенно последние оставшиеся сомнения, подобно сухим листьям, падающим с дерева, улетучиваются из его рассудка. И те несколько часов, в течение которых длился обычно этот приступ монотонии, он не мог удержаться и относился к Блэку с той почтительной признательностью, которую когда-то вызывал своему другу.

Так продолжалось целых шесть месяцев.

Конечно, спаниель, если только он не был самой раз-

борчивой и привередливой собакой на свете, должен был считать себя самым удачливым и счастливым из всех четвероногих; однако, и это случалось довольно часто, спаниель выглядел грустным, встревоженным и озабоченным, чем шевалье был весьма обеспокоен; спаниель созерцал стены и разглядывал двери с печалью, которая бросалась в глаза, и, казалось, с помощью всех этих знаков хотел дать понять шевалье, что ни прошедшее время, ни хорошее обхождение не заставят его забыть свою хозяйку; и эта упорная привязанность, выходящая за рамки той старой любви, которую Думесниль должен был питать лишь к нему одному, всего ощутимее лишала шевалье этой утешительной надежды, что между Блэком и его другом существует некая взаимосвязь.

Однажды вечером — а дело было весной, и уже стемнело — де ля Гравери брился, намереваясь нанести несколько визитов.

Накануне и весь этот день Блэк казался более беспокойным, чем обычно.

Вдруг шевалье услышал пронзительные вопли, раздававшиеся на лестнице, и среди этих криков он различил слова, произнесенные Марианной с отчаянием в голосе:

— Сударь! Сударь! На помощь! Помогите! Ваша собака убегает!

Де ля Гравери отбросил бритву, вытер наполовину выбритое лицо, натянул на себя первое, что ему попало под руку из одежды, и буквально через минуту он был уже на первом этаже.

На пороге двери он увидел Марианну, с откровенным и неподдельным ужасом смотревшую вслед спаниелю, который, удирая со всех ног, быстро скрылся в конце улицы.

— Сударь,— с жалобным видом сказала служанка,— клянусь вам, что это не я оставила дверь открытой, это почтальон.

— Я предупредил вас, Марианна,— ответил шевалье вне себя от ярости.— Вы больше не служите у меня, собиравте ваши вещи и незамедлительно оставьте этот дом.

Затем, не дожидаясь ответа безутешной кухарки, не подумав, что его голова ничем не покрыта, а на ногах всего лишь домашние тапочки, шевалье бросился в погоню за животным.

Глава XXII,
КУДА БЛЭК ПРИВЕЛ ШЕВАЛЬЕ

Шевалье знал приблизительно, какое направление ему следует избрать, дабы не потерять ни минуты на поиски пути.

Не раздумывая, он бросился вперед и шел так быстро, что, обогнув собор, в ста шагах от себя увидел Блэка, бежавшего в направлении улицы Старого осла, и окликнул его, но Блэк, явно понимая, что его преследуют, свернул на улицу Меньял, и де ля Гравери вновь заметил его лишь около предместья Грапп, где, как он знал, жила прежняя хозяйка спаниеля, хотя номер ее дома и был ему неизвестен.

Правда, в этом месте шевалье был так близко от собаки, что на мгновение у него появилась надежда, что он ее вот-вот схватит.

Либо спаниель вовсе не рассчитывал окончательно скрыться от взора шевалье, либо собака не так хорошо, как буржуа города Шартра, была знакома с этим хитро-сплетением улиц, в котором Блэк, казалось, запутался, но только дела Гравели вновь увидел, его, задыхающегося, но, однако, еще сохранившего достаточно сил, чтобы убежать от шевалье.

В самом деле, в тот момент, когда последний протянул руку, желая схватить Блэка за великолепный ошейник, сделанный для него по его заказу, спаниель отпрыгнул в сторону и бросился в аллею, ведущую к третьему дому слева в этом предместье.

Эта аллея была узкой, сырой, грязной и темной.

И тем не менее шевалье, не колеблясь, последовал туда вслед за своим неблагодарным пансионером.

Он уже не подумал, что отвечать в том случае, если животное приведет его к той девушке, у которой оно было им украдено.

Некоторое время, пробираясь на ощупь в этой мрачной клоаке, шевалье в конце концов рукой наткнулся на веревку.

Веревка, натянутая здесь вместо перил, обозначала лестницу. Шевалье ногой поискал ступеньки, и, обнаружив первую, ведомый слабым проблеском света, который пробивался над его головой через безобразное, покрытое пылью окно, в котором недостающие куски стекла были заменены листами промасленной бумаги, он принялся взбираться по лестнице.

Де ля Гравери достиг второго этажа.

Все двери второго этажа были закрыты.

Шевалье прислушался.

Из комнат не доносилось ни звука; было ясно, что собака остановилась не здесь.

Шевалье вновь поймал веревку и продолжил свое восхождение.

После второго этажа лестница сужалась, но это не помешало шевалье добраться до третьего.

Здесь, как и на площадке второго, он прислушался. Третий этаж был так же нем, как и второй.

Лестница в предместье Грапп, ведущая выше третьего этажа, подобно женщинам Вергилия, чье тело переходило в рыбий хвост, заканчивалась приставной лесенкой.

Де ля Гравери стал опасаться, не воспользовался ли спаниель каким-либо выходом, которого он не заметил, чтобы выскользнуть из этого дома и проникнуть во двор.

Но в этот момент он услышал раздавшийся у себя над головой печальный и продолжительный вой, которым, согласно весьма распространенному поверью, собаки возвещают о кончине своего хозяина.

От этого скорбного зова в этом мрачном доме, казавшемся безлюдным, кровь застыла у шевалье в жилах, волосы встали дыбом, и он почувствовал, как ледяной пот выступил у него на лбу.

Но почти сразу же ему пришло в голову, что Блэк, добравшись до двери своей хозяйки и найдя ее запертой, послал ей через дверь этот отчаянный призыв.

По всей вероятности, если это предположение было верно, то его молодой хозяйки не было дома.

Тогда шевалье мог бы настигнуть Блэка около двери и, зажатый в тесном коридоре, тот вынужден был бы сдаться.

Эта мысль вернула мужество шевалье.

Он уцепился за перекладины лестницы и предпринял попытку восхождения.

Это ему напомнило тот полный отчаяния день, когда вместо того, чтобы карабкаться вверх по лестнице, он спускался по веревке из простыней.

Но он не остановился на этом воспоминании, его память сделала еще один шаг вперед: шевалье вспомнил Матильду, и каким бы черствым ни стало его сердце, отказавшееся от любви, у него вырвался вздох.

Но и вздыхая, он продолжал подниматься.

Когда он преодолел около двадцати ступенек, его тело наполовину высунулось из люка.

Этот люк вел в крохотную каморку, где царила абсолютная тьма.

На первый взгляд эта комнатка казалась такой же пустой, как и весь остальной дом; однако не приходилось сомневаться, что это место служило конечной целью побега спаниеля.

И в самом деле, едва шевалье поставил ногу на пол комнаты, как животное подбежало к нему и стало ласкаться с такой нежностью, которую шевалье у него еще никогда не видел.

Но как только шевалье протянул в его сторону руку, как будто признаваясь в своих намерениях, Блэк проворно отбежал и улегся в изножье некоего подобия кровати, чей силуэт смутно вырисовывался в темноте.

Это убогое ложе стояло в углу, вдоль ската крыши, таким образом, что слабый луч света, проникавший в эту клетушку сквозь узкое оконце, не попадал на него.

Ни малейшего шевеления, ни малейшего движения не чувствовалось на этом отдаленном подобии мансарды.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил шевалье.

Никто не ответил; лишь Блэк вторично подбежал к нему и потерялся о его ноги.

В этот момент шевалье заметил, что атмосфера этого чердака была перенасыщена едким и резким запахом, от которого у него перехватило горло.

Его страхи вернулись к нему; ему захотелось как можно быстрее убежать отсюда, и он позвал Блэка.

Блэк завыл снова, этот вой был еще более зловещим, чем в первый раз, и спрятался под кровать.

Шевалье не мог решиться покинуть Блэка.

Он стал искать, чем бы посветить.

Во время этих поисков его нога наткнулась на жаровню и опрокинула ее.

И почти тут же его пальцы нащупали фосфорное огниво.

В секунду он высек огонь и зажег лампу, которую заметил на стуле.

Затем подошел к постели.

На ней он увидел лежавшую женщину.

Кожа на лице у этой женщины или, вернее, молодой девушки отсвечивала синевой: ее губы почернели; от обильно выступившего пота волосы на висках слиплись; зубы были плотно сжаты.

Все тело, казалось, уже окоченело от смертного холода и больше не шевелилось.

О том, что душа еще не покинула тела умирающей, можно было догадаться лишь по дрожанию голубоватых век и слабому дыханию, вырывавшемуся из сведенного судорогой рта, доказывавшему, что ее страдания еще не закончились.

В этом теле, наполовину уже похожем на труп, де ля Гравери узнал молодую девушку, которую он преследовал прошлой осенью в одно из воскресений; ту, у которой он затем увел Блэка.

Он заговорил с ней; но она была слишком слаба, чтобы ответить ему.

Однако девушка его услышала, так как веки ее открылись, и она, обратив блуждающий взор на шеваляе, протянула ему руку.

Охваченный жалостью и испытывая некоторые угрызения совести, шеваляе де ля Гравери взял ее за руку.

Она была ледяной.

«Боже мой! Боже мой! — воскликнул он вслух, такова была его привычка. — Однако я не могу оставить умирать это несчастное создание и, поскольку я в погоне за Блэком пересек весь город с непокрытой головой, я точно так же в этом виде могу его вновь пересечь, отправившись за господином Робером».

Шеваляе не был знаком с господином Робером; но он знал, что тот пользовался известностью среди жителей Шартра.

«Я обязан для нее это сделать, я обязан это сделать для нее», — повторял шеваляе, смотря на девушку и вновь удивляясь, так же, как и в первый раз, странному сходству, которое существовало между ней и Матильдой, когда Матильда была такой же молодой.

Оставив умирающую под охраной Блэка, де ля Гравери спустился по лестнице быстрее, нежели чем поднялся по ней, хотя гораздо легче было именно подниматься, чем спускаться.

Врача не оказалось дома; шеваляе оставил ему адрес молодой девушки, указав все необходимые подробности, которые позволили бы господину Роберу найти ее каморку без дополнительных расспросов.

Затем сам он бегом вернулся в предместье Грапп.

В убогой комнатухе за время его отсутствия ничего не изменилось; только Блэк, чтобы побороть этот ледя-

пой холод, во власти которого находилась его хозяйка, запрыгнул на кровать и улелся на ноги больной.

Когда де ля Гравери увидел, что спаниель изо всех сил старается согреть Терезу, то у него родилась одна мысль — а именно: сделать все возможное, чтобы помочь собаке довести до конца начатое ею дело.

Он поднял жаровню, подобрал все кусочки угля, разбросанные там и сям по плиточному полу, и попытался разжечь огонь.

Мы должны признать, что бедный шевалье проявлял при этом гораздо больше старания, чем умения.

Де ля Гравери и сам понимал, сколь он неловок, и лишь повинувшись порыву своей доброй души и примеру Блэка, он решился вступить в это состязание.

Но исполняя то, что он считал своим долгом, шевалье не переставал ворчать.

И, следуя своей привычке, он бормотал вполголоса: «Эта чертова собака! И надо же ей было сбежать; что ей еще-то надо? Ее хорошо кормили, она спала на красивой волчьей шкуре, мягкой, пушистой и приятной на ощупь; что за странная мысль пришла ей в голову: сожалеть о жизни в этой ужасной лачуге. А! Я был прав, проклиная и избегая всякого рода привязанностей. Если бы ты не сохранил это чувство к твоей бывшей хозяйке, глупое животное,— и, произнося эти слова, он посмотрел на Блэка с невыразимой нежностью,— мы бы пребывали в этот час, счастливые и спокойные, в нашем садике; ты бы играл на полянке в траве, а я бы обрезал мои розы, которые сильно в этом нуждаются... И еще этот проклятый уголь, который не желает гореть! Он никогда не загорится, черт его возьми! Если бы только я мог хоть кого-нибудь найти в этом доме, я бы поручил его заботам эту молодую девушку. Деньги спасли бы меня от этой каторги; я бы не торгуясь заплатил бы столько, сколько от меня потребовали бы. Ну, скажите, только откровенно, разве это не свелось бы к тому же самому?»

— Нет, шевалье,— произнес голос позади Дьедонне,— нет, это не было бы тоже самое, и вы поймете это, если нам посчастливится спасти, больную, к которой вы проявляете интерес.

— А! Это вы, доктор! — сказал шевалье; он вздрогнул при первых словах, раздавшихся в каморке, но обернувшись, узнал серьезное и доброе лицо доктора.— Видите ли, вам я могу в этом признаться, дело в том, что

я испытываю ужас при виде больных и панически боюсь болезней.

— Ваша заслуга и то моральное удовлетворение, которое вы испытываете, от этого только возрастут,— ответил доктор.— И поверьте мне, человек ко всему привыкает; стоит вам выходить с десятков таких, как эта, и вы уже не захотите заниматься ничем другим. Вот так вот! Так где же больная?

— Вот она,—отвечал шевалье, показывая на постель.

Доктор направился к молодой девушке; но Блэк, видя, как этот незнакомец приближается к его юной хозяйке, угрожающе залаял.

— Ну, что ты, Блэк, что случилось, мой мальчик? Что это значит? — спросил шевалье.

И, приласкав, он заставил замолчать спаниеля.

Доктор взял лампу и поднес мерцающий и дрожащий светильник к лицу больной.

— А! А! — сказал он.— Я подозревал это, но не думал, что случай будет таким серьезным.

— Что с ней? — спросил шевалье.

— Что это такое? Это холера-морбус, настоящая холера-морбус, азиатская холера во всем своем отвратительном проявлении!

— Черт возьми! — вскричал шевалье.

И он побежал в сторону лестницы.

Но прежде чем он успел добежать до люка, ноги у него подкосились, и он упал на скамеечку.

— Но что с вами, шевалье? — спросил доктор.

— Холера-морбус!—повторял тот, едва переводя дух и не имея сил подняться.— Холера-морбус! Но ведь холера-морбус — это заразная болезнь, доктор!

— Одни говорят, что эндемическая, другие признают ее заразной,— ответил доктор.— Но мы сейчас не будем тратить на это время.

— Как! Мы не будем тратить на это время? Поверьте, доктор, я не в силах думать ни о чем другом.

И действительно, шевалье был бледен, как мертвец; крупные капли пота блестели у него на лбу; зубы стучали.

— Смотрите-ка,—сказал доктор,— вы, такой храбрый, когда речь шла о желтой лихорадке, неужели вы боитесь холеры, шевалье?

— О желтой лихорадке! — запинаясь, пробормотал Дьедонне.— Откуда вы знаете, что я храбро веду себя, когда речь идет о желтой лихорадке?

— Разве я не видел вас в деле? — ответил доктор.

— Когда это? — спросил шевалье растерянно.

— Когда вы ухаживали за вашим другом, бедным капитаном Думеснилем, в Папезти; разве меня там не было?

— Там? Вас? Вы были там? — произнес совершенно ошеломленный шевалье.

— Я понимаю; вы не признаете молодого доктора с «Дофина». Тогда мне было двадцать шесть, а теперь сорок один. Четырнадцать или пятнадцать лет сильно меняют человека; вы, шевалье, вы также заметно округлились.

— Как! Это вы, доктор? — произнес шевалье.

— Да, это я. Я оставил службу и обосновался в Шантре. Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда встретится, и вот тому доказательство: мы с вами стоим у постели другой больной, которая чувствует себя не лучше, чем бедняга капитан.

— Но ведь это холера, доктор, холера!

— Она двоюродная сестра желтой лихорадки, черной чумы и морового поветрия; бойтесь ее не больше, чем вы боялись той, другой; все они из породы бешеных собак, которые кусают лишь тех, кто бежит от них. Смелее, черт возьми! В вашей петлице я вижу красную ленту, которая свидетельствует, что вы бывали под огнем; вспомните ваши лучшие дни бравого вояки, и марш вперед, на холеру, так же, как вы ходили когда-то в атаку под огнем неприятеля.

— Но, — пробормотал старый вояка, — не кажется ли вам, что мы бесполезно подвергаем себя опасности, и верите ли вы, что у нас есть хоть какой-то шанс спасти эту несчастную девушку?

Шевалье, самолюбие которого было уязвлено, как видите, смирился с необходимостью говорить во множественном числе.

— Признаюсь, надежды почти нет, — отвечал доктор, — у больной уже появились признаки, предвещающие близкий конец: ногти синеют, глаза ввалились, конечности холодеют и могут поспорить, что язык уже одревенел. Ну и что же! Она ведь еще жива, надо сражаться до конца, товарищи... Я привык, и вы это знаете, не отступать перед смертью; я, шевалье, из породы бульдогов: до тех пор пока у меня в зубах есть хоть клочок, я держу его мертвой хваткой; но мы уже потеряли много времени... за дело!

Не придя еще в себя от ужаса, испытанного им при слове «холера», шевалье поначалу был бессилён чем-либо помочь доктору. Но, к счастью, последний, по нескольким словам, сказанным шевалье его домашнему слуге, догадался, что речь идет о приступе холеры, и захватил с собой из аптечки эфир и черемичную воду: те два лекарства, с помощью которых он сражался с холерой.

Бедный Дьедонне ходил по комнате, как безумный; но в конце концов спокойствие и уверенность, с которыми этот знаток своего дела обращался с больной, прислушивался к ее дыханию, ощупывал ее, успокоили его опасения, уменьшили его испуг.

Его привязанность к бедному спаниелю уже пробила брешь в том чувстве эгоизма, которым он заполнил свое сердце; а его задетая гордость и, главное, жалость, испытываемая им при виде страданий больной, в конце концов постепенно одержали над ним полный верх.

В свою очередь, он приблизился к ложу умирающей и стал помогать доктору обкладывать ее теплыми кирпичами, которые тот выломал из стены, чтобы нагреть их.

Спаниель, вероятно, понял цель тех забот, которыми окружали его хозяйку; он спрыгнул с кровати, чтобы освободить поле деятельности для этих двух человек и, подойдя к шевалье, стал лизать ему руки.

Этот знак признательности горячо растрогал шевалье; мысли о переселении душ вновь пришли ему на ум, и он с воодушевлением воскликнул:

— Будь спокоен, мой бедный Думесниль, мы ее спасем!

Врач был слишком занят с больной, чтобы придать значение странным словам, с которыми Дьедонне обратился к черной собаке; до него дошел лишь их общий смысл.

— Да, шевалье,— сказал он,— да, будем надеяться! Вот уже и конечности становятся теплее; но если ей удастся выкарабкаться, то этим она будет обязана вам.

— Неужели?! — вскричал шевалье.

— Да, черт побери! Но вы не должны останавливаться на полдороге, я прошу меня извинить, шевалье, но я собираюсь послать вас кое за чем.

— О! Располагайте мной, как вам будет угодно!

— Вы понимаете, что мое присутствие здесь необходимо.

— Черт! Полагаю, я это отлично понимаю.

Доктор достал из кармана маленький блокнотик, на-

писал карандашом несколько строк и вырвал этот листок.

— Отправляйтесь к аптекарю, шевалье, и принесите мне это лекарство.

— Все, что хотите, доктор, лишь бы я ее спас,— воскликнул шевалье, очертя голову вступая в борьбу и сжигая свои корабли.

Шевалье потребовалось не более десяти минут, чтобы сходить туда и обратно, и, когда он вернулся на чердак, то нашел доктора улыбающимся, и это с лихвой оплатило все его труды.

— Так, значит, ей лучше? — Шевалье подошел к кровати, чтобы взглянуть на больную, чье лицо в самом деле утратило свой мертвенный оттенок.

— Да, ей лучше, и я надеюсь, если Господь нам поможет, то через три месяца мадемуазель подарит нам младенца, похожего на вас, как две капли воды.

— На меня! На меня! Мадемуазель, ребенок?

— Ах, какой же вы ловелас, шевалье; я все знаю о ваших похождениях в Папезти: прекрасная Маауни мне все рассказала.

— Доктор, я вам клянусь...

— Говорите же, шевалье, не таите от меня секретов; рано или поздно вы все равно будете вынуждены мне все рассказать; разве моя профессия не состоит в том, чтобы облегчить человеку появление на свет, точно так же, как помочь ему покинуть его?

— Но позвольте, доктор, что же вас навело на эту мысль?..

— А вот что, черт возьми! — сказал доктор, протягивая шевалье золотое обручальное кольцо, которое он снял с пальца больной, остававшейся все такой же неподвижной и безучастной.— Во время вашего отсутствия, движимый любопытством, я решил открыть это кольцо и осмотреть его. И больше не отрицайте ваше отцовство, дорогой сударь; ваш секрет в надежных руках; врач призван еще строже хранить тайну, чем исповедник.

Шевалье, как пораженный громом, не веря своим ушам, взял это кольцо, ногтем мизинца поддел крышку и, открыв таким образом кольцо, на внутренней его поверхности прочел:

«Дьедонне де ля Гравери — Матильда де Флоршайм».

Его волнение было так велико, что он пал на колени, одновременно рыдая и молясь.

Глава XXIII
ШЕВАЛЬЕ-СИДЕЛКА

Врач решил, что волнение шевалье вызвано радостью, которую тот испытал, узнав, что есть надежда спасти больную.

Он дал шевалье закончить свою молитву и вытереть глаза, а затем, решив, что следует использовать этот возвышенный порыв чувств к выгоде несчастной молодой девушки, он спросил:

— А теперь, шевалье, что мы будем делать с этим ребенком? Ведь ей невозможно оставаться в этой зловонной дыре! Может, вы хотите, чтобы я отправил ее в госпиталь?

— В госпиталь! — с негодованием вскричал шевалье.

— Черт! Но ей там будет несравненно лучше, чем здесь. И хотя я не собираюсь читать вам нотаций, но позвольте мне все же заметить, шевалье, что я нахожу весьма странным то, что вы оставили женщину, на палец которой надели это кольцо, в столь убогой лачуге, особенно в тот момент, когда в этом квартале свирепствует болезнь.

— Доктор, я прикажу ее перевезти ко мне.

— Слава Богу, это доброе дело! Правда, оно несколько запоздало; но, как гласит пословица, лучше поздно, чем никогда. Это вызовет небольшой переполох и крики негодования среди добропорядочных жителей Шартра, но что касается меня, то я предпочитаю, шевалье, опираясь на сложившееся у меня о вас мнение, чтобы вы совершили именно этот грех, а не другой; предпочитаю видеть, как вы пренебрегаете условностями и приличиями, а не человеколюбием и состраданием.

Шевалье, ничего не отвечая, склонил голову; в его душе боролись тысячи разных чувств.

Он думал о Матильде, чьим ребенком должна была быть эта несчастная девушка; мысленно он перенесся на двадцать пять лет назад, он вновь переживал эти дни, такие мирные, такие радостные, сначала наполненные их совместными играми, а затем взаимной любовью.

За эти восемнадцать лет, возможно, впервые он осмелился бросить взгляд в прошлое и испытал чувство стыда при мысли, что мог предпочесть мелочные наслаждения эгоизма этим радостям, таким сильным и таким неизгладимым, раз более чем двадцать лет спустя они еще могли вновь согреть его душу.

Смотря на бедную больную, он испытывал раскаяние, его совесть подсказывала ему, что, какими бы ни были грехи ее матери, они ни в коей мере не уменьшали его обязательства по отношению к этому ребенку, и что эти обязательства не были им выполнены.

Он не мог также не думать о тех пагубных последствиях, которые имело для молодой девушки похищение ее ангела-хранителя; возможно, отняв у нее Блэка, он обрек ее, беззащитную, на предательство; он давал себе слово искупить свои ошибки, так как видел во всем случившемся руку Господа.

Видя, как глубоко шевалье погружен в размышления, доктор предположил, что шевалье, испугавшись последствий пребывания в его доме больной, решил пойти на попятный.

— Что же, в конце концов,— сказал он шевалье,— обдумайте это хорошенько; возможно, вам удастся найти за хорошую плату каких-нибудь добрых людей, которые согласятся преодолеть свое отвращение к этой чертовой болезни и приютят у себя бедную девушку; вероятно, это будет самый лучший выход, который устроит всех.

Дьедонне понял, что его рассудок должен сделать окончательный выбор: на одной чаше весов лежала забота о его собственном покое и безмятежном существовании, остатки ужаса, который ему все еще внушала возможность заражения, а на другой добрые побуждения его сердца; к чести шевалье скажем, что эта борьба длилась не слишком долго.

Шевалье отрицательно покачал головой и выпрямился.

— Кто мне, доктор! Ко мне и только ко мне, никуда более! — вскричал он с той энергией, которой слабые люди так умело и к месту пользуются, когда им выпадает случай быть решительными.

Уже занимался день, когда носилки, взятые в госпитале, на которые уложили больную, отправились в путь на улицу Лис.

Шевалье и Блэк сопровождали эту печальную процессию, которая на всем пути своего следования, впрочем, такова была традиция, вызывала любопытство крестьянок и молочниц, уже направлявшихся в город.

Подойдя к дому де ля Гравери, они нашли дверь закрытой; хозяин, выскочивший из дому без шляпы и в тапочках и не подумавший захватить с собой ключ, звонил и стучал в дверь молоточком, но все было бесполезно;

никто не отвечал. Тогда он вспомнил, что вчера вечером он прогнал Марианну, и предположил, что, желая в последний раз отомстить своему хозяину, проклятая служанка посчитала необходимым буквально выполнить полученный приказ убираться как можно быстрее.

Был один-единственный выход: привести слесаря; за ним пошли.

К счастью, он жил не очень далеко.

Работа с дверью затянулась надолго, а в это время просыпался квартал.

Соседи прилипли к окнам, служанки высыпали из домов на улицу и расспрашивали друг друга. Кто-то, пока шевалье ходил за слесарем, приоткрыл занавески носилок, чтобы узнать, что в них такое. А узнав, что находилось внутри, каждый задавался вопросом, кем могла быть эта девушка, которую шевалье окружал такой заботой и которую собирался поселить под крышей своего дома, куда до сих пор вход всем представительницам женского пола был запрещен.

Как водится в подобных случаях, сразу же родилось около десяти версий; все они были абсолютно несхожи между собой, но, естественно, ни одна не служила к чести шевалье; его реноме был нанесен серьезный урон.

По всему городу пошли пересуды.

Кутилы из кафе Жусс и шартрского клуба открыто потешались над шевалье.

Завсегдатаи из Мюре шептались об этом вполголоса, крестясь и заявляя, что решительно шевалье не тот человек, с которым следует поддерживать отношения.

Но самому шевалье все это было безразлично. Мысль, что, по всей вероятности, он нашел дочь единственной женщины, которую когда-либо любил, поглотила его целиком.

Мы придерживаемся того мнения, и, возможно, кто-то сочтет нас оптимистом или глуповатым простофилей, а это приблизительно одно и то же; так вот, мы придерживаемся того мнения, что на свете есть мало сердец, в которых воспоминания о причиненном зле заглушают память о добре; во всяком случае, шевалье был не из их числа.

По мере того, как память шевалье освобождалась от горьких и печальных воспоминаний о прошлом, образ Матильды вновь вставал перед его глазами таким, какой она была в самые лучшие дни их юности — прекрасной и чистой, любящей и преданной. Он больше не помышлял

о тех событиях, которые разлучили их, о ее неблагодарности, о ее неверности. Он вспоминал о незабудках, которые срывал когда-то для своей маленькой подружки на берегах ручейка, текущего по парку, и чьи голубенькие цветочки так очаровательно смотрелись в белокурых волосах молодой девушки; его сердце обливалось горячими слезами при мысли, что за всю остальную жизнь он не испытал больше таких радостей, которые могли бы сравниться со счастьем, пережитым в молодости; даже радость, подаренная ему прекрасной Маауни, была несравнима с ними; наслаждения от вкушаемой трапезы или утех садовода никогда не могли заставить так трепетать его душу, как это удалось обыкновенному воспоминанию о прошлом. И шевалье спрашивал себя, не являются ли самыми счастливыми на свете в конце концов именно те люди, которые встречают старость, обладая самым большим багажом подобного рода воспоминаний.

До конца это не было еще чувством сожаления, но уже ощущались ростки сравнений.

Однако надо было заняться бедной больной, и заботы об уходе, который ей следовало обеспечить, вывели шевалье из состояния раздумий, которому он, впрочем, весьма охотно предавался.

Марианна поступила с ключом от своей комнаты так же, как с ключом от дома: она унесла его с собой, как будто являлась истинной хозяйкой этого дома. Де ля Гравери был вынужден поместить больную в своей комнате и уложить в свою кровать.

Но здесь вновь легкие опасения за собственную жизнь проснулись в нем; он спрашивал себя с некоторой тревогой, где же ему провести предстоящую ночь, а главное, где поместят его самого, если зараза завладеет и им тоже.

Поскольку в доме он был абсолютно один, ему пришлось заняться заботами по хозяйству, приготовить целебную настойку и подумать о своем собственном завтраке, занятие, к которому он питал особую антипатию.

Работая до седьмого пота и нещадно проклиная свою бывшую служанку, шевалье сумел отыскать среди ужасающего хаоса, который Марианна намеренно оставила в своем кухонном хозяйстве и посуде, три яйца и приготовил из них свое первое блюдо, с беспокойством задавая себе вопрос, как он сможет переварить это блюдо, **каким бы простым оно ни было.** Ведь впервые за двадцать лет он был вынужден сесть за стол без чая, сред-

ства, которое считал совершенно необходимым для активизации деятельности своего желудка.

Его беспокойство увеличивало то, что яйца, опущенные в кипящую воду, оставались там на двенадцать секунд дольше, чем было положено, и вместо того, чтобы съесть на завтрак три яйца всмятку, шевалье съел три яйца вкрутую.

К полудню объявилась Марианна, она пришла за своим жалованьем.

При виде ее у шевалье мелькнул луч надежды. Он, подумал, что старая сумасбродка пришла его молить о прощении, и приготовился выслушать ее просьбу с самой любезной улыбкой.

Шевалье решил принять все требования своей бывшей служанки и подписать, даже повысив ей жалованье, новый договор с тем, чтобы немедленно избавиться себя от хозяйственных забот, которые были ему так отвратительны.

Шевалье не принял во внимание появления в доме своей гостьи.

Марианна, получая деньги, была преисполнена холодного и презрительного достоинства, и, когда бедняга шевалье, забыв и о ее характере и о чувстве приличия, которое должно было бы заставить его промолчать, спросил у нее, стараясь придать своему тону патетическое звучание, как она могла решиться покинуть его в такой трудный для него момент, бывшая служанка ответила ему с возмущением, что порядочная женщина в здравом рассудке не может оставаться в таком доме, как его, а если он нуждается в уходе, то пусть эта вертихвостка и заботится о нем.

После чего она величественно удалилась.

Де ля Гравери, оставшись один, впал в глубокое отчаяние.

Он прекрасно понимал, что все языки в городе упражняются сейчас на его счет; что он будет опозорен, имя его смешают с грязью, на него будут показывать пальцем; он видел, что, подобный безмятежному озеру, ясному небу, незапятнанному зеркалу, его спокойный мирок, в котором он жил до сих пор, рушится навсегда, и он уже начал подумывать, что, возможно, поступил весьма легкомысленно, приютив у себя молодую девушку.

Блэк тщетно ходил от постели своей бывшей хозяйки к креслу, в которое был погружен его новый хозяин, который был таковым последние шесть месяцев; он напрас-

но помахивал хвостом, клал свою прекрасную голову на колени к шевалье, лизал его свисавшую руку, проделывая все это в знак признательности и одобрения. Ничто не могло отвлечь де ля Гравери от размышлений, в которые он столь глубоко погрузился.

Мозг человека, так же как и океан, имеет свои приливы и отливы.

Шевалье, ни много ни мало, думал о том, что следует разом избавиться и от молодой девушки, и от ее спяниения, поместив их обоих в дом призрения.

Несколько стыдясь этой дурной мысли, он приводил себе различные доводы, способные смягчить ее и сделать менее ужасной: что, например, самые светские и порядочные люди отправляются в подобные заведения, что он сам бы лег туда, если бы был болен, что там если уход и был менее сердечным, то все же он был более умелым: привычка заменяла преданность и т. д.

Прилив поднимался, это был прилив скверных чувств!

С того момента, как шевалье стал владельцем Блэка, он ни одного дня не прожил без волнений и забот. Вот уже шесть месяцев, как от его прежнего спокойного существования не осталось и следа. Какой только опасности он не подвергал себя, чтобы вернуть его!

И эта зараза, разве она не пристанет к нему?! Особенно если, не найдя до вечера ни служанки, ни сиделки, он будет вынужден сам ухаживать за девушкой и всю ночь дышать ядовитыми испарениями, исходящими от тела больной.

Прилив все поднимался и поднимался; подобно тому, как одна волна следует за другой, каждая новая мысль рождала следующую.

Разве не могло быть так, что единственно благодаря простому случаю кольцо Матильды оказалось на пальце у Терезы? Разве обязательно обладание этим кольцом означало, что больная была дочерью мадам де ля Гравери? И потом, если все же в конце концов будет доказано, что больная связана с Матильдой кровными узами, неужели оскорбленному мужу следует подвергать себя смертельной опасности, чтобы спасти этот плод греха?

Как видите, прилив был очень высок.

Мысль, что больная вовсе не была дочерью мадам де ля Гравери, столь властно завладела шевалье, что он

решил расспросить обо всем Терезу: но девушка была так слаба, что Дьедонне не смог добиться от нее ответа.

В этот момент взгляд шевалье упал на туалетный столик, где в образцовом порядке выстроились все вещи, принадлежавшие капитану; затем, благодаря естественному ходу мыслей, ему вспомнился несессер, в котором они когда-то лежали; в частности, таинственный пакет, который шевалье должен был вручить мадам де ля Гравери, если она была еще жива, и сжечь, если она умерла.

Он подумал, что, по всей вероятности, в этом пакете найдет решение загадки, занимавшей его в этот момент, а поскольку, раз покотившись по наклонной плоскости дурных мыслей, не так-то легко остановиться, он принял решение, каковы бы ни были его последствия, вскрыть пакет и определить свое отношение к Терезе, если все же в этом пакете шла речь о ней.

Следуя своему решению избегать бесполезных эмоций, шевалье ни разу не открывал второго дна несессера с того дня, как он поместил туда таинственный пакет.

С этого дня он постоянно изо всех сил старался забыть и этот пакет, и то, что в нем могло быть, и указание своего друга.

Но из ряда вон выходящие события, перевернувшие его жизнь, породили у него в голове совсем иные мысли, которые заставили его преодолеть свою брезгливость и чистоплотность.

Он был убежден, что в послании, которое его друг Думесниль адресовал мадам де ля Гравери, он отыскал бы какие-нибудь сведения, способные помочь ему разобраться в этом затруднительном положении.

Никогда, правда, Думесниль не произносил имени мадам де ля Гравери, но были все основания предполагать, думал шевалье, что капитан кое-что знал о ее судьбе.

Де ля Гравери, изнемогая от сильного волнения, решительно подошел прямо к шкафу, куда после своего возвращения с Палеэти положил несессер.

Вполне естественно, несессер по-прежнему лежал на том же самом месте.

Шевалье взял его, поставил на камин лампу, сел около огня, положил несессер на колени, открыл первое отделение, затем второе и перед его взором предстал пресловутый пакет с его широкими черными печатями.

Впервые шевалье обратил внимание на цвет воска, которым был запечатан пакет.

Он никак не мог решиться его открыть.

Но, продолжая следовать увлекающему его потоку мыслей, он разорвал конверт.

Несколько тысячефранковых билетов выскользнули из обрывков пакета и разлетелись по ковру,

Распечатанное письмо осталось в руках у шеваляе.

«Если ваша супруга, в тот момент, когда вы вернетесь во Францию, будет еще жива, вручите ей нижеприлагаемый пакет и банковские билеты, лежащие здесь; но если, напротив, ее уже не будет в живых, или если у вас не останется никакой надежды узнать, что с ней случилось, то в этом случае, Дьедонне, во имя чести, вспомните ваше обещание, бросьте в огонь этот пакет и употребите деньги на богоугодные добрые дела.

*Ваш преданный друг
Думесниль».*

Шеваляе несколько минут и так и этак вертел в руках пакет; он был достаточно заинтригован и хотел знать, какого рода отношения могли существовать между его другом и его женой.

Один или два раза он подносил руку к конверту второго пакета, собираясь сделать с ним то же, что и с первым; но это заклинание капитана: «Дьедонне, во имя чести вспомните ваше обещание и бросьте в огонь этот пакет»,— вновь попало ему на глаза, и чтобы отвести от себя искушение, он отправил пакет прямо в огонь.

Пакет почернел сначала, потом съежился и развалился, и среди писем показалась прядь волос; по ее пепельно-русому оттенку шеваляе де ля Гравери узнал, что она принадлежала Матильде.

Увидев это, шеваляе перестал владеть собой, он не мог сдержать ни первые вырвавшиеся у него слова, ни сделанное им первое движение.

«Как, черт возьми! — вскричал он. — Думесниль хранил волосы моей жены?»

И протянув руку в самую середину пламени, он схватил завиток волос вместе с бумагой, в которую они были завернуты, бросил все это на землю и придавил ногой, чтобы погасить горевшие волосы и бумагу.

Затем, с великой тщательностью собирая эти обрывки, наполовину съеденные огнем, шеваляе заметил, что на бумаге, в которую были завернуты волосы, видны строчки, написанные рукой капитана.

Но огонь сделал свое дело.

От прикосновений его рук бумага рассыпалась и превращалась в пепел.

Наконец остался маленький уголок, опаленный, погоревший не до конца.

На этом клочке ему удалось разобрать следующие слова:

*«Я поручил господину Шалье
. вашу дочь в
. его попечение»*

На шевалье как будто снизошло озарение: он вспомнил, что молодой врач, превратившийся с тех пор в доктора Робера, говорил ему, рассказывая о визите капитана на борт «Дофина», о том роковом визите, во время которого Думесниль подхватил желтую лихорадку, что тот приходил поговорить с господином Шалье о ребенке.

Значит, Думесниль что-то знал о судьбе мадам де ля Гравери даже после того, как они покинули Францию? Значит, он поддерживал с ней связь?

Но почему же в таком случае капитан никогда ни слова не говорил об этом своему другу?

Какую роль сыграл Думесниль во всей этой катастрофе, перевернувшей жизнь шевалье?

Воображение бедного Дьедонне принялось за дело, и он начинал придумывать самые разные истории. Роль, которую сыграл его покойный товарищ в разлуке шевалье и его супруги, время от времени рождала некоторые запоздалые подозрения в столь доверчивом уме последнего. Только что увиденное подтвердило эти подозрения и придавало им такое значение, которого они никогда не имели; и Дьедонне не замедлил спросить себя, была ли дружба капитана Думесниля всегда так бескорыстна, как в последние годы жизни.

Шевалье был вынужден признаться сам себе, что недоброе подозрение терзает его сердце.

В этот момент он взглянул на Блэка.

Блэк сидел в изножье кровати; но он смотрел не на больную; напротив, он, казалось, задумчиво, с глубоким вниманием рассматривал шевалье. Его взгляд одновременно выражал и грусть и опасение: шевалье показалось, что он прочитал угрызения совести в том, как животное время от времени опускало свои черные веки, а в его покорном и смиренном поведении мольбу о прощении. В конце концов у него создалось впечатление, что бедное животное чувствует, в какое критическое положение

они попали, и что оно спрашивает себя: «Бог мой, как бедняга Дьедонне переживет это открытие?»

Выражение, написанное на морде Блэка, разрядило обстановку.

Шевалье поднялся с кресла, подошел прямо к собаке, бросился перед ней на колени и, обняв ее руками и без конца целуя, обратился к ней, как будто бы у него перед глазами действительно был бедняга Думесниль:

«Я прощаю тебя, друг! Я прощаю тебя! Я забуду все, за исключением тех семи лет счастья и дружбы, которыми я обязан твоей преданности, заботам, которыми ты меня окружал, и поддержке, которую ты мне оказывал в стольких печальных испытаниях. Ну же, не склоняй так голову, брат; что за черт! Мы все слабые создания и легко уступаем искушению: непобежденными остаются те, кто не встречался с опасностью; и в конце концов простой смертный, каким ты был, не должен стыдиться своего падения там, где даже сами ангелы согрешили бы; если бы только ты мог ответить мне, если бы ты мог мне сказать, моя ли... твоя ли... наша ли... Боже, дочь ли это Матильды или нет?»

Как будто и вправду поняв обращенные к ней слова, собака высвободилась из объятий шевалье, вскочила и от изножья кровати направилась к ее изголовью и там принялась лизать руку больной, которая свешивалась поверх одеяла.

Это странное, случайное совпадение, которое так точно отвечало мыслям шевалье, показалось ему знаком самого Провидения.

«Итак, это правда! — вскричал он со страстным упоением, почти напоминавшим безумие. — Это действительно ты, мой Думесниль! И Тереза — твоя дочь! Будь спокоен, друг, я буду любить это дитя так, как любил ее ты, если бы был жив; я буду ухаживать за ней так, как ты ухаживал за мной; я посвящу всю свою жизнь тому, чтобы сделать ее счастливой, и в твоем нынешнем смиренном положении, мой бедный Блэк... нет, я хочу сказать, мой бедный Думесниль... ты мне поможешь в этом всем, чем можешь. Ты только что оказал мне последнюю услугу, показав, в чем заключается мой долг. Нет, нет, тысячу раз нет, я не могу допустить, чтобы это дитя расплачивалось за чужие ошибки и чтобы на ее голову пала тяжесть сомнения, которое может омрачить мое отцовство. Впрочем, — продолжал шевалье, все более и более возбуждаясь, — что это такое, отцовство? Слово, ко-

торое скрывает под собой такие понятия, как любовь и привязанность. Ты увидишь, Думесниль, до какой степени может дойти та любовь, которую я подарю этому ребенку!»

И, поскольку в этот момент бедная больная малютка почти едва слышно попросила: «Пить!», шевалье бросился к стакану с водой, нагретой сиделкой, и, больше не заботясь о том, носит ли холера-морбус эндемический или инфекционный характер, просунул одну руку под голову больной и приподнял ее, а другой рукой поднес стакан к ее губам. И пока она в некотором смысле пила жизнь из рук шевалье, тот, обняв ее, говорил:

«Пей, Тереза! Пей, моя доченька!.. Пей, драгоценное дитя моего сердца!..»

Глава XXIV,

В КОТОРОЙ ЛУЧ СОЛНЦА ПОКАЗЫВАЕТСЯ СКВОЗЬ ТУЧИ

Шевалье де ля Гравери, несмотря на свое волнение, ни на мгновение не хотел отложить исполнение обещания, данного им душе своего друга в отношении той, которую полагал его дочерью.

Он немедленно заменил Марианну и нанял ту, которая должна была занять ее место, даже предварительно не справившись о ее кулинарных талантах. Он взял ее в дом благодаря простой рекомендации, которая была дана ей как прекрасной сиделке.

Несмотря на эту рекомендацию, которую новая служанка изо всех сил старалась оправдать, шевалье вовсе не находил, что усердие, с каким она заботилась о молодой девушке, соответствовало обстоятельствам: в итоге он сам занялся этими трудными обязанностями и так погружился в них, что восемь или девять дней спустя, когда Тереза стала выходить из состояния оцепенения, в котором она пребывала после ужасного кризиса, шевалье, осмелившийся впервые отойти от постели больной, дабы взглянуть на свой сад, с удивлением, к которому примешивалась горечь, заметил, что позабыл обрезать свои розы, и непомерно вытянувшиеся жировые побеги непременно испортят все цветение.

В течение первых дней или, вернее, первых ночей шевалье с трудом переносил усталость, напряжение ума, ночные бдения, которые были необходимы ввиду состояния несчастной больной; но очень скоро он целиком от-

дался своему труду и открыл в нем ранее не ведомые радости.

Эта борьба со смертью со всеми ее перепетиями, волнением, тревогой, неожиданными радостями, внезапным испугом полностью подчинила это сердце, до сих пор не знавшее столь сильных переживаний; это была дуэль, в которой присутствовал гораздо более сильный мотив, чем в обычном поединке: в обычном поединке сражаются, чтобы убить; шевалье же сражался, чтобы дать жизнь; для него это было не только вопросом чести, но и еще делом сознания и разума.

Когда молодой девушке становилось хуже, шевалье испытывал приступы глухой ярости по отношению к судьбе, и во время этих приступов он чувствовал, как растут его силы и его мужество, он выпрямлялся у изголовья больной, бросая вызов болезни и призывая ее объявиться, чтобы сдаться за горло и задушить; он вопрошал себя, как в его беззаботном детстве и праздной юности ему и в голову не пришло изучить эту науку — спасать людей, чтобы никому не быть обязанным, кроме самого себя и только себя одного, жизнью той, которую он называл своим ребенком.

Затем, когда он засыпал, порой сломленный усталостью и с отчаянием в сердце, с какой же тревогой приближался он утром к изголовью кровати и прислушивался к стесненному дыханию больной! Никогда он не испытывал такого полного удовлетворения, какое пришло к нему, когда он заметил, что пульс молодой девушки, поначалу слабый и неровный, становится спокойнее и сильнее, что из ее глаз исчезает застывшая стеклянная пелена, делавшая тусклыми их блеск; что ее бледно-свинцовые губы вновь приобретают свой розовый оттенок; и тогда с великой радостью триумфатора и с самой неподдельной искренностью он задавал себе вопрос, как могут существовать люди, предпочитающие мелочные мимолетные наслаждения эгоизма пылким, несказанным радостям, которые дарят ликующие душа и сердце.

Он забывал, задавая себе этот вопрос, что в течение пятнадцати лет поклонялся эгоизму, превратив его в религию, которую теперь предавал анафеме.

Все те долгие дни, что шевалье де ля Гравери провел у постели Терезы, не отвлекаясь от своих мыслей ни на что другое, кроме забот о больной, он часами размышлял о своем положении и о положении молодой девушки.

Леность его ума, боязнь каких-либо неприятностей

были так сильны, что в течение пятнадцати лет он ни разу не дал себе труда задуматься об этом.

Он хорошо помнил, что вручил брату доверенность, которую тот требовал, чтобы вести дело о разводе шеваляе и его супруги; но это ни малейшим образом не могло ему объяснить, как Матильда решилась покинуть своего ребенка.

Со времени своих супружеских неудач шеваляе, не в силах забыть, какую злую и язвительную роль сыграл в них его брат, всегда испытывал сильнейшее отвращение при мысли о встрече с ним; и после своего возвращения во Францию он лишь изредка и при случае получал известия о нем и поэтому не решался обратиться к брату за разъяснениями о том, какова была судьба мадам де ля Гравери после его отъезда.

Тереза выздоравливала очень медленно; после ужасного потрясения, которое холера вызывает в организме человека, либо его здоровье восстанавливается очень быстро, настолько, что происходит мгновенный возврат от болезни к здоровому состоянию, подобно тому, как ранее столь же внезапным был переход от здоровья к болезни; либо выздоровление затягивается, и тогда опасения за жизнь больного не исчезают ни на минуту. Таков был случай молодой девушки.

Ее беременность осложняла положение, она все время была столь вялой и апатичной, что врач ежедневно советовал добряку шеваляе не причинять ей ни малейшего волнения ни при каких обстоятельствах, будучи уверен, что это волнение могло бы иметь для Терезы самые тяжелые последствия.

Однако Дьедонне не терпелось расспросить Терезу: раз двадцать он начинал фразу, которая должна была бы вызвать ее на откровенность, и все двадцать раз оставался, что-то бормоча.

Наконец, однажды молодая девушка с чужой помощью смогла встать с постели; она сидела у окна в огромном кресле шеваляе и с тем наслаждением, которое свойственно всем больным, впитывала горячее и пронизывающее тепло солнечных лучей, падавших на нее, а легкий ветерок, весь пропитанный благоуханием роз в саду, ласково играл с несколькими прядями ее золотистых волос, выбившихся из-под маленького чепчика.

Время от времени она поворачивалась, чтобы взглянуть на де ля Гравери, который, стоя позади нее, опершись двумя руками на спинку кресла, с любовью разгля-

дывал ее; она же, в свою очередь, пожимала ему руку и целовала ее с восторженным чувством детской признательности; затем она вновь погрузилась в глубокую и мечтательную задумчивость, ее взор блуждал по саду, в котором в эту пору весь розарий был усеян тысячами цветов различных оттенков.

Шевалье склонился к девушке.

— О чем вы думаете, Тереза?

— Мой ответ покажется вам довольно глупым, сударь, но я не думаю ни о чем, и, однако, мне доставляет удовольствие эта созерцательная мечтательность. Спросите меня, что я вижу, когда смотрю на небо, и я вам отвечу то же самое; я не вижу ничего, и, однако, мой взор будет сосредоточен на том, что является самым величественным, самым прекрасным и самым непостижимым на свете; нет, я испытываю неопишное блаженство, мне мнится, что я перенеслась в иной мир, чем тот, в котором жила до сих пор и в котором так много страдала. Там, куда я переносюсь, все такое возвышенное, такое доброе и такое прекрасное!

— Дорогое дитя,— пролепетал шевалье, вытирая слезу, блестящую в уголке его глаза.

— Увы! — поворачиваясь к шевалье с глубокой грустью продолжала Тереза, не видевшая этой слезы.— Почему вы меня разбудили? Это счастье, как любые другие радости и наслаждения этого мира, всего лишь греза; но эта греза так сладка, а пробуждение так печально!

— Вас кто-то или что-то обидело, дитя мое? Находите ли вы недостаточным те заботы, которыми окружают вас в этом доме? Говорите же! Вы должны были, однако, заметить, что желание видеть вас счастливой стало единственной моей целью в жизни.

— Значит, вы меня любите? — спросила девушка с очаровательной наивностью.

— Если бы вы не внушали мне искреннюю и глубокую привязанность, разве стал бы я для вас тем, кем я стал, или, вернее, тем, кем стараюсь стать, Тереза?

— Но как и за что вы меня любите?

Шевалье некоторое время помедлил с ответом.

— Вы напоминаете мне мою дочь.

— Вашу дочь? — переспросила Тереза.— Вы ее потеряли, сударь? О! Мне вас жаль; я чувствую, что если Господь отымет у меня дитя, которое он вложил в мое чрево, чтобы утешить меня в моих несчастьях, то ничто более не удержит меня в этом мире; ведь я смирилась

с необходимостью остаться здесь, лишь мечтая о той нежности и любви, которой одарит меня это драгоценное крошечное существо.

Молодая девушка впервые заговорила о своем положении, и она делала это с такой легкостью и непринужденностью, которая, не имея ничего общего с бесстыдством, все же показалась странной господину де ля Гравери. Он счел нужным сменить тему разговора и подумал, что наступил благоприятный момент расспросить Терезу о ее прошлом.

— Так, значит, вы много страдали, бедняжка?

— О! Да! Я была очень несчастна, так несчастна, что часто спрашивала себя, неужели у бедных Бог тот же, что и у богатых. Я еще очень молода, не правда ли? Мне ведь даже не исполнилось еще и девятнадцати лет; но, увы, мне кажется, что нет такого несчастья, неисполненного им на землю, которого бы я не познала.

— Но ваша семья?

— Моя семья, по крайней мере та, которую я знала, состояла из бедной старой женщины, которая не могла чувствовать боль так, как чувствовала ее я, но которая страдала вместе со мной; впрочем, когда я закрываю глаза и начинаю рыться в глубинах своей памяти, я вижу очень далеко, как будто во сне, мое первое детство, которое ничем не походит на второе, то есть на то, которое было бы моим, если бы я была родной дочерью мамашаи Денье. О! Она тоже до конца испила чашу страданий, выпавших на ее долю!

— Это была... ваша мать? — с волнением спросил шевалье.

— Она звала меня своей дочерью; но теперь, когда я повзрослела, я не думаю, что она могла быть моей матерью: она была слишком стара для этого.

— А что вам говорят об этом детстве ваши воспоминания? — заинтересованно спросил шевалье.— О! Скажите, Тереза, скажите! Вы не способны представить, вы не можете понять, как я дорожу вашим рассказом. Ведь я сомневаюсь, дитя мое, что вы питаете ко мне достаточно доверия, чтобы поделиться всем, что знаете о себе.

— Увы, сударь! У меня нет иного желания, как рассказать вам все; но я почти ничего не помню; единственное, в чем я твердо уверена, что не всегда носила лохмотья, с которыми не расставалась всю свою юность. Особенно мне запомнилось, что когда я проходила мимо Тюильри, то моей бедной приемной матери всегда при-

ходило меня утешать. Я заливалась слезами, умоляя ее позволить мне пойти поиграть под каштанами в серсо или в веревочку, как в пору моего первого детства.

— И ни один образ из вашего первого детства не запечатлелся в вашей памяти?

— Ни один! Я не помню ни когда, ни как вместо благополучия и достатка очутилась в бедной лачуге мамыши Денье, где прожила десять горьких лет. Ну, что вы, сударь! Эта бедная женщина была добра ко мне; она любила меня настолько, насколько могут любить бедные; ведь что бы там ни говорили, а нищета сильно иссушает сердце, и когда нет хлеба, когда день и ночь голод стучится в вашу дверь, когда, оглянувшись вокруг себя, видишь, что нет ни средств к существованию, ни надежд; когда Господь Бог так жесток к своим детям, очень трудно быть снисходительным и добрым к другим! И в те моменты, когда наши дела шли из рук вон плохо, и мы были вынуждены идти просить милостыню у дверей какого-нибудь трактира у заставы Вожираар, а мне не удавалось вызвать к себе жалость, матушка Денье порой задавала мне трепку; но это длилось недолго, ее гнев стихал при виде моих первых слез: она просила у меня прощения и обнимала меня; тогда мы плакали вместе и на несколько мгновений забывали о наших бедах.

— А как же вы покинули вашу приемную мать, дорогое дитя?

— Увы, сударь, это не я покинула ее, это она ушла в тот мир, который лучше нашего. В последние дни ее болезни мне исполнилось пятнадцать лет; она так настойчиво призывала меня к стойкости, добродетели и смирению, что, проводив ее в последний путь, видя, как ее опускают в общую могилу, где она будет лежать вместе со своими товарищами по жизненным невзгодам, обратившись к нашему милостивому Господу с горячей молитвой, я поднялась с колен, чувствуя, что стала сильнее и лучше, чем когда бы то ни было; несмотря на свой юный возраст, я уже предвидела опасности, поджидавшие меня в моем одиночестве; не находя в себе сил и не желая отмахнуться от них или бросить им вызов, я решила бежать от них. Я обратилась к монахиням, которые отдали меня обучаться ремеслу; к несчастью, через короткое время я стала очень ловкой мастерицей.

— Но что же в этом плохого, моя дорогая?

Тереза закрыла лицо ладонями.

— Ну, что ты, что ты! Продолжай! — произнес ше-

валье самым ободряющим тоном, на который был способен.

— Да, я должна рассказать все,— ответила молодая девушка,— и вы такой добрый, такой сострадательный, вы простите бедной сироте ее грех от своего имени и от имени света. Вы говорите, что хотите стать мне отцом, тогда вы обязаны знать всю правду. Это поможет вам ближе познакомиться с вашей приемной дочерью, и еще мне кажется, что, когда я вам расскажу все, когда вы узнаете, что может извинить мою ошибку, я буду свободнее чувствовать себя с вами.

— Говорите же, дитя мое, и рассчитывайте на мою снисходительность, она будет заодно с моей нежностью и избавит вас от всего тягостного и мучительного, что могло бы содержать ваше признание.

— О! Да, да! Будьте уверены, вы узнаете обо всем,— отвечала Тереза, протягивая шевалье руку, которую тот отечески сжал в своих ладонях.

— В семнадцать лет, как я вам только что говорила, я стала самой ловкой мастерицей нашей мастерской, и меня определили к одной из самых искусных белошвейк на улице Сент-Оноре.

Однажды у мадам Дюбуа, так звали хозяйку, у которой я работала, появился молодой человек в сопровождении своего отца, чтобы заказать различные предметы для свадебного подарка, который он собирался преподнести своей невесте; я не смогу вам описать, как выглядел отец, мои глаза видели только молодого человека. На первый взгляд в его внешности не было ничего особо выдающегося. Почему же я не могла отвести от него взор? Этого я никогда не смогу объяснить, если только не считать все случившееся вмешательством самой судьбы; впрочем, мне показалось, что он также подолгу смотрел на меня, и весь остаток дня и часть ночи, проведенную без сна, я не находила себе места от волнения.

На следующий день он вернулся, якобы желая дополнить отданные накануне указания, и мне показалось, что он смотрел на меня с гораздо большей настойчивостью, чем в первый раз. Но в этот второй день я вся дрожала и едва осмеливалась поднять на него глаза; в тот момент, когда его рука легла на ручку двери, ведущей в ту комнату, где была я, у меня похолодело сердце, хотя я его еще не видела, и ничто не могло мне подсказать, что это был он.

Затем, когда он вошел, и я его увидела, напротив, что-то подобное пламени пробежало по моим жилам и заставило вздыматься мою грудь весь остаток дня; на завтра он вернулся опять, затем послезавтра; он был так нежен, так добр, так сердечен и ласков, что смутное и неопределенное чувство, которое с первого же дня связало меня с ним, не замедлило принять более определенный характер. Я поняла, что я его люблю, и моя привязанность к нему была такой сильной, что я ни на минуту не задумывалась о том, что через несколько дней он отдаст свое имя и свою руку другой, той, которой уже, возможно, принадлежало его сердце.

Но, однако, мне хотелось увидеть эту женщину. Когда хозяйка нашего заведения отсутствовала, тогда вместо нее руководить мастерской оставалась я; однажды, когда она поехала за покупками, я бросила в коробку несколько отрезков, вышла и пошла в направлении особняка, где, как мне известно было, проживала невеста того, кого я так безумно любила.

Я спросила мадемуазель Адель де Клермон.

Эна носила это имя.

Мне пришлось долго ждать.

Каждый звонок колокольчика, доносившийся снаружи, отдавался у меня в сердце; мне все время казалось, что это был он.

Наконец, меня провели к молодой девушке.

Ей было около двадцати четырех — двадцати пяти лет, она была высока ростом, с черными волосами, худощава; у нее был повелительный вид и злое выражение лица. Мое сердце забилося от радости. Анри — а его звали Анри — не мог любить такую женщину.

Я объяснила свое появление необходимостью снять некоторые мерки; проделав эту работу, я вышла, испытывая глубокое волнение.

Я была уже на последних ступенях лестницы, когда моя рука, скользившая по перилам, встретила другую руку.

Я подняла голову и узнала Анри.

Его озабоченность, по всей видимости, равнялась моей; ни он, ни я не заметили вовремя друг друга

Он заговорил первым.

— Вы здесь, мадемуазель? — вскричал он.

— О! Простите меня! Простите! Но я хотела ее видеть.

Пронзая эти слова, я упала в его объятия. Он прижал меня к груди, его губы встретились с моими, и в том

безумии, которое овладело мною, мне показалось, что эти объятия, скрепленные поцелуем, соединили нас неразрывной связью.

На следующий день мы гуляли вместе по Булонскому лесу; он мне сказал, что любит меня, я ему отвечала, что люблю его. Две недели эти прогулки повторялись каждый вечер. Это была самая счастливая пора в моей жизни; бедная сирота, которой никто не мог подсказать, хорошо или плохо она поступает, я открывала свое сердце настоящему и закрывала свои глаза перед будущим; целиком во власти своей любви к нему, я не спрашивала о его намерениях. Я жила одним днем, довольствуясь счастьем его видеть, пьянея от удовольствия его слышать, и ни на минуту не задумываясь о том, что это счастье может когда-нибудь кончиться.

Но однажды он не пришел на свидание.

Я вернулась к себе, почти сходя с ума от беспокойства; там я нашла письмо от Анри. В этом письме он прощался со мной.

Он мне писал, что в тот момент, когда он хотел порвать с невестой, силы изменили ему; что мысль о бесчестии, которое нанесет молодой девушке скандал, вызванный расторжением помолвки непосредственно накануне свадьбы, возобладала над его любовью; что он не может решиться на бесчестный поступок и запятнать себя; что он будет несчастен всю свою жизнь от мысли, что я могла бы ему принадлежать, и что он умоляет меня забыть его, чтобы не терзаться при мысли, что сделал несчастным не только себя, но и меня.

Увы! Я не могла этого сделать.

Я спросила, кто принес это письмо. Мне ответили, что это был молодой человек лет двадцати пяти, одетый в военную форму и так похожий на Анри, что сначала подумали, будто это он сам и есть.

Появление этого молодого офицера придавало странную таинственность этому событию.

Но это письмо, именно оно было подлинной реальностью, это письмо, которое я держала в руке, которое уже прочла и перечла вновь и которое действительно было написано его рукой.

Это письмо было моим приговором: и было безразлично, кто его принес!

С той минуты, как я прочла это роковое письмо, мир опустел для меня; мне чудилось, что я подобно тени прокожу по огромному кладбищу, сплошь усеянному могилами.

В каждой из этих могил покоилось какое-нибудь воспоминание о нем: я останавливалась у каждой и оплакивала их.

Это было, как во сне.

Когда эти видения прекратились и я пришла в себя, уже наступил день, и он принес мне новую боль; я спрашивала себя, почему солнце все еще освещает землю, если Анри меня больше не любит; как мужчины и женщины могут продолжать жить, петь, заниматься какими-то суетными делами, когда мое сердце так безутешно!

Я решила бежать, скрыться от этого шума, этой суеты, этой парижской жизни, которая разбивала мне сердце.

Я вышла, как безумная, не задумываясь, куда иду.

Я шла туда, где бывала с ним.

Машиналино, инстинктивно, ничего не видя вокруг себя, не ощущая, как на меня натываются прохожие, я направилась в сторону Булонского леса, куда он приводил меня каждый вечер в течение двух недель.

Я пробыла там очень долго, всякий раз останавливаясь во всех тех местах, где я останавливалась вместе с ним; мне казалось, что ветерок, играя с листвой, заставляет ее повторять те слова любви, которым я внимала когда-то с таким счастьем и наслаждением; я внезапно вздрагивала, когда, казалось, слышала его голос, вовущий меня; я останавливалась, думая, что узнаю следы его шагов на песке; я узнавала его в каждом прохожем, пока тот был еще достаточно далеко, чтобы можно было различить черты его лица.

Так я ходила большую часть дня.

Хотя я ничего не ела со вчерашнего дня, я даже не вспоминала о еде, лихорадочное возбуждение придавало мне силы.

Понемногу отчаяние взяло верх над этим миражом, который был, если можно так выразиться, всего лишь последним глотком надежды; я стала меньше думать о нем и больше о себе; я представила то одиночество, в котором он меня оставил, подобно тому, как затерянный в пустыне путешественник измеряет взглядом недостижимый горизонт. Я не надеялась, что что-нибудь поможет мне выбраться из пропасти, утешить меня, вернуть надежду, жизнь и счастье; сломленная горем, усталостью, бессонницей, я упала на траву у подножия дерева в укромном месте и лишилась сознания.

Когда я пришла в себя, то была уже не одна; рядом

со мной сидела черная собака и, казалось, с нежностью смотрела на меня.

Я несколько раз слышала, как вдалеке кто-то звал Блэка; но собака помотала головой, как бы говоря: «Вы можете меня звать сколько угодно, но я не пойду».

Что касается меня, то у меня не было сил ни прогнать ее, ни задержать. Я отрешенно смотрела на нее, так как сознание еще не полностью вернулось ко мне; потом я испугалась и попыталась рукой отогнать ее от себя, но она так ласково принялась лизать мою руку, что я поняла: она не желала причинить мне зла.

Я поднялась, она последовала за мной.

Память возвращалась ко мне, и я начала забывать о настоящем, чтобы вернуться в прошлое.

— Анри! Анри! Анри!

Я повторяла это имя, и с каждым разом мое несчастье еще зримее и мучительнее представало передо мной.

Я спрашивала себя, могла ли я, сирота, не имеющая ни отца, ни матери, молодая девушка без всякой поддержки, возлюбленная без любовника, могла ли я продолжать жить дальше, когда моя жизнь, казалось, заключалась в потребности любить и быть любимой.

Мое сердце ответило мне «нет».

Тогда я с завистью принялась мечтать об этом другом мире, душою, разумом, сутью которого является всеобщая любовь.

В этом лучшем мире Господь, вложивший в мою душу несказанную любовь к нему, конечно же, не откажет мне и соединит меня с ним.

Я решила уйти в это царство отлетевших душ, чтобы быть первой, кого он встретит, войдя туда.

Я осмотрелась.

Я находилась где-то недалеко от Нейи; в сумерках я заметила черные силуэты громадных тополей, росших вдоль берегов Сены; река, то есть смерть, была всего в двух шагах; значит, Господь Бог меня услышал.

Я направилась в ту сторону с таким же ясным и твердым намерением, как будто уже давно задумала это сделать.

Собака последовала за мной, но я даже не обратила на это внимания.

Я почти перестала различать окружающие меня предметы; не знаю, как и какими их видели мои глаза, но мое сердце воспринимало их всего лишь как некие видения.

Я внезапно остановилась; река была передо мной, ее темные воды несло быстрое течение.

Я так твердо решила расстаться с жизнью, что в тот же миг бросилась бы в воду, если бы вдруг мне не пришла мысль о Боге, перед которым я должна была в скором времени предстать.

Я упала на колени на берегу реки; моя грудь раскрылась, чтобы мое сердце и мои мысли могли устремиться прямо к Богу.

Я говорила ему, что если каждый человек, как Божье создание, должен нести свой крест, то тот, который он уготовил мне, слишком тяжел для моих слабых плеч и, падая в изнеможении под его тяжестью, я не в состоянии нести его дальше; я молила его облегчить мне последний путь, ведущий от жизни к смерти, принять меня в свои объятия, а главное, сохранить в сердце моего Апри то семя любви, которое могло бы снова пышно расцвести на небесах.

Когда я поднялась, то мною овладело такое спокойствие, как будто сам Господь благословил меня; затем, сделав шаг вперед и закрыв глаза, я бросилась в реку...

Меня внезапно подхватило, обволокло и как будто закутало во влажный саван...

Но среди мрачного гула воды, пенявшейся около моих ушей, мне послышалось, как поверх моей головы в воду увало еще одно тело.

Почти тут же я почувствовала, как меня сильно схватили за платье и потащили. Меня охватил страх, хотя мое решение было твердым и неизменным, страх перед смертью!

Я открыла в воде глаза; сине-зеленые глубины реки меня ужаснули.

Почувствовав, что меня кто-то схватил, я подумала, что это Смерть своей холодной рукой увлекает меня в пропасть...

Я открыла рот, собираясь закричать; он тут же наполнился водой; вокруг меня вспыхивали и гасли голубоватые искры, я потеряла сознание.

Затем, возможно, спустя много времени, я услышала рядом с собой голоса людей; все еще целиком находясь во власти своей мысли о смерти, я вообразила, что умерла и нахожусь в том другом, столь желанном мне мире.

Наконец, приходя понемногу в себя, я сделала невероятное усилие и открыла глаза.

Я находилась в комнате с низким потолком в одном

из тех домишек, что располагаются по берегам Сены. Я лежала на матрасе, положенном на стол.

Мне казалось, что я все еще сплю.

Но перед камином, освещавшим комнату, я заметила лжащую черную собаку, вылизывавшую языком свою мокрую шерсть. Я поняла, что меня спасли.

Затем я вспомнила понемногу — одно за другим — все, что со мной случилось.

И совсем тихо прошептала имя, оставшееся в моей памяти.

Это было имя собаки — Блэк.

Услышал ли меня Блэк? Узнал ли он меня? Однако дело обстояло так, что он поднялся и подошел ко мне.

Я ощутила прикосновение его горячего языка на своей ледяной руке.

Я пошевелилась и вздохнула.

Все находившиеся в комнате столпились около меня.

Меня заставили выпить несколько глотков теплого вина и подложили под спину подушки, сваленные в кучу позади меня.

Затем все разом заговорили, перебивая друг друга, и я узнала, что же произошло.

Встревоженные лаем собаки и шумом от падения в воду двух тел, обитатели этого домика выбежали на берег; они увидели в воде черную собаку, которая удерживала меня на поверхности реки, но, будучи не в силах вытащить меня на берег, она плыла по течению.

Поскольку я была всего в нескольких шагах от берега, речник бросился в воду и вытащил меня на берег. Все остальное и так было понятно.

В этот момент вошел служащий магистрата, комиссар полиции или мировой судья — не могу сказать, кто это был, — его предупредили о происшествии, и он пришел засвидетельствовать случившееся.

Найдя меня живой, он сделал мне отеческое внушение и потребовал дать ему клятву, что я больше не буду покушаться на свою жизнь.

Меня положили в нагретую постель, и я лишь на следующий день покинула дом этих добрых людей.

Я достала из кармана ту небольшую сумму денег, которая у меня была, чтобы заплатить, нет, не за оказанную мне помощь, но за те расходы, причиной которых я была.

При первом моем движении хозяин положил свою ладонь мне на руку, останавливая меня.

Я взяла его руку, пожала ее и поцеловала хозяйку. Затем я села в фиакр, который наняли в Нейи, заботливо усадила рядом с собой моего спасителя Блэка и вернулась в Париж.

Но мои постоянные отлучки в течение двух недель и то, что я не вышла на работу накануне, вызвали недовольство мадам Дюбуа, и она объявила мне, что я ей больше не нужна.

Я решила покинуть Париж. Париж мне стал невыносим.

Работая у мадам Дюбуа, я подружилась с мадемуазель Франкотт, уроженкой Шартра; она мне часто говорила, что если я решусь переехать в провинцию, то могу рассчитывать на ее помощь. Я села в дилижанс, идущий в Шартр, взяв с собой Блэка, и приехала к мадемуазель Франкотт, которая мне тут же дала место в своем магазине...

— Но Анри, Анри,— вскричал шевалье,— вы не получили от него известий? Ведь он оставил вас в тот самый момент, когда вы готовились стать матерью? О! Негодяй!

— Анри?.. О! Нет, сударь, он слишком меня любил, чтобы не уважать меня; я осталась непорочной после стольких любовных излияний, а уверяю вас, я бы ни в чем ему не отказала, ведь я так его любила! Но он ни разу не позволил себе пойти дальше тех невинных ласк, которыми я с такой радостью одаривала его.

— Но как же тогда,— спросил крайне удивленный шевалье,— как вы смогли его так быстро забыть, если в вашем сердце жила подобная любовь?

— Увы! Сударь,— ответила Тереза, качая головой,— меня погубила именно эта бесконечная любовь к нему; и вам известна всего лишь половина моих страданий.

— Расскажите мне все до конца, если вы все еще чувствуете в себе достаточно сил, чтобы продолжить эту печальную исповедь.

— Через несколько дней после моего приезда в Шартр,— продолжала Тереза,— я понесла в город картонную коробку; я шла, низко опустив голову, и наткнулась на двух офицеров, которые шутки ради взяли за руки и перегородили таким образом улицу; я подняла голову и, вскинув глаза на одного из военных, воскликнула: «Анри!»

Я прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Видя, как я сильно побледнела и близка к обмороку, оба молодых человека принесли мне свои извинения.

И тот, от которого я никак не могла оторвать свой взгляд, сказал, что он и не предполагал, что невинная шутка может иметь такие последствия.

Но все больше и больше подпадая под власть этого видения, я повторяла и повторяла дрожащими губами:

— Анри! Анри! Анри!

— Мадемуазель,— улыбаясь, сказал мне, наконец, офицер,— я очень сожалею, что меня зовут не Анри, потому что это имя воскрешает в вас столько нежных воспоминаний; но Анри — это имя моего брата, а меня зовут Гратьен. Я буду счастлив, если мое имя тоже останется в вашей памяти.

— Если вы не Анри, тогда, ради Бога, дайте мне пройти, сударь.

Блэк глухо рычал и угрожал броситься на офицеров.

— Мадемуазель,— сказал назвавшийся Гратьеном,— у нас никогда не было намерения задерживать вас.

— Мы всего лишь увидели идущую нам навстречу молодую девушку с низко опущенной головой; мы, Гратьен и я, сказали себе: «У такой красотишки должны быть чудные глазки»; тогда мы встали у вас на пути, чтобы заставить поднять глаза; вы их подняли, и мы полностью удовлетворены, мадемуазель; они еще прекраснее, чем мы предполагали.

Произнося это, молодой офицер с таким дерзким видом подкручивал свои усы, что я была испугана.

— Господа,— вскричала я,— господа!

К нам подошло несколько человек, привлеченные, несомненно, нотками страха, слышавшимися в моем голосе.

— Что вы сделали этому ребенку? — спросил пожилой усатый господин.

— Но ничего, абсолютно ничего,— посмеиваясь, ответил друг господина Гратьена,— несколько комплиментов, вот и все.

— В мое время, господа, когда я имел честь носить форму, мы делали молодым девушкам лишь такие комплименты, которые они могли выслушивать, не бледнеть и не зовя на помощь.

Затем, повернувшись ко мне, он сказал:

— Дайте мне вашу руку, дитя, и идемте.

Я была так взволнована, так ошеломлена всем, что случилось со мной, что подала пожилому господину руку и так быстро, как мне это позволяла слабость в ногах, стала удаляться от офицеров.

Через пятьдесят шагов старик спросил меня:

— Вы еще нуждаетесь в моих услугах, мадемуазель, и полагаете ли вы, что моя защита вам еще может понадобиться?

— Нет, сударь,— ответила я,— я благодарю вас от всего сердца.

А затем, как будто он был в курсе того, что происходило в моем сердце, я добавила:

— О! Он так похож на Анри.

И вторично поблагодарив его, я удалилась.

Пожилой господин удивленно проводил меня глазами; конечно, я должна была показаться ему сумасшедшей!..

Глава XXV

СЮРПРИЗ

— Вернувшись в магазин мадемуазель Франкотт,— продолжала Тереза,— я под предлогом ужасной головной боли попросила разрешения на некоторое время укрыться в задних комнатах лавочки.

Мне нужно было привести в порядок свои мысли.

Я была так бледна, что никто ни на минуту не усомнился в моем нездоровье. Мадемуазель Франкотт лично хотела за мной ухаживать; но я попросила ее дать мне стакан воды и оставить меня одну.

Оставшись одна, я стала размышлять.

Я вспомнила о том письме, принесенном в магазин мадам Дюбуа в мое отсутствие молодым офицером, который так был похож на господина Анри, что его и приняли поначалу за него.

Я вспомнила восклицание молодого офицера:

«Это не меня, а моего брата зовут Анри».

К тому же я вспомнила, как Анри два или три раза говорил мне о своем брате-близнеце, который походил на него, как две капли воды; до такой степени, что в детстве родители, чтобы различить двоих детей, были вынуждены одевать их в одежду разного цвета.

Все прояснилось. Гратьен приезжал на свадьбу Анри, и Анри поручил Гратьену, своему лучшему другу, отнести в магазин письмо, едва не ставшее причиной моей смерти.

После свадебных торжеств Гратьен вновь вернулся в свой полк, стоявший в Шартре. Его-то я и встретила

накануне, а полагала, что встретила Анри; что могло быть проще.

Однако в том состоянии души и ума, в котором я находилась, для меня все представляло угрозу.

В этот момент я услышала, как хлопнула входная дверь, и через перегородку из двойного стекла, отделявшую меня от магазина, я увидела вошедшего молодого офицера и узнала в нем Гратьена.

Он зашел купить перчатки.

Без сомнения, заинтригованный необычным приключением, он проследил за мной или же разузнал, где я работаю, и покупка перчаток была всего лишь предлогом, чтобы узнать, кто я такая.

Вся дрожа, я оперлась о комод, чей холодный мрамор остудил мои пылающие руки. Под различными предложениями он провел в магазине около четверти часа и ушел, оглядевшись вокруг себя с видом человека, обманутого в своих ожиданиях.

Это посещение магазина несколько не удивило мадемуазель Франкотт. Нас было там четверо или пятеро молодых девушек; самой старшей еще не исполнилось и двадцати лет, и эти господа из гарнизона под предлогом заказать себе новые рубашки или купить перчатки наносили частые визиты в магазин. Мадемуазель Франкотт извлекала из этого свою выгоду и советовала нам две вещи: привлекательное выражение лица и нежные улыбки в магазине и строгое поведение во всех других местах.

Теперь, когда мне все стало ясно, мне больше незачем было находиться в задних комнатах лавочки; я вернулась в магазин и заняла свое обычное место за кассой.

Девушки разговаривали о красивом офицере, который только что вышел. Его впервые видели у мадемуазель Франкотт, и вы можете себе вообразить, что эти четыре языка в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет могли сказать о красивом двадцатипятилетнем офицере.

Все очень жалели, что меня не было, когда он пришел.

Но, конечно же, мы его снова увидим: он провел здесь четверть часа, и, оставаясь здесь четверть часа, он, вне всякого сомнения, имел определенное намерение.

Я слушала эти пересуды, закрыв глаза и не вымолвив ни слова, я одна могла бы пролить свет на это событие и разрешить спор, но я была далека от этого.

На следующий день мне надо было выйти в город.

Вся дрожа, я ступила за порог магазина. Я боялась встретить господина Гратьена, но в то же время я умираю от желанья увидеть его: ведь только с ним я могла бы говорить об Анри, а мое бедное сердце истосковалось по этой радости.

Впрочем, я едва сделала сто шагов, как встретила молодого человека.

Я остановилась как вкопанная.

Он приблизился ко мне.

— Мадемуазель,— сказал он,— соблаговолите приять мои извинения за тот страх, что мы причинили вам, я и мой товарищ. Я не стал дожидаться сегодняшнего дня, чтобы извиниться перед вами, и, узнав, в каком магазине вы работаете, поспешил появиться там. Но вас не было видно; не зная вашего имени и опасаясь допустить какую-либо бестактность, я не осмелился спросить о вас. Я благодарен случаю, сделавшему так, что я встретил вас сегодня, и таким образом позволившему мне высказать вам, какое сожаление я испытываю, видя то ужасное впечатление, которое производит на вас мое присутствие.

— Сударь, вы ошибаетесь,— ответила я.— И это впечатление, истинная причина которого вам неизвестна, имеет своим источником не отвращение, а совсем иное чувство.

— Как?! Мадемуазель, неужели я мог бы быть так счастлив?..

Я, в свою очередь, перебила его.

— Сударь, нам необходимо объясниться. Я не стремлюсь к этому, но и не стану уклоняться. Вы действительно господин Гратьен д'Эльбэн, не правда ли?

— Откуда вам известна моя фамилия?

— Брат господина Анри д'Эльбэна? — продолжала я.

— Без сомнения.

— Вы приезжали в Париж на свадьбу вашего брата с мадемуазель Адель Клермон, не так ли?

— Да.

— И он поручил вам отнести письмо одной молодой девушке, которую он любил...

— Которую он все еще любит и которую будет любить всегда.

— О! — вскричала я, взяв его за руки и разразившись рыданиями.— Вы мне говорите правду?

— Бог мой! Неужели вы Тереза?

— Увы, сударь...

— Бедное дитя, которое хотело утопиться.

— Откуда вы это знаете?

— От него. Он узнал обо всем; он был у мадам Дюбуа, но вы уже уехали, и никто не смог ему сказать ни куда вы отправились, ни что с вами стало. О! Как он будет счастлив узнать, что вы продолжаете жить и не проклинаете его!

— Я слишком его люблю, чтобы когда-нибудь проклясть,— прошептала я.

— Вы мне позволите заверить его в этом?

— Анри знает мое сердце и, надеюсь, не нуждается в подобном заверении.

— Все равно! Завтра он будет знать, что вы здесь и что я имею счастье видеть вас.

Я вздохнула, вытирая слезы.

— Но мне недостаточно просто увидеть вас, мне необходимо видеться с вами постоянно. Вы его любите?

— Да, всей душой.

— Отлично, мы будем говорить о нем.

— Теперь мне больше непозволительно говорить о нем, так же как не позволительно любить его.

— Всегда позволительно любить брата и говорить о брате; мы будем говорить о нем как о брате.

— О! Не искушайте меня, я и так уже слишком к этому предрасположена! Боже мой! Позвольте мне, нет, не забыть, это невозможно, но позвольте мне молчать.

— Единственное утешение, которое остается в испортивном несчастье,— это плакать и жаловаться. Излейте мне ваши жалобы, поплачьте у меня на груди; я вам расскажу, как сильно он вас любит, сколько он сражался, боролся, страдал, а главное, я вам расскажу, как он вас до сих пор любит...

— О! Замолчите, замолчите! — сказала я ему, зажимая руками уши, чтобы не слышать.

— Да, вы правы, не здесь, посреди этой улицы, мы должны воскрешать подобные воспоминания; я буду иметь честь нанести вам визит и надеюсь, вы не откажетесь меня принять.

Он попрощался со мной и удалился, прежде чем я смогла ему ответить.

Я вернулась к мадемуазель Франконт, сильно обеспокоенная этой встречей; я сама была испугана тем восторженным желанием, которое я испытывала,— вновь увидеть Гратьена, чтобы говорить с ним об Анри. Однако я сознавала необходимость бежать от этого непреодолимого

искушения. И я попросила мадемуазель Франкотт, если это возможно, поселить меня у нее в доме, предложив вычитать из моего заработка за это жильё. К несчастью, весь дом был занят, и мадемуазель Франкотт не могла выполнить мою просьбу.

Я занимала на улице Гран-Серф маленькую комнатку на третьем этаже, куда и приходила каждый вечер около девяти часов, то есть сразу же после закрытия магазина.

По воскресеньям после двенадцати я была свободна.

Я ничего не знаю о том, как Гратьену удалось узнать мой адрес, но в тот же вечер, возвращаясь домой, я нашла его стоящим на улице у двери дома, в котором жила.

Я рассказываю вам все, сударь; вы слушаете мою исповедь; поэтому вы должны знать не только мои поступки, но и мои чувства, даже мои мысли. Итак, узнав Гратьена, я испытала скорее нечто вроде радости, чем чувства страха.

Да, это правда, я сделала движение, собираясь броситься к нему.

Он заметил это и после, конечно же, понял, какую власть может иметь надо мной.

Все же он произнес вначале несколько слов, которые отняли бы у меня всю мою решимость в том случае, если бы у меня были бы силы оттолкнуть его.

— Расставшись сегодня с вами,— сказал он мне,— я написал Анри; я ему сообщил, что видел вас, что вы его по-прежнему любите. Я получу его ответ послезавтра.

— А! Сударь,— ответила я ему, не имея сил устоять перед его словами,— что вы хотите от меня, пробуждая подобные воспоминания и воскрешая такую любовь? Вы меня погубите.

И, опершись об угол двери, я заплакала.

— Мадемуазель,— сказал он,— я не буду сегодня слишком настойчив; ваше нынешнее состояние обязывает меня проявить деликатность; но послезавтра, в воскресенье, как только магазин мадемуазель Франкотт закроется, я вновь буду иметь честь быть у вас.

— О! Сударь! — закричала я. — Что скажут, увидев, как вы приходите ко мне? Это невозможно, невозможно!

— Успокойтесь, мадемуазель, случай распорядился так, что наш командир эскадрона живет в том же доме, что и вы. Почти каждый день мои обязанности призывают меня к нему, а помимо таковых, это еще делает и

наша дружба; он проживает на втором этаже, вы на третьем; выходя от него, я поднимусь к вам, никто об этом не узнает; увидят, как я уйду; что же, я посещаю господина Лингарда по делам службы, никто не сможет ничего сказать по этому поводу.

И, все так же не дожидаясь моего ответа, Гратьен почтительно попрощался со мной и удалился.

Я провела бесконечную бессонную ночь, а мой завтрашний день превратился в сплошное ожидание.

Я ждала того часа, когда должна была увидеть Гратьена, с таким же нетерпением, с каким когда-то ждала той минуты, когда должна была увидеть Анри. По правде говоря, я по-прежнему ждала только Анри, лишь его одного.

В десять минут первого я была у себя. В полпервого в дверь тихо постучали.

— Вы получили ответ? — спросила я Гратьена, открывая ему дверь.

— Возьмите, — он протянул мне распечатанное письмо, — прочтите его, и вы увидите, солгал ли я, сказав, что он вас все еще любит.

Я жадно схватила письмо и подбежала к окну не столько ради того, чтобы лучше видеть, сколько ради того, чтобы остаться в одиночестве.

Читая письмо, я слышала глухое ворчание Блэка; два или три раза я прерывалась, чтобы заставить его замолчать; но впервые он меня не послушался.

Да, к моему несчастью, письмо было именно таким, как это обещал мне Гратьен. Анри любил меня по-прежнему, он любил только меня одну, он был несчастен и сожалел, что у него не достало сил отказаться от этой свадьбы, ставшей причиной его горя.

Прочитав и перечитав письмо Анри, я хотела отдать его Гратьену.

— О! — сказал он. — Оставьте его себе, мадемуазель; в действительности это письмо адресовано вовсе не мне, а вам. Что я буду с ним делать?

И он со вздохом отстранил мою руку.

Я прижала письмо к губам и спрятала его у себя на груди.

Гратьен продолжал стоять.

Я знаком предложила ему сесть.

Он понял, что единственное средство продлить свой визит — это говорить со мной об Анри.

Час пролетел подобно минуте; на два часа был назначен смотр. Гратьен покинул меня первым.

Я уже была готова спросить его: «Когда я вас увижу вновь?» Но, к счастью, удержалась.

Гратьен ушел, я закрыла дверь на задвижку, как будто опасаясь, что кто-нибудь может меня побеспокоить; это меня-то, которую никто не навещал, кроме одной молодой девушки, служившей у мадемуазель Франконт и время от времени заходившей ко мне.

Оставшись одна, я села на маленькое канапе около окна и вновь стала читать это письмо, а Блэк, положив мне голову на колени, смотрел на меня своими большими человеческими глазами.

Вы ведь догадались — не правда ли? — что это чтение было моим единственным занятием в течение всего дня.

На следующий день я не видела Гратьена ни днем, ни вечером.

Я слышала, как прозвонили десять часов, одиннадцать, полночь, но я все не ложилась.

Я ждала.

Я не могла подумать, что весь этот вечер мне не с кем будет поговорить об Анри.

Я вновь набросилась на письмо, читала его и перечитывала; я уснула, прижав это письмо к груди.

Весь следующий день я также не видела Гратьена.

Я надеялась, возвращаясь домой, встретить его у своей двери, но там его не было.

Я поднялась к себе и зажгла свечу.

В сотый раз перечитывая письмо Анри, я услышала ворчание Блэка; я поняла, даже раньше, чем до моего слуха долетел шум его шагов, что по лестнице поднимается Гратьен.

Мгновение спустя в дверь постучали.

Я крикнула: «Войдите!» — с таким волнением в голосе, что у Гратьена могло родиться неверное представление на этот счет.

— Ах! — обратилась я к нему, подаваясь своему первому порыву. — Почему я вас не видела вчера?

Я даже не закончила эту фразу. Но, к несчастью, она не нуждалась в этом.

— Я не осмелился, — ответил Гратьен. — Вы мне высказали свои опасения по поводу моих частых визитов, и я их прекрасно понимаю, хотя они и преувеличенны. Я хотел вам доказать, что могу быть преданным человеком, на которого вы можете положиться, а не назойливым и бестактным.

Я опустила глаза, так как почувствовала, что надо пережить все то, что я пережила, встать на мое место, чтобы правильно понять то чувство, которое заставляло меня действовать подобным образом; но, опустив глаза, я сделала ему знак сесть рядом со мной.

Вечер промчался, как одно мгновение; как и позапрошлым вечером, Гратьен рассказывал мне только об Анри. Пробило полночь, а мне казалось, что Гратьен вошел всего несколько минут назад.

Я спустилась, чтобы самой открыть ему дверь. Он никогда так поздно не уходил от господина Лингарда, и на следующий день вопрос, заданный слугам, мог бы все раскрыть.

Как это принято в провинции, где каждый жилец имеет свой ключ, у меня он тоже был, и я смогла вывести Гратьена из дома так, что его никто не видел и не слышал.

То, о чем я вам только что рассказала, продолжалось три месяца.

Первый месяц, я должна отдать должное Гратьену, он говорил со мной только о своем брате. В ходе второго он позволил себе сказать несколько слов о самом себе.

После этих слов, я это хорошо знаю, я должна была бы его остановить, а если бы он вернулся к этому опять, то закрыть перед ним свою дверь; но подумайте о том, что я была совсем одна, мне не к кому было обратиться ни за поддержкой, ни за советом. Я видела вокруг себя пример моих товарок, я ничем не превосходила их: ни своим положением, ни состоянием. Это смутное воспоминание о моем первом детстве, радостном и блестящем, которое в пору моей юности еще сверкало подобно далекой зарнице, с каждым днем постепенно все больше и больше стиралось. Я знала, какие страдания приносит любовь, и мне было жаль Гратьена, потому что я нравилась ему.

Находясь рядом с ним, я была уверена в самой себе; впрочем, Блэк был моим неподкупным стражем. Я ни в коем случае не позволяла ему ни дома, ни на прогулке хоть на минуту покидать меня и очень быстро научила его небольшой уловке, которая спутала все планы Гратьена; но однажды собака покинула меня...

Шевалье де ля Гравери вздрогнул; он тут же догадался, какие последствия для несчастной молодой девушки имело его похищение. Его рука нашла ее руку, он поднес ее к своим губам и почтительно поцеловал.

— Продолжайте,— едва слышно промолвил он, так

как девушка, удивленная и его поступком, и выражением его лица, молча смотрела на него.

— Так вот, однажды вечером моя собака покинула меня. Я была в отчаянии от ее потери. Гратьен, казалось, разделял мое горе и повсюду наводил справки и расспрашивал о ней; по крайней мере так он мне говорил. Я тоже все время проводила в поисках Блэка, так что даже вызвала недовольство мадемуазель Франкотт; но я предпочитала разгневаться, но найти моего бедного Блэка. Мне чудилось, что я потеряла моего хранителя и пока я его не найду, мне будет угрожать какая-то неизвестная, но неминуемая опасность. Однажды вечером, около шести часов, я получил письмо, написанное незнакомой мне рукой: оно было подписано некоей женщиной по фамилии Констан.

Содержание его было следующим:

«Мадемуазель Тереза!

Говорят, что вы потеряли собаку, которой очень дорожили, и эта собака — черный спаниель с одним белым пятном на шее. Вот уже скоро будет неделя, как мой муж нашел одну, чья внешность подходит этому описанию. Желаете ли вы сегодня вечером удостовериться, действительно ли это ваша собака? В этом случае как ни жаль нам было бы с ней расстаться, мы поспешим ее вернуть ее законной владелице.

Имею честь и т. д.

Констан.

Улица Сен-Мишель, 17, третий этаж».

Я вскрикнула, никому ничего не объясняя, схватила свою шаль и шляпку и выбежала.

В одно мгновение я оказалась на улице Сен-Мишель, поднялась на третий этаж дома номер семнадцать и позвонила.

Старуха открыла мне дверь.

— Мадам Констан? — спросила я.

— Вы мадемуазель Тереза?

— Да.

— Хорошо, пройдите в эту комнату, я пойду прежде мадам.

Меня провели в какую-то комнату. Я провела там не более пяти минут, как дверь открылась. Услышав этот звук, я повернула голову. У меня вырвался крик, всего лишь один:

— Анри!

И я бросилась в объятия того, кто только что открыл дверь...

На следующее утро я все еще была в его объятиях; только он обнимал меня безутешно плачущую и вне себя от отчаяния.

Гратьен, сознавая, что никогда ничего не добьется от меня и что вся моя любовь принадлежит его брату; Гратьен, которого я все время видела в военной форме, надел одежду своего брата, и как раз ту самую, которая была на Анри в тот день, когда я видела его в последний раз, и предстал передо мной в этом наряде.

Когда я увидела его таким, силы покинули меня; во мне осталась только моя любовь, и я была вся в ее власти.

Оба близнеца так были похожи друг на друга, что меня обмануло их сходство. Лишь на следующее утро Гратьен мне во всем признался.

— О! Презренный! — вскричал шевалье.

— Он не сам задумал все это, а уступил советам одного своего друга, которого звали Лувиль.

— Я знаю его! — воскликнул шевалье.— Продолжайте, дитя мое, продолжайте.

Глава XXVI,

В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

Тереза продолжила свой рассказ.

Все дальнейшее в этой истории было так же просто, как и печально; и в двух словах я расскажу ее читателю.

Гратьена, который был не способен по своей воле совершить столь жестокий обман, толкнул на него Лувиль.

Полк получил приказ сменить место дислокации.

Лувиль дал понять Гратьену, что если он покинет Шартр, не став любовником Терезы, то в этом случае будет затронута его честь.

Два молодых человека подстроили ловушку, в которой бедное дитя оставило свою честь.

В течение суток Тереза была во власти своего рода безумия, в котором события, случившиеся в Париже, переплелись с теми, что произошли в Шартре.

Когда она пришла в себя, пожилая женщина, открывшая ей дверь и проводившая в эту роковую комнату, была около ее кровати.

Старуха сказала Терезе, что она может остаться в этой квартире, снятой для нее на год вместе с мебелью, которая теперь вся принадлежит ей.

Помимо этого, она должна была передать Терезе письмо от Гратьена и некоторую сумму денег.

Тереза сначала ничего не поняла из того, что ей говорили; до ее ушей доносились лишь невнятные бессвязные звуки.

Понемногу ее рассудок прояснился, и она все поняла.

Вчера вечером полк покинул город; Гратьен отбыл со своим полком. Она была покинута! И в обмен на ее украденную честь ей предлагали комнату, мебель и деньги!

Бедное дитя закричало от стыда и горя, бросилось к изножью кровати, поспешно оделось, оттолкнуло старуху, письмо и деньги и устремилось прочь из этого дома.

Но, очутившись на улице, — как быть дальше, что делать?

Она не знала этого.

Вернуться к мадемуазель Франконт?

Невозможно! Что сказать? Как объяснить свое отсутствие и свое возвращение? Какое объяснение придумать своему горю?

Она обшарила свои карманы.

У нее было при себе тридцать или сорок франков; это было все ее состояние.

Она обратила свои мысли к смерти; но мужество, поддерживавшее ее во время первой попытки самоубийства, полностью покинуло ее во втором случае.

Она шла наугад, не разбирая дороги, держась за стены; и была так бледна, что многие прохожие обращались к ней с вопросом:

— Что с вами, дитя мое?

— Ничего! — односложно отвечала Тереза.

И продолжала свой путь.

В ее ответе чувствовалась такая боль, что ей уступали дорогу с некоторым почтением. В подлинном горе заключено свое величие.

Так она шла, спотыкаясь, не видя и не зная, куда несут ее ноги.

Она добралась до предместья Грапп.

Вскоре слезы, скопившиеся у нее в груди, так настойчиво заявили о своем желании излиться наружу, что Тереза, понимая, что сейчас разрыдается, стала искать место, где могла бы вволю поплакать.

Под рукой у нее оказалась дверь, и она толкнула ее.

Дверь открылась в темную, узкую и сырую аллею. Тереза вошла в аллею.

Едва она это сделала, как ее страдание вырвалось наружу и слезы градом покатались по щекам.

Это случилось вовремя: ее сердце готово было разбиться.

Сколько времени она проплакала так в этой аллее? Этого она не могла сказать.

Почувствовав, что слабеет, и ища, куда бы присесть, она увидела какую-то лестницу и села на первую ступеньку.

Из состояния оцепенения ее вывело прикосновение чьей-то руки к ее плечу.

Это была старая женщина, живущая в этом доме, которая, возвращаясь к себе, заметила, как в полумраке вырисовывается нечто, похожее на силуэт человека.

Тереза подняла голову, она даже и не подумала вытереть слезы, катившиеся по ее прелестному лицу.

Это горе, такое искреннее, что невозможно было в нем обмануться, растрогало пожилую женщину.

Она участливо спросила у девушки, чем та занимается, чего бы хотела, и может ли она со своей стороны оказать ей какую-либо услугу.

Ответ Терезы состоял из полуправды-полулжи.

Она сказала, что является белошвейкой, что хозяйка прогнала ее и теперь она ищет жилье.

Все это было вполне правдоподобно; кроме одного, того, что столь простое несчастье послужило причиной такого безутешного горя.

— Вы хорошая мастерица? — спросила старая женщина.

Тереза, ничего не отвечая, показала ей воротничок, который она вышила своими руками и носила на шее.

Это был подлинный шедевр.

— Хорошо, — сказала женщина, — если с помощью иглолки руки способны делать подобные вещи, то не стоит волноваться: голодная смерть вам не грозит.

Тереза промолчала.

— Вы ищете жилье? — спросила старуха.

На этот раз Тереза кивнула головой.

— Ну, что же, в доме как раз сдается одна комната; она полностью обставлена и плата за нее не слишком высока. Черт возьми! Она не так уж и хороша, но за восемнадцать франков в месяц нельзя требовать дворец.

Но одно условие: за первые две недели придется заплатить вперед девять франков.

Тереза вынула из кармана два билета по пять франков.

— Заплатите,— сказала она.

— Но вы даже не знаете, подойдет ли она вам?

— Она мне подойдет,— ответила Тереза.

— Ладно, тогда идите за мной.

Старуха поднималась первой.

Тереза шла за ней.

Старая женщина остановилась на втором этаже, где жила хозяйка дома. Сделка состоялась очень быстро; хозяйка задавала своим жильцам только один вопрос: «Вы можете заплатить вперед?»; ничто другое ее не волновало. И если они отвечали: «Да»,— то были желанными гостями.

Через десять минут Тереза уже жила в этой каморке, где ее нашел шевалье де ля Гравери.

В тот же день, отложив некоторую сумму на еду, так, чтобы ее хватило до конца недели, Тереза попросила пожилую женщину на все оставшиеся деньги купить ей шелка, иголок и полотна для вышивания.

Она имела привычку сама делать рисунки своих вышивок.

Через день старуха вышла из дома с воротничком и манжетами, вышитыми Терезой, и вернулась с десятью франками.

Тереза дала ей из них два франка за труды.

Бедное дитя подсчитало, что могло прожить на двадцать пять су в день, при этом зарабатывая по три франка.

Так что она могла не волноваться на этот счет, как ей об этом и говорила старуха.

Так продолжалось месяц.

За это время Терезе удалось отложить пятьдесят франков.

Однако вот уже несколько дней эта старуха вела с ней странные речи: она постоянно пускалась в рассуждения о том, как легко молоденькие девушки могут стать богатыми, как глупо она поступает, портя свои глаза работой на чердаке; потом она стала жаловаться, что спрос упал и ей уже не удастся продавать столько, как в самом начале; доход сократился почти наполовину.

Все эти высказывания оставляли Терезу безразлич-

ной; даже если доход, приносимый работой, сократился наполовину, ей и этого хватило бы на жизнь.

Наконец однажды вечером старуха высказалась более ясно: она заговорила о молодом человеке, видевшем Терезу и влюбившемся в нее, он обещал снять для нее квартиру, дарить подарки...

Тереза подняла побледневшее лицо и с непередаваемым выражением отвращения и решимости произнесла:

— Я поняла вас. Убирайтесь! И чтобы я вас больше не видела.

Старуха попыталась настаивать, потом стала оправдываться, извиняться, но Тереза, столь же гордая в своей каморке, как какая-нибудь королева у себя во дворце, вторично приказала ей покинуть комнату и на этот раз таким повелительным тоном, что та вышла, опустив голову и бормоча:

— Черт возьми! Кто бы мог подумать!

С этого момента Тереза лишилась своего посредника и была вынуждена сама обходить белошвеек города Шартра, предлагая им свою работу.

Те, узнав в ней первую продавщицу из магазина мадемуазель Франкотт, стали делать ей разного рода предложения, дабы она заняла у них то место, которое занимала ранее у известной модистки; но Тереза не хотела выставлять себя напоказ за прилавком.

К тому же она заметила, что беременна, и в ее состоянии ей следовало жить незаметно и в полном одиночестве.

Так она проводила свои дни до того момента, как в Шартр вошла холера. Бедняжка Тереза стала сестрой милосердия в своем бедном предместье. И однажды утром, когда она поднялась, чтобы прийти на помощь своей больной соседке, ее собственные силы изменили ей.

Черный ангел, пролетая, задел ее своим крылом.

Вы видели, в каком состоянии ее нашел шевалье.

Такова была история Терезы.

Вот уже пять месяцев она не видела Гратьена и ничего о нем не слышала.

Что касается кольца, которое она носила на пальце, то она ничего не могла сказать о нем, кроме того, что оно было ей дано с наказом тщательно хранить его как талисман, который однажды поможет ей найти свою семью.

Шевалье де ля Гравери с благоговейным вниманием выслушал рассказ Терезы. Когда она заговорила о по-

тере Блэка, он почувствовал, как краска бросилась ему в лицо; затем, когда он оценил, какие ужасные последствия имела для девушки эта пропажа — ведь, воспользовавшись отсутствием Блэка и под предлогом того, что хотят вернуть ей ее собаку, Терезу заманили в ловушку, где она потеряла свою честь и, вероятнее всего, свое счастье, шевалье охватило подлинное раскаяние и, пожимая и целуя руки молодой девушки, он опустился на колени.

— Тереза! Тереза! — говорил он — Добрый Бог милостив; он порой дарует нам испытания, дитя мое, но, поверь мне, неслучайно его добрая воля послала меня на твоём пути и я клянусь, что с сегодняшнего дня посвящу всю мою жизнь твоему счастью.

— Увы! — ответила Тереза, ничего не понимая в этом порыве шевалье. — Мое счастье! Вы забываете, сударь, что для меня больше нет счастья... Моим счастьем была бы жизнь с Анри, а я навечно разлучена с ним.

— Хорошо, хорошо! — сказал шевалье с тем доверчивым выражением веселого человека, убежденного, что удача, благодаря которой он столь неожиданно нашел дочь Матильды, не может отвернуться от него на полдороге. — Хорошо! Мы уладим все это. Черт возьми! На свете есть не только господин Анри, есть также его брат, господин Гратьен.

— Это не будет счастье, — сказала Тереза. — Это будет искупление; только и всего.

— Ну и что же, — заметил шевалье, — но мне кажется, что это было бы уже кое-что.

Тереза покачала головой.

— Неужели вы думаете, что молодой человек, такой знатный и такой богатый, как он, когда-нибудь согласится жениться на такой бедной мастерице, как я? Я послужила ему лишь игрушкой, только и всего. Верите ли вы, что он когда-нибудь осмелился бы нанести дочери графа или маркиза, у которой есть отец или братья, способные за нее отомстить, такое оскорбление, которое он нанес, ни на минуту не задумавшись, бедной сироте?

Шевалье почувствовал, как стрела пронзила ему сердце; его глаза вспыхнули; впервые желание мести проснулось в нем.

Никогда по отношению к господину де Понфарси он не испытывал ничего подобного тому, что вдруг почувствовал по отношению к Гратьену.

Он с некоторой радостью вспомнил, что во время пу-

тешества в Мексику научился довольно ловко стрелять, попадая два раза из трех в этих пресловутых зеленых попугайчиков, в которых Думесниль, однако, бил без промаха.

Затем машинально он сделал этот знаменитый обманный выпад, этот секретный удар, которому его научил капитан, сам перенявший его у учителя фехтования в Неаполе.

Почему вдруг все это пришло ему на память? Почему, стиснув зубы, он подумал об этом? Шевалье не отдавал себе в этом отчета; но все же он думал об этом.

Тереза лежала молча в полном изнеможении; она не заметила ни того, как лицо шевалье нахмурилось на мгновение, ни движения руки, которым он сделал в воздухе свой секретный выпад.

Этот разговор совершенно истощил все ее силы и после того, как она произнесла свои последние слова, которые вы уже знаете, ею вновь овладел приступ этого сухого и глубокого кашля, который уже однажды так взволновал де ля Гравери.

Шевалье решил, что он в другой раз попросит рассказать ему все оставшиеся подробности, если ей еще было что рассказывать.

Он обратил внимание, что, говоря и об Анри, и о Гратъене, Тереза ни разу не произнесла их фамилии, называя их только именами, данными им при крещении.

Но, чтобы найти Гратъена в тот момент, когда он почувствует необходимость объясниться с ним, шевалье несбызательно было знать его фамилию: ему было известно, в каком полку служил юноша, в каком городе этот полк расквартирован; а облик Гратъена и облик его собеседника Лувилля достаточно глубоко запечатлелись в его памяти; так, что он без сомнения узнал бы их с первого же взгляда.

Но шевалье считал, что прежде всего он сейчас должен убедиться в подлинности надежд, основанных им на той тайне, которая окружала рождение Терезы; он нашел в этом не ведомом ранее чувстве, которое внушила ему молодая девушка, столь невинное наслаждение, столь глубокое очарование и такую притягательную силу, что спешил узаконить эти радости, чтобы полностью насладиться тем счастьем, которое могло подарить ему это чувство.

Но, однако, прежде всего здоровье Терезы должно было поправиться настолько, чтобы шевалье, покидая

ее и отправляясь на свои поиски, не испытывал никакого беспокойства по поводу если не ее здоровья, то по крайней мере ее жизни.

Глава XXVII,

В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВЗВОЛНОВАН ТЕМ СКАНДАЛОМ, КОТОРЫЙ ОН ВЫЗВАЛ В ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ ГОРОДЕ ШАРТРЕ

Однако в таком городе, как Шартр, столь знаменательное событие, как водворение молодой девушки в жилище старого холостяка — лица достаточно значительного, как по своему происхождению, так и благодаря своему состоянию, — не могло пройти незамеченным. Каждый высказался по этому поводу, и в скором времени пошедшие толки и пересуды придали случившемуся поистине гигантские размеры и полностью исказили его значение.

Шевалье де ля Гравери, чье поведение уже вызывало подозрение из-за тех эксцентричных выходов, которые его заставил наделать Блэк, за несколько дней превратился, благодаря естественной манере обывательских пересудов, в ужасного безнравственного человека, который, не довольствуясь тем, что соблазнил молодую девушку, не постыдился вызвать публичный скандал своим незаконным с ней сожителем под одной крышей; и, наконец, в такого человека, с которым ни один мало-мальски уважающий себя горожанин не мог водить ни почтенное знакомство, ни раскланиваться при встречах.

Как только состояние ее здоровья стало улучшаться, Тереза начала заботиться о том, что могло бы доставить удовольствие тому, кого она считала своим благодетелем и готова была полюбить, как отца.

Поэтому она потребовала, чтобы он возобновил свои ежедневные прогулки, которые, как она полагала, необходимы для его здоровья. Шевалье, в свою очередь, радуясь этой нежной, такой приятной и желанной зависимости, аккуратно выполнял все пожелания молодой девушки и, подобно хорошо отлаженному механизму, чья работа некоторое время была нарушена и который сразу, как только восстановилось его равновесие, возобновляет свой обычный ритм, стал, как и раньше, посвящать два часа между обедом и ужином прогулке по валам.

Но только отныне он совершал эту прогулку в компании Блэка, который, разделяя все чувства своего хозяина, казалось, был если не самой счастливой, то по крайней мере одной из самых счастливых собак на всем свете.

Я уже сказал, что шевалье остановился на самом важном и неотложном деле, то есть он решил прежде всего проникнуть в тайну рождения Терезы.

Принять решение было не таким уж легким делом для шевалье, жизнь которого до сих пор протекала в беззаботной и равнодушной дреме, но, в сущности, приняв решение, оставалось придумать, каким образом оно будет выполнено.

И именно этим мыслям шевалье предавался во время своих прогулок.

Что он мог сделать, что он должен был сделать, чтобы достигнуть поставленной цели?

Он пребывал в состоянии крайней озабоченности, и только лишь проделки и ласки Блэка, одни они были способны отвлечь его от этих дум.

Поэтому шевалье был далек от того, чтобы заметить, с какой грубой нарочитостью все, даже те, кто чаще других был когда-то его гостем, делали вид, что не замечают его, когда он проходил рядом с ними, стремясь тем самым избежать необходимости приветствовать его.

Однажды, будучи менее рассеянным, чем обычно, шевалье, церемонно раскланявшись с богатой пожилой вдовой, которая пользовалась почетом и уважением среди прихожан монастыря Нотр-Дам, обратил внимание, что та всего лишь сухо кивнула в ответ на его приветствие, а ее лицо вытянулось в многозначительной презрительной гримасе; в этот день де ля Гравери вернулся к себе сильно встревоженный.

Как все, чья жизнь проходит в замкнутом мирке, он был весьма озабочен тем, «что об этом скажут», и при мысли, что может потерять уважение общества, он почувствовал, как у него кровь стынет в жилах.

У него не достало ни сил, ни умения владеть собой, чтобы скрыть свое беспокойство от Терезы, и та весьма ловко сумела с помощью разного рода вопросов раскрыть причину его расстройств.

Шевалье рассказал ей, не вдаваясь в подробности и какие-либо объяснения о невежливом поведении вдовы.

— Вы видите, дорогой мой и добрый господин,— вскричала девушка,— моя печальная участь отражается

на всех, кто проявляет ко мне интерес, но я больше не потерплю, чтобы вы и дальше были ее жертвой!

— Как так? — тревожно спросил шевалье.

— Да,— продолжала Тереза,— благодаря вашим работам я выздоровела и могу вновь взяться за работу. Я покину вас, но прошу разрешения время от времени навещать вас, чтобы отблагодарить за все, что вы сделали для меня, и доказать вам, что я никогда не забуду, что обязана вам жизнью.

Шевалье побледнел.

— Покинуть! Оставить меня одного! Вы не подумали об этом, Тереза! Боже мой, как я буду жить один?!

— Но разве до знакомства со мной,—спросила Тереза,— вы не жили один?

— Да, до встречи с вами, думаю, я жил именно так,— ответил шевалье.— Но с тех пор, как я вас узнал, я почувствовал к вам нежную привязанность, я не могу жить без вашего присутствия. О! — произнес шевалье, болезненно возвращаясь в прошлое,— я тоже любил: сначала вашу...

Он замолчал.

Тереза смотрела на него с удивлением.

— Сначала женщину,— продолжил шевалье.— Я так ее любил, что думал, умру, когда она...

— Когда она умерла? — спросила Тереза.

— Да,— подхватил шевалье,— когда она умерла... Ведь измена, предательство, забвение — это та же смерть, дитя мое.

— О! мне это хорошо известно,— воскликнула, заплакав, Тереза.

— Ну вот,— сказал шевалье, стукнув себя кулаком по лбу.— Вот я и заставил ее плакать, и это теперь! Но, черт возьми, разве я грубое животное?

— Нет, нет, нет! Вы самый лучший из людей, и если уж вас заставляли страдать, вас, то тогда никто не имеет права требовать, чтобы его избавили от страданий, уготованных человеку.

— Да,— меланхолично произнес шевалье.— Я перенес много страданий, бедное дитя! К счастью, у меня был друг... А! я так его любил и все еще продолжаю любить, не правда ли, Блэк?

Блэк, который как раз в это время смотрел на шевалье, как будто догадавшись, что речь идет о нем, подошел на зов своего хозяина, который взял его двумя руками за голову и нежно поцеловал.

Тереза пыталась угадать, какая связь может быть между Блэком и тем другом, о котором говорил шевалье, и она спрашивала себя, каким образом Блэк может быть призван в свидетели этой дружбы.

Но это была такая задача, которую ей не по силам было решить и которую сам шевалье вряд ли смог бы ей вразумительно объяснить.

Де ля Гравери на некоторое время погрузился в созерцание Блэка.

Затем, с удвоенной энергией принявшись расчитать ласки животному и одаривать нежными взглядами Терезу, он неожиданно произнес:

— Нет, мой бедный Думесниль, нет, будь спокоен! я никогда не оставлю ее... Даже если весь Шартр решил бы отвернуться от меня, а все вдовы мира захотели бы соорудить мне гримасу.

Тереза смотрела на шевалье с некоторым испугом.

Неужели этот человек, такой добрый, был подвержен склонности к безумию? Во всяком случае, безумие шевалье должно было носить очень мягкий и добрый характер, и Тереза сказала самой себе, что она никогда не будет его бояться.

Она заговорила первой.

— Но, однако, это необходимо сделать, господин шевалье.

— Что? Что необходимо сделать, дитя мое? — спросил он с великой нежностью.

— Я должна уйти от вас.

— Ах! да, правда, вы мне говорили об этом. А я вам отвечал: «Тереза, мое горячо любимое дитя, неужели вы думаете, что я отныне смог бы жить без вас, совсем один? Но подумайте, дорогая моя, о том одиночестве, в котором оставит меня ваш уход!»

— Я подумала об всем этом, господин шевалье, и как ужасная эгоистка, я прежде всего думаю о том, как больно мне самой будет расстаться с вами; но эта разлука необходима. Когда меня здесь не будет, вы опять сблизитесь с друзьями, которые отвернулись от вас сейчас; когда мое присутствие перестанет тревожить вашу жизнь, вы вновь вернетесь к вашим мирным привычкам.

— Тревожить! Тревожить мою жизнь, неблагодарный ребенок! Но тогда выслушай одно признание: это с той поры, как...

Шевалье тяжело вздохнул, потом вновь заговорил.

— Я узнал счастье лишь с той минуты, как ты вошла в этот дом.

— Грустное счастье! — возразила ему Тереза, улыбаясь сквозь слезы. — Потрясения, постоянные волнения, мучения, бесконечные переживания; ведь и во время моей болезни, находясь в полной прострации и даже бреду, я все же видела, что вы заботитесь о моей жизни, как будто бы вы действительно были моим отцом!

— Вашим отцом! — закричал шевалье. — Как будто бы я действительно был вашим отцом! А кто вам сказал, что я им не был?

— О! сударь, — сказала, вздохнув, Тереза, — это ваша доброта ко мне толкает вас на этот великодушный обман; но он не сможет ввести меня в заблуждение. Если бы вы были моим отцом, если бы были связаны со мной узами какого-нибудь родства, разве вы, вы, такой богатый и счастливый, смогли бы позволить, чтобы мое детство прошло в лишениях и нищете? А в юности я осталась бы без поддержки, без советов, без любви того, кому обязана своим появлением на свет? Нет, сударь, нет... Увы! я для вас всего лишь посторонняя, которую вы подобрали из сострадания, а ваше чувство милосердия к тем, кому приходится страдать, внушило вам мысль удочерить меня; но, несомненно... но, к несчастью... — прибавила она, покачивая головой, — я не ваша дочь.

Шевалье опустил глаза, его лицо приняло покорное выражение; все сказанное молодой девушкой он воспринимал как упрек себе; в глубине души он проклинал ту беспечность, с которой доверил своему брату позаботиться о том, что касалось будущего мадам де ля Гравери. Он презирал себя за то, что бежал из-за мелочного инстинкта самосохранения от повседневных забот, наполняющих жизнь каждого человека; и наконец, он спрашивал себя, как он мог прожить столько долгих лет, не заботясь о том, что стало с той, которая была его женой, и с ребенком, который, несмотря ни на что, имел право носить его фамилию.

Этот разговор и особенно последовавшие за ним размышления сильно подстегнули шевалье, чьи колебания были продиктованы ленью: он трепетал от страха, как бы Тереза, поддавшись нашептываниям своей утонченной чувствительности, не выполнила бы того решения, о котором она ему говорила; и его доброе сердце, помолодевшее благодаря такому долгому безмятежному существованию, так пылко отзывалось на эту новую обязанность, что он воображал себе разлуку с молодой де-

вушкой с таким же ужасом, как будто речь шла о его близкой смерти.

В конце концов он решил, чего бы это ему ни стоило, совершить эту поездку в Париж.

Целью этого путешествия было найти старшего брата шевалье, чтобы узнать от него, что случилось с мадам де ля Гравери и с ребенком, которого она носила в своем чреве, когда он покинул ее.

Но оставить свой дом, свои милые привычки, свой сад, в эту пору такой свежий и благоухающий, для этого надо было совершить усилие, на которое вот уже несколько месяцев шевалье был совершенно неспособен. Теперь, когда ему пришлось бы оставить здесь две привязанности, поселившиеся в его столь долго пустовавшем сердце: Терезу и Блэка,— наш добряк все же решился на это, но, решившись, он сам ощущал себя великим героем, и только надежда навсегда обеспечить себе казавшееся ему столь сладостным счастье заставила его принять такое суровое и трудное решение.

Итак, решение было принято, оставалось приступить к его исполнению.

Но именно здесь и начались трудности.

Каждый день шевалье говорил себе:

— Это будет завтра.

Приходило завтра, и шевалье так и не заказавший себе места в мальпосте, говорил:

— Или мне вообще не достанется места, или я буду вынужден ехать, сидя спиной к дороге.

А ехать в экипаже, сидя задом наперед, было непереносимо для шевалье.

Его задерживал не багаж; он купил себе совершенно новый чемодан, размеры которого соответствовали требованиям закона о провозе багажа в мальпосте, он сложил туда и белье, и одежду; с подобным чемоданом он мог бы вернуться на Папезэти.

Но чемодан, полностью собранный, продолжал оставаться в углу комнаты.

Оставалось всего лишь опустить крышку и повернуть ключ в замке. Но шевалье не делал ни того, ни другого; шевалье в конце концов никуда не ехал.

Впрочем, это ему не мешало каждый день повторять, целуя Терезу и лаская Блэка:

— Мои бедные друзья, вы знаете, что завтра я уеду.

В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПАРИЖ

В один из дней, когда Тереза чувствовала себя хуже, чем в предыдущие дни, шевалье, у которого на этот раз был благовидный предлог не вспоминать о своей поездке в Париж, провел весь день у ее постели, ухаживая за больной: она легла спать около семи часов вечера, взяв с шевалье обещание, что тот при свете луны отправится на прогулку, которую не смог совершить, когда сияло солнце.

Шевалье обещал.

И поскольку эта ежедневная прогулка действительно была необходима для его здоровья, а погода была просто великолепна, и Блэк так же, как и Тереза, просил его о том же, виляя хвостом и подбегая к двери, шевалье взял свои перчатки, трость и шляпу и вышел.

Не стоит и говорить, что ночью, как и днем, для шевалье де ля Гравери не существовало другого маршрута для прогулки: он обходил валы города.

Поэтому он направился в сторону валов.

В половине десятого его прогулка привела его на улицу Белой Лошади.

Заворачивая за угол, чтобы попасть с Соборной площади на эту улицу, он заметил почтовый дилижанс — мальпост, у которого меняли лошадей.

— Ах! — сказал шевалье, — если бы Терезе сегодня не стало хуже, то я бы смог, пользуясь случаем, заказать себе место до Парижа.

И он машинально подошел к дилижансу.

Почему он подошел к дилижансу?

Вот хороший вопрос!

Все провинциалы в большей или меньшей степени фланеры, они обожают праздное любопытство: дилижанс ли, у которого перепрягают лошадей, подъехавшая ли вновь карета обладают для их сладостного ничегонеделания такой притягательной силой, что сама почтовая станция или же прилегающие к ней кафе во многих городах служат местом встреч всех празднующихся бездельников; разглядывать незнакомые лица, строить догадки и предположения, нанизывать друг на друга различные пересуды и сплетни, шла ли при этом речь об облаках, о грохоте колес по мостовой, позвякивании бубенчиков, ругани кучеров, лае собак — все это служило развлечением для пустых и набитых всякой че-

духой голов; отъезд и прибытие, или, точнее, прибытие и отъезд пассажиров составляли целые непредвиденные главы в книге провинциального существования, и господин де ля Гравери был слишком сильно привержен традиции, чтобы упустить такую удобную возможность, которую ему посылал случай.

Он подошел к почтовой карете в тот момент, когда рабочий, служивший на конюшне, только что присоединил последнюю постромку, кучер собрал вожжи и щелкал кнутом, чтобы лошади были постоянно начеку и ждали сигнала к отправлению, который он должен был им вот-вот дать.

Сопровождающий, с портфелем под мышкой, поспешно протиснулся между де ля Гравери и каретой, взобрался на свое место и крикнул кучеру:

— Вперед!

Кучер хлестнул лошадей, карета тронулась и от толчка плохо закрытая дверца распахнулась.

Блэк уже некоторое время стоял против дверцы, широко раздувая ноздри и вбирая в себя все запахи, доносившиеся изнутри.

Выражаясь охотничьим языком, он сделал стойку.

Этот интерес, который Блэк, похоже, выказывал к чему-то невидимому, обеспокоил шевалье.

Но его беспокойство переросло в удивление, когда на его глазах Блэк через открывшуюся дверь запрыгнул внутрь кареты и стал всячески ласкаться к одному из пассажиров, закутанному в широкий утепленный плащ, чей силуэт вырисовывался в глубине мальпоста и который удобно устроился в самом удаленном от шевалье углу кареты, привалившись к ее стенкам.

Дабы соблюсти прогрессию, отметим, что удивление шевалье переросло в невероятное изумление, когда из-под плаща показалась рука, с силой потянула на себя дверцу и повернула ее ручку; все эти действия сопровождались следующими словами:

— А! так это ты, Блэк?

Мальпост отъехал

При стуке колес, щелканьи бича, при виде удалявшегося мальпоста, увозившего его друга, шевалье де ля Гравери пришел в себя. Карета была уже в двадцати шагах от него.

— Но у меня забирают Блэка! — закричал он. — У меня похищают моего Блэка! Вожатый! Вожатый!

Грохот колес тяжелой повозки по мостовой заглушил

голос шевалье, и этот призыв не достиг ушей того, кому он был адресован.

В отчаянии, что теряет свою собаку, испытывая уколы ревности из-за того, что Блэк в его присутствии отдал такое явное предпочтение какому-то незнакомцу, запертригованный тайной, которая скрывалась за этим непредвиденным неожиданным знакомством, и, предполагая, что эта тайна может заинтересовать Терезу, шевалье даже и не вспомнил ни о своем возрасте, ни о тех приступах подагры, что порой причиняли ему боль в ногах, и резко бросился в погоню за мальпостом.

Но мальпост со своими четырьмя лошаадьми имел шестнадцать ног, и все шестнадцать были сильными, крепкими и здоровыми, в то время как одна из тех двух, которые были в распоряжении шевалье, была несколько повреждена. И он никогда не смог бы не только его догнать, но даже и приблизиться к мальпосту, если бы не двухколесная повозка, которая въезжала в ворота Шатле как раз в тот момент, когда мальпост собирался покинуть город, и задержала его на несколько минут.

Шевалье де ля Гравери воспользовался этим препятствием, догнал мальпост, запрыгнул на подножку и одной рукой уцепился за дверь, а другой за ремень.

Сказать хоть что-нибудь было выше его сил: преследуя карету, бедняга задохнулся до такой степени, что был не в состоянии вымолвить ни одного слова; однако, взгромоздившись на подножку, он успокоился; теперь, как бы быстро ни ехала карета, он будет следовать вместе с ней; впрочем, он знал, что через четверть лье отсюда, в тот момент, когда мальпост покинет предместье Лев, ему придется преодолевать гору, а взобраться по ее крутому склону лошади смогут лишь шагом или в лучшем случае мелкой рысью.

К этому времени он, естественно, уже переведет дух и сможет предъявить свои претензии.

Все случилось, так, как и предвидел шевалье: проехав километр на подножке мальпоста, он пришел в себя, дыхание его восстановилось, а лошади, достигнув подножия горы, сначала перешли с галопа на мелкую рысь, а затем с мелкой рыси на шаг.

Вот уже в течение некоторого времени, между тем как шевалье заглядывал снаружи внутрь, Блэк смотрел изнутри наружу и, опираясь передними лапами на планку дверцы, наполовину высунув наружу голову, вдыхал ночной воздух со спокойствием и безмятежностью путе-

шественника, напротив фамилии которого в списке кондуктора значится: «Уплачено».

Де ля Гравери, который в конце концов хотел лишь вернуть свою собаку и предпочитал сделать это без особых споров, прыгнул назад, упал на проезжую дорогу и в надежде, что животное поступит так же, как он, позвал:

— Блэк!

Блэк в самом деле сделал попытку выскользнуть, но сильная рука удержала его за ошейник, и хотел он того или нет, втащила обратно в карету.

— Блэк! — повторил шевалье, с силой и настойчивостью, оставлявшими Блэку лишь один выбор: или немедленно повиноваться, или полностью проигнорировать этот зов.

— Ах, вот как! — произнес голос внутри кареты. — Сейчас же перестаньте звать мою собаку, или вы хотите, чтобы она сломала себе позвоночник о мостовую?

— Как? Вашу собаку? — закричал ошеломленный шевалье.

— Конечно, мою собаку, — повторил голос.

— А! вот это здорово! Блэк принадлежит только мне, мне одному, слышите вы, сударь!

— Ну, что же, если он ваш, то это значит, вы его украли у его хозяйки.

— У его хозяйки? — повторил шевалье, удивление которого достигло крайней степени; при этом он по-прежнему продолжал семенить рядом с каретой. — Не могли бы вы назвать мне имя этой хозяйки?

— Послушай, — сказал другой голос, — прими, наконец, какое-нибудь решение: или отдай его собаку этому старому сумасшедшему, или пошли его подальше; но — тысяча чертей! — давай спать! Ночь создана для сна, особенно когда путешествуешь в мальпосте.

— Ладно, — ответил первый голос, — я оставляю Блэка.

Этот двойной вызов произвел на шевалье эффект электрического шока.

Его нервы, уже раздраженные той дорогой, что ему пришлось проделать, сжались в комок, и, не думая о двойной опасности, которой он мог подвергнуться, затевав ссору на большой дороге и цепляясь за мальпост, с минуты на минуту способный сорваться в галоп, он схватил ключ и попытался открыть дверцу; видя, что это ему не удастся, шевалье взобрался на подножку и оказался

на уровне окошка, через которое внутрь поступал свежий воздух.

— А! значит, я старый сумасшедший! А! вы оставите себе Блэка! Ну, это мы еще посмотрим!

— О! это будет видно очень скоро,— произнес тот из двух пассажиров, который, похоже, был сторонником крайних мер.

И, взяв шевалье за шиворот, он грубо оттолкнул его назад.

Но желание сохранить животное, которым он так сильно дорожил и в отношении которого питал такое странное суеверие, удвоило силы шевалье, и как бы резок ни был толчок, он не только не заставил его разжать руки, но, казалось, даже и ничуть не поколебал.

— Берегитесь, сударь! — сказал шевалье со своеобразным достоинством.— Среди порядочных людей или среди военных...

— Что одно и то же, сударь,— парировал обидчик.

— Не всегда,— ответил шевалье.— Среди благородных людей или среди военных, кто замахивается, тот бьет!

— О! как вам угодно,— сказал молодой человек — Что же, если вас может удовлетворить только это, то я признаю, что я на вас замахнулся... или ударил, как вам больше нравится.

Шевалье уже собирался достать из кармана карточку и ответить на вызов, он уже даже приступил к ее поискам, когда молодой человек, который, казалось, был призван играть роль миротворца, воскликнул:

— Лувиль! Лувиль! ведь это старик!

— Ну, и что! какая мне разница, кто меня будит, когда я сплю, черт возьми! Этот человек не будет для меня ни юношей, ни стариком, он будет моим врагом, тысяча чертей!

— Этот старик, господин офицер,— сказал шевалье,— такой же офицер, как и вы; и к тому же кавалер ордена Святого Людовика... Вот моя визитка.

Но карточку взял тот молодой человек, который, судя по голосу, не желал ссоры, и, отодвинув своего друга из одного угла в другой, сказал:

— Послушай, сядь на мое место, а я пересяду на твое.

Офицер-грубиян, ворча, послушался.

— Я прошу вас, сударь, простить моего товарища: обычно он ведет себя, как хорошо воспитанный человек;

но насладиться благими результатами полученного им воспитания можно лишь тогда, когда он бодрствует; а в данный момент, к несчастью, он во власти сна.

— И слава Богу! — сказал шевалье. — Его общество не слишком приятно. Но вы, сударь, вы со своей стороны заявили: «Я оставляю Блэка».

— Да, я сказал именно это.

— Так вот, а я вам говорю: «Отдайте мне Блэка; я требую Блэка; Блэк принадлежит мне».

— У вас столько же прав на Блэка, как и у меня, ничуть не больше.

Произнося эти слова, путешественник слегка высунулся и оказался лицом к лицу с шевалье, и последний, уже испытывая сильнейшее удивление при упоминании о хозяйке Блэка, испустил крик изумления, узнав молодого человека.

Этим молодым человеком был Гратьен, виновник несчастья Терезы, совершивший в отношении ее это страшное преступление; вторым же офицером был тот, кто толкнул его на этот шаг.

Потрясение, испытанное шевалье, было так велико, что некоторое время он не мог вымолвить ни слова.

Казалось, случившееся с ним было предопределено самой судьбой.

И первым его порывом было выразить свою благодарность Блэку. Схватив его обеими руками, подтащив морду собаки к своим губам, беспрестанно целуя его, шевалье закричал:

— О! на этот раз больше не может быть никаких сомнений, это ты, мой славный Думесниль! да! безусловно, это ты! Ты помог мне найти моего ребенка, а теперь ты хочешь помочь мне вернуть ей честь и обеспечить ее будущее.

— Дьявольщина! — вскричал второй офицер, посчитавший свое обычное ругательство недостаточным для столь необычных обстоятельств. — Этот человек сошел с ума, и я сейчас позову кондуктора, чтобы он сбросил его с подножки. Вожатый! вожатый!

— Лувиль! Лувиль! — повторил его друг, заметно раздосадованный этой грубостью. Она тем более его рассердила, что теперь со слов самого шевалье он знал, что они имеют дело с дворянином.

Но кондуктор услышал, как его звали.

Он обернулся назад и, увидев человека, уцепившего-

ся за дверцу мальпоста, принял его за грабителя, приставившего пистолет к горлу его пассажиров.

Не останавливая лошадей, он спрыгнул с козел и резко толкнул шевалье.

— О! о! — произнес тот, — не будьте так грубы, Пино!

Пино был одним из тех, кто поставлял провизию для изысканного стола шевалье в то время, когда шевалье еще думал о своей кухне. Пино, пораженный, отступил назад.

— Ну, да, черт возьми, кажется, мы с вами старые знакомые!

Пино уже стал узнавать шевалье, а услышав его любимое ругательство, он признал его окончательно.

— Вы, господин шевалье, на дороге в этот час?

— Безусловно, нет сомнений, это я.

— Да, я вижу, что это вы! Но кто бы мог подумать? Значит, вы больше не боитесь ни жары, ни сквозняков, ни сырости, ни ломоты в костях?

— Я не боюсь больше ничего, Пино, — сказал шевалье, который, будучи в состоянии нервного возбуждения, в самом деле мог бы подобно Дон-Кихоту вызвать на бой ветряные мельницы.

— Но к кому у вас дело здесь, на проезжей дороге?

— К вам, Пино.

— Как! ко мне?

— Да, да, да! к вам! Я прошу вас, Пино, остановите мальпост и позвольте мне десять минут поговорить с этим господином.

— Невозможно, господин шевалье.

— Ради меня, Пино...

— Даже ради всех святых, я сказал бы нет!

— Как! Ради всех святых, ты сказал бы нет!

— Конечно; разве я не должен прибыть точно по расписанию?.. А из-за этой остановки мой дилижанс опоздает. Но давайте сделаем лучше...

— Что же, посмотрим...

— У меня в мальпосте четыре места; из них заняты всего лишь два; залезайте внутрь, вы посадитесь в Мэнтеноне, а оттуда уж вас заберет обратно утренний мальпост.

— Как? чтобы я, да встал в два часа ночи? Нет, Пино, это против моих правил, друг мой. И все же в твоём предложении есть нечто весьма разумное; мне необходимо съездить в Париж; но изо дня в день я откладывал

эту поездку. Ну, что же, я сейчас сяду в дилижанс и доберусь в нем до Парижа.

— Вам необходимо поехать в Париж? Вы собираетесь добраться до Парижа? И вы не заказали себе заранее, как положено, за неделю в бюро путешествий место, чтобы быть твердо уверенным, что это будет угол и что вам не придется ехать, сидя задом наперед? Клянусь, это правда, господин шевалье, вас невозможно узнать! Ну, что же, садитесь, прошу вас,— продолжал Пинно, нажимая на пружину и открывая дверцу, которую шевалье не смог открыть.— По правде говоря, если бы один из этих молодых людей был бы красивой девушкой, такой, как та, которую вы приютили у себя, я бы понял, что происходит; и только необходимость делать четыре лье в час, дабы администрация осталась довольна, удерживает меня от того, чтобы выведать у вас разгадку этого секрета.

Де ля Гравери забрался в мальпост и, едва переведя дух, упал на переднее сиденье, в то время как Блэк, которому его похититель предоставил свободу, встал перед ним на задние лапы, опершись передними о его колени, и, хотел того шевалье или нет, принялся лизать ему подбородок.

Глава XXIX

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В МАЛЬПОСТЕ И КАКОЙ ТАМ СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР

Оба офицера без возражений позволили шевалье расположиться в мальпосте.

Лувиль, завернувшись в плащ и основательно устроившись в своем углу, даже сделал вид, что спит или притворяется спящим.

Гратьен, напротив, с вниманием, к которому примешивалось любопытство и беспокойство, следил за всеми движениями шевалье.

Казалось, молодой человек догадался, что за этой мирной наружностью скрывается враг, тем более опасный, что этого нельзя было сказать, судя по его внешности.

Поэтому, едва шевалье уселся, как Гратьен пожелал продолжить разговор.

Но шевалье остановил его движением руки.

— Обождите, сударь,— сказал он,— пока я отдыхаю и приду в чувство. Признаюсь, мне в диковинку по-

добные испытания и переживания; вскоре мы с вами поговорим, ведь, похоже, вы этого желаете, но, возможно, это будет гораздо более серьезный разговор, чем вы того ожидаете! Черт! Пино оказал мне важную услугу, оставив свой дилижанс; я чувствовал, что силы уже почти оставляют меня, и уже предвидел тот момент, когда мне гришлось бы выпустить ручку и упасть на дорогу. А это в моем возрасте не прошло бы бесследно

— В самом деле, сударь, вы уже недостаточно молоды, чтобы предаваться подобным упражнениям.

— Сам я могу сказать такое о себе, сударь, но вам я не позволю делать мне подобные замечания, слышите вы?

— Ей-богу, если вы не безумец,— вскричал Гратьен в ответ на этот выпад,— то тогда по меньшей мере вы занятный оригинал!

— Он сумасшедший,— проворчал Лувиль из глубины своего плаща.

— Сударь,— сказал шевалье, отвечая на замечание Лувилья,— с вами я не имею никакого дела и нисколько не желаю его иметь с вами; я имею честь беседовать — в данный момент по крайней мере — лишь с одним господином Гратьеном и оказываю ему честь, вступив с ним в разговор.

— О! о! — произнес Гратьен,— похоже, вы меня знаете, сударь?

— Прекрасно и уже довольно давно.

— Но все же не со времен коллежа, надеюсь? — смеясь, спросил молодой человек.

— Сударь,— ответил шевалье,— я желал бы, чтобы вы в коллеже ли или где-то в другом месте получили бы такое же воспитание, как и я; вы тогда многое бы выиграли и в плане учтивости, и в плане нравственности.

— Bravo, шевалье! — заметил, смеясь, Лувиль — Ну-ка, проберите мне, как следует, этого негодяя

— Я это сделаю с большим удовольствием и от чистого сердца, сударь, потому что у вашего друга, несмотря на плохое воспитание, сердце осталось добрым и справедливым; и это мне дает некоторую надежду на успех..

— В то время как у меня?..

— Я не стал бы пытаться исправлять сердце в большей степени, чем талию; полагаю, что в них обеих укоренилась дурная привычка и что я прибыл слишком поздно.

— Bravo, шевалье! — в свою очередь, воскликнул

Гратьен, в то время как Лувиль, прекрасно понявший намек шевалье, делал вид, что безрезультатно пытается разгадать смысл сказанного — Браво! Это камешек в твой огород, положи его себе в карман на память!

— Да, если там еще есть место,— вставил шевалье.

— Ах, так! — сказал Лувиль, покручивая ус — Уж, не сели ли вы случайно в мальпост только для того, чтобы всласть поиздеваться?

— Нет, сударь; я сел в него, чтобы поговорить серьезно; вот почему я прошу вас оказать мне любезность и не вмешиваться в разговор, так как, повторяю вам это, у меня есть дело к господину Гратьену, вашему другу, а не к вам.

— Ну, что же, значит, мне в таком случае придется беседовать с Блэком? — заметил Лувиль, пытаясь быть остроумным.

— Если желаете, можете говорить с Блэком,— ответил шевалье,— но сомневаюсь, что Блэк вам ответит, ведь ему достаточно припомнить ваши «добрые» намерения по отношению к нему.

— Вот так-так! — сказал Лувиль.— Просто великолепно, теперь я еще к тому же и злоумышлял против Блэка! Почему бы вам прямо сейчас, незамедлительно не отвести меня в суд присяжных?

— Потому что, к несчастью, сударь,— ответил шевалье,— отравление собаки не считается в суде присяжных преступлением. Хотя, на мой взгляд, есть такие собаки, которые заслуживают гораздо большего сожаления, чем некоторые личности.

— По правде говоря, Гратьен,— сказал Лувиль, силясь рассмеяться,— я уже начинаю по меньшей мере чувствовать себя обиженным, что именно благодаря тебе этот господин удостоил нас чести составить нам компанию. И если только наше путешествие вместо того, чтобы окончиться через пять или шесть часов, продлилось бы два или три дня, то я полагаю, что к его концу мы стали бы с шевалье самыми лучшими друзьями на свете.

— В этом-то,— в ответе шевалье звучало свойственное ему добродушие, наполовину учтивое, наполовину насмешливое,— в этом-то и заключается разница между вами и мной. С каждым днем нашей совместной поездки моя симпатия к вам становилась бы все меньше и меньше; и я от всего сердца, не таясь, поздравляю себя, что это путешествие не продлится дольше запланированного срока.

— Тысяча чертей! — воскликнул молодой офицер, резко выпрямившись в своем углу, — скоро ли вы перестанете нам докучать вашими колкостями?

— Вот вы уже и сердитесь, — сказал шевалье, — и только потому, что я всего лишь — чуть умнее вас. Рассудите сами, сударь, я в два раза старше вас; в моем возрасте вы, вероятно, будете столь же разумным, как и я, а может, даже и еще умнее; однако надо подождать. Терпение, молодой человек! терпение!

— Это именно та добродетель, сударь, которой, похоже, в самом деле вам поручено научить нас; и должно быть, мы уже чувствуем в себе достаточное предрасположение к тому, чтобы постигнуть эту науку, раз смогли вынести ваши бредни, которыми вы нас потчуете вот уже в течение десяти минут.

— Если сударь уже отдышался, — сказал Гратьен, — и желает наконец приступить к тому серьезному вопросу, который он недавно отложил на потом ввиду излишнего волнения, вызванного преследованием мальпоста, — волнения, и я счастлив это отметить, не причинившего никакого вреда и не имевшего никаких других последствий, кроме того, что сделало его излишне многоречивым и подняло его дух, — то я с удовольствием готов его выслушать.

— Черт возьми! господа, я полагаю, вы не откажетесь проявить снисходительность по отношению к какому-то там старику и простите несдержанность его речей. В моем возрасте язык — это единственное оружие, которым не только не перестаешь владеть, но, напротив, все больше и больше совершенствуешь свое мастерство в обращении с ним; поэтому не стоит слишком уж меня упрекать за то, что я с охотой пользуюсь им.

— Ну, что же, пусть будет так, но объяснитесь же, сударь, — сказал Лувиль. — Нам сейчас меняют лошадей, и предупреждаю, каким бы интересным ни было то, что вы нам собираетесь поведать, я вовсе не намерен, что касается лично меня, пожертвовать ради вашего рассказа чудесным добрым сном, которым наслаждаешься, когда тебя так сладко укачивает. Дилижанс — единственная машина, которая напоминает мне мое детство; перестук колес усыпляет меня так же, как когда-то усыпляла песня моей кормилицы. Что же, посмотрим, о чем пойдет речь.

— Об одной очень серьезной и одновременно весьма пустяковой, ничтожной вещи, господа; об одном из тех приключений, которые, как правило, для гарнизонного

ловеласа имеют всегда приятное окончание, хотя очень часто они влекут за собой отчаяние, нищету или даже самоубийство. Речь идет о соблазне, я выбрал самое мягкое слово, в котором повинен господин Гратьен.

Гратьен вздрогнул, возможно, он собирался ответить, но Лувиль не дал ему этой возможности, опередив его.

— А вы, вы официально взяли на себя обязанность исправлять ошибки моего друга? — сказал он. — Это прекрасная роль, и за нее вы непременно получите достойное вознаграждение, если жертва хоть мало-мальски обладает чувством признательности; со времен Дон-Кихота эта роль несколько поблекла, но вы вдохнете в нее новую жизнь, браво!

— Я уже имел честь объяснить вам, сударь, что я не имею и никоим образом не хотел бы иметь дела с вами. Я говорю с господином Гратьеном. Что за черт! если он смог обойтись без вашего посредничества, когда совершал эту ошибку, то я полагаю, что он не нуждается в вас и теперь, когда речь идет всего лишь о том, как ее исправить.

— А кто вам сказал, сударь, что в этой истории я не был его советчиком?

— Это никоим образом меня бы не удивило; но в этом случае мне еще больше жаль вашего друга.

— Почему же?

— Потому что он будет второй жертвой ваших дурных наклонностей.

— Сударь, покончим с этим! — сказал Гратьен. — Кто эта достойная особа, которую я соблазнил, как вы меня в этом обвиняете?

— Речь идет всего-навсего, сударь, о той молодой девушке, чье имя вы только что произнесли, о хозяйке Блэка, о Терезе, наконец!

Гратьен несколько мгновений оставался безмолвным, затем он пробормотал:

— Итак, что же вы собираетесь потребовать у меня от имени Терезы? Говорите же, сударь!

— Жениться на ней, черт возьми! — закричал Лувиль. — Этот господин, который производит на меня впечатление серьезного человека, не стал бы так себя утруждать ради меньшего! Так как же, Гратьен, ты готов повести к алтарю мадемуазель Терезу? Что же, напиши полковнику, попроси разрешения у своего отца и у министра, и давай спать! Ведь теперь, когда мы знаем, чего

желает этот господин, это самое лучшее, что мы можем сделать.

— Вы, сударь, сами прекрасно сознаете,— продолжал Гратъен, которому вмешательство его друга вернуло некоторую уверенность,— что все это не может быть не чем иным, как шуткой. Конечно же, я готов выполнить по отношению к Терезе мой долг благородного человека, но...

— Но вы начали с того, что пренебрегли им.

— Как так?

— Вне всякого сомнения: разве первый долг того, кого вы называете благородным человеком, а я бы назвал порядочным человеком, не состоит в том, чтобы дать ребенку свое имя?

— Как? — вскричал Гратъен,— Тереза?..

— Увы, господин Гратъен,— продолжал шевалье,— это одно из наименее печальных последствий того грациозного приключения, о котором я вам только что говорил.

— Даже если бы это и произошло, то что, по-вашему, он должен был бы сделать в этом случае? — вновь вмешался Лувиль.— Неужели, вы считаете уместным, чтобы за каждым полком следовал бы эскадрон кормящих матерей? Мы переехали на новые квартиры: что поделаешь! Действительно, это несчастье. Пусть красотка поищет себе утешителя среди улан, которые пришли вслед за нами; она достаточно мила, и ей не придется искать слишком долго.

— Вы разделяете те чувства, которые только что выразил ваш друг? — спросил шевалье у Гратъена.

— Не совсем, сударь. Лувиль из чувства дружбы ко мне зашел слишком далеко. Не отрицаю, я виноват, я очень сильно виноват перед Терезой, и я бы многое отдал, чтобы она никогда не встречалась на моем пути; я готов, повторяю вам это, сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить ее положение; но вам придется удовольствоваться этим обещанием: вы светский человек, сударь, и вы прекрасно сознаете, насколько подобный союз был бы несовместим с общественными обязанностями человека моего положения, чтобы и дальше настаивать на нем.

— Вот в этом вы ошибаетесь, господин Гратъен: я буду настаивать, и я еще достаточно хорошего мнения о вас, чтобы надеяться, что мои просьбы не будут напрасными.

— В таком случае позвольте мне вам ответить, сударь, что то, о чем вы просите, невозможно.

— Нет ничего невозможного, господин Гратьен,— продолжал настаивать шевалье,— когда человек стоит перед лицом долга. Я кое-что об этом знаю; я, который говорю вам об этом. Послушайте, несколько лет назад я не мог без содрогания выносить вид обнаженной шпаги; выстрел из ружья или пистолета заставлял меня вздрагивать; я в испуге бежал от всего, что грозило нарушить размеренный ход моей жизни. И вот я здесь, с вами, в такое время еду в этом скверном дилижансе, сидя спиной к дороге, что, сознаюсь, мне особенно неприятно, и все это вместо того, чтобы мирно спать в своей уютной постели; но я готов вынести еще больше, и все это потому, что меня позвал мой долг. Вы молоды, сударь, и вам по силам бестрепетно преодолеть множество других препятствий.

Гратьен собирался что-то ответить, но Лувиль не дал ему на это времени.

— Послушайте, дорогой мой! но вы сошли с ума! если только не... Ну, да, слушайте, вот он, выход. Раз замужество мадемуазель Терезы кажется вам столь неотложным делом; раз, на ваш взгляд, необходимо, чтобы у ребенка было имя, почему бы вам самому не жениться на матери и не признать ребенка своим?

— Если бы препятствия физического порядка, о которых я вправе вам не сообщать, не запрещали бы мне подобные мысли, то после отказа, господина Гратьена я только и думал бы об этом.

— Тысяча чертей! Вы человек старой закалки! — заметил Лувиль.

— Извините, сударь,— сказал Гратьен,— только что вы отметили все препятствия и вот теперь ссылаетесь на одно из них. Почему же вы имеете на это преимущественное право, почему эта монополия принадлежит только вам?

— Предположим, есть две причины: или я уже могу быть женат, или же очень близкая степень родства связывает меня с Терезой; ведь ни в том, ни в другом случае я не могу стать ее мужем?

— Согласен.

— В то время как вы, вы — холостяк и человек, никак не связанный по крайней мере кровными узами с молодой девушкой, о которой мы заботимся.

Гратьен замолчал.

— Ну, что же, давайте хладнокровно обсудим, господин Гратьен, что вам помешало бы остаться порядочным человеком, но не в глазах ваших друзей, а в ваших собственных. Почему вы отказались жениться на молодой девушке, которую вы достаточно сильно любили, если решились совершить по отношению к ней поступок, весьма похожий на преступление, и таким образом, признать этого ребенка, отцом которого, благодаря ей, вы скоро станете? Уверен, что вы ничего не имеете против внешности трой, которую я упорно продолжаю считать вашей будущей супругой.

— Да, это так, — ответил Гратьен.

— Подумаешь, смазливая мордашка! — заметил Лувиль.

— Что касается характера, то невозможно встретить женщину более нежную и ласковую, и я вам клянусь, что она будет так признательна за то, что вы сделаете для нее, что это чувство займет в ее душе место любви, которую она не способна испытывать к вам.

— Но это же гризетка!

— Мастерница, сударь, а это не всегда одно и то же; простая мастерница, да, это так; но я, который кое-что в этом понимаю, я нахожу, что многие из нынешних великосветских дам не обладают таким врожденным изяществом и природной утонченностью, которые я заметил у этой мастерницы. И, безусловно, после нескольких месяцев жизни в свете Тереза станет замечательной и весьма заметной дамой.

— Договорились, — вскричал Лувиль. — У нее двадцать пять тысяч ливров ренты, помещенных в ее достоинства.

— Но моя семья, сударь, — сказал Гратьен, — моя семья, такая знатная и богатая, неужели вы допускаете, что она когда-нибудь согласится, если я вдруг приму ваше предложение, согласится признать подобный союз?

— А кто вам сказал, что семья Терезы менее знатна и богата, чем ваша?

— Позволь ему договорить, Гратьен, — вмешался Лувиль, — и на наших глазах сию минуту Тереза превратится в герцогиню, которая занималась шитьем ради своего удовольствия.

— Я скажу больше, сударь, — продолжал шевалье, — кто вам сказал, что Тереза не является наследницей состояния, которое по меньшей мере равно вашему?

— Черт! — сказал Гратьен с озабоченным видом, — если это так...

— Ну, вот еще! — горячо вскричал Лувиль, — мне кажется, зараза завладела и вами: вы становитесь безумным, Гратъен; еще более безумным, клянусь, чем этот простак, что говорит с вами! Но я, к счастью, я здесь, и я не позволю вам запутаться еще больше. Ответьте же ему раз и навсегда твердым и решительным «нет», чтобы он дал нам спокойно выспаться и проваливал к дьяволу вместе со своей инфантой и их собакой!

И как бы в качестве заключительной части своей речи Лувиль пнул ногой Блэка, к которому, как мы помним, он никогда не питал особого расположения.

Блэк издал болезненное повизгивание.

Этот пинок рикошетом пришелся в самое сердце де ля Гравери.

— Сударь, — сказал он Лувилью, — до сих пор ваша речь была речью глупца; но ваш поступок обличает в вас жестокого и невоспитанного человека. Кто бьет собаку, тот замахивается на хозяина!

— Я ударил вашего пса, потому что он мешал мне, вертась у меня между ног. И послушайте, я сейчас в самом деле вызову кондуктора и прикажу ему исполнить предписания. Собаки не имеют права находиться в мальпосте.

— Думесниль... я хотел сказать, мой пес, в сто раз больше имеет право находиться здесь, чем вы, сударь; а вы только что ударили моего бедного друга ногой; за это вам пришлось бы дорого заплатить, если бы у меня не было важного дела лично к господину Гратъену и если бы я не поклялся самому себе, что ничто не отвлечет меня от моей цели.

Затем он сказал, обращаясь на этот раз к Гратъену:

— Давайте положим этому конец, сударь; так как эта дискуссия, — прошу вас верить мне, чтобы проникнуться чуть большим расположением к моей особе; ведь я дворянин, — так вот эта дискуссия нравится мне не больше, чем вам. Желаете ли вы, да или нет, вернуть этой молодой девушке ее честное имя, похищенное вами?

— На поставленный таким образом, сударь, вопрос я могу вам дать лишь один ответ: нет.

— Вы покушались на бедное, одинокое дитя, не имеющее ни поддержки, ни защиты! Вы прибегли к недостойной уловке, чтобы восторжествовать над ней! И все же я еще остаюсь достаточно хорошего мнения о вас, сударь; я не хочу верить, только потому, что вы на первый раз сказали «нет», что вы решились, как трус, оставить

мать наедине с ее отчаянием и выбросить вашего ребенка на улицу на милость официального милосердия и людского сострадания.

— Сударь,— вскричал Гратьен,— вы только что здесь утверждали, что вы дворянин; я тоже дворянин и, как таковой, привык уважать старость; но никогда это уважение не дойдет до того, что я позволю себя оскорблять. В том, что вы сказали, есть одно неуместное слово; прошу вас взять его обратно!

И в самом деле, Гратьен произнес эти слова, как истинный дворянин.

— Да, сударь,— сказал шевалье, который понимал, что зашел слишком далеко и что «трус» — это одно из тех слов, которое не в состоянии вынести военный,— да, я возьму обратно все, что вам будет угодно; но умоляю вас, в свою очередь, сделайте то, о чем я вас прошу! Если бы вы знали, сколько она страдала, бедняжка Тереза! если бы вы знали, как мало она создана для страданий! она такая чуткая, добрая, нежная, славная! О! вы никогда не раскаетесь в том, что совершите это доброе дело. Если вам нужно имя, то я найду ей имя, сударь, достойное и всеми уважаемое,— мое имя. Если вам необходимо состояние, дабы наслаждаться жизнью, я отдам вам все, что у меня есть, и оставлю себе лишь крохотную пожизненную ренту; вы сами установите ее размеры; я удовольствуюсь тем, что вы милостиво пожелаете мне оставить. Я буду жить, радуясь вашему счастью; вы мне позволите время от времени видеть ее, и нам этого будет достаточно... Не правда ли, Блэк? не правда ли, мой старый друг? Послушайте, господин Гратьен, вот здесь, на коленях, несчастный старик закликает вас... и, умываясь слезами, обращает к вам свои мольбы!

Шевалье на самом деле сделал такое движение, будто собирался упасть на колени; Гратьен остановил его.

— В самом деле,— сказал Лувиль,— этот господин предлагает тебе довольно привлекательную сделку, и на твоём месте, Гратьен, я подумал бы над этим предложением.

Шевалье почувствовал, куда нацелен намек, который так коварно бросил лейтенант, и повернулся в его сторону.

— А! сударь, разве недостаточно, что ваши советы содействовали несчастью Терезы; вы еще и противитесь тому порыву раскаяния, который может зародиться в сердце вашего друга? Что же такого сделало вам невин-

ное дитя, что вы ко всему еще стараетесь помешать господину Гратьену искупить ту ошибку, которая, говоря по справедливости, в большей степени лежит на вашей совести, чем на его?

Но, к несчастью, эффект уже был произведен.

— Возможно, в ваших словах, сударь, и есть доля истины,— начал Гратьен,— и я не буду скрывать от вас, что они меня тронули; но рассудок должен преобладать над всеми другими соображениями, и, как следует все обдумав, я не женюсь на мадемуазель Терезе.

— Это ваше окончательное решение?

— Да, это мое окончательное решение, сударь. Я не женюсь на девушке бедной и сомнительного происхождения, и я не пойду на сделку; ваша протезе подпадает либо под то, либо под другое определение, третьего ей не дано, а я одинаково отвергаю обе эти альтернативы.

Шевалье закрыл лицо руками.

Он задыхался от горя и не настолько владел собой, чтобы подавить его.

— Ваши страдания причиняют мне боль, сударь,— продолжал Гратьен,— но поскольку они никак не могут повлиять на мое окончательное и бесповоротное решение, я полагаю, что будет лучше, если я уступлю вам место. Мы сейчас на станции, нам меняют лошадей; я пойду попрошу курьера взять меня к себе.

Действительно, почти в тот же момент карета остановилась, и молодой человек спустился; шевалье не успел произнести ни слова и не сделал ни одного движения, чтобы задержать его.

— А теперь, сударь,— сказал Лувиль, натягивая свой плащ на лицо,— я полагаю, что пришло время пожелать друг другу спокойной ночи; я, со своей стороны, постараюсь, обещаю вам это, наверстать то время, которое упустил по вашей вине.

— И все же позвольте мне еще раз злоупотребить той снисходительностью, доказательства которой вы мне давали столько раз, сударь,— с иронией произнес шевалье,— я прошу вас сообщить мне адрес вашего друга

— Зачем?

— Я хочу попытаться еще раз тронуть его сердце.

— Бесполезно! Он же сказал вам, что его решение бесповоротно.

— И все же, я возобновлю свою попытку, сударь; отец никогда не устанет просить за свое дитя, а Тереза для меня почти как дочь.

— Но я, я же вам говорю, что это бесполезно.

— Хорошо, сударь, тогда я попрошу ваш.

— Мой? Мне кажется, вам не на ком заставить меня жениться.

— Сударь, заметьте, я настаиваю на том, чтобы получить вашу визитную карточку.

— Тысяча чертей! Вы говорите мне это почти с вызывающим видом; уж не покойный ли вы господин Сен-Жорж случаем?

— Нет, сударь, я всего лишь несчастный простак, который ненавидит ссоры и дуэли и не выносит крови, и если мне когда-нибудь придется пролить кровь моего ближнего, то могу вам поклясться, это будет против моей воли.

— Тогда спите спокойно, мой дорогой господин, и не мучьте меня лишний раз из-за какого-то кусочка бумаги, который вам совершенно ни к чему не пригодится, принимая во внимание ваше мирное расположение духа.

После чего Лувиль откинул голову в угол кареты, и через некоторое время звучный храп молодого офицера слился со стуком колес.

Что касается де ля Граверн, то он не мог заснуть и провел остаток ночи в размышлениях о том, что скажет своему брату, перед которым предстанет через несколько часов, а также в раздумьях, где и каким образом отыскать следы, проливающие свет на рождение Терезы. И он настолько был погружен в эти мысли, что несмотря на весь тот ужас, который внушала ему езда спиной к кучеру, он даже не помыслил занять место, пустовавшее после ухода Гратьена.

На следующий день в пять часов карета въехала во двор почтовой станции Парижа. Там шевалье и его два спутника вновь оказались рядом друг с другом.

Шевалье еще раз охотно попытался бы завести разговор о Терезе, прежде чем ее соблазнитель удалится; но Лувиль опередил его, он взял Гратьена под руку, и они оба вышли, сопровождаемые посыльным, несшим их багаж.

— Экипаж! — потребовал шевалье.

Ему подали фиакр.

Рассыльный, заметив чемодан у ног шевалье, поставил его рядом с кучером и получил от де ля Граверн, занятого своими мыслями, двадцать су за свои труды.

Шевалье заставил Блэка первым запрыгнуть в фиакр, а затем и сам сел рядом с ним, дрожа от холода; бедня-

га уехал без пальто, а утренняя свежесть весьма явственно давала себя знать.

— Куда вас отвезти, буржуа? — спросил кучер.

— На улицу Сен-Гийом, предместье Сен-Жермэн, — ответил шевалье.

Глава XXX

КАК БАРОН ДЕ ЛЯ ГРАВЕРИ ПОНИМАЛ И СЛЕДОВАЛ ЗАВЕТАМ ЕВАНГЕЛИЯ

Хотя было всего лишь половина шестого утра, у де ля Гравери даже и мысли не мелькнуло о том, чтобы отложить свой визит к брату на более позднее время.

Подобно всем людям, которым трудно дается какое-либо решение, шевалье, однажды выйдя из своего безмятежного спокойствия, больше не желал ни ждать, ни терять время.

Впрочем, вопросы, которые он собирался задать барону, представлялись ему столь важными, что он нисколько не сомневался в том, что все двери отеля де ля Гравери немедленно распахнутся перед ним.

Барон жил на улице Сен-Гийом, в одном из этих огромных дворцов, чьи размеры обычно никак не гармонируют с убогой роскошью и скаредными нравами их теперешних обитателей.

Фиакр шевалье остановился перед величественной аркой ворот из двух толстых дубовых створок, по одной из них кучер несколько раз ударил тяжелым молотком.

Но из отеля не доносилось ни звука.

Кучер возобновил свои призывы, заботясь о том, чтобы его удары с каждым разом звучали все громче и громче, и, наконец, из помещения, построенного справа от ворот, донесся визгливый голос, который, следуя старым традициям, долго препирался, прежде чем решиться потянуть за веревку.

Шевалье воспользовался моментом, чтобы проникнуть через приоткрывшиеся ворота во двор; он рассчитался с кучером, свистом подозвал Блэка, тут же принявшегося исследовать местность, и обратился к голове в домашнем колпаке, странным образом освещенной фантастическим пламенем какого-то огарка свечи, который костлявая рука протягивала в форточку, чтобы увидеть черты раннего посетителя.

— Могу я видеть барона де ля Гравери?

— Как вы сказали? — переспросил или переспросила голова.

Шевалье повторил свой вопрос.

— Ах, вот оно что! Но вы сошли с ума, любезный сударь! — закричала голова. — Позвольте сначала поинтересоваться у вас, который час.

Шевалье наивно вытащил свои часы и наярнул всю силу своих глаз, чтобы они могли хоть что-нибудь разобрать в таких сумерках.

— Шесть часов, любезный сударь или любезная сударыня, — сказал шевалье. — Ваша свеча так плохо светит, что я не мог бы с полной уверенностью сказать, к какому полу вы принадлежите и с кем именно я имею честь разговаривать: с привратником или с привратницей моего брата.

— Как! вы брат господина барона? — воскликнула голова с нотками удивления в голосе, сопровождая свои слова не менее удивленным жестом. — Но невозможно, сударь, невозможно! Кучер встает только в семь часов; камердинер господина барона просыпается не раньше восьми; наконец, он имеет право войти к господину барону лишь в десять, но прежде чем туалет вашего брата будет закончен, прежде чем наш хозяин будет выбрит, напудрен и одет, пройдет еще по крайней мере около часа! Вот как обстоят дела. Черт! вам надо смириться с вашей участью и набраться терпения. Входите же, сударь, входите!

При этих словах, которые она посчитала заключительными и которые таковыми и были на самом деле, голова исчезла из форточки, и та закрылась.

Но почти в тот же миг запахнулась дверь и предложила шевалье гостеприимство привратницей, откуда на него пахнуло теплым и тошнотворным воздухом.

— Однако, — настаивал шевалье, не отваживаясь переступить порог строения, — мне надо обсудить с моим братом весьма неотложные вопросы, имеющие огромную важность.

— Поступить так, как желает этого сударь, значило бы подвергнуть себя риску потерять это место. Господин барон очень строг во всем, что касается этикета. Ослушаться его приказа! А! об этом и речи быть не может!

— Хорошо, договорились, славная женщина, ведь, несомненно, вы женщина, всю ответственность я беру на себя... И, послушайте, вот вам для начала луидор, чтобы

возместить все те неприятности, которые ваша снисходительность может вам причинить.

Привратница протянула руку, чтобы завладеть золотым, как вдруг со стороны двора послышался грохот опрокинутых досок, к которому примешивался безудержный, захлебывающийся лай и предсмертные крики птицы.

Привратница одним прыжком выскочила из своего помещения во двор, закричав:

— О! Господи! Что случилось с кохинхинами господина барона?

Шевалье же, не видя Блэка рядом с собой, вздрогнул, инстинктивно догадавшись, что случилось.

Действительно, не успела привратница сделать и трех шагов по двору, как спаниель вернулся к хозяину, держа в пасти огромного петуха, чья повисшая и болтающаяся вправо-влево, подобно маятнику на часах, голова красноречиво свидетельствовала, что он уже перешел в мир иной.

Это на самом деле был, как правильно сказала привратница, петух кохинхинской породы, тогда только-только появившейся и входившей в моду.

Шевалье взял петуха за лапы, длинные, как ходули, и с восхищенным любопытством стал его рассматривать, в то время как Блэк влюбленными глазами смотрел на свою жертву и, казалось, бесконечно был восхищен сотворенным им шедевром.

Но привратница, похоже, вовсе не была расположена разделить восхищение одного и удовлетворение другого; она принялась издавать душераздирающие крики, перемежая их с мольбами и заклинаниями на античный манер.

От этих криков осветились все окна, и в каждом из них появились головы, причудливо одетые кто в «мад-рас», кто в домашний колпак, а кто с индейской повязкой на лбу; но, впрочем, все они были примечательны тем, что несли на себе печать старого режима.

Это была челядь господина барона.

Каждая голова издавала звуки самой различной тональности; и все эти голоса одновременно осведомлялись о том, что могло стать причиной подобной суматохи и потрясывать стольких достойных людей в разгар их отдыха.

В результате поднялся страшный гвалт, но он вскоре был перекрыт звоном ручного колокольчика.

В тот же момент из всех уст вылетела следующая

фраза; причем согласованность этого ансамбля сделала бы честь статистам какого-нибудь бульварного театра:

— А! вот и господин барон проснулся.

И весь этот ужасный шум стих как по волшебству; это позволило шевалье составить высокое мнение о той твердости, с которой барон управлял своим домом.

— Ну, мадам Вильхем,— сказал камердинер барона, срывая ночной колпак и обнажая свой лысый череп, гладкий и блестящий, как слоновая кость,— идемте, расскажите лично господину барону, что произошло, и объясните ему, каким образом посторонние лица могли оказаться в доме в этот час ночи.

— Я никогда на это не осмелюсь,— ответила бедная привратница.

— Ладно, я пойду сам,— сказал шевалье.

— Кто вы такой? — спросил камердинер.

— Кто я? Я шевалье де ля Гравери и пришел повидаться с моим братом.

— А! господин шевалье,— вскричал камердинер.— Тысяча извинений, что позволил себе говорить с вами в столь неподобающем тоне! Позвольте, я накину на себя что-нибудь и тогда буду иметь честь проводить вас к вашему брату.

Через несколько минут старый слуга появился в дверях вестибюля, куда, после бесчисленных извинений, впустил шевалье.

Он предложил ему следовать за собой и повел по широкой лестнице из тесаного камня с оградой из кованого железа, пересек анфиладу комнат, мебель в которых, прежде позолоченная, теперь из экономии была выкрашена в белый цвет, осторожно постучал в последнюю дверь, открыл ее и торжественно возвестил, так, будто докладывал о визите иностранного посла к министру:

— Господин шевалье де ля Гравери!

Кровать, на которой лежал барон де ля Гравери, выглядела весьма скромно и полностью была лишена какого-либо полога. Как все дворяне, прошедшие суровую школу эмиграции, барон приобрел привычку презирать жизненные излишества, то есть то, что сегодня называют комфортом.

Комод, секретер красного дерева, ночной столик с раздвижной дверцей да еще кровать составляли всю обстановку его комнаты.

На камине возвышалась медная лампа Карсея, по обе стороны которой стояли два серебряных подсвечни-

ка и два рожка французского фарфора; вокруг зеркала висели разнообразные медальоны с портретами короля Людовика XVIII, Карла X и монсеньера дофина.

Этим и ограничивалось все убранство комнаты, холодной и голой, совершенно не соответствующей истинному положению ее хозяйни и великолепию окружавшей его челяди.

В тот момент, когда камердинер докладывал о шевалье, барон приподнялся, опершись на локоть, правой рукой поправил «мадрас», сползший ему на глаза, и без каких-либо иных дружеских проявлений воскликнул:

— Откуда вас, черт возьми, принесло, шевалье?

Затем после паузы, словно повинуюсь чувству приличия, добавил:

— Жасмин, подайте табурет моему брату.

Бедняга шевалье оледенел от подобного приема. Он не видел старшего брата вот уже пятнадцать лет, и, как бы тот ни поступал в свое время по отношению к нему, шевалье, несмотря ни на что, испытывал глубокое волнение, находясь рядом с человеком, чья жизнь зародилась в том же чреве, что и его; и вся кровь прилила у него к сердцу, когда он понял, как мало значения барон де ля Гравери придавал жизни или смерти своего младшего брата.

Поэтому всю инициативу в этом разговоре он представил барону.

И барон воспользовался этим.

— Но черт побери! как вы изменились, мой бедный шевалье! — произнес барон, оглядев своего брата с головы до ног с холодным любопытством, полностью лишенным интереса.

— Я не могу вам ответить тем же, брат, — сказал Дьедонне, — так как нахожу, что вы сами, ваше лицо и ваш голос остались прежними, такими же, как в день моего отъезда.

Действительно, для барона де ля Гравери, неизменно сухого и костистого, с ранними морщинами на лице, годы, легшие ему на плечи, прошли бесследно. Живя без каких-либо забот, подобно глубоко эгоистическим натурам, он не добавил к своим рано появившимся морщинам ни одной новой, к своим преждевременно поседевшим волосам ни одного нового седого волоса.

— Но что вас привело, брат мой? — повторил барон. — Так как я утверждаю, что по меньшей мере пондобился очень веский повод, чтобы вы решились пере-

ступить мой порог в столь неурочный час. Откуда вы приехали? Мой нотариус, у которого я порой справляюсь о состоянии ваших дел и одновременно о вашем здоровье, сообщил мне, что вы проживаете, по-моему, в Шартре-ан-Бюс или в Мо-ан-Бри.. я не очень хорошо помню.. Нет, по-моему, это в Шартре, не правда ли?

— Действительно, брат мой, я живу в Шартре.

— Итак, чем там заняты? Много ли там здравомыслящих граждан? Многочисленны ли сторонники Филиппа Орлеанского? В Париже, мой бедный Дьедонне, общество загнивает; «Газетт де Франс» сдает свои позиции, Шатобриан и Фиц-Джеймс стали либералами, а число людей благородного происхождения сокращается. Увы! мы живем с вами в плачевную пору! Представьте себе, недалеко как вчера, «Котидьен» опубликовала имена вельмож, людей, чьи отцы и деды пользовались привилегией ездить в каретах короля и которые не постыдились стать промышленниками! Герцоги, маркизы превратились в торговцев железом и углем... мыслимо ли это!

— Брат,— сказал шевалье,— если вас это интересует, то мы еще поговорим об общественных делах, но в данный момент я хотел бы обратить ваше внимание на вопросы личного характера, приведшие меня сюда.

— Хорошо, хорошо,— ответил несколько задетый барон.— Давайте говорить о чем вам будет угодно. Но что там шевелится рядом с вами в темноте?

— Это моя собака, брат, не обращайтесь внимания.

— А с каких же пор, мой дорогой, визиты старшему брату наносят в сопровождении подобного эскорта? Собаку должно держать на псарне, а когда ею хотят воспользоваться или показать знатокам, если она чистой породы, то в этом случае следует приказать псарю привести ее, это его обязанность. Она испачкает мой ковер.

Ковер барона де ля Гравери, запомните это хорошенько, со всех сторон был уже вытерт до основы и, похоже, до сих пор весьма безразлично относился к разного рода пятнам.

— Ни о чем не беспокойтесь, брат,— смиренно ответил шевалье, сознававший, как для него важно не раздражать своего старшего брата,— не обращайтесь внимания на Блэка: он очень ухоженный, очень чистый пес, и если я его привел с собой, то лишь потому, что он редко расстается со мной. Эта собака, это... это мой друг!

— У вас странная манера заводить дружбу с подобным существом!

Шевалье испытывал огромное желание ответить, что, судя по тому, как люди, связанные братскими узами, относятся друг к другу, вряд ли можно что-то проиграть, если ищешь взаимопонимания и любви у животных; но он устоял перед искушением и промолчал.

Но, к сожалению, между Блэком и бароном де ля Гравери еще не все было кончено.

— Но, шевалье,— произнес последний,— взгляните, что ваша чертова собака держит между лап.

Шевалье так резко повернулся в сторону Блэка, что тот подумал, будто хозяин приглашает его подойти к себе, и, взяв в зубы петуха, о котором все забыли, когда раздался неистовый звонок барона, он вступил в круг света, очерченный вокруг кровати, держа в пасти несчастную птицу, задушенную им во дворе.

Таково было предназначение бедного Блэка: душить и приносить добычу своему хозяину; выполнив свои обязанности, он полагаг, что заслуживает похвалы.

При виде мертвого петуха барон, конвульсивно выпрямившись, сел в постели.

— Черт побери! — закричал он.— Хорошеньких дел натворило здесь ваше глупое животное: петух-кохинхинец, которого я выписал из Лондона и который обошелся мне в двенадцать пистолей! Даже не знаю, почему я не зову своих людей и не приказываю им сию же минуту повесить это гнусное животное.

— Повесить Думесниля! — завопил шевалье, совершенно выведенный из себя этой угрозой.— Хорошенько подумайте, брат, прежде чем отдать подобный приказ! Я сказал вам, что эта собака мой друг, и я буду ее защищать хоть ценою смерти.

Бедный шевалье, услышав угрозу своего брата, одним прыжком вскочил на ноги; и, в свою очередь, грозя ему в ответ, всю потрясал своим табуретом, как будто уже находился перед лицом врага.

Его воинственная реакция сильно поразила барона, который всегда считал его всего лишь мокрой курицей, как он сам говорил.

— Вот так так! но какая муха укусила вас, брат? — воскликнул барон.— Я раньше не замечал за вами подобных героических порывов. Знаете ли вы, что вы столь же опасный гость, как и ваша собака? Ну, давайте,— продолжал он, бросив взгляд на несчастного петуха, которого Блэк положил на пол, как будто приготовясь подержать в случае надобности своего хозяина,— давайте,

рассказывайте мне побыстрее, о чем идет речь, и покончим с этим.

Шевалье поставил свой табурет, сделал Блэку знак вести себя спокойно; и после минутного молчания, собравшись с силами, сказал:

— Брат, я желал бы получить известия о мадам де ля Гравери.

Если бы за окнами раздался гром, то барон был бы поражен этим не больше, чем неожиданным вопросом, вылетевшим из уст шевалье.

— Известия о мадам де ля Гравери?—вскричал он.— Но мне кажется, дорогой Дьедонне, если вы ждали до этого дня, чтобы узнать о ней, то теперь, по правде говоря, вы несколько поздновато беретесь за это.

— Да, брат,— смиренно ответил шевалье,— да, признаюсь, что с моей стороны было бы более уместным попытаться выяснить, что стало с Матильдой сразу после моего возвращения во Францию, но что вы хотите! другие заботы ..

— Вне всякого сомнения заботы о вашей персоне: судя по тому, что мне рассказывали о вас, а также по вашей цветущей физиономии и жирку, свисающему со всех боков и заставляющему трещать по швам вашу одежду, легко догадаться, что, если вам была безразлична судьба вашего брата и вашей жены, то уж заботами о своем желудке вы не пренебрегали.

— Довольно, брат, отбросим в сторону все упреки, сегодня, сию минуту, я желаю знать, что стало с Матильдой после моего отъезда в Америку.

— Господи, ну что я могу вам сказать? я и видел-то ее всего один раз, когда потребовалось уладить то дело, которое вы мне поручили, и должен признаться, что нашел ее гораздо более сговорчивой, чем ожидал. Это создание вовсе не было лишено здравого смысла; она тут же поняла, в какое исключительное положение ее поставил допущенный ею проступок, и с готовностью согласилась па то, что я в качестве главы семьи обязан был потребовать от нее.

— Но в конце концов, что это были за условия, которые вы посчитали себя обязанным поставить ей?—вскричал шевалье, с удовлетворением отмечавший, что его брат опережает те вопросы, которые он рассчитывал ему задать

К несчастью, барон был лучшим дипломатом, чем шевалье; по напряженному выражению лица своего млад-

шего брата он догадался, что за его вопросом что-то скрывается, и на всякий случай решил ни слова не говорить о том, что произошло когда-то между ним и его невесткой.

— Бог мой,— с простодушным видом произнес он,— в этот час я и вспомнить-то ничего не могу: насколько мне помнится, это было обещание более не носить вашего имени, а также согласие, что ваше состояние перейдет ко мне, если вы умрете бездетным.

— Но,— спросил шевалье,— как же Матильда, будучи беременной, могла решиться подписать этот документ, обрекавший ее ребенка на нищету?

— Та легкость, с которой она на это согласилась, могла бы вам доказать, если вы все еще в этом сомневаетесь, сколь справедливыми и обоснованными были выдвинутые против нее обвинения; ведь она даже не осмелилась отстаивать то, что должна была расценивать как наследственное имущество своего ребенка.

— А этот ребенок? Что с ним случилось? — спросил шевалье, решительно приступая к интересовавшему его вопросу.

— Этот ребенок? спросите лучше, известно ли мне, что он вообще был? Неужели вы полагаете, что я могу позволить себе тратить время, следя за любовными похождениями этой распутницы? Она где-то родила, где не знаю; два года спустя она скончалась. Здесь у меня в бюро лежит свидетельство о ее смерти. Возможно, все дело ограничилось выкидышем; так как у меня не вызывает сомнения, что если этот плод греха был бы жив, то тогда не преминули бы обратиться к моему всем известному милосердию с просьбой помочь этому несчастному малышу или малышке.

— Так вот, брат, вы ошибаетесь,— сказал шевалье, задетый той бесцеремонностью, с которой его брат отзывался о женщине, так когда-то им любимой.— Роды были вполне нормальными и удачными; ребенок жив, это взрослая и красивая девушка, которая, уверяю вас, является живым портретом своей матери.

Инстинктивно догадываясь, что наносит своему брату самый болезненный удар из всех, что мог бы ему нанести, шевалье представил как вполне очевидное то, в чем он еще сомневался.

Несмотря на изворотливость ума и самоуверенность, барон не мог совладать с собой и побледнел.

— Какая-нибудь молоденькая плутовка, которая рас-

считывает злоупотребить вашей доверчивостью, брат! так как то, что вы мне здесь рассказываете, просто невозможно.

Тогда шевалье во всех подробностях поведал историю своего знакомства с Терезой.

Это было ошибкой!

Барон дал ему рассказать все до конца; затем, когда тот закончил, пожал плечами.

— Я вижу,— сказал он,— что годы, если и изменили ваш внутренний мир и разнесли ваше тело, то они оставили совершенно прежним ваш разум, мой бедный Дьедонне. Вы сошли с ума! У Матильды не осталось ребенка, я уверяю вас в этом.

Какие бы сомнения ни испытывал на этот счет сам шевалье, он не хотел отступать от своих слов.

— Извините, брат,— сказал он,— но, несмотря на все почтение, которое я питаю к вам как к старшему брату, позвольте мне думать, ваше утверждение не восторгается над моей ..

Он собирался сказать над моей уверенностью; но его честная натура воспротивилась этой лжи; после минутного молчания он ограничился следующим определением:

— Над моими предположениями...

— Я лично, напротив, думаю, что у Матильды остался ребенок, и я почти уверен, что этот ребенок — это та девушка, о которой я вам только что говорил.

— Сударь, но я хоть полагаю, что у вас нет намерения ввести эту самозванку в нашу семью?

— Да, сударь,— ответил шевалье, возмущенный эгоизмом своего брата,— я намереваюсь дать свое имя моему ребенку сразу же, как только смогу доказать обществу, как доказал уже самому себе, что Тереза моя дочь.

— Ваша дочь! вероятно, вы шутите: она — дочь лейтенанта Понфарси!

— Моя дочь или дочь моей жены, как вам это будет угодно, брат. Послушайте, в данном случае я вовсе не намерен ни идти на поводу у самолюбия, ни бояться стыда перед людьми; моя в ней кровь или нет — это не имеет значения! — Не правда ли, Блэк? Перед людьми, перед законом она будет моей дочерью. Отцом ребенка признается тот, кто состоит с женщиной в официальном браке. *Pater is est quem nuptix demonstrant*. Из всей латыни я запомнил только это, но уж эту-то фразу я выучил крепко... А сердце еще скажет свое слово. Я силь-

но любил Матильду, и она подарила мне достаточно счастья, чтобы я вознаградил ее, чтобы я, пусть даже дорогой ценой, купил этот живой портрет, который она оставила после себя. Так как же, брат, соблаговолите вы, да или нет, сказать мне, что вам известно обо всем этом?

— Повторяю, сударь,— сказал брат,— я ничего не знаю, абсолютно ничего. Но даже, если бы мне и было что-то известно, я бы ни слова вам больше не сказал. Это мне, как старшему, как главе семьи, надлежит охранять честь имени, которое я ношу, и я не желаю, чтобы оно было скомпрометировано вашими безумствами.

— В этой жизни имя — это еще не все, брат мой, и часто мы повинuemся предрассудкам и условностям общества, забывая о евангельских заветах и заповедях нашего Спасителя.

— Итак,— вскричал барон, который, вновь резко выпрямившись, сел в постели, скрестив руки и качая головой в такт каждому произносимому им слогу,— итак, вы ждете лишь доказательства, подтверждающие происхождение этой девочки, и тогда забудете, что ее мать обесчестила ваше имя и разбила вашу жизнь; что она принесла вам мучения и заставила бежать из страны? Ну, так слушайте, вот вам новое доказательство недостойного поведения этой женщины. Вы до сих пор думали, что господин де Понфарси был единственным ее любовником; так вот, отнюдь! у нее их было двое. Но кто же этот второй? Попробуйте угадайте! Это капитан Думесниль, этот Орест, чьим Пиладом вы были!

— Я знал об этом,— просто сказал шевалье.

Барон в ужасе откинулся назад, вдавив подушку в изголовье кровати.

— Вы знали об этом? — вскричал он.

Шевалье утвердительно кивнул головой.

— Что же, доказывайте свое отцовство; распутайте, если сможете, этот клубок супружеской измены; даруйте свое прощение, если только осмелитесь на это.

— Я прощу, потому что это больше, чем мое право, брат: потому что это мой долг.

— Как вам угодно! но я скажу вам следующее, сударь: следует быть беспощадным к тем, чьи преступления, дурно влияющие на нравственность общества, завели нас в ту пропасть, в которой мы находимся.

— Вы забываете, брат, вы, считающий себя тем не менее верующим человеком, вы забываете, что Христос сказал: «Пусть тот из вас, кто без греха, бросит в нее

камень первым». О ком здесь идет речь, спрашиваю я вас, если не о прелюбодейке, не о неверной жене, не о Матильде еврейского племени?

— А! вы желаете толковать Евангелие в буквальном смысле? — вскричал барон.

— Впрочем, брат, — спокойно произнес шевалье, — дабы не впутывать Евангелие во всю эту историю, я скорее предпочел бы, чтобы мадемуазель Тереза — даже если предположить, что она всего лишь мадемуазель Тереза — стала мадемуазель де ля Гравери, чем думать, что мадемуазель де ля Гравери могла бы остаться мадемуазель Терезой.

— Сделайте из нее монахиню; выделите ей приданое из ваших доходов, раз уж вы так интересуетесь судьбой этой отверженной!

— Для счастья Терезы необходимо, чтобы у нее было имя, и как раз имени, законно признанного всеми, я и добиваюсь для нее.

— Но, черт побери! Сударь, задумайтесь, что в тот день, когда она получит ваше имя, она получит также и ваше состояние.

— Я это знаю.

— И вы осмелитесь ограбить вашу семью, обездолжить моих сыновей, ваших законных наследников, ради того, чтобы бросить ваше состояние к ногам ребенка, чьим отцом вы не являетесь, чьим отцом вы являться не можете?

— Какие тому доказательства?

— Да даже то самое письмо, которое я хотел вручить вам в тот день, когда решился открыть глаза на недостойное поведение вашей супруги; письмо, которое Думесниль осмелился разорвать, несмотря на все мои просьбы.

— Я не прочел ни строчки из этого письма; вы должны помнить это, брат.

— Да, но я-то, я читал его и могу вас заверить, что в этом письме Матильда поздравляла господина де Понфарси с будущим отцовством и приписывала ему всю заслугу этого события.

— Вы можете поклясться мне в этом вашей честью дворянина? — спросил шевалье, который вот уже в течение некоторого времени пребывал в мечтательно-задумчивом состоянии.

— Моей честью дворянина, я клянусь вам в этом.

— Хорошо, я вам очень признателен, боат! — сказал шевалье, переводя дыхание.

— Но почему вы мне признательны?

— Благодаря вам пелена спала с моего сознания; ведь, раз я не могу признать несчастную Терезу своей дочерью, я волен принять другое решение, которое уже приходило мне в голову: я волен сделать ее моей женой и, брат мой, я вам также клянусь своей честью дворянина, что через несколько месяцев я подарю вам, слышите, в свою очередь, клянусь вам в этом, либо чудного крепыша племянника, либо очаровательную крошку племянницу.

От ярости барон подпрыгнул на постели.

— Убирайтесь отсюда, сударь! — сказал он, — уходите немедленно и не вздумайте больше появляться здесь никогда! А если вы не откажетесь от выполнения этого чудовищного, постыдного намерения, в котором имели дерзость признаться мне, клянусь честью, что употреблю все свое влияние, чтобы помешать вам.

Шевалье, который чувствовал себя все более и более независимым, не обратил на угрозы брата почти никакого внимания. Он взял свою шляпу, позвал непринужденно Блэка и, закрыв дверь, оставил барона наедине со своим задушенным петухом-кохинхином и в таком отчаянии, которое не поддается никакому описанию

Глава XXXI,

В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ПИРАТЫ С ИТАЛЬЯНСКОГО БУЛЬВАРА РУБЯТ ШВАРТОВЫ И УВОДЯТ КАРАВАНЫ

Мысль, которой шевалье де ля Гравери поделился со своим старшим братом и которая вызвала столь сильное раздражение нервной системы последнего, казалась нашему герою вполне осуществимой; поэтому, несмотря на неудачу тех шагов, которые он предпринимал вот уже по меньшей мере около двенадцати часов, шевалье выглядел весьма довольным, покидая особняк на улице Сен-Гийом.

— Один отказывается жениться на этом прелестном маленьком ангелочке, — говорил он, — другой старается помешать мне дать ей имя, которое принадлежит ей от рождения. Ну, что же, я ловко проведу их обоих! Правда был настолько неразумен, что покинул Шартр, отважился путешествовать в этом проклятом мальпосте, кото-

рый наградил меня ломотой во всех суставах, и, вероятно, я должен был бы, если бы у меня было чуть больше здравого смысла, как можно быстрее излечить ее с помощью растираний — я был так простодушен, что чуть не умер от холода под дверью этого старого сумасшедшего эгоиста, а теперь вот в такой-то час обиваю мостовые Парижа без белья, без одежды, без крыши над головой, когда так легко одновременно мог бы дать и состояние бедной Терезе, и отца ее ребенку!.. И я сделаю это, клянусь Господом! я сделаю это, а мой брат, рассчитывающий на наследство, останется с носом! Разумеется, если в глазах общества я буду носить титул ее супруга, то для нее я навсегда останусь только отцом.

На этом монолог шевалье был прерван, он услышал, что кто-то его зовет.

Он обернулся и увидел лакея своего брата, бежавшего за ним с небольшим чемоданом на плече.

— Господин шевалье, господин шевалье! — кричал тот, приближаясь к нему, — вы забыли ваш чемодан.

— Мой чемодан? — переспросил шевалье, остановившись. — Но черт возьми! у меня не было с собой никакого чемодана, насколько по крайней мере мне известно.

— Однако, сударь, — едва переводя дыхание, возразил лакей, догнав де ля Гравери, — этот саквояж поставил в углу привратничкой именно тот кучер, что привез вас. Мадам Вильхем, привратница, в этом уверена.

Шевалье взял чемодан из рук лакея, осмотрел его со всех сторон и, наконец, на верхней крышке заметил разорванную пополам карточку, на которой прочел следующее имя и адрес:

«Господин Гратьен д'Эльбэн, офицер кавалерии. предместье Сен-Оноре, № 42».

— Черт! — вскричал шевалье. — Вот это ошибка, о которой я не буду сожалеть, и теперь я уверен, что смогу найти моего знакомого, когда пожелаю.

Дьедонне поблагодарил лакея, присоединил к словам благодарности луидор, сделал знак носильщику, поставил ему чемодан на плечо и пустился в путь в поисках отсела, где бы он мог отдохнуть от дороги и волнений.

Шевалье нашел такой отель на улице Риволи.

Заняв комнату на первом этаже, чтобы не утруждать себя, поднимаясь слишком высоко, разведя в камине жаркий огонь, теплу которого он подставил свою поясницу и плечи, так что едва не поджарил их; устроив Блэка на подушках, которые без всякого стеснения снял с

дивана, обитого утрехтским бархатом и украшавшего отведенную ему комнату, шевалье лег в постель, но против всяких ожиданий и, несмотря на усталость, сон никак не шел к нему.

В то время, когда его мозг был разгорячен спором с братом, он полагал, и мы слышали, как он говорил это сам себе, что его женитьба на Терезе была бы самым простым, самым обычным и самым естественным делом на свете; но с тех пор, как случай открыл ему имя соблазнителья молодой девушки, он стал размышлять более хладнокровно, и каждый его новый довод «за» наталкивался на возражения, возмущавшие его деликатность и порядочность, самым серьезным из них было вот это:

— Действительно ли он получил неопровержимые доказательства того, что Тереза не была его дочерью, и в том случае, если бы его отцовство вдруг подтвердилось, какими бы сдержанными не были его отношения с молодой женщиной, разве этот союз не был бы глубоко безнравственным и порочным делом?

И еще, кто мог бы поручиться, что у барона нет какого либо свидетельства об этом рождении, свидетельства, которое его старший брат скрывал бы от шевалье до тех пор, пока ему это выгодно, но которое он предал бы гласности ради мести в тот день, когда это свидетельство могло бы вызвать скандал по поводу кровосмесительного союза.

При мысли об этих двух помехах, которые угрожающе маячили в глубине его рассудка, а быть может, и сознания, к шевалье быстро вернулись вся его нерешительность, все его опасения и тревоги. Он решил не отбрасывать окончательно этот план, который казался ему славным Дамокловым мечом, занесенным над головою старшего брата, но в то же время он пришел к мысли сделать все необходимое, несмотря на свою привычку к лени и тягу к покою, испробовать все средства, чтобы любовь бедной Терезы имела другой исход.

Будучи страшно взволнован, Дьедонне то так, то этак вертелся в кровати и в конце концов, опасаясь таким образом заработать себе новую ломоту во всех суставах: шевалье решил встать.

Он оделся, кое-как скрыл под своим жилетом, застегнув его до самого верха, сомнительную свежесть и чистоту рубашки и вышел в надежде, что на свежем воздухе у него, возможно, родятся новые идеи, которых ему не доставало, пока он сидел, закрывшись в гостиничном номере.

Мы говорили, что де ля Гравери по сути своей был фланером и, несмотря на серьезные заботы, свалившиеся ему на плечи, он обнаружил на улицах Парижа, по которым он ходил вот уже семнадцать или восемнадцать лет, слишком много предметов, вызывающих любопытство и переключающих его мысли на другой лад.

Во-первых, это были омнибусы, изобретение совершенно новое для де ля Гравери, который разглядывал их с любопытством.

Затем шли разного рода торговцы, магазинчики с товарами на любой вкус, кафе, роскошь которых с некоторого времени достигла размеров, вызвавших изумление у бедного шевалье, и которые на каждом шагу заставляли его в восхищении замирать на тротуаре.

Блэк среди всей этой суматохи и толкотни казался не менее растерянным, чем де ля Гравери; он бежал взад-вперед с ошарашенным и испуганным видом, толкаемый одними, останавливаемый другими, каждые пять минут теряя своего хозяина, и тогда в поисках его он обшаривал всю улицу, бегая с высоко поднятой головой, держа нос по ветру, заходя во все двери, которые находил открытыми, обнюхивая каждого прохожего, исчезая и вновь появляясь и опять исчезая, так часто и незаметно, что шевалье стал испытывать живейшее беспокойство.

— Тысяча чертей! — проговорил он. — Если и дальше так будет продолжаться, то я не премину потерять свою собаку. А это очень просто, ведь в тот день, когда человек подвергается метемпсихозу, он также перенимает и привычки того тела, в которое Господь поселяет его душу. И я вас спрашиваю, кто узнал бы важного и серьезного капитана гренадеров Думесниля в этой собаке, что носится как сумасшедшая, вместо того, чтобы благоразумно держаться рядом со мной.

Эти рассуждения навели шевалье на хитроумную мысль купить поводок; он закрепил его замок-карабин на кольцо ошейника спаниеля и, увлекая животное вслед за собой, продолжил свои странствия по улицам Парижа, где, как новый Христофор Колумб, он, казалось, шел от открытия к открытию.

Блэк, избавившись от всяких хлопот, похоже, был в восторге от нового способа путешествовать и следовал за своим хозяином, не выказывая ни малейшего сопротивления.

Однако уже приближался вечер, а де ля Гравери не

принял еще никакого решения, ему пришло в голову, что пора подумать о своем желудке.

Его первой мыслью было отправиться с этой целью либо к Вери, либо к Братьям-Провансальцам, либо в Роше-де-Канкаль, о которых у него сохранились прекрасные гастрономические воспоминания; но тут он заметил ресторан, отделанный таким количеством золота и скульптуры, что ему подумалось, будто и кухня этого заведения должна соответствовать внешнему блеску дома; он вошел туда и заказал себе и Блэку ужин, который сам он нашел отвратительным, но который Блэк, менее привередливый, чем его хозяин, съел, даже не поморщившись.

Шевалье заплатил по счету и вышел.

За время его отсутствия счет стал зваться по-новому: L'addition.

Де ля Гравери слегка поморщился, проверяя этот так называемый счет; он съел или точнее ему принесли ужин ценою в 39 франков 60 сантимов, который в его кулинарном представлении не стоил, за исключением вина, и ломаного гроша.

Мы должны с присущей нам откровенностью признать, что во время ужина господин де ля Гравери, который посчитал уместным сделать официанту ряд замечаний по поводу манеры закрывать дверь его кабинета, но, однако, при этом не сумел добиться того, чтобы последний закрывал ее более мягко, а также дал некоторые комментарии к каждому из блюд, которые ему подавал все тот же официант, велел тому объяснить шеф-повару, что, готовя томатный соус, необходимо брать одну треть лука и две трети помидоров, что фрикандо должно быть обжарено со всех сторон; что раки должны быть сварены в бордо, ведь оно не скисает на огне подобно шабли, и подаваться горячими в собственном соусе вместо того, чтобы быть поданными холодными на сухом ложе из петрушки; так вот, мы должны признаться, повторяем мы, что, излагая свои гастрономические теории к большой выгоде тех, кто придет после него отдохнуть в этот ресторан, де ля Гравери опустошил бутылку первоклассного шамбертена и полбутылки шато-лаффит.

Подобное излишество было не в его привычках.

Поэтому он покинул ресторан весьма разгоряченным и возобновил свою прогулку по бульвару, держа поводок, на другом конце которого был Блэк, поводок, который он для большей верности намотал на кулак.

Шевалье был сильно не в духе. Он кое-как перенес неудобства бессонной ночи, к которым добавился разговор с братом, заставивший его пережить самые разнообразные эмоции; плохая постель, в которой он пытался отдохнуть, еще больше увеличила его усталость, вместо того чтобы снять ее; однако он быстро забыл неудобную постель; сквозняки, дующие в комнате, не произвели на него почти никакого впечатления; но вот тот ужин, который ему только что подали, привел его в полнейшее отчаяние. Он спрашивал себя, не было ли с его стороны более разумным как можно быстрее вернуться в славный город Шартр, где, как бы ни были велики его огорчения, у него по крайней мере была возможность пристойно пообедать и было столь милое его сердцу общество Терезы.

Раз барон и Гратьен отказались сделать то, о чем он приехал их просить, то ради чего ему отныне и дальше оставаться в Париже?

Шевалье шел сквозь толпу, которая между семью и восемью часами заполняет Итальянский бульвар, рассуждая сам с собой и сопровождая свои размышления жестикуляцией, благодаря которой на его голову обрушилось не одно проклятие со стороны людей, которых он по своей рассеянности задевал, проходя мимо; проклятия, на которые достойный шевалье даже не соизволял ответить.

Толпа все прибывала и прибывала, и в конце концов де ля Гравери охватил один из тех приступов ярости, которые часто случаются с провинциалами, когда они вынуждены пробираться в сплошном потоке гуляющих, праздношатающихся, глазающих по сторонам парижан, и, повернувшись спиной ко всей этой людской сумятице, он принял решение вернуться в Шартр и для начала попытаться вернуться в свой отель, который казался ему неотъемлемым этапом его путешествия.

«Да,— ворчал он сквозь зубы,— я навсегда покидаю тебя, проклятый и прогнивший город! я укроюсь в своем доме, около моей бедной Терезы, которая станет моей приемной дочерью, раз я не могу сделать ее ни моей женой, ни моей настоящей дочерью. И клянусь, пусть даже судебный процесс съест половину моего состояния, я оставлю ей достаточное наследство, чтобы она смогла жить в достатке, когда меня не станет. Будь спокоен, Думесниль! Идем!

До сих пор шевалье жестикулировал левой рукой; правая, в которой он держал поводок Блэка, оставалась

в кармане его брюк; но на этот раз, увлеченный пылом своего ораторского искусства, он поднял вверх именно правую руку, как будто призывая небо в свидетели своей клятвы, которую он одновременно давал самому себе и своему другу.

К своему великому удивлению, шевалье при этом заметил, что на конце кожаного ремешка, болтающегося у него на кулаке, ничего нет.

Шевалье обернулся.

Блэка не было ни рядом с ним, ни позади.

Тогда он подошел к газовому фонарю и внимательно рассмотрел ремешок. Он был очень аккуратно обрзан каким-то острым инструментом.

У него украли его собаку.

Первым порывом шевалье было броситься бежать, зовя Блэка.

Но куда бежать? в какой стороне звать?

И потом, как перекричать оглушающий шум карет и глухой ропот толпы.

Де ля Гравери принялся расспрашивать прохожих.

Одни отвечали на его вопросы, заданные взволнованным и прерывающимся голосом, пожатием плеч; другие говорили, что им ничего неизвестно. Один человек в блузе уверил его, что видел какого-то типа, ведущего собаку при помощи платка, просунутого через ошейник; эта личность вела собаку в сторону улицы Вивьен. Животное сопротивлялось, и этому типу лишь с большим трудом удавалось заставить его следовать за собой, таща силой.

Этот пес, как две капли воды, был похож на тот портрет, который шевалье нарисовал со своего спаниеля.

— Скорее, на улицу Вивьен! — произнес шевалье, направляясь в указанную сторону.

— О! он сильно опередил вас, и я сомневаюсь, что вы настигнете его, мой храбрый господин; если ваше животное, а в этом я не сомневаюсь, было украдено одним из тех молодцов, чья коммерция состоит в том, чтобы красть их и продавать, то оно уже в надежном месте.

— Но где его отыскать? как его найти?

— Для начала надо обратиться с заявлением к комиссару.

— Хорошо; потом?

— Объявить о пропаже, пообещать вознаграждение.

— Сколько бы это ни стоило, лишь бы только мне вернули моего спаниеля.

— Послушайте,— обратился к шевалье человек, которого расстрогала его скорбь,— не стоит так отчаиваться; вы найдете вашего зверя, и если не этого, так другого. Я вам обещаю одно: если награда будет приличной, то завтра утром еще до завтрака, две собаки, похожие на вашу, уже будут стоять у вашей двери.

— Но мне нужна моя собака, только моя собака и никакая другая! — вскричал шевалье.— Вы не знаете, мой милый, как я дорожу своей собакой... А если я потеряю его во второй раз, моего бедного Думесниля, то думаю, что не переживу этого и умру!

— Думесниль! вашу собаку зовут Думесниль? Послушайте, какое странное имя для собаки! я бы сказал, скорее человеческое имя. Ну, же, успокойтесь; Париж велик, но я знаю все его уловки. Вы доверяете мне?

— Да, мой друг, да,— закричал шевалье.

— Отлично, я сам займусь вашей собачонкой. Сегодня пятница; итак, обещаю, что в воскресенье, до обеда я верну вам вашего господина Думесниля и вновь посажу его на ваш поводок. Но только, если вы опять станете прогуливаться с ним по Парижу, то купите ему цепь: это тяжелее, но зато надежнее.

— Если вы сделаете это, если благодаря вам я найду Блэка...

— Что такое или кто такой Блэк?

— Но это же моя собака!

— Послушайте, следовало бы договориться, как же все-таки зовут вашу собаку — Думесниль или Блэк?

— Это Блэк, друг мой, это Блэк; однако для меня, но только для меня одного, он то Думесниль, то Блэк.

— Хорошо! я понимаю, у него есть имя и есть прозвище.

— Так вот,— продолжал шевалье, желая сделать свое предложение более привлекательным,— если вы его вернете мне, я дам вам все, что вы пожелаете. Пять тысяч франков вас устроят?

— Э! я не такой, как те флибустьеры, что увели вашего пса, дорогой мой. Вы заплатите мне за труд и за потраченное время; ведь, пока я буду бегать за вашим спаниелем и загружать работой свои ноги, мои руки останутся праздными, а именно ими я зарабатываю на жизнь. Плату за мое время — вот все, что я хочу: я беру с вас обещание в обмен на то, что обещаю сделать для

вас. Мне самому больно видеть, как вы страдаете из-за потерянной собаки: это доказывает, что у вас доброе сердце, а я люблю людей с добрым сердцем. Итак, больше не будем говорить о вознаграждении; мы сочтемся, когда животное будет найдено.

— Но вам, друг мой, придется нанимать экипажи, оплачивать расклейщиков афиш, наборщиков и печатников, продавцов бумаги; позвольте, я вам дам хотя бы аванс.

— Расклейщик! печатник! продавец бумаги! Ну, конечно же! я вам только что наговорил все это, потому что мы еще не были знакомы; но все это рассчитано на дураков, и мы обойдемся без этого.

— Но однако же, друг мой...

— Положитесь на Пьера Марто, мой славный старичок, положитесь на него! это он вам говорит лично. Пусть все будет тихо, не надо никого настораживать, будем немые как рыбы, и я вам повторяю, что в воскресенье, именно в воскресенье, не позднее вы получите вашего спаниеля.

— О! Господи,— вздохнул шевалье,— до воскресенья еще так далеко! Хоть бы его там кормили в эти дни!

— Ах, черт! я не обещаю вам, что там, где он находится, кухня столь же обильная, как у вас в отеле; но собака есть собака, и в конце концов у стольких людей на обед бывает всего лишь корочка хлеба, что не следует слишком печалиться о судьбе четвероногого, которого кормят картофелем.

— Когда же мы увидимся, мой храбрец?

— Завтра. Сегодня ночью я обойду все кабачки, где собираются пираты с бульваров; возможно, благодаря этой операции я смогу узнать новости о вашем друге еще до воскресенья. Вы, сударь, на мой взгляд, выглядите усталым; вы пойдите и прилягте отдохнуть и, пожалуйста, не волнуйтесь. Где вы остановились?

— В отеле «Лондон», на улице Риволи.

— Улица Риволи, мне знакомо это место, хотя я и бываю там нечасто. Если позволите, я вас провожу. Судя по вашему виду, вы собираетесь также плутать в поисках дороги, как бекас в тумане. Ну, что же вы, идите сюда.

Шевалье, послушный как ребенок, последовал за Пьером Марто и по дороге раз десять повторил ему свои указания насчет Блэка.

Когда они подошли к двери отеля, шевалье удалось уговорить его принять монету в двадцать франков, которая должна была облегчить поиски. На прощание де ля Гравери назначил ему свидание на завтра и удрученный вернулся к себе в комнату.

Он сел на подушки, на которых Блэк спал прошлой ночью, и, хотя в камине не было огня, просидел так более получаса, погруженный в свои размышления. От этих размышлений веяло глубокой печалью, и чем больше шевалье погружался в них, тем мрачнее они становились.

С того момента, как в сердце де ля Гравери вновь поселилось чувство привязанности, он переживал одно огорчение за другим, одно разочарование сменяло другое.

Он не осмеливался припомнить все те сомнительные авантюры, причиной которых был Блэк, а когда он думал о юной хозяйке бедного пса, то его страдания и раскаяние достигали невероятных размеров! И, однако, странное дело! ему нравились эти хлопоты и волнения; ему была приятна эта грусть и тоска; эти страдания, которые он переносил ради двух любимых им существ, были ему так дороги, что, немилосердно проклиная их, он все же ни разу не пожалел о том времени, когда, свободный от всяких забот и опасений, жил, полностью посвятив себя пищеварению или же изучению науки о посте.

Наконец, он лег, со вздохом оглядел эту комнату, показавшуюся ему в десять раз более пустой и более унылой, чем накануне, и закрыл глаза. Ему пригрезилось, что он видит, как видел несколько часов назад, черный силуэт спаниеля, вырисовывающийся на фоне багрового отсвета пламени в очаге.

Увы! Это был сон! В комнате больше не было ни очага, ни спаниеля.

Сознание шевалье уже до такой степени утратило всякую ясность, а тело так устало от потрясений, пережитых за последние сутки, что в конце концов он заснул глубоким сном.

Было где-то около десяти часов утра, когда стук подкованных башмаков разбудил его.

Он открыл глаза и увидел, что в изножье его кровати стоит человек, который вчера вечером пообещал ему помочь разыскать Блэка.

К несчастью, Пьер Марто принес ему всего лишь надежду, но надежду, пока лишенную основания.

Он обследовал, но безрезультатно, весь квартал Сен-Марсо, в котором, как правило, проживали те, кто занимался торговлей приبلудными собаками.

Он ничего не смог узнать.

Однако он был далек от отчаяния и, не желая давать никаких объяснений, по-прежнему обещал шевалье, что завтра в воскресенье он вернет ему его спаниеля.

Шевалье отпустил его.

Затем, вздохнув, он подумал, чем же ему заняться сегодня. Ведь он не мог и помыслить вернуться в Шартр, не отыскав своей собаки.

Шевалье написал Терезе, которая, должно быть, сильно беспокоилась за него, чтобы она завтра утром села в дилижанс или в мальпост и приехала к нему в отель «Лондон» на улице Риволи; а затем своему нотариусу, чтобы тот прислал ему денег.

И чувствуя себя не в состоянии провести целый день в четырех стенах своей комнаты, он оделся и решил выйти на улицу, чтобы убить время на праздное шатание по городу, как две капли воды похожее на вчерашнее.

В тот момент, когда он брал свою шляпу, лежавшую на столе, он заметил в углу небольшой чемоданчик, который по недосмотру захватил с собой, покидая почтовый двор в Париже.

«Смотрите-ка,— произнес шевалье,— вот я и нашел, чем мне заняться сегодня; я верну этот чемоданчик его хозяину, и, кто знает?.. если рядом с ним не будет его друга Лувилля, возможно, мне удастся заставить его осознать недостойность его поведения».

Сказав это, де ля Гравери подозвал фиакр, сел в него, захватив с собой чемодан, и приказал кучеру:

«Предместье Сент-Оноре, номер 42».

Глава XXXII

КАКАЯ РАЗНИЦА СУЩЕСТВУЕТ МЕЖДУ ГОЛОВОЙ С ВАКЕНБАРДАМИ И ГОЛОВОЙ С УСАМИ

Особняк д'Эльбэнов поражал своим великолепием; он был построен совсем недавно модным архитектором

и обильно украшен внутри статуями и скульптурами, которые, возможно, были и не самого лучшего вкуса, но давали самое верное представление о богатстве его хозяина.

Две колонны коринфского ордера возвышались по обе стороны дубовых ворот, обильно украшенных арабесками и каннелюрами; ворота открывались в застекленную крытую галерею, вымощенную деревом, чтобы заглушить шум подъезжающих карет.

В другом конце галерей находился двор с конюшнями и каретным сараем, еще дальше сад, выходящий на Елисейские Поля.

При входе в галерею, справа располагалось помещение привратника, а слева, закрытый витражом из цветного стекла, вестибюль помпезной лестницы, ведущей в апартаменты: ее ступени покрывал пушистый ковер.

Шевалье де ля Гравери вышел из фиакра и, остановившись перед привратницей, спросил:

— Я могу видеть господина д'Эльбэна?

— Сударь желает говорить с отцом или сыном?

— С сыном.

Привратник трижды позвонил в колокольчик. По лестнице спустился выездной лакей и, открыв стеклянную дверь, вышел в галерею.

— К господину барону.

Лакей показал де ля Гравери дорогу и ввел его в комфортабельные изысканные покои на первом этаже, распахнув перед ним дверь гостиной.

Там он попросил шевалье подождать несколько минут, пока он предупредит своего хозяина.

Шевалье, как человек, не тратающий времени даром, стал отогревать ноги, которые сильно замерзли во время поездки в фиакре; расположившись около огня, вытянув ноги и положив их на подставку у камина, он осмотрелся вокруг.

Госпожина де ля Гравери, получившего светское воспитание, не могла поразить роскошная обстановка комнаты, в которой он находился, хотя утонченность этой роскоши, тяготеющая главным образом к тому, чтобы создать максимальный уют и комфорт, была совсем внове для человека этой эпохи; но вот, что его поразило, что приковало его взгляд, что показалось ему странным —

это выбор книг, загромождавших стол, стоявший неподалеку от него; книг, которые, как показалось ему, мало соответствовали характеру Гратьена, беззаботность и легкомыслие которого он сумел оценить пусть во время краткого, но серьезного разговора.

Во всех этих книгах говорилось либо о политической экономии, либо о высшей философии, либо об общественных науках.

Они не были здесь простым украшением.

Все они были истрепаны, и судя по всему, пользовались ежедневно. На полях некоторых из них де ля Гравери заметил и прочитал пометки, показавшиеся ему слишком глубокомысленными, чтобы выдавать их за мысли молодого офицера.

— Этот чертов слуга, должно быть, ошибся, — ворчал де ля Гравери, — и вместо того, чтобы проводить в комнату сына, провел меня в покои отца. Следует ли воспользоваться случаем и поведать ему, как обстоит дело? Это опасно; ведь в конце концов я могу ничего не сделать для Терезы. У Терезы нет имени, и если мой брат будет упорствовать, то мне будет затруднительно выделить состояние несчастной девушке; поэтому, рассказав все отцу, я, возможно, приумножу трудности, с которыми уже столкнулся.

Шевалье предавался подобным размышлениям, когда портьера приподнялась, и в комнату вошел молодой человек; он направился к шевалье, но тот не слышал его шагов, шум которых заглушал толстый пушистый ковер.

— Вы желали говорить со мной, сударь? — спросил юноша.

Де ля Гравери торопливо поднялся с кресла. Правда, он сделал это скорее от неожиданности, чем из любезности.

В самом деле, перед его глазами стоял Гратьен д'Эльбэн собственной персоной. Это было его лицо, его фигура, его осанка, его внешность, звук его голоса; и все же в лице вошедшего было нечто, чего шевалье — это он помнил твердо, — не видел на лице офицера в прошлый раз, и что его тут же поразило.

Этим нечто была пара черных бакенбард, обрамлявших лицо молодого человека, вся остальная часть которого была чисто выбрита.

Конечно, усы и борода могли исчезнуть со вчерашнего дня, но вот бакенбарды за ночь отрасти не могли.

— Однако я имею честь говорить с господином Гратьеном д'Эльбэном? — спросил шевалье, растерянный и смущенный.

Шевалье, как известно, легко поддавался беспокойству.

Молодой человек улыбнулся; это «однако» все ему объяснило.

— Нет, сударь, — ответил он, — меня зовут Анри д'Эльбэн; мой брат, Гратьен отсутствует: он отправился пообедать со своими товарищами по гарнизону. Но, если я могу ему что-нибудь передать от вашего имени, то можете мною располагать, сударь.

— Анри! а! вы Анри д'Эльбэн! — закричал шевалье, охваченный весьма заметным волнением; ведь перед его глазами стоял человек, которого Тереза так любила, тот единственный, которого она когда-либо любила, и он теперь понимал, как легко молодая девушка могла стать жертвой этого непостижимого, этого невероятного сходства.

— Да, сударь, — ответил молодой человек, улыбаясь, — Гратьен без сомнения говорил вам обо мне, но несмотря на все, что он вам рассказывал, вы удивлены нашим сходством. Мы похожи друг на друга, как две капли воды: мы близнецы.

— Я понимаю, — сказал шевалье. — Извините мне мое беспокойство... Это сходство, про которое я совсем забыл, хотя мне о нем и говорили, пробудило во мне воспоминание об одном приключении, которое оставило настолько сильный след в моей жизни, что, как только я вспоминаю о нем, меня тут же охватывает сильнейшее волнение.

— В самом деле, сударь, вы весь дрожите. Прошу вас, сядьте и не вставайте больше.

Анри взял еще одно кресло и поставил его по другую сторону камина.

— Через несколько минут вы расскажете мне, — продолжал он, — что привело вас сюда.

— Для этого нет нужды ждать. Послушайте, сударь, раз я не застал вашего брата, — решительно произнес шевалье, почувствовав, что выражение участливого внимания и доброты на лице юноши придает ему смелости, — то хотел бы рассказать вам мою историю. Я несчастный

одиноким стариком, у которого нет ни родных, ни друзей.— Шевалье остановился, так как у Анри был вид гораздо более серьезный и задумчивый, чем это обычно бывает у людей его возраста.

— Я страдал, сударь,— перебил его Анри и подобие усмешки промелькнуло на лице.— Мое сердце полно горечи, и она не щадит своих избранных.

— Ну, что вы, сударь,— продолжал шевалье,— вы так еще молоды. Вы не могли бы дать мне один совет. Ведь в моем возрасте ум становится ленивым, а воля не торопится принять какое-либо решение и сделать выбор; впрочем, я должен признаться, что я всегда отличался крайней нерешительностью.

— Говорите, сударь,— ответил молодой человек,— и хотя я не думаю, что мое мнение окажется вам хоть в чем-то полезным, поверьте, что моя симпатия целиком принадлежит вам, и это будет не моя вина, если вы не сможете ею воспользоваться.

Какое-то мгновение шевалье собирался с мыслями, а затем, глядя прямо в глаза своему собеседнику, продолжил.

— Что бы вы сказали о человеке, сударь, о человеке, который, злоупотребив сродством, столь же удивительным, как то, что существует между вами и вашим братом, переодевшись и воспользовавшись темнотою или другим обстоятельством, обманул бы несчастную молодую девушку и, выдавая себя за ее возлюбленного, воспользовался бы ее ошибкой, чтобы обесчестить ее, а затем оставил бы одну предаваться своему отчаянию?

— По-моему, сударь, этот человек, если таковой может существовать на свете, был бы последним негодяем и достоин осуждения.

— А если бы эта молодая девушка в результате этого преступления стала бы матерью?

— Сударь, к несчастью, это одно из тех преступлений, которые не подпадают под действие ни одного закона, но я даю вам мое честное слово дворянина, что в тысячу раз скорее предпочел бы пожать руку бандиту, который с кинжалом за поясом и пистолетом в руке врывается в дом, грабит, рискуя своей свободой, убивает, подвергая опасности свою жизнь, чем знаться с человеком без сердца, без совести, без чести, который смог совершить поступок, похожий на тот, о котором вы говорите,

— Так вот, сударь,— сказал шевалье,— это и есть моя история; девушка, которую соблазнили, такая нежная, такая ласковая и такая добрая, что, увидев ее, невозможно не полюбить, это моя дочь, сударь.

— Ваша дочь?

— Во всяком случае, моя приемная дочь.

— И он не понес от вашей руки заслуженного наказания? Вы не убили человека, который принес бесчестье в ваш дом?

— Я уже сказал вам, сударь, я почти что старик, мне уже за пятьдесят, я слаб; моя немощная рука с трудом способна удержать тяжесть шпаги или пистолета...

— Господь дал бы вам силу, сударь; ведь Господь был бы за вас! — вскричал Анри с заразительной пылкостью. Господь — это Отец, который мстит за поруганную честь своего сына; Он дарует мужество воробью, защищающему своих птенцов от хищной птицы; неужели Он может отказать в нем человеку, который исполняет самую сокровенную, самую святую обязанность из всех тех, что предназначена человеку.

— Но ведь все законы, и Божьи и человеческие, за-прещают дуэль.

— Дуэль, сударь,— а это действительно несчастье, но это такое несчастье, с которым необходимо смириться,— дуэль останется правосудием Божиим до тех пор, пока общество не будет строиться согласно другим законам, пока человеческое правосудие не станет искать в сердце каждого зло, дабы искоренить его, и добро, дабы его вознаградить; наконец, дуэль будет нужна до тех пор, пока общество будет считать допустимым, а порой и забавным, когда человек покушается на добродетель молодой девушки и на честь супруги.

— Итак, сударь, если виновный упорно отказывается предоставить молодой девушке то искупление, которое велит ему долг, вы советуете мне драться с ним?

— Говоря по совести, я советую вам это,— ответил Анри.

— Тогда я должен вам признаться, что у меня, как я вам только что сказал, мирный нрав, хотя я провел лучшую часть жизни, заботясь о своем благополучии, я думаю так же, как и вы, я несомненно решился бы на это, если бы меня не удерживало одно опасение.

— Что за опасение?

— Я единственная опора бедного дитя; что бы вы не говорили, а Небо не всегда бывает на стороне правого; судьба может изменить мне. Что станет с бедной девушкой, если она лишится меня?

— Если дело обернется подобным образом, сударь, я постараюсь заменить вас около нее.— просто ответил Анри.

— Вы мне это обещаете, сударь?

— Я вам клянусь.

— Послушайте, сударь,— сказал шевалье с воодушевлением, которое далеко выходило за рамки его обычного поведения,— в вашем взгляде столько искренности, столько благородства и столько достоинства, что мне хочется вам верить, и я решусь... Да, в свою очередь, клянусь вам, виновный будет наказан. Но я вынужден воспользоваться вашей любезностью и просить вас оказать мне еще одну услугу.

— Какую, сударь? Говорите.

— Я ни с кем не знаком в Париже и не знаю, к кому мог бы еще обратиться, если вы мне откажете в моей просьбе. Я прошу вас стать моим секундантом.

— Охотно, сударь.

— Вы мне должны поклясться, что кем бы ни был мой противник, и какое бы оружие ни было избрано для поединка, вы не покинете меня в той миссии, которая ниспослана мне Провидением и которую я намереваюсь исполнить. Ведь я, вы, сударь, это должны были заметить, крайне неопытен в такого рода вещах, и поскольку вы были так добры, что помогли мне своими советами увидеть это дело в его истинном свете, я смею надеяться, что вы не подведете меня в решительный момент.

— Сударь, в этом вопросе вы можете положиться на мое слово так же смело, как и во всех остальных. Но простите, мне необходимо выяснить у вас один довольно важный момент. Вы ведь, по-видимому, друг моего брата, но я не имею чести вас знать. Не будете ли вы так любезны сообщить мне ваше имя и оставить ваш адрес?

— Меня зовут господин де ля Гравери; как вы видите, я кавалер ордена Святого Людовика, постоянно проживаю в Шартре, но в настоящее время остановился в отеле «Лондон» на улице Риволи.

— Этого достаточно, сударь; как только я вам понадоблюсь, дайте знать, и я буду полностью в вашем распоряжении.

— Я благодарю вас и прошу хранить все это в секрете.

— Обещаю вам. Но, кстати, сударь, вы мне еще ни слова не сказали о том, что вас привело к моему брату. Не желаете ли вы, чтобы я ему что-нибудь передал?

— Это совсем неважно, сударь. Я приходил всего лишь для того, чтобы отдать ему этот чемодан, который он забыл вчера в почтовой карете и который мой кучер случайно захватил с собой.

Шевалье поднялся.

— Я благодарю вас от лица Гратьена,— сказал молодой человек.— Прощайте, сударь, и верьте, что мои лучшие пожелания будут сопровождать вас в той миссии, которую вы избрали.

Анри настоял на том, чтобы проводить шевалье до ворот, и, посадив его в фиакр, в последний раз пожал ему руку.

Сердце де ля Гравери билось изо всех сил, он испытывал сильное и глубокое волнение; он чувствовал, как время от времени дрожь пробегает по всему телу, а в глазах все темнеет.

Но согласитесь, что сама мысль о первой дуэли в пятьдесят лет может произвести немалый эффект.

— Ах! если бы Думесниль был здесь! — вздохнув, тихо произнес шевалье,— он, который шел драться так, как я иду обедать, и который владел шпагой и пистолетом, так же, как я владею вилкой. Но, к несчастью, его больше нет, а Блэк не в состоянии был бы померяться силами с Гратьеном: со времен собаки Монтаржи такого больше никто не видывал; впрочем, и сам Блэк где-то бродит по белу свету.

— Куда поедет господин? — спросил кучер.

— Ах, да, куда я еду... Это правда... Я не знаю.

— Как господин не знает, куда ему надо?

— Нет... Попросите привратника подойти ко мне.

Привратник, предупрежденный кучером, почтительно приблизился. Он видел, как господин Анри провожал гостя до фиакра.

— Друг мой,— спросил шевалье,— не знаете ли вы, где я могу найти в этот час господина Гратьена д'Эльбэна?

— Вы найдете его, сударь, в Голландском кабаке; когда он в отпуску, то все свое время проводит только там.

— Тогда, кучер, вперед, в Голландский кабачок,— закричал шевалье таким тоном, который вызвал бы одобрение у покойного Думесниля.— И поживее! Получишь на чай.

Глава XXXIII,

ИЗ КОТОРОЙ ЯВСТВУЕТ, ЧТО И У ШТАТСКИХ ПОРОЙ ПРОСЫПАЮТСЯ ВОИНСТВЕННЫЕ НАКЛОННОСТИ

Голландский кабачок в эту пору был излюбленным местом встреч военных в отпуску.

Все, кто носил эполеты, начиная с младшего лейтенанта и кончая полковником, встречались под позолоченной лепиной вакхического заведения.

Все свидания военных назначались в этих стенах, подобно тому, как свидания актеров проходили в саду Пале-Рояля.

Офицер, покидая свой лагерь и отправляясь в Алжир, говорил своим товарищам, которых оставлял во Франции:

— В мой следующий отпуск через два года мы с вами увидимся в Голландском кабаке.

И если только пули местных племен или дизентерия не решали все иначе, то редко кто пропускал назначенное свидание.

Но, однако, несмотря на свое сугубо военное предназначение, Голландский кабачок имел совершенно мирный штатский вид.

За исключением форменной одежды учащихся Высшей Политехнической школы или воспитанников Сен-Сирского военного училища, которые посещали кабачок, отдавая дань традиции, там не видно было больше ни киверов, ни красных панталон, ни других форменных принадлежностей.

Военный, хотя и выказывает безмерное презрение к штатскому человеку, тем не менее очень любит гражданскую одежду; вероятно, по той единственной причине, что она воплощает для него несчастную, недостижимую страсть.

В самом деле, какой-нибудь офицер, который заслуживает всяческих лестных эпитетов, благодаря своей изысканности и элегантности, когда он одет в доломан или мундир, выглядит совершенно заурядным человеком, а часто и того хуже, когда на нем классический редингот, а голову его вместо гусарской меховой шапки или блестящей каски украшает тривиальный цилиндр.

Припомните, что представляли из себя в прошлом турки и во что они превратились с тех пор, как, следуя законам прогресса, Махмуд облачил их в голубой редингот и красные брюки.

К тому же — и это является смягчающим обстоятельством — офицер, которому редко выпадает случай воспользоваться своим штатским платьем, хранит его с той благоговейной заботой, с которой военный человек относится к своим вещам; в результате оно служит ему гораздо дольше, чем обычно служат пальто и рединготы; вот почему, когда он его, наконец, извлекает на свет Божий и одевает на себя, то выглядит точной копией устаревшей модной картинки, вышедшей на прогулку.

И если в Голландском кабаке нечасто попадалась на глаза униформа, то за каждым столом здесь зато можно было увидеть множество сюртуков и рединготов совершенно оригинального покроя и фасона, немало немислимых галстуков и шейных повязок и достаточно шаровар на манер казацких, которые уже к тому времени мода благоразумно отвергла. Короче, любому легко было догадаться, что это заведение полностью заполнено офицерами, более или менее удачно переодетыми в буржуа.

Густые клубы табачного дыма висели в воздухе, который к тому же был насыщен парами, исходившими от множества кружек с пуншем, обычного напитка завсегдатаев.

Пятеро или шестеро последних, в которых по шпорам, сохранившимся у них на сапогах, можно было признать офицеров-кавалеристов, сидели в углу справа, со стороны сада.

Они пообедали в кафе и, судя по тому, как оживилась их беседа, пообедали весьма обильно.

Как всегда разговор этих господ вертелся вокруг излюбленной и неиссякаемой темы их бесед: достоинства и преимущества различных гарнизонов и их сравнение друг с другом.

— А! Господа,— говорил наш старый знакомый лейтенант Лувиль, которого мы видим среди участников этой пирушки,— да здравствует Тур в Турени, известный прежде всего как сад Франции, так его называют эти идиоты — поэты, но в конечном счете весьма неплохой городок: великолепный чернослив, сносный театр, очаровательные гризетки. Тур — жемчужина среди гарнизонов!

— Черт возьми, мой дорогой,— отвечал ему толстяк с румяным лицом и коротко подстриженными седыми усами,— я стоял в Туре; я пробыл там два года и уверяю вас, что Тур ничем не лучше других гарнизонов.

— Вот как! но почему вы так говорите, капитан?

— Потому что я утверждаю, что по прошествии первых двух месяцев начинаешь скучать в любом из них, где бы ты ни был.

— А я все же предпочитаю Север,— вступил в разговор третий собеседник.— Там мы имеем великолепный контрабандный табак и, черт возьми, вовсе недорого.

— А Понтиви, господа! — вскричал четвертый.— Превосходное содержание, сорок пять франков в месяц.

— А каково твое мнение, Гратьен?

— Мое мнение,— отвечал Гратьен,— вот оно: чем больше я езжу, тем больше убеждаюсь, что среди всех гарнизонов, в которых мы стояли, нет ни одного, который можно было бы назвать сносным. И это невероятно укрепляет мою решимость сдержать данное самому себе обещание подать в отставку, дабы больше никогда не покидать единственный в своем роде прелестный и дивный гарнизонный город, я говорю о Париже.

— Да,— сказал Лувиль,— подобное предпочтение в самом деле понятно, когда имеешь такого отца, как твой, у которого не один миллион в кармане. И все же, я сомневаюсь, что, несмотря на все свои миллионы, на все удовольствия, что дарит нам Париж, ты забыл счастливые часы, проведенные тобою в провинциальных гарнизонах.

— Где и какие? — спросил Гратьен.

— Неблагодарный! Повсюду и всегда! да, вот, послушай, зачем же далеко ходить, разве в этом ужасном городе Шартре ты не пережил с этой малюткой Терезой самое чудесное, самое дивное из приключений, подлинное похождение Ловеласа, проказник?

— Послушай, Лувиль,— сказал заметно расстроенный Гратьен,— не будем говорить об этом... Уверяю тебя, что это воспоминание, напротив, мне весьма неприятно.

— Почему? Из-за этого старого безумца, который под тем предлогом, что ты воспользовался первым сердечным опытом молодой девушки, хотел заставить тебя, барона Гратьена д'Эльбэна, жениться на гризетке без единого су в кармане. А! этот простак был весьма забавен! Но и я тоже славно посмеялся над ним, особенно после того, как ты покинул нас и пересел к кучеру.— Но, тысяча чертей! — воскликнул Лувиль, подпрыгнув на стуле,— это он... это он собственной персоной входит сюда... А! вот мы сейчас повеселимся! Взгляните, господа, восхитительная внешность! посмотрите, с каким воинственным видом наш вольтижер Людовика XV размахивает своим зонтиком.— Эй! сударь!

— Ведите себя достойно, Лувиль,— сказал толстяк.— Не забывайте о том, что этот почтенный господин вдвойне имеет право на ваше уважение: во-первых, благодаря своему возрасту, который в два раза старше вашего, а во-вторых, благодаря красной ленте, которую он носит в своей петлице.

— Подумаешь! Крест Святого Людовика.

— Это всегда цена крови, Лувиль, и не пристало нам, солдатам, насмехаться над тем, кто его носит.

— Оставьте меня в покое, капитан! Какой-нибудь эмигрант, какой-нибудь беглец, служивший в придворных частях королевской кавалерии, который заработал себе крест, отираясь в передних. Черт возьми, я считаю, что имею полное право посмеяться над ним, и не собираюсь упускать столь драгоценную возможность.

Затем, обращаясь к де ля Гравери, который, узнав их, направлялся к их столику, Лувиль, поднявшись со стула, чтобы сделать шаг навстречу ему, продолжил:

— Несказанно рад, сударь, увидеть вас вновь. Надеюсь, что позавчерашняя ночь не повредила вашему здоровью и не омрачила ваше веселое настроение?

— Нет, сударь,— сказал шевалье с улыбкою на устах,— как видите... Если не считать некоторой ломоты, я чувствую себя великолепно.

— А! тем лучше! Тогда вы не откажетесь присоединиться к нам и поднять бокал за здоровье очаровательной Терезы, о которой мы как раз вспоминали в тот самый момент, когда вы вошли.

— Ну, конечно, сударь,— ответил шевалье, по-прежнему невозмутимо улыбаясь.— Вы мне оказываете слишком большую честь, и я не в силах вам отказать.

— Позвольте предложить вам стакан этого пунша? Он превосходен и прекрасно прогоняет черные мысли из головы и тяжесть из желудка.

— Весьма вам благодарен, мой дорогой, но как человек тихий и невоинственный, я особенно опасаясь алкоголя.

— Быть может, он пробуждает в вас свирепость и кровожадность?

— Именно так.

— Смотри же, Гратьен, будь полюбезнее с господином шевалье, ведь, принимая во внимание вашу ленту, полагаю, что смело могу присвоить вам этот титул.

— Действительно, господин Лувиль, он принадлежит мне дважды: я шевалье по праву рождения и шевалье... по случаю.

— Ну, что же, шевалье, должен вам сказать, что ваш друг Гратьен вот уже два дня как заделался задумчивым мечтателем. Я лично предполагаю, если вы хотите знать мое мнение, что он обдумывает то предложение о женитьбе, которое вы ему сделали.

— Господин Гратьен поступил бы как нельзя лучше, задумавшись о нем,— ответил шевалье с неизменным добродушием.

— Да,— подхватил Лувиль,— но ничто сильнее не отягощает рассудок бравого молодца, чем подобные мысли. Итак, что вы предпочитаете, шевалье? Стакан лимонада, бутылочку оршада или красносмородинной? А быть может, баварского?

— Да, именно так, сударь, баварского.

— Человек! — закричал Лувиль,— баварского господину... очень горячего и очень сладкого.

Затем он вновь обратился к шевалье.

— А теперь, сударь, если только подобный вопрос не покажется вам бестактным, окажите нам честь и сообщите, что привело вас в это логово, которое зовется Голландским кабачком. Я полагаю, что вы не являетесь за всегдатаем подобных мест.

— Вы как всегда правы, сударь, и я поистине восхищаюсь меткостью вашего ума.

— Мне приятно видеть, что вы отдаете мне должное.

— Я пришел с единственной надеждой встретить господина Гратьена, которого не застал у него дома.

— А вы взяли на себя труд заехать ко мне? — удивленно спросил Гратьен.

— Да, господин барон, и это от вашего привратника я узнал, что в отличии от меня вы охотно проводите здесь свое время и слывете завсегдатаем Голландского кабачка.

— Вы в самом деле, — прервал его Лувиль, — пришли, чтобы увидеться с Гратьеном? Это доказывает, что вы не отказались от вашего плана. Ну, что же, тем лучше! Лично мне нравятся упрямые люди, и, право же, я приму вашу сторону, такую глубокую симпатию вы мне внушаете. Что же, в нашем нынешнем положении речь может идти только о брачном контракте и ни о чем другом. Ладно, давайте обсудим его условия. — Гратьен, вам первому слово, друг мой. Что вы даете? Сколько земельных угодий? Сколько в государственной ренте? Сколько облигациями железных дорог? Ценными бумагами Гара?

— Лувиль, — ответил Гратьен, — я очень серьезно прошу вас прекратить эту шутку, которая и так уже очень затянулась. Я сообщил этому господину мое решение; дальнейшая настойчивость выглядит неуместно и бестактно. И это меня удивляет в человеке такого возраста и такого положения в свете, как шевалье; с другой стороны, если бы я стал насмехаться, как это делаете вы, над участью молодой девушки, о которой после всего, что случилось, я должен сожалеть, то это свидетельствовало бы о недостатке деликатности и сердечности с моей стороны. Подумайте о том, что я вам только что сказал, сударь; задумайтесь об этом и вы, Лувиль, и надеюсь, вы оба согласитесь со мной.

— Отнюдь, — возразил шевалье де ля Гравери. — Я лично, напротив, нахожу, что господин Лувиль говорит вполне разумные и уместные вещи; и вместо того, чтобы рассердиться на него, я ему за это бесконечно признателен.

— Вот это да! Ну же, Гратьен, говори и оставь этот трагический вид, ведь этот господин, выступающий защитником мадемуазель Терезы, первым призывает тебя к этому... Ты молчишь?.. Послушайте, господин шевалье,

если сначала заговорите вы, возможно, это его распалит. Итак, начинайте, мой дорогой; перечислите нам все богатства вашей протее, не скупитесь; предупреждаю вас, что наш друг Гратъен, обыкновенный младший лейтенант, каким вы его знаете, богат, очень богат. Но прошу прощения, вот официант несет ваше баварское. Пейте же, сударь, выпейте сначала, это сделает ваши предложения еще более соблазнительными и заманчивыми.

Шевалье с улыбкой слушал этот поток слов. Он медленно помешал своей ложечкой напиток, который ему подали, поднес его ко рту, проглотил с серьезным и значительным видом, поставил стакан на стол, аккуратно вытер губы батистовым платком и, повернувшись к Гратъену, сказал:

— Сударь, я размышлял над тем предложением, которое полагал себя обязанным сделать вам позавчера, и пришел к мысли, что с моей стороны было нелепым назначать цену столь справедливому, благородному и совершенно естественному поступку, который я предложил суду вашей совести.

— Как просто, черт возьми! — прервал его Лувиль.

— Дать приданое Терезе — но заметьте, что я в состоянии это сделать, — продолжил шевалье, — значило бы нанести оскорбление вашей деликатности, и я не буду удивлен, если сделанное мною предложение оказалось бы единственной причиной отказа, которым вы ответили на мои авансы. Сегодня, сударь, я, напротив, пришел вам сказать: Тереза не имеет имени, у Терезы нет никакого состояния, но вы ее обесчестили... Вы лишили ее чести, но отнюдь не поддавшись порыву взаимного влечения, а призвав себе на помощь самую гнусную, самую подлую уловку. Вы обязаны без колебаний повиноваться властному зову долга.

— Bravo! Вот неотразимый довод. Что же, теперь твой черед, Гратъен, защищайся; но, предупреждаю, твои дела не слишком хороши. Представь себе, что ты находишься перед судом присяжных, а я его председатель.

— Мой ответ будет краток, дорогой друг, — произнес Гратъен с немалым достоинством. Я скажу господину шевалье...

Молодой человек слегка поклонился.

— Я ему скажу, что его оскорбления найдут мою решимость столь же непоколебимой, как и его посулы.

Пусть мадемуазель Тереза будет богата или бедна, для меня это не имеет никакого значения, и еще я добавлю, что господину шевалье крайне повезло, что у него седая голова; ведь если бы не это, то я посчитал бы себя обязанным совсем иначе ответить на некоторую часть его речи.

— Боже мой, не стесняйтесь, любезный сударь,— спокойно сказал шевалье. Пусть вас не волнует, стала ли моя голова уже совсем седой или только наполовину. Но я готов встать под дуло вашего пистолета или острие вашей шпаги.

— Ах так! Ты чувствуешь, Гратьен, этот милейший господин, похоже, начинает вести себя вызывающе?

— Это вас удивляет, господин Лувиль? — произнес шевалье с невозмутимым видом.— Предположите-ка невзначай, что храбрость есть не что иное, как легкомыслие.

— Ну, что же, это уже другое дело,— сказал Гратьен.

Шевалье, по-прежнему с улыбкой на устах повернулся в его сторону.

— Значит,— продолжал молодой человек,— только что вы произнесли все эти слова с заранее обдуманном намерением меня оскорбить?

— Меня не волнует, сударь, расцениваете ли вы их как оскорбление или нет,— сказал шевалье,— я выбрал эти слова, потому что они прекрасно характеризуют ваше поведение, вот и все.

— Одним словом, сударь, вы пришли сюда, в Голландский кабачок, сегодня в субботу с намерением сказать мне в присутствии моих товарищей: «Женитесь на мадемуазель Терезе или вы будете иметь дело со мной!»

— Именно так, господин барон.

Затем, постучав ложечкой о стакан, он сказал:

— Официант, еще баварского.

— Ну, нет! — вскричал Гратьен.

— Что нет?

— Драться с вами на дуэли было бы слишком нелепо и смешно.

— А, вы так полагаете?

— Да.

— Вы считаете, что было бы нелепо и смешно убить человека, который вполне способен в конце концов уда-

ром шпаги проткнуть вашу грудь или же всадить вам пулю в голову; и вы не находите, подобно мне, трусливым и постыдным прибегнуть к отвратительной уловке, чтобы похитить нечто большее, чем жизнь — единственное, чем я рискую, дерясь с вами,— чтобы похитить честь у незащитной молодой девушки? Воистину, вы весьма непоследовательны, господин Гратьен.— Спасибо, месть.

Эти последние слова относились к официанту, поставившему перед шевалье еще один графин с баварским.

— Хорошо,— сказал Гратьен после минутного размышления, взбешенный, вероятно, гораздо сильнее невозмутимостью шевалье, чем оскорблениями в свой адрес,— хорошо, если вы непременно на этом настаиваете...

— Вы женитесь на Терезе?

— Нет, сударь, но я вас убью.

— А вот это, сударь,— сказал шевалье, не выказав ни малейшего волнения и недрогнувшей рукой наливая баварское из графина в стакан,— это мы еще посмотрим. Подождем до завтра, молодой человек, завтра все решится. Не предсказывайте будущее, кто предсказывает будущее, рискует ошибиться. Итак, решено, мы будем драться.

— Да, безусловно, мы будем драться,— ответил Гратьен, стиснув от гнева зубы,— если только вы не возьмете ваши слова обратно.

Гратьен предоставил шевалье эту последнюю зацепку, так как скрепя сердце решился на эту дуэль, нелепый и омерзительный характер которой был ему вполне ясен.

— Взять обратно? — произнес шевалье, поднося стакан ко рту и лениво потягивая новое баварское.— О! Вы совсем меня не знаете, любезный господин Гратьен! Я долго, очень долго не могу решиться, но, как только решение принято, я следую примеру Вильгельма Завоевателя и сжигаю свои корабли.

Произнеся эту фразу, шевалье взял стакан и выплеснул в лицо Гратьену остатки баварского.

Молодой офицер, рванувшись вперед, собирался броситься на старика, но его друзья, и первым Лувиль, вцепились в него и удержали.

— Ваши секунданты? Кто ваши секунданты, сударь? — рычал Гратьен.

— Завтра утром они встретятся с вашими и обо всем договорятся.

— Где же?

— Если не возражаете, то в Тюильри, на террасе Фельянов, напротив отеля «Лондон», где я остановился... скажем, с двенадцати до часу?

— Ваше оружие?

— А, сударь, для военного вы плохо знакомы с основными правилами дуэли. Каким будет мое оружие, это решать не вам и не мне: это дело наших секундантов. Оскорбление нанесено вам, сообщите ваши условия вашим секундантам.

— Отлично! А вас, господа, я беру вас в свидетели,— вскричал Гратьен,— если с этим стариком случится какое-либо несчастье, то виноват будет в нем он сам; это то, чего он хотел, то, чего добивался. Пусть его кровь, если она прольется, падет на его голову.

И молодой офицер в сопровождении своих друзей вышел из кабачка.

Шевалье, оставшись один, допил последние капли баварского, остававшиеся на дне стакана.

Затем, взяв свой зонтик в углу окна, куда поставил его, войдя в кабачок, он сказал вполголоса:

— Боже мой, как мне досадно, что этот дурак Блэк дал себя увести... Если бы Думесниль мог меня видеть, он был бы доволен мной!

Глава XXXIV,

В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ РАЗОМ ВСТРЕЧАЕТ ТО, ЧТО ИСКАЛ, И ТО, ЧТО НЕ ИСКАЛ

Шевалье де ля Гравери вышел из Голландского кабачка совсем другим человеком, нежели вошел в него.

Его шляпа, которая обычно сидела прямо относительно оси его лица и была слегка надвинута на глаза, вдруг заняла диагональное положение, что придало ему лихой и даже несколько задиристый вид.

Одна из его рук, опущенная в карман брюк, играла там самым дерзким образом с несколькими луидорами, чье позвякивание было хорошо слышно, в то время как

другая угрожающе размахивала зонтиком и выписывала наконечником мирного орудия самые замысловатые фигуры фехтования.

Он, который обычно шагал с низко опущенной головой и сходил на мостовую, уступая дорогу ребенку, занявшему тротуар, он в эту минуту шел, высоко подняв глаза, расправив плечи, подтянувшись, с видом человека, который доблестно завоевал свое место под солнцем, невозмутимо выжидая, пока прохожие не уступят ему дорогу; что те непременно и делали, одни из уважения к его возрасту, другие из почтения к красной ленте в его петлице, наконец, остальные потому, что вызывающий вид шевалье действительно понуждал их к этому.

На одно мгновение он почувствовал искушение зайти к продавцу табака и купить у него сигару, предмет, к которому он всегда питал неукротимое отвращение; ему казалось, что сигара была бы неизбежным дополнением к его новой манере поведения, и он, любясь собой, охотно представлял, как будет пускать в небо подобно второму Какусу огромные клубы дыма и, таким образом, станет чуть больше походить на своего друга Думесниля, который в этот момент служил ему примером.

Но, к счастью, он вспомнил, что неким вечером в Папаэти, взяв сигару из губ Маауни и вдохнув несколько глотков душистого аромата, которым юная таитянка любила окружать себя как облаком, он почувствовал ужасные приступы тошноты и такое недомогание, что ему потребовалось около трех дней, чтобы прийти в себя.

Он подумал, что подобный спектакль, разыгранный перед его противниками, мог бы скомпрометировать ту репутацию, которую ему удалось завоевать, и рассудительно пресек это поползновение.

Шевалье удовольствовался тем, что сознание личного достоинства, проснувшееся в нем, придавало величественное выражение его лицу, и скромно вернулся в свой отель.

А теперь, будучи правдивым историком, я должен признать, что, несмотря на уверенность и апломб, с какими шевалье вызвал на дуэль Гратьена д'Эльбэна, несмотря на то удовлетворение, какое шевалье сам получил от своего достойного поведения, де ля Гравери очень плохо спал в эту ночь. Но причиной его бессонницы был вовсе не страх смерти или боли... Нет, его волновали две совершенно другие вещи: первое, судьба, уготованная Терезе в том случае, если с ним случится несчастье; второе, опа-

сение, что его поведение изменится, как только он приступит на место поединка, и не будет в полной мере соответствовать тому представлению, которое он создал о себе.

Что касается Терезы, то он несколько успокаивался, думая об обещании, данном ему Анри, обещании, которое станет для последнего еще более нерушимым, когда он увидит ту, о которой дал слово заботиться; к тому же, для Гравери надеялся, что бы там не говорил по этому поводу его брат, что ему удастся обеспечить будущее молодой девушки собственноручным завещанием, составленным по всем правилам.

Оставалась дуэль.

Несколько часов одиночества и раздумий остудили кровь шевалье, и, хотя его решение по-прежнему оставалось неизменным, ему потребовалось призвать на помощь весь свой разум, чтобы успокоиться.

К несчастью, задача была очень трудной, и чем больше шевалье старался доказать самому себе, что у него есть масса разных причин оставаться спокойным, тем больше самых черных мыслей рождалось в его мозгу.

Все, что несколько часов назад представлялось ему не заслуживающим никакого сожаления, в этот миг казалось таким сладостным, таким прекрасным и соблазнительным, что он никак не мог решиться расстаться со всем этим.

Все радости, все удовольствия, все наслаждения жизни вставали в его памяти и, взявшись за руки, кружились в прельстительном и манящем танце; казалось, они с грустью говорили шевалье: «Прощай, шевалье!.. ты скоро лишишься нас, ты, который с легкостью мог бы нас удержать, если бы не изображал из себя молодого человека, задиру, завязатого дуэлянта, поборника справедливости, Дон-Кихота, наконец!»

И мрачные видения будущего беспорядочно роились в глубинах его сознания, как будто стремились вырваться наружу и стать реальностью.

Он чувствовал, как холод смерти леденит его кожу и проникает в тело.

Ему казалось, что из потустороннего мира прилетели духи, дабы завладеть его телом; он чувствовал на своем лице дуновение воздуха от взмахов огромных крыльев летучих мышей.

Малейший шум, раздававшийся по соседству, ассоциировался у него со стуком молотка, сколачивающего доски гроба, предназначавшегося для него.

Бодрствуя, он грезил наяву, что его предадут земле, и слышал, как глина и камни тяжело падают на крышку его гроба.

Он чувствовал, как тысячи могильных червей заползают в складки его савана, и по его коже в предчувствии их ледящего и омерзительно-скользкого прикосновения пробегала дрожь.

Ночь, излюбленное время всех мрачных видений и потусторонних сил, показалась ему бесконечно длинной, и едва только занялся рассвет, он поспешно, вопреки своим привычкам, вскочил с постели.

«Решительно,— произнес шевалье, которого сотрясла дрожь, вызванная наполовину холодом, а наполовину тем состоянием духа, в котором он пребывал,— решительно, я не создан, для того чтобы стать героем! Что же, тем больше я буду уважать себя за свое достойное поведение; но как странно, вчера я совершенно не испытывал ни малейшего страха — а ведь, наоборот, именно вчера я и должен был бы испытывать колебания,— тогда как сейчас меня охватывает дрожь. Но не могу же я, однако, ежеминутно вызывать кого-нибудь на дуэль, дабы поддерживать свое мужество на должном уровне!»

И шевалье, чтобы прогнать эти гнетущие мысли, и, видя, что безделье вновь повергает его в мучительные терзания, решил написать Анри д'Эльбэну, не называя имени своего противника, что, по всей видимости, дуэль будет назначена завтра в восемь часов утра, и поэтому он просит Анри зайти за ним завтра в семь, чтобы вместе отправиться на место поединка.

Он ни в коем случае не хотел допустить свидания Анри с офицерами, которые могли бы ему все рассказать; за время, оставшееся до завтрашнего дня, или точнее до часа, назначенного для встречи секундантов, шевалье надеялся найти второе доверенное лицо, человека, который договорился бы об условиях поединка с секундантами Гратьена.

Закончив писать и запечатав письмо, де ля Гравери вышел из дома, чтобы самолично отнести его на почту. В столь значительных обстоятельствах шевалье предпочитал полагаться на самого себя.

Выходя из ворот на улицу, он нос к носу столкнулся с человеком, пообещавшим ему найти Блэка.

— О! вы уже на ногах, сударь! — обратился к нему Пьер Марто. — Что же, можно сказать, вот собака, которой повезло больше, чем многим людям. Ведь, к примеру, потеряйся я, никто и не заметит, а уж тем более, слава Богу, не лишится сна. Но, впрочем, час скоро уже наступит.

— Какой час? — спросил шевалье, чья голова еще не вполне прояснилась.

— Час, когда я, надеюсь, смогу вернуть вам ваше животное.

— Вы его видели? О, отведите меня к нему, дорогой мой. Если бы мой дорогой Думесниль был рядом со мной, мне кажется, я бы больше никого не боялся.

— Терпение! Наберитесь терпения! Мы сейчас с вами не торопясь отправимся туда, где он находится, и вы увидите, что я вам не солгал.

— Но куда же вы идете?.. или, точнее, куда мы идем?

— На собачий рынок, черт возьми. Не думаете ли вы, что мошенник, укравший вашего пса, увел его, чтобы сделать из него святые мощи? Идемте же!

— Но все же?

— Вот как обстоят дела: о собаке не заявляли; никто не видел ни объявления о пропаже, ни обещания дать за нее большое или малое вознаграждение; значит, можно не волноваться; так что я уверяю вас, что в это время ваш песик, подобно нам, потихоньку трусит в сторону заставы Фонтенбло.

Действительно, именно у заставы Фонтенбло каждую неделю по воскресеньям, вторникам и пятницам проходит лошадиная ярмарка, а торговля собаками служит ее прямым продолжением и дополнением.

Два художника, один из них, покинувший нас в расцвете сил, Альфонс Жиру и Роза Бонер, женщина с таким нежным именем и таким ярким щедрым талантом, создали из этого спектакля две картины, которые по-разному воспроизводят его живописный характер.

Но в назидание тем, кто все названия понимает буквально, мимоходом замечу, что вовсе не на лошадиную ярмарку следует идти тому, кто решил приобрести тех великолепных породистых животных, что демонстрируют свое изящество и утонченность на посыпанных песком аллеях Булонского леса.

Лошадиная ярмарка носит чисто утилитарный характер; здесь не ценится ни изящество линий, ни благородство пород; сюда приходят, чтобы приобрести рабочий скот, живую машину для работы и к тому же по самой дешевой цене.

Достаточно сказать, что за исключением некоторых тягловых пород: нескольких першеронов да нескольких булонских тяжеловозов,— на этой ярмарке можно встретить лишь изнуренных, одряхлевших животных, надорвавшихся на мостовых Парижа, этого лошадиного ада; там можно увидеть только жалких, измочаленных одроз с разбитыми ногами, из которых барышники настойчиво, упорно, до капли стремятся выжать все силы, которыми Господь наградил их мускулы; всю мощь, которую он вложил в их ноги, прежде чем, воспользовавшись Монфокоиской бойней, отправить их в небытие.

Но особенно на лошадиной ярмарке следует обходить тех животных, которые выглядят здоровыми и крепкими.

Можно с полной уверенностью сказать, что либо у них дурной нрав, либо они подвержены головокружениям.

Несмотря на плачевный вид каждой отдельно взятой особи, выставленной на этом базаре, в целом ярмарка представляет собой довольно оживленное зрелище; здесь лошадь ценю в тридцать франков пускают рысью и галопом, заставляют бить землю копытом и приплясывать от нетерпения, сопровождая все это ударами хлыста и стуком сабо; весь этот спектакль как две капли воды похож на тот, что дают у Кремье или Дрейка с полукровками ценою в тысячу экю: одни и те же хитрости, те же фразы, те же клятвы, что и у наших самых знаменитых торговцев, но здесь на ярмарке у заставы Фонтенбло бесконечно больше красок, чем там, на Елисейских Полях.

Как мы уже упоминали только что, торговля собаками является всего лишь приложением к торговле лошадьми.

Торговля собаками была бы весьма ничтожным и убыточным занятием, ведись она честным образом; а поскольку подразумевается, что каждый должен жить своим делом, то продавцы собак устроились так, чтобы сделать свое как можно более прибыльным.

Вместо того, чтобы выращивать собак— а это, из расчета как минимум шесть франков в месяц, составит в

конец года общую сумму в семьдесят два франка — стоимость собаки без учета вырученной прибыли, — они сочли, что гораздо выгоднее подбирать в общественных местах уже взрослых собак и выставлять их на продажу.

Затем, поскольку бродячие собаки стали попадаться гораздо реже, торговцы стали помогать животным вступить на путь бродячей жизни, поступая с ними так же, как поступили на наших с вами глазах со спаниелем деля Гравери.

Собачья ярмарка, подвигнувшая нас на эту ученую диссертацию, расположилась в боковых аллеях Госпитального бульвара, примыкающего к заставе Фонтенбло или к Итальянской заставе.

Некоторые из этих симпатичных четвероногих привязаны к кольям.

Маленькие сидят в клетках.

Большие прогуливаются со своими хозяевами, или точнее с теми, кто стал ими благодаря столь непредвиденным случайностям, что, принимая во внимание разнообразие обстоятельств, мы даже и не станем пытаться перечислять их.

Здесь можно найти собаку любого роста и любой величины, любой породы и любого экстерьера.

Есть собаки из Пиренеев рыжеватой масти и приторно-слащавого вида; остерегайтесь их, даже если их кличка будет «Ягненок», как у той, что вцепилась мне в руку.

Есть бульдоги с приплюснутыми носами, с горящим взглядом и с челюстями, украшенными кабаньими клыками.

Есть терьеры, сторожевые и цепные псы, легавые и пойнтеры более-менее чистых кровей.

Здесь представлены также овчарки и королевские болонки.

Все породы гончих от таксы до борзых выставлены на этой ярмарке.

Полусобаки-полуволки, черные и белые, напоминающие кучера дилижанса, закутанного в свои меховые одежды; комнатные короткошерстные собаки турецкой породы, которые, похоже, напротив, сбросили свои шубы и постоянно дрожат от холода; болонки, которых лишь с большим трудом можно обнаружить под длинными шелковистыми прядями шерсти.

И даже сами мопсы — эта известная, если не сказать прославленная, порода собак, которую считали вымершей, а Генрих Моннье гордился тем, что спас саму память о них от полного забвения — сами мопсы изредка посылают сюда своих представителей.

За ними шумной толпой следуют шавки, толпою столь многочисленной, столь пестрой, поражающей многообразием причудливых форм, что, увидев ее, Бюффон несомненно разорвал бы в клочки свой перечень собачьих видов и генеалогическое древо, которое он составил для каждой породы и которое ныне невозможно расшифровать.

Вот уже около двух часов шевалье де ля Гравери и его сотоварищ прочесывали во всех направлениях Госпитальный бульвар, его аллеи и боковые дорожки, но пока даже не попали на след того, ради кого пришли сюда.

Уже более десяти раз честный Пьер Марто, желавший заработать свои деньги, говорил бедному шевалье, показывая на какую-нибудь собаку, которая внешне походила на Блэка:

— Посмотрите, сударь, вот там, не ваш ли это Думесниль?

И уже более десяти раз шевалье отвечал, тяжело вздыхая:

— Увы! нет, это не он.

Как вдруг наш герой издал радостный вопль.

На углу улицы Иври, напротив которой он стоял, шевалье заметил человека, державшего на поводке двух собак, и одной из них был Блэк.

Человек беседовал с каким-то господином, который, казалось, с живейшим интересом рассматривал спаниеля.

— Вот он! Он там! — закричал де ля Гравери. — Смотрите, он меня узнал, он повернул голову в мою сторону. — Блэк! Блэк! А! мой бедный Думесниль, как я рад вновь увидеть тебя в моем нынешнем положении!

Де ля Гравери намеревался пересечь улицу, но в этот момент барышники пустили рысью не одну, а сразу десяток лошадей: невозможно было миновать бульвар, не подвергая себя риску быть раздавленным, и славный Пьер Марто, у которого не было таких причин

для волнения, как у шевалье, к счастью, сохранив все свое хладнокровие, вовремя удержал его от опрометчивого поступка.

Но за это время господин, достав кошелек из кармана, заплатил торговцу и, получив из его рук поводок, к которому был привязан Блэк, собрался уходить.

Шевалье де ля Гравери, удерживаемый, как мы видели, на месте Пьером Марто, наблюдал все это, крича: — Остановитесь! остановитесь! эта собака моя!

Но звук его голоса терялся среди рева барышников, шелканья бичей и цоканья подков по камням.

Наконец дорога освободилась. Пьер Марто отпустил полу сюртука шевалье, который немедленно устремился вслед за покупателем.

— Сударь! сударь! — восклицал шевалье, семеня позади него, — сабака, которую вы только что купили, принадлежит мне!

Господин, вначале не обращавший ни малейшего внимания на крики шевалье, в конце концов понял, что эти призывы обращены к нему, и, хотя, казалось, он очень торопился увести Блэка, он все же обернулся.

— Что такое? Будьте добры, повторите, что вы сказали?

— Я говорю, сударь, — задыхаясь, повторил шевалье, — что вы уводите с собой мою собаку.

— Вы ошибаетесь, сударь, — ответил покупатель, — животное, которое я держу на поводке, принадлежит мне по двум причинам, но и одной из них хватит, чтобы признать его моей законной собственностью: я ее вырастил, я никогда ее не продавал и, однако, я только что ее вновь приобрел.

— Прошу простить меня за то, что я вмешиваюсь, — сказал Пьер Марто учтиво, но в то же время твердо, — но я должен сказать, что животное принадлежит этому господину; я свидетель того, что эту собаку украли у него в пятницу, и доказательством этому служит то, что вот уже два дня, как я ее разыскиваю.

— Смотрите, сударь, смотрите, он меня узнал! — закричал шевалье, обхватив голову Блэка руками и целуя его в лоб.

— К несчастью, сударь, — холодно, но решительно ответил покупатель, — это доказывает только одно: то, что эта собака какое-то время принадлежала вам после того, как ее украли у меня, сомневаюсь, что вы могли бы

клятвенно утверждать, что эта собака живет у вас более двух лет, и однако в настоящий момент ей уже исполнилось восемь лет.

— Сударь,— сказал шевалье, который, вспомнив рассказ Терезы, почувствовал некоторое смятение ума,— сударь, назначьте вашу цену, и я заплачу любую сумму, которую вы назовете.

— Никакая цена не сможет ввести меня в искушение; слава Богу, я достаточно богат, чтобы быть вынужденным продавать своих собак; кроме того, этот пес бесценен: у меня с ним связаны слишком дорогие и любезные моему сердцу воспоминания; уверяю вас, что с тех пор, как двенадцать или пятнадцать месяцев назад я потерял его в Булонском лесу, редкий день я не вспоминал о нем. Я его отыскал, и я его оставляю у себя.

— Оставьте Блэка, сударь? Но это невозможно,— закричал шевалье, страшно разгорячившись.— Сударь, это моя собака. Если потребуется, я не пощажу себя ради того, чтобы она вернулась ко мне.

— Сударь,— ответил покупатель, нахмуря брови,— хотя я и испытываю некоторую жалость, видя подобное ваше поведение, к которому считаю себя должным отнестись как к приступу безумия, вынужден вам сказать, что вы мне надоели!

— О! Надоел я вам или нет, сударь,— подхватил шевалье, к которому постепенно возвращалось его вчерашнее воинственное настроение,— но завтра я дерусь на дуэли, и раз я здесь, то клянусь, я не остановлюсь даже перед вторым поединком. Я хочу мою собаку.

Произнося это, шевалье решительно повысил голос.

— О! Давайте не будем кричать, сударь,— очень спокойно сказал незнакомец.— Посмотрите, вокруг нас уже собираются люди, а человеку в вашем возрасте не подобает выставять себя подобным образом на всеобщее обозрение. Вот моя визитка; через час я буду у себя. Надеюсь, что вы сумеете вернуть себе хоть немного хладнокровия, я буду вас ждать, чтобы уладить это дело так, как вы сочтете это уместным.

— Отлично, сударь, через час!

Незнакомец холодно попрощался с шевалье и удалился, уводя с собой Блэка, который в этом споре о хозяине, вне всякого сомнения, не признавал права первоочередности и следовал за незнакомцем, буквально заставляя тащить себя на поводке. При этом он бросал на

шевалье де ля Гравери такие взгляды, которые разрывали тому сердце.

Наконец, когда шевалье потерял из виду Блэка и того, кто его уводил, он взглянул на визитку, которую держал в руке, и прочел на ней следующее имя и адрес: «Ж.-Б. Шалье, негоциант, улица Трех Братьев, № 22».

«Где, черт возьми, я видел это имя? — спросил себя шевалье, направляясь к стоянке наемных экипажей. — В моей бедной голове так перемешалось все случившееся, что я серьезно опасаясь потерять когда-нибудь память от всего этого. Все равно, хотя это собачье утро и доставило мне немало огорчений, но ни одно из них не сравнилось бы с тем горем, которое причинила бы мне се утрата... Ах, все это довольно зловещее предзнаменование для завтрашнего дня».

Как раз в этот момент показался пустой экипаж, шевалье сделал знак кучеру, и тот остановился.

Пьер Марто учтиво открыл дверцу.

— А! друг мой, — сказал шевалье, — верно, я и забыл о тебе. Человек действительно неблагоприятное животное!

И вытащив из кармана три или четыре ливора, он хотел дать их этому достойному человеку.

Но тот покачал головой.

— Этого недостаточно? — спросил шевалье. — Приходи в гостиницу, друг мой, я дам тебе еще.

— О! сударь, я не это имел в виду.

— Но что же тогда?

— Я хотел сказать, что могу вам еще пригодиться, хотя бы для того, чтобы подтвердить перед кем следует, что собака действительно принадлежит вам и что вы держали ее на поводке, когда ее у вас украли на Итальянском бульваре.

— Что же, хорошо, идем! Порядочный и храбрый человек всегда пригодится, и если ты мне не потребуешься для этого, то послужишь для другого. Но куда ты садишься?

— Рядом с кучером, черт возьми!

— Хорошо, садись рядом с кучером, мой друг.

Затем, обращаясь к самому себе:

— Да, да, да, — сказал шевалье, словно стараясь распалить себя, — пусть мне придется драться с этим Шалье на пистолетах с самого ближнего расстояния, с завязанными глазами, но я все равно верну себе Блэка!.. И ты

ведь не покинешь меня, не так ли, мой бедный Думес-
ниль, в подобных обстоятельствах, когда я ради тебя бу-
ду рисковать своей жизнью?..

Пьер Марто закрыл дверцу и сел рядом с кучером.

— Куда поедет, месье? — спросил тот.

— На улицу Трех Братьев, № 22, — ответил шевалье.
Фиакр тронулся с места.

Глава XXXV,

В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ НЕ ТОЛЬКО ВОЗВРАЩАЕТ ОБРАТНО СВОЮ СОБАКУ, НО И ВСТРЕЧАЕТ ТАКЖЕ ДРУГА

Шевалье прибыл на улицу Трех Братьев, охваченный
самыми мрачными мыслями.

Господин Шалье только что вернулся, всего несколь-
ко минут назад.

Шевалье спросил у консьержки о Блэке; та никогда
ничего о нем не слышала; однако господин Шалье вер-
нулся с собакой, которой раньше у него не было. Это
был спаниель великолепного черного цвета. Это было
все, что хотел знать шевалье.

Шалье занимал третий этаж очень красивого дома.

Де ля Гравери торопливо поднимался по лестнице в
надежде вновь увидеть Блэка. Он подыскивал в уме
слова, которые могли бы тронуть сердце прежнего хо-
зяина его собаки, сердце, которое, впрочем, казалось
ему, судя по виденному, не таким уж мягким и податли-
вым.

И, поднимаясь по лестнице, он спрашивал себя, не
будет ли более разумным поведать вышеупомянутому
Ж.-Б. Шалье свои предположения относительно того,
что в прошлом Блэк вел человеческое существование,
когда носил шпагу на боку и эполеты на плечах.

Так и не составив себе определенного плана, он поз-
вонил в дверь третьего этажа, в десятый раз повторяя
эту фразу, которая звучала как вопрос, обращенный им
к самому себе:

— Но где, черт возьми, я встречал эту фамилию
Шалье?

Господин Шалье действительно только что вернулся;
но поскольку было уже десять часов, а Шалье, как не-
гоциант, поддерживал в доме строжайший распорядок,

то не медля ни минуты он сел за стол, так как завтрак ему неизменно подавали в десять часов.

Но, садясь за стол, Шалье специально предупредил, что если его будет спрашивать человек лет пятидесяти, маленький, невысокого роста, толстенький и круглый как мячик, с красной лентой в петлице, то этого человека следует проводить в гостиную.

Это описание настолько точно соответствовало внешности шевалье, что служанка, открыв ему дверь, воскликнула:

— А! это тот человек, которого ждет хозяин.

— Надеюсь,— рискнул ответить шевалье.

— Я должна впустить вас, сударь, и пойти немедленно предупредить о вашем приходе моего хозяина, который сейчас завтракает.

Шевалье еще не завтракал и, скажем больше, он был настолько занят и взволнован, что едва ли даже вспоминал о еде, которой некогда придавал известное значение.

Поэтому, насквозь пропитанный гастрономической моралью Бершу, проповедовавшего, что ничто не должно беспокоить достойного человека в тот момент, когда он принимает пищу, де ля Гравери с заученной любезностью ответил:

— Хорошо, хорошо; не беспокойте господина Шалье; я подожду в гостиной.

Служанка провела шевалье в указанную комнату и пошла предупредить своего хозяина о приходе ожидаемого им гостя, слово в слово передав тому сказанное шевалье; Блэк, лежавший у ног своего нового хозяина, казалось, очень внимательно и с умным видом выслушал ее слова.

В это время шевалье, войдя в гостиную, подошел прямо к камину, в котором горел жаркий огонь, и, повернувшись спиной, стал отогревать свои икры, в одиннадцатый раз вопрошая себя:

«Но где, черт возьми, я встречал эту фамилию Шалье?»

Но тут внимание шевалье привлекла большая картина, написанная маслом, которая, похоже, вызвала у него в памяти более отчетливое воспоминание, чем то, что было связано с новым хозяином Блэка.

«Смотрите-ка! — вскричал шевалье,— бухта Папэти!»

И он подбежал к картине.

Эта картина послужила для него подлинным открытием.

Наконец-то Дьедонне вспомнил, где он встречал фамилию Шалье, которая так сильно его заинтриговала.

Едва только это воспоминание пронзило его память, как сзади него послышался скрип открывающейся двери.

Он обернулся и увидел Шалье.

В этот момент он не только вспомнил имя, но и узнал его лицо.

Бросив шляпу на пол, шевалье подбежал к Шалье и, взяв его за обе руки, сказал:

— О! сударь, сударь, вы бывали на Таити, не правда ли?

— Ну, да,— ответил Шалье, бесконечно удивленный столь резкой переменой настроения у человека, в котором он уже видел своего противника.

— Вы были там в 1831 году на борту корвета «Дофин»?

— Да.

— А на борту судна была желтая лихорадка?

— Да.

— Восьмого августа человек лет пятидесяти, сухопарый, высокий брюнет, с черными усами и проседью в волосах велел себя доставить из Папаэти на борт «Дофина» и подхватил там лихорадку?

— Капитан Думесниль, черт меня побери!

— Да, именно капитан Думесниль! А! я не ошшося, вы знали Думесниля?

— Конечно! он был мой лучший друг.

— Нет, сударь, нет: могу похвастаться, я был его лучшим другом. А! есть Провидение на свете, клянусь Господом! да, оно все же есть,— закричал шевалье со слезами в голосе.

— Я всегда в это верил,— улыбаясь ответил Шалье.

— Обнимите меня, сударь! обнимемся же! — сказал шевалье, бросаясь на шею человеку, которого десять минут назад был готов задушить.

— Ладно,— сказал Шалье невозмутимым тоном, который резко контрастировал с восторженной экзальтацией де ля Гравери,— считайте, что Провидение существует, и в честь этого Провидения можете обнять меня один раз и даже два, если вы так уж этого желаете;

а затем, будьте любезны объяснить; так как, глядя на происходящее, я испытываю желание позвать моих приказчиков и с их помощью отправить вас в Шарантон.

— Сударь,— сказал шевалье,— вы вправе так поступить; ведь я сошел с ума, да, буквально сошел с ума, но это от радости, сударь! Впрочем, одно слово объяснит вам все.

— Тогда произнесите это слово.

— Я шевалье де ля Гравери.

— Шевалье де ля Гравери! — в свою очередь, вскричал Шалье, впервые потеряв свой невозмутимо-холодный вид, который, казалось, отражал обычное состояние его души.

— Да, да, да.

— Тот самый пассажир, который поднялся к нам на борт «Дофина» на следующий день после смерти бедняги Думесниля?

— Именно, именно, тот самый, что проделал вместе с вами весь путь до Вальпараисо, где вы покинули борт корвета, на палубу которого я поднимался всего лишь раз или два, так сильно мучала меня морская болезнь.

— В самом деле, я высадился на берег в Вальпараисо, забрав с собой Блэка и мать Блэка, которого вы знали щенком. А! вы теперь видите, что я вам не лгал.

— Да, но, пожалуйста, давайте сейчас оставим Блэка в покое и займемся другим делом.

— Всем, чем вам будет угодно, сударь.

— Мое имя, шевалье де ля Гравери, не напоминает ли оно вам некоторые обстоятельства?..

— Вы правы, сударь.

— Помните ли вы тот пакет, который думесниль доставил вам на борт в тот день, когда стал жертвой этой роковой болезни, сведшей его в могилу, и имя той персоны, которой этот пакет был адресован?

— Мадам де ля Гравери...

— Матильде!

— Увы! шевалье,— ответил Шалье,— в этом отношении я не смог выполнить миссию, за которую взялся, полагая, что сразу же, не задерживаясь, вернусь во Францию.

— А!

— Вы видели, как я высадился в Вальпараисо?

— Да.

— Сначала я провел там гораздо больше времени, нежели предполагал; затем, вместо того, чтобы вернуться по суше или же обогнуть мыс Горн, я сел на корабль, который выполняя кругосветное плавание, шел в Кейптаун. В результате чего, когда я попал во Францию, мадам де ля Гравери уже умерла.

— Но вы разузнали что-нибудь о ее смерти и о ребенке, которого она оставила, сударь?

— Очень мало... Но я вам расскажу все то немногое, что мне известно.

— О! умоляю вас,— произнес шевалье, молитвенно сложив руки.

— Ваш брат, вы это, вероятно, знаете, потребовал, чтобы она не признавала ребенка, которого должна была родить; она родила девочку...

— Так, сударь, да, все так!

— Этой девочке при крещении дали имя Терезы.

— Тереза! Вы в этом уверены?

— Совершенно уверен.

— Продолжайте, сударь! продолжайте! Я вас слушаю.

В самом деле, казалось, шевалье жадно ловил каждое слово рассказчика.

— Ребенка поручили заботам некой женщины, которую звали...

Господин Шалье запнулся, припоминая имя.

— Матушка Денье,— с живостью произнес шевалье.

— Да, так, сударь; но, предприняв поиски этой женщины, я не смог найти ни малейших ее следов

— Зато я, сударь, я ее нашел!

— Кого?

— Терезу!

— Терезу?

— Да, и благодаря вам, я надеюсь, что вскоре смогу назвать ее своей дочерью.

— Вашей дочерью?

— Без сомнения.

— Однако мне казалось...

Шалье внезапно замолчал: область, в которую он вторгался, показалась ему весьма опасной.

Шевалье понял его мысль.

— Да, вас это удивляет,— сказал он с печальной улыбкой,— но когда смерть легла поверх обиды, то достоин сожаления тот, кто продолжает держать ее в своей памяти! К тому же, признаюсь вам, я провел долгих семь лет моей жизни, не любя никого, кроме самого себя, и состарившись, я стал легкомысленным и ветреным, я стал изменять самому себе ради собаки, и от собаки я хочу перейти к своему ребенку. Послушайте, сударь, напрягите память! Нет ли у вас какого-нибудь свидетельства, основываясь на котором мы могли бы доказать происхождение этой девушки?

— Да, пожалуй. Если вы можете доказать, что это именно ее отдали на воспитание матушке Денье, то у меня есть акт,— тот самый, который бедняга Думесниль привез мне на борт, поручая моим заботам и мать, и дитя,— у меня есть акт, который мадам де ля Гравери передала ему; акт, составленный по указаниям врача, который ходил за ней и который засвидетельствовал, что ребенок женского пола, крещенный под именем Терезы-Дельфины-Маргариты, является ее дочерью.

— А следовательно, и моей дочерью! — радостно вскричал де ля Гравери.— Ведь отцом признается тот, кто состоит с женщиной в законном браке.— *Pater is est quem nuptix demonstrant.*

И никогда еще эта аксиома супружеского права, приводившая в ярость столько мужей, не провозглашалась с более счастливым лицом и более довольным сердцем.

После того, как шевалье дал волю своей радости и своему удовлетворению, он счел, что пришло время познакомить Шалье с различными участниками той драмы, развязку которой Дьедонне так трудно было найти.

Он закончил свой рассказ тем, что произошло вчера между ним и Гратьеном д'Эльбэн в Голландском кабачке.

Шалье, узнав о предстоящей завтра дуэли, сделал все возможное, чтобы отговорить шевалье от поединка.

Но вид Блэка и то раздражение, которое он испытал утром, вернули шевалье его воинственное настроение и подняли его дух.

— Нет, милый мой,— сказал он,— нет, нет, нет! мое решение непоколебимо! Я решил драться еще тогда, когда у меня были всего лишь предположения по поводу

рождения Терезы; теперь же, когда я твердо уверен, что она дочь Матильды, то я готов тысячу раз пожертвовать своей жизнью ради нее! И, послушайте, это во мне все еще говорит эгоизм — я всегда был эгоистом и останусь им до конца,— послушайте,— продолжал шевалье, показывая на Блэка, который, отворив дверь, вошел в гостиную и с задумчиво-печальным видом положил свою голову на колени шевалье,— я открыл такое наслаждение в тех страданиях, которые перенес ради них, что уверен в том, что в смерти, принятой за любимое существо таится такой источник благодати и утешения, о котором никто и не подозревает, и с которым я вовсе не прочь был бы поближе познакомиться.

— Ну, что же,— ответил Шалье,— раз ваше решение твердо, то, мой дорогой господин де ля Гравери, окажите мне честь, выбрав меня вашим секундантом.

— А! сударь, я как раз хотел просить вас об этом,— вскричал обрадованный шевалье.

— Итак, это решено?

— Да, решено; и мы не можем терять ни минуты.

— В чем дело?

— Секунданты моего противника должны с двенадцати до часу прогуливаться по террасе Фельянов, поджидая там моих секундантов, дабы обговорить условия поединка.

Шевалье вынул свои часы.

— Сейчас десять часов тридцать пять минут,— добавил он.

— Хорошо! вы сами видите, что у нас еще есть время.

— Это правда! но я еще не завтракал.

— Я предложил бы вам позавтракать со мной, но необходимо, чтобы я вам нашел второго секунданта.

— Зачем?

— Чтобы обсудить условия поединка.

— Это ни к чему! у меня уже есть второй секундант; однако я желаю, и тому существуют весьма серьезные причины, чтобы он встретился с моим противником и его секундантами только на месте дуэли; поэтому я вас прошу уладить все условия поединка.

— Какие у вас будут пожелания?

— Никаких.

— Но если наш противник предоставит нам выбор оружия?..

— Не соглашайтесь на это! оскорбление было нанесено ему; и я не желаю никаких уступок.

— Но все же вы отдаете предпочтение какому-либо виду оружия?

— Предпочтение, сударь? О! нет, слава Богу, я питаю отвращение к любому из них.

— Но в конце концов вы умеете стрелять из пистолета и владеете шпагой?

— Да. Мой бедный Думесниль, несмотря на мое отвращение к этим орудиям убийства, научил меня ими пользоваться.

— И вы достаточно хорошо ими владеете?

— Сударь, вам хорошо знакомы эти маленькие зеленые попугайчики с оранжевой головкой, которые по своим размерам чуть больше обычного воробья и которые встречаются на всех островах Океании?

— Отлично знакомы.

— Так вот, я регулярно убивал двух из трех этих попугайчиков, сидящих на вершине дерева.

— Вы не достигли уровня вашего учителя Думесниля, который убивал трех из трех; но тем не менее это вовсе неплохо. Ну, а как дела обстоят со шпагой?

— О! я умею лишь парировать удары, но делаю это очень ловко.

— Этого недостаточно.

— И потом я знаю один удар...

— А! а!

— Один-единственный.

— Если это некий выпад, которым Думесниль поражал меня десять раз, то этого достаточно.

— Да, это тот самый удар, сударь.

— Тогда я больше не опасюсь за вас, сударь.

— Я тоже, но только при одном условии...

— Каком же?

— Позвольте Блэку сопровождать нас завтра на место поединка, дорогой Шалье. Я очень суеверен и я верю, что его присутствие принесет мне завтра удачу.

— Блэк последует за вами и не только завтра, отныне он будет с вами всегда, шевалье, и я счастлив, что могу вам подарить животное, к которому вы столь сильно привязаны.

— Спасибо, сударь, спасибо! — воскликнул шевалье, глаза которого были полны слез.— А! вы не знаете, как

дорог мне ваш подарок! Видите ли, Блэк — это не животное, это... Но нет, вы мне не поверите,— добавил шевалье, по очереди переводя взгляд то на Блэка, то на своего нового друга.

Затем, протягивая руки к Блэку, он позвал:

— Блэк! Мой славный Блэк!

Блэк бросился в объятия шевалье, издавая нежное радостное повизгивание, на которое шевалье совсем тихо отвечал:

— Теперь, будь спокоен, мой бедный Думесниль! ничто нас больше не сможет разлучить!.. кроме,— добавил он тем не менее с печалью в голосе,— кроме пушечной пули или удара шпагой!..

Но, как будто поняв смысл этих слов, Блэк вырвался из рук шевалье и принялся так весело прыгать и так радостно лаять, что де ля Гравери, который, по его собственным словам, верил в приметы, расценил его поведение, как доброе предзнаменование, и, протянув руку Шалье, с самым задорным и удалым видом вскричал:

— Черт возьми! дорогой друг, по-моему, вы что-то говорили о завтраке, который вас ждет и который вы предложили разделить мне с вами?

— Да, конечно.

— Отлично, тогда вперед, за стол! и да здравствует счастье и радость!

Шалье с удивлением посмотрел на шевалье; но он уже начинал привыкать к эксцентричным выходкам своего нового знакомого, и тоном, который самым странным образом контрастировал с его словами, он повторил:

— Итак, за стол, и да здравствует радость!

Он провел своего гостя в столовую, где был накрыт такой завтрак, какого де ля Гравери не едал с того дня, как рассчитал Марианну.

Выйдя из дома номер 22, де ля Гравери нашел свой фиакр стоящим у двери.

Честный Пьер Марто был рядом с фиакром и заканчивал свой завтрак, менее роскошный, но, вероятно, столь же аппетитный, как и завтрак шевалье; колбасник, торговавший напротив, и продавец вин на углу постарались на совесть.

— А! А! — произнес бравый сотоварищ шевалье, увидев, как тот опирается на руку Шалье, а Блэк следует

за ними или, точнее, за де ля Гравери,— похоже, вы поладили с хозяином пса, и все закончилось самым лучшим образом?

— Да, мой друг,— сказал шевалье,— а поскольку для вас, так же как и для меня, все тоже должно закончиться самым лучшим образом, вы и дальше будете сопровождать меня до самой гостиницы, где мы с вами, если вы этого пожелаете, подведем наши подсчеты.

— А! не стоит так торопиться, месье; я охотно открою вам кредит.

— Ладно! а если меня завтра убьют?

— Но ведь вы же не деретесь!

— Я не дерусь с этим господином,— сказал, расправив плечи, шевалье,— но зато я дерусь с другим.

— В самом деле! — сказал Пьер Марто.— Нет, клянусь честью, с первого взгляда я никогда бы не подумал, что вы такой шалопай; но, к счастью, у вас впереди ночь, а утро вечера мудренее.

Шевалье поднялся в фиакр, где его уже ждал Шалье. Блэк, вероятно, опасаясь новых неприятностей, запрыгнул в коляску лишь после того, как в нее сел де ля Гравери. Пьер Марто закрыл дверцу за обоими пассажирами и за собакой; после чего вновь занял свое место рядом с кучером.

Когда фиакр остановился на улице Риволи, около дверей гостиницы «Лондон», два офицера, подошедшие с разных сторон, встретились на террасе Фельянов.

— Вот те, кто нам нужны! — сказал шевалье.— Не заставляйте себя ждать, мой дорогой Шалье, и будьте твердым.

Шалье сделал ему знак, что он останется им доволен, и пересек проезжую часть улицы Риволи; в это время шевалье предложил Пьеру Марто следовать за собой.

Пьер Марто повиновался.

Войдя в комнату, шевалье первым делом вновь устроил Блэка на тех же самых подушках и лишь после того, как тот с комфортом на них расположился, сказал:

— А! теперь настала наша с вами очередь, мой славный храбрец!

И, взяв в ящике секретера, закрытом на ключ, небольшой бумажник красного сафьяна, вытертая кожа ко-

торого указывала на его долгую службу своему владельцу, шевалье вытащил из него небольшой кусочек прозрачной бумаги и дал его Пьеру Марто.

Тот с некоторыми колебаниями развернул его и, хотя он, должно быть, весьма мало был знаком с французским банком, ему стало ясно, что этот клочок бумаги вышел из этого достойного заведения.

— О! о! подписано Гара! с этой подписью легче всего берут к оплате и требуют меньше комиссионных. Сколько я должен вам вернуть, месье?

— Ничего,— ответил шевалье.— Я вам обещал пятьсот франков, если найду мою собаку; я ее нашел и держу свое слово.

— Это все мне, мне? Не делайте глупостей, буржуа: волнение дурной советчик.

— Этот билет ваш, оставьте его себе, мой друг,— сказал шевалье.

Пьер Марто почесал за ухом.

— Вы мне даете его от всего сердца?

— Да, от всего сердца, от всей души!

— Но, вручая мне этот билет, не согласитесь ли вы мне пожать еще и руку?

— Почему бы нет? Даже две, мой друг! две, и с большим удовольствием!

И он протянул обе руки Пьеру Марто.

Тот сжал нежные руки шевалье, на несколько секунд задержал их в своих мозолистых ладонях и выпустил лишь для того, чтобы смахнуть слезу, когорая скользила по его щеке из уголка глаза.

— Что же,— сказал он,— вы можете похвалиться тем, что кюре церкви Святой Елизаветы выдаст завтра нечто потрясающее по этому поводу и к тому же в вашу честь.

— Потрясающее? Что потрясающее, мой друг? — спросил шевалье.

— Потрясающую обедню! И я вам хочу заявить одно: если завтра с вами на дуэли случится несчастье, то значит, там на небесах нет милосердного Бога.

И Пьер Марто вышел, вытирая слезы.

Шевалье сделал то же, что и Пьер Марто; он также вытер свои слезы.

Затем он подошел к окну, открыл его, собираясь немного подышать свежим воздухом, и увидел Шалье, совещавшегося с двумя секундантами Гратьена д'Эльбэн.

Глава XXXVI

ОНА ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ ТЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, КОТОРЫМ ПРАВИТСЯ НАБЛЮДАТЬ, КАК ПОЛИНИНЕЛЬ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОБЕЖДАЕТ ДЬЯВОЛА

Эту ночь шевалье де ля Гравери проспал сном праведника.

Правда, рядом с ним находился его друг Думесниль в обличье Блэка.

В семь часов утра, благодаря заботам парикмахера, за которым он посылал на улицу Кастильоне, шевалье был не только одет, но еще и выбрит и причесан с такой тщательностью, с которой он давно не относился к своему туалету, и прохаживался по своей комнате спокойный и почти улыбающийся.

Блэк также, казалось, был весел и рад.

По правде говоря, шевалье совершенно не думал о предстоящей дуэли и велел себя выбрить и постричь вовсе не из любезности к господину Гратьену д'Эльбэн, как это можно было предположить.

Нет, шевалье думал о Терезе; Терезе, которая вернулась к нему и которую он признавал в двух оставленных им письмах, адресованных — одно господину Шалье, а другое Анри, — благодаря акту, переданному мадам де ля Гравери, своей настоящей дочерью и, следовательно, своей прямой и единственной законной наследницей.

Это ради Терезы он приказал привести себя в порядок.

Он думал о том, как счастлива Тереза будет узнать, что она его дочь; ведь он твердо решил ничем не омрачать эту радость и ни слова не говорить дочери об ошибках ее матери.

Он даже решил, что возьмет, если потребуется, вину на себя за то, что бедная сирота столь долго оставалась всеми покинута.

В семь с четвертью в дверь постучали.

Это был Анри д'Эльбэн.

Де ля Гравери бросил быстрый взгляд на молодого человека и по безмятежному выражению его лица легко догадался, что тот совершенно не подозревает, кто противник шевалье.

— Вы видите, сударь, — сказал Анри с учтивостью, по которой за милю в нем можно было узнать дворянина, — насколько я точен и верен данному мною слову.

Нечто вроде раскаяния укололо шевалье в сердце.

Было ли с его стороны порядочно подобным образом

делать Анри своим секундантом в дуэли с Гратьеном, заставляя брата требовать отпущения брату?

Поэтому лицо его слегка помрачнело, когда он отвечал молодому человеку.

— Послушайте, господин Анри, как бы я ни был вам признателен за вашу пунктуальность и за доказательство вашего интереса, которое вы пожелали мне дать, признаюсь вам, что предпочел бы, чтобы вы не пришли на эту встречу.

— Почему же, сударь? — удивленно спросил барон.

— То, что должно произойти, касается вас гораздо ближе, чем вы это предполагали, и даже ближе, чем вы можете это себе представить.

— Что вы имеете в виду?

Шевалье положил руку на плечо молодого человека и с замечательным чувством достоинства сказал ему:

— Сударь, несмотря на большую разницу в возрасте между нами, ваш твердый характер, лишенный глупых предрассудков, возвышенность ваших чувств внушили мне глубокое уважение к вам и, позвольте мне это сказать, самую искреннюю дружбу. Однако вовсе не это уважение и не эта дружба послужили причиной того, что на днях я доверил вам мою тайну.

— Но что же в таком случае вами двигало, сударь?

— Послушайте, будет лучше, если вы об этом не узнаете; будет лучше, пока для этого еще есть время, вам сейчас уйти и не сопровождать меня туда, куда я отправляюсь. Я освобождаю вас от вашей клятвы и прошу взять назад ваше обещание: чем больше я об этом размышляю, тем больше считаю не только разумным, но и честным и гуманным поступить именно так. Бедное дитя, которое вы любили и которое все еще любит вас, могло бы рассердиться на меня за то, что я заставил вас принять участие в этом наказании.

— Что означают ваши намеки и недоговоренности, господин шевалье? — спросил Анри. — Я умоляю вас, ответьте, о ком вы говорите? Вы сказали, бедное дитя, которое я любил и которое все еще меня любит? Но я в своей жизни любил лишь одну женщину, и эта женщина, это была...

Анри заколебался; шевалье dokonчил за него

— Это Тереза, не правда ли? — сказал он.

— Откуда вам известно имя Терезы? Откуда вы знае

те, что я любил Терезу? — торопливо расспрашивал барон.

— Тереза — моя дочь, сударь, моя единственная дочь, мое обожаемое дитя, а ее соблазнитель, человек, воспользовавшийся своим сходством с братом, чтобы совершить преступление, это... ваш брат.

— Гратьен?

— Он самый.

— Так, значит, вы деретесь с моим братом?

Шевалье промолчал; но само его молчание было красноречивее всяких слов.

— О! несчастный! — вскричал Анри, пряча лицо между ладоней.

Затем, спустя мгновенно, он спросил:

— Но как же, как он согласился драться с отцом молодой девушки, которую он соблазнил?

— Он не знает, что я отец Терезы; впрочем, я ему нанес такое оскорбление, что оно ему не оставило выбора: драться или нет.

— О, Боже мой, Боже мой!

— Ну же, мужайтесь, мой друг! — сказал шевалье. — По правде говоря, мне кажется весьма странным, что мне так скоро пришлось давать подобный совет другим... мужайтесь! Возвращайтесь к себе; но только есть одно ваше обещание, на которое я по-прежнему хотел бы положиться.

Анри сделал знак, что шевалье может рассчитывать на него.

— Если я погибну, что вполне возможно, — продолжал шевалье с нежной и грустной улыбкой, — если я погибну, я завещаю вам мое дитя, мою дочь, мою Терезу... вашу Терезу, Анри! Смотрите за ней, утешайте, защищайте ее! Господин Шалье, вот его адрес, сообщит вам средства заставить признать ее права на мое состояние.

— Нет, сударь, нет! — закричал Анри, выпрямившись и подавляя свое волнение. — Совесть есть совесть, и с ней не заключают сделок. Позорный поступок, совершенный кем бы то ни было, продолжает оставаться таковым, даже если его совершил мой брат. Я не покину вас. Если бы вашим противником был не Гратьен, то я пожелал бы занять ваше место; меня он оскорбил гораздо больше, чем вас. Но какие бы узы ни связывали меня с ним, своим присутствием я дам ему понять, какое отвращение

я испытываю перед его мерзким поступком. И если вы должны стать его возмездием, то я буду олицетворять его раскаяние. Идемте же, сударь, идемте!

— Это решение, мой юный друг, продиктовано мужественным и великодушным сердцем. Я не нахожу других слов, чтобы выразить то уважение, которое внушают мне ваши высокие чувства; но повторяю вам, я нанес такое сильное оскорбление вашему брату, что всякая надежда на возможность примирения на месте поединка была бы иллюзорной, подумайте об этом.

— Ах! если бы я был свободен, сударь,— вскричал Анри.— Тереза была бы счастлива, честь ее была бы восстановлена... несмотря на... О! это воистину ужасно! брат! но, сударь, хотя мы и близнецы, наши характеры настолько различны, насколько схожи наши черты: он живет в вихре балов и пирушек; я же веду жизнь, полную одиночества. После моего возвращения в Париж я видел его всего дважды... Однако я удалился от темы нашей беседы. Я в некотором роде прошу у вас прощения за преступление, совершенное другим. И когда вы ее снова увидите, шевалье,— а я надеюсь, каким бы противоестественно жестоким вам ни казалось подобное пожелание, что вы увидите с ней вновь,— скажите ей, что тот, кто так ее любил и кто все еще продолжает ее любить, не пожелал покинуть ее отца в этот решающий для него миг, чего бы это ни стоило его сердцу!

Шевалье протянул руку молодому человеку, затем, бросив взгляд на часы, сказал:

— Час близится, мой дорогой Анри. Это моя первая дуэль, и я пока не могу позволить себе заставлять других ждать. Идем же. Ко мне, Блэк!

— Вы берете с собой вашу собаку?

— Конечно... Я не хотел бы расставаться в такой момент с моим самым старым и лучшим другом. Ах! если бы бедняга Думесниль был жив.

Анри с удивлением посмотрел на шевалье.

— Не обращайтесь внимания,— заметил тот.— Я знаю, что говорю.

Спускаясь по лестнице, шевалье и Анри д'Эльбэн встретили господина Шалье, шедшего им навстречу: он приехал в своей коляске, великолепном закрытом экипаже, запряженном двумя породистыми лошадьми.

Все трое сели в карету.

— В Шату! — приказал господин Шалье кучеру.

Шевалье представил друг другу своих секундантов.
— Сударь, о чем вы условились с секундантами нашего противника? — спросил Анри у негоцианта.

— Дело улажено по всем правилам, — ответил Шалье. — Эти господа не пожелали извлечь ни малейшей выгоды из того, что являются оскорбленной стороной. Все решит случай. Противники встанут на расстоянии тридцати шагов друг от друга, у каждого в руке будет заряженный пистолет; они имеют право открывать огонь через каждые пять шагов, это сразу сократит дистанцию между ними до двадцати шагов, и каждый раз производить только по одному выстрелу.

— Вы стреляете из пистолета? — спросил Анри у шевалье с едва заметной дрожью в голосе.

— Да, немного, благодаря Думеснилю, — ответил шевалье, нежно поглаживая шелковистые уши собаки.

— Отлично! — сказал Шалье, не подозревая о родственных отношениях Анри и Гратьена, — в Америке шевалье убивал двух попугаев из трех; а человек ведь в четыре раза больше попугая: видите, это нам дает некоторый шанс.

Шевалье заметил помрачневшее лицо Анри и взял его за руку.

— Мой бедный друг, — обратился он к Анри, — если бы за моей спиной не было Терезы, Терезы, которая нуждается в утешении и любви, я бы вам сказал: «Не беспокойтесь о судьбе моего противника!»

— Исполняйте ваш долг, шевалье, — ответил Анри. — Моя жизнь и так уже стала мне в тягость; ведь я пытался найти забвение в науках, только, дабы выдержать эту юшу; и что бы ни случилось, отныне жизнь будет для меня еще более невыносимой; но я буду молить Бога сократить мои муки.

Несмотря на всю свою деликатность, Шалье уже было отважился задать Анри вопрос; однако шевалье сделал ему знак замолчать.

Кучер, следуя указанию своего хозяина, остановился напротив острова Буживаль.

Вторая карета, стоявшая на берегу, доказывала, что противники шевалье опередили его и прибыли раньше на место встречи.

Действительно, когда шевалье и два его секунданта спустились в лодку, которая должна была переправить

их на остров, среди деревьев они заметили черные силуэты трех офицеров.

Все трое были в штатском.

Лодка причалила.

Шалье, высадившись первым, направился к Лувиллю, курившему сигару, сидя на столе из камня, который до сих пор сохранился на краю острова.

— Сударь, мы заставили вас ждать, примите наши извинения,— сказал он, вынимая свои часы,— но мы не опоздали, вы это видите сами. Встреча была назначена на девять часов, а сейчас без пяти девять.

И точно, колокола церкви в Шату, на пять минут опережавшие часы господина Шалье, принялись вызванивать девять часов.

— Не извиняйтесь, сударь,— сказал Лувиль,— напротив, вы точны как солнечные часы; впрочем, ожидая вас, мы не теряли даром времени: мы отыскали поляну, которая будто нарочно создана, чтобы перерезать на ней друг другу глотку. Регулярные посадки тополей, которые ее окружают, возможно, послужат дополнительным ориентиром для оружия этих господ и облегчат им прицеливание, это увеличит возможность смертельного исхода этой встречи; но поскольку в конце концов они пришли сюда не для того, чтобы бросать друг в друга косточки от вишни, и поскольку это лучшее из того, что мы видели, надеюсь, вы одобрите наш выбор.

Господин Шалье поклонился в знак согласия, но, когда он наклонился, все увидели Анри, стоявшего за его спиной и протягивавшего руку шевалье.

Гратьен заметил своего брата и побледнел как мертвец; но не сказал ему ни слова.

Небольшая группка в полном молчании отправилась на поляну, о которой говорил Лувиль.

— Ах, мой бедный друг,— говорил шевалье Анри д'Эльбэну,— как мне больно видеть вас здесь.

— Не думайте больше об этом,— ответил Анри,— думайте о себе. Давайте поговорим о вас.

— О! Вот это совершенно ни к чему! Черт возьми! Вы мне собираетесь оказать плохую услугу, сами того не подозревая. Напротив, не будем говорить обо мне и как можно меньше будем думать об этом. Послушайте, вам, дорогой друг, я могу признаться, я вовсе не храбрец или, точнее, мне удастся сохранять бравый вид лишь потому, что я думаю не о предстоящем мне сейчас деле, а совсем о другом: и только что, когда взгляд мой упал

на эти футляры из зеленой саржи, в которых хранятся pistols, и один из них через десять минут меня, возможно, уложит на траву, меня охватила какая-то зловещая дрожь... Ах! дорогой Анри, у меня в Шартре такая прелестная комната, пропитанная насквозь благоуханным ароматом роз, цветущих под моим окном, что я потихоньку говорю себе: как бы я сейчас хотел быть там вместо того, чтобы быть здесь. Но еще раз повторяю, черт возьми, не будем думать об этом; только не забудьте о моих наказаниях относительно Терезы

— Будьте спокойны.

— Вы мне это обещаете?

— Разве должен я вам обещать то, что послужит бальзамом для моего сердца?

— А,— шевалье слегка побледнел,— похоже, мы пришли. Мне кажется, что место действительно выбрано превосходно. Решительно лейтенант Лувиль в этом разбирается лучше, чем в том, как травить собак, не правда ли, Блэк?

Секунданты остановились; из футляров зеленой саржи были вынуты pistols, заставившие вздрогнуть шевалье де ля Гравери, господин Шалье, и один из секундантов Гратьена стал их заряжать.

В это время Гратьен сделал знак де ля Гравери подойти к группе секундантов; затем, избегая смотреть на своего брата, он сказал:

— Господа, я был жестоко оскорблен господином де ля Гравери; честь мундира, который я ношу, требует удовлетворения; однако между нами столь большая разница в возрасте, что, если только он согласен объявить, что сожалеет о том, что поддался приступу гнева, я удовлетворюсь его извинениями, несмотря на то, что уже довольно поздно делать подобные заявления.

— Я принесу вам эти извинения, сударь, я стану на коленях просить у вас прощения,— отвечал шевалье,— я паду лбом в грязь, я буду просить вас со слезами на глазах простить меня, если вы, в свою очередь, захотите признать вину, допущенную вами по отношению Терезы де ля Гравери, моей дочери, и искупить ее, женившись на ней.

— Ну вот еще! — произнес лейтенант Лувиль.

— Тише, сударь! — сказал Анри д'Эльбэн, проворно схватив молодого человека за руку,— тише! До сих пор ваше вмешательство имело весьма роковые последствия

для этих двух людей, чтобы вы продолжали себя так вести и здесь, где оно не только опасно, но еще и неуместно.

Потом он обратился к брату:

— Отвечайте, брат мой. На предложение, сделанное вам, отвечать должны вы сами, никто, кроме вас. не имеет на это права.

— Мне нечего ответить,— сказал Гратъен.

— Подумайте.

— Я молчу именно потому, что думаю об этом. Если я здесь на поле поединка приму условия шеваляе, скажут, что я испугался.

С этими словами он вежливо, но сухо поклонился, и шеваляе вместе с Анри отошли в сторону.

Шалье и Лувиль отмерили тридцать шагов; при этом Шалье старался, чтобы они были как можно длиннее, сломанной веткой обозначили минимальное расстояние, до границ которого могли дойти противники, сближаясь друг с другом, затем приготовились вручить им оружие.

— Господа,— сказал Анри,— вы вашей честью клянетесь, что пистолеты незнакомы противнику господина де ля Гравери?

— Клянемся честью,— ответили оба офицера

Один из них добавил:

— Я лично приобрел их у Лепажя.

— Это двустольные пистолеты? — спросил Анри.

— Нет, сударь.

— Благодарю. Этого достаточно,— сказал Анри.

Пистолеты были вручены противникам.

Они разошлись по своим местам.

Блэк последовал за шеваляе и прижался к нему; шеваляе мог чувствовать его тепло: он поблагодарил его признательным взглядом.

— Сударь,— обратился к нему Лувиль,— отошлите вашу собаку.

— Моя собака меня не покинет, сударь.— ответил шеваляе.

— А если ее убьют?

— То она не впервые будет рисковать жизнью из-за своей чрезмерной преданности; вам ведь это хорошо известно, господин Лувиль.

И обращаясь к Шалье, который давал ему последние наставления, он совсем тихо сказал ему:

— Ах! вы не знаете, какое страшное действие на меня оказывает необходимость выстрелить в человека; мне кажется, что я никогда не смогу на это решиться.

Действительно, в лице у шевалье не было ни кровинки, пистолет дрожал у него в руке, а его мертвенно-бледные губы конвульсивно подрагивали; время от времени он вскидывал голову и поводил плечами, как бы пытаясь избавиться от волнения, которое охватывало его против волн.

— Сударь,— сказал второй секундант Гратьена, подойдя к шевалье и пожав ему руку,— вы настоящий храбрец и вы гораздо больше достойны этого определения, чем кто-либо другой, окажись он на вашем месте.

Секунданты уже удалились, когда Гратьен, который вот уже в течение нескольких минут, казалось, был охвачен сильным волнением, сделал знак своему брату, что хочет с ним говорить.

Анри подбежал к молодому офицеру.

Тот отвел его в сторону и сказал ему на ухо несколько слов.

Анри казался глубоко взволнованным тем, что ему говорил брат.

И когда тот закончил говорить, он обнял его, прижал к сердцу и несколько раз поцеловал.

Затем, оставив брата, он сел на землю справа от шевалье, повернувшись спиной к обоим противникам и обхватив голову обеими руками.

Лувиль спросил, готовы ли противники.

— Да,— ответили те одновременно.

— Внимание! — сказал Лувиль и стал считать: — Раз... Два... Три...!

Следуя совету господина Шалье, шевалье де ля Гравери при счете три быстро устремился вперед.

И в тот момент, когда шевалье шел ему навстречу, Гратьен выстрелил.

Пуля, выпущенная молодым человеком, пробила лишь воротник сюртука шевалье де ля Гравери, даже не оцарапав ему кожи.

Анри живо обернулся; он увидел обоих противников, стоящими на ногах, дуло пистолета Гратьена дымилось.

Анри вздохнул и отвел глаза.

Шевалье, совершенно ошеломленный и оглушенный, продолжал неподвижно стоять на месте.

— Стреляйте же, сударь! Что вы ждете?! Стреляйте! — закричали секунданты.

По всей видимости, не отдавая себе никакого отчета в том, к чему это может привести, шевалье поднял руку с пистолетом, плетью висевшую вдоль его бедра, вытянул ее и, не целясь, выстрелил.

— Господи, твоя воля! — воскликнул он.

Гратьен, не двигаясь с места, медленно поворачиваясь, стал оседать и упал лицом на землю.

Ари повернулся и увидел брата распростертым на гробе.

Он вскрикнул, а затем тихо промолвил:

— Это действительно суд Божий!

Все подбежали к нему.

Ари приподнял раненого и удерживал его у себя на руках.

Шевалье, буквально раздавленный случившимся, рыдал и просил у Бога прощения за совершенное им убийство.

Рана была из числа самых серьезных.

Пуля пробила грудь справа, чуть ниже шестого ребра, и, должно быть, застряла в легком.

Кровь едва сочилась; видимо, произошло большое внутреннее кровоизлияние.

Раненый задышался.

Господин Шалье вытащил из кармана ланцет и пустил ему кровь; за время своих длительных путешествий он освоил эту операцию, так необходимую во множестве случаев.

Раненый почувствовал облегчение, и дыхание его стало свободнее.

Тем не менее кровавая пена показалась у него на губах.

На скорую руку соорудив носилки, они перенесли раненого в лодку.

В это время Ари, мертвенно-бледный, но сдерживающий свое волнение, приблизился к шевалье.

— Сударь, — сказал он, — перед началом поединка, от которого он, повинувшись предрассудку, не пожелал отказаться, о чем я горько сожалею, мой брат поручил мне, каким бы ни был исход этой дуэли, просить вас дать разрешение на его брак с мадемуазель Терезой де ля Гравери, вашей дочерью.

Услышав эти слова, шевалье бросился в объятия молодого человека и, изнемогая от волнения, лишился чувств.

Когда он пришел в себя, Анри, секунданты раненого и сам раненый были уже далеко; шевалье остался в обществе господина Шалье, похлопывающего его по рукам, и Блэка, лизавшего ему лицо.

Глава XXXVII,

КОТОРАЯ БЛАГОРАЗУМНО ВОЗДЕРЖИТСЯ ОТ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ ИНАЧЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ГЛАВЫ

Когда господин де ля Гравери вернулся в гостиницу «Лондон», ему сообщили, что Тереза уже приехала и ждет шевалье в его комнате.

Волнение шевалье было так велико, что ему не достало мужества рассказать девушке о событиях, столь круто изменивших ее жизнь.

Он поведал господину Шалье все, что необходимо было ей сказать, и втолкнул его в комнату, а сам остался ждать за дверью.

Тереза была сильно удивлена, увидев, как в комнату вместо господина де ля Гравери вошел неизвестный ей человек, но Шалье поторопился ее успокоить; к тому же, Блэк, учувший свою юную хозяйку, последовал за негоциантом и теперь всячески ласкался к Терезе.

Но лишь только последняя узнала об опасности, которой ради нее подвергался господин де ля Гравери, она в страшном волнении вскричала:

— О! мой отец! мой милый добрый отец! где же вы?

Шевалье не мог устоять перед этим призывом.

Открыв дверь, он бросился в объятия своей дочери и, покрывая ее лоб поцелуями, прижал Терезу к своей груди.

— Черт возьми! — воскликнул он, освободившись из ее объятий, — вот она плата за все то, что я сделал для тебя, дитя мое. О! что за счастье увидеться и обняться вновь, после того, как мы были буквально на волосок от того, чтобы навсегда потерять друг друга! Нет, черт побери! ничто на свете не может сравниться с этим счастьем.

Затем, внезапно остановившись, как бы испугавшись самого себя, шевалье добавил:

— Бог мой! Похоже мне уже пора стать прежним де ля Гравери; вот уже два дня я ругаюсь, как какой-ни-

будь безбожник или нечестивец; со мной никогда такого не было, даже, когда я был страшно сердит на Марианну. Проклятье! Добрая канонисса меня и не узнала бы сейчас!

— Дорогой отец,— сказала Тереза, снова обнимая и целуя шевалье,— дорогой отец, никогда, даже в моих самых честолюбивых мечтах, я не осмеливалась бы желать того, что происходит сейчас со мной.

Затем мысли ее приняли несколько иной оборот.

— Увы! Значит, моя бедная матушка умерла! О! мы часто будем вспоминать о ней, не правда ли?

Шалье бросил на шевалье взгляд, исполненный беспокойства и сострадания.

Но того, казалось, ничуть не взволновала просьба, высказанная девушкой.

— О! конечно же, мы будем ее вспоминать,— ответил он.— Она была так добра, так красива, ты — вылитый ее портрет, дитя мое. А если бы ты знала, каким счастливым она меня сделала во времена моей молодости! Сколько прелестных воспоминаний она мне подарила о том времени, которое так далеко ушло от нас, но которое навсегда запечатлелось в моем сердце.

— Значит, она тоже была несчастна?

— Увы, да, моя дорогая малютка. Но что поделаешь! — добавил со вздохом шевалье,— я был молод и не всегда поступал разумно.

— О! Это невозможно, отец! — вскричала Тереза,— я могу поклясться, что, если моя мать была несчастна, то вашей вины в этом не было.

— Знаете ли вы, что у вас золотое сердце? — прошептал Шалье на ухо шевалье де ля Гравери.

— Вот еще! — подхватил тот,— мое сердце, мое сердце... Я сердит на него! Если бы оно не было таким ленивым и таким трусливым, то вот уже восемь лет я бы ласкал у себя на коленях это драгоценное крошечное создание. Как должно быть это хорошо, друг мой, когда тебя обнимает и целует девятилетняя девочка, вся белокурая и розовая! — Вот то счастье, которого лишил меня мой эгоизм.

В эту минуту вошел служащий гостиницы и сообщил господину де ля Гравери, что на лестнице его ждет молодой человек, тот самый, который уже приходил сегодня утром.

Шевалье быстро вышел.

Действительно, это был Анри.

— Тереза здесь,— сказал ему де ля Гравери.— Вы хотите ее увидеть?

— Нет, сударь,— отвечал Анри.— Это было бы неприлично как для нее, так и для меня. Я даже не буду присутствовать на церемонии бракосочетания. Мой отец, которому я рассказал обо всем случившемся, и который дал свое согласие на это слишком запоздалое искупление вины, мой отец будет представлять нашу семью подле моего несчастного брата.

Но Тереза услышала чей-то голос и, благодаря сверхъестественному чутью, которое порождает глубокая и сильная страсть, она узнала голос Анри.

И прежде чем Шалье смог бы воспротивиться ее намерению, прежде чем он даже мог бы о нем догадаться, она распахнула дверь и, бросившись в объятия молодого человека, произнесла:

— О! Анри, Анри, ты ведь знаешь, что я уступила лишь тебе.

— Я знаю все, моя бедная Тереза.

— Ах! Почему ты меня покинул! — чуть слышно сказала девушка.

— Увы! Я жестоко поплатился за мою слабость,— ответил Анри.— Но встретим, как подобает, наше несчастье. Скоро вы станете моей сестрой. Останемся же достойны — и вы, и я, тех новых уз, которые вскоре соединят нас. Позвольте мне откланяться и удалиться.

— Не покидайте меня в такой момент, Анри, я вас умоляю! Оставайтесь рядом со мной до тех пор, пока новые клятвы не разлучат нас вторично.

Анри, который тоже безумно страдал от того, что должен расстаться с Терезой, не нашел в себе сил устоять перед ее мольбой и безропотно согласился проводить ее к своему брату.

Каким бы болезненным ни был для него этот путь, Гратьен настоял, чтобы его перевезли в Париж.

Его положили в особняке в предместье Сент-Оноре.

Шевалье, Тереза, Анри и Шалье застали его отца, господина д'Эльбэна и двух офицеров, бывших секундантами, у кровати раненого.

Вызвали хирурга, который тоже хлопотал вокруг постели больного.

Гратьен лежал на диване, поддерживаемый подушками, он занимал почти вертикальное положение, чтобы помешать крови скапливаться в легких.

Он был бледен, однако в его глазах было выражение спокойствия и ясной безмятежности, которое прежде полностью отсутствовало в его взгляде.

Увидев вошедшую Терезу, тоже сильно побледневшую и изменившуюся под влиянием беременности, поддерживаемую с одной стороны Анри, а с другой шевалье, Гратьен медленно вынул свои руки из-под одеяла, испачканного кровью, и сложил их, как будто прося прощения у девушки.

Его дыхание было таким прерывистым и стесненным, что каждое слово давалось ему с большим трудом. Вместо него взял слово граф д'Эльбэн.

— Мой сын страшно виноват по отношению к вам, мадемуазель; и он понес вполне справедливое возмездие, но как оно жестоко! Постарайтесь же его простить и облегчите своим состраданием последние минуты моего несчастного сына.

Тереза бросилась на колени перед кроватью Гратьена, взяла в свои ладони уже холодеющие руки умирающего и, рыдая, прижала их к своим губам.

Почувствовав это пожатие, Гратьен собрался с силами и попытался с благодарностью улыбнуться своей потрясенной и печальной невесте.

В это время в комнату вошли нотариус и священники, за которыми перед этим посылали слуг.

Первый составил брачный контракт двух супругов.

Затем священник и его помощники, надев свои священнические одежды, приступили к религиозной церемонии венчания.

В этой комнате разыгрывалось поистине величественное действо.

Повсюду были признаки смерти: бельё в пятнах крови, разбросанное по ковру, аптечка и хирургические инструменты на предметах мебели; люди с бледными и удрученными лицами, сидящие по углам или стоящие вокруг кровати; среди всего этого звуки рыданий Терезы, прерывающие монотонное бормотание священника, читающего молитву, и заглушающие все происходящее, и пронзительное свистящее дыхание раненого; наконец, лица двух супругов, одним из которых была эта бедная девушка, едва оправившаяся после ужасной болезни, которую ей удалось побороть, и которая, изнемо-

гая от пережитого волнения, казалось, продолжала жить лишь для того, чтобы сохранить жизнь ребенку, которого она носила в своем чреве, а другой, обручаясь с молодой женщиной, одновременно обручался и со смертью, а брачным ложем ему должен был служить гроб,— все это, освещенное дрожащим светом нескольких восковых свечей, составляло одну из самых трогательных картин.

На вопрос священника, согласен ли Гратьен взять в жены Терезу, тот ответил «да» так ясно и так отчужденно, что его расслышали и в другом конце комнаты; затем, подперев руками голову, он, казалось, с тревогой стал ждать ответа Терезы на тот же самый вопрос.

В тот момент, когда совершающий богослужение произнес слова, скрепляющие перед Богом супружеский союз, Гратьен откинул свою голову на подушку, его рука нежно пожала руку Терезы, которую священник вложил в его ладонь; затем, отыскав глазами де ля Гравери, стоящего на коленях в изножье кровати и страстно возносившего Господу свои молитвы, он чуть слышно произнес слабым голосом:

— Вы удовлетворены, сударь?

Но усилие, которое он предпринял, чтобы ответить «да» и чтобы обратиться с этим вопросом к шевалье, истощили силы раненого. Конвульсивная дрожь сотрясла его тело; остатки румянца на его щеках и блеска в глазах окончательно исчезли.

— Мадам,— сказал священник,— если вы хотите принять последний вздох вашего мужа, то это время наступило.

Молодая женщина припала к телу Гратьена, но прежде чем ее губы коснулись губ раненого, его душа простилась с телом.

Гратьен издал последний вздох.

Блэк, о котором все позабыли, протяжно и заунывно завыл, и от этого воя у присутствующих дрожь пробежала по жилам.

Шевалье де ля Гравери долго не приходил в себя от жестокого потрясения, которое он перенес.

Лишь другие заботы, другие волнения помогали ему отвлечься от прошлого.

Мадам баронесса д'Эльбэн стала матерью, и для столь впечатлительного сердца, каким было сердце шеваляе, рождение нового существа,— а это был мальчик,— стало для него сладостным переживанием.

Он одновременно занимался и выбором кормилицы и заботами о здоровье роженицы и ее ребенка, и ему как будто не хватало этих хлопот, его воображение, по всей видимости, стремившееся наверстать то время, которое оно провело в оцепенении, открывало перед ним сразу младенчество, детство, отрочество и период возмужалости ребенка. Он размышлял о средствах, которые употребит, чтобы уберечь от опасностей света это бедное крошечное существо.

Тереза уже поправлялась, когда шеваляе настоял, чтобы она его сопровождала в его традиционной прогулке, прерванной столькими событиями.

Баронесса д'Эльбэн ни в чем не могла отказать такому нежному и такому заботливому отцу и с радостью на это согласилась.

Шеваляе отвел ее на скамейку на валу Куртий, здесь в прежние времена он ежедневно подолгу просиживал, любуясь пейзажем.

Он сел первым, усадил справа от себя Терезу, слева кормилицу; затем, поместив у себя между коленями Блэка, сказал:

— Подумать только, господин Шалье полностью отрицает, что под этой черной шкурой скрывается Думесниль... И однако же это именно он все устроил!

— Нет, отец,— ответила, улыбаясь, молодая женщина,— причиной всему те кусочки сахара, что вы клали в ваш карман.

Шеваляе несколько минут пребывал в молчании, устремив свой взор на два величественных шпиля собора, на каждом из которых, скрываясь в облаках, возвышался крест из бронзы и из золота.

— Конечно,— воскликнул он, показывая на небо,— гораздо легче думать, что все случившееся произошло по воле того, кто находится там на небесах... Но в любом случае ты нам помог, мой бедный Блэк!

И, целуя спящего в нос, он тихо добавил:

— Мой дорогой Думесниль!

В это время добропорядочные жители Шартра, празднично гуляющие на валах, наблюдали за шеваляе и обменивались впечатлениями.

— Посмотрите-ка на господина де ля Гравери, он прямо весь сияет!

— Охотно верю! Не в состоянии больше ублажать свой желудок — трюфели больше не поступают, омаров также не найти, — он как раз вовремя предался новому греху, чтобы заменить им старый...

— Как вы осмеливаетесь говорить подобное! Ведь утверждают, эта молодая женщина — его дочь.

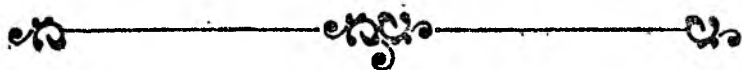
— Его дочь! И вы этому верите, вы? А! Вы слишком доверчивы, моя дорогая! Вы даже не подозреваете, какие они повесы, эти старые волокиты минувшего режима!



ЭРМИНИЯ

РОМАН

Перевод
Е. Ю. Леоновой



I

ПОИСКИ КВАРТИРЫ

Сентябрьским утром 185... года по одной из пустынных улиц Сен-Жерменского предместья, будто созданных для уединенных раздумий и трудов, шел молодой человек, поглядывая на двери домов в поисках привычной таблички, на которой по обыкновению значится следующее:

СДАЕТСЯ НЕБОЛЬШАЯ КВАРТИРА
ДЛЯ ХОЛОСТОГО МУЖЧИНЫ
ОПЛАТА ЗА ТРИ МЕСЯЦА

Обращаца к консержу

Последняя строка нередко бывает писана рукой привратника, оттого в ней ветрчаются особенности, отличающие в этом достойном человеке, всегда преисполненном гордости за свою образованность, странную манеру пользоваться языком.

И правда, если вы войдете внутрь, то обнаружите, что говорит он и того хуже, так что приписка на табличке выглядит еще довольно сносно.

Итак, наш молодой человек был занят поисками, когда рядом с широкими воротами увидел маленькую неброскую дверь, а над ней — гостеприимную надпись.

Он вошел, долго и напрасно искал в окошке у консьержа ключ, которого там никогда не бывает, и, наконец, смирившись, стал ждать, когда почтенный старик, — а это должен был быть непременно он, — соизволит заметить его присутствие.

Старичок поднялся, положил на стул обувные колодки и шпандырь, подправил очки, съехавшие на кончик его до дерзости длинного носа, открыл дверь и, не говоря ни слова, предстал перед молодым человеком в виде вопросительного знака.

На сей немой вопрос молодой человек ответил вопросом, который обычно задают в подобных случаях!

— Вы сдаете квартиру для холостяка?

— Да, месье.

— За сколько?

— Шестьсот пятьдесят.

— На каком этаже?

— На четвертом.

— И какая квартира?

— Есть прихожая, маленькая столовая, спальня и еще одна комната, в ней можно устроить небольшую гостиную.

— Вы позволите взглянуть?

— Да, месье.

Консьерж вышел, запер дверь своей каморки, сунул ключ в карман, взял ключ от квартиры и, глянув, не идя ли кто, пошел по лестнице впереди молодого человека.

Квартира была свободна и занять ее можно было тотчас; молодой человек прошелся по комнатам, составив себе весьма поверхностное впечатление о том, удобна она или нет: болсе всего он интересовался обоями, дверями и потолком и нашел их вполне подходящими.

Консьерж показал ему умывальную комнату, о которой забыл упомянуть вначале. Окно комнаты выходило в тесный квадратный дворик, замкнутый с противоположной стороны соседним домом, пять окон которого тоже смотрели во двор

Умывальная вконец очаровала молодого человека, и он поинтересовался, являются ли названные шестьсот пятьдесят франков окончательной ценой.

— Сказать по правде,— начал консьерж,— так за нее платили даже семьсот, но это были муж с женой, впрочем, люди совсем тихие, и им потом было жалко съезжать из этого дома. Но мужа выбрали в академики, им пришлось сократить расходы, и домовладелец сказал, что пожертвует пятьюдесятью франками ради того, чтоб поселить холостяка. Месье ведь холостяк?

— Да.

— Ну, месье, тогда это как раз то, что нужно: окна на южную сторону, солнце целый день, три окна выходят на улицу и еще большая удобная комната — и тоже с окном. Туда даже можно поставить кровать — для приятеля или слуги. У месье есть слуга?

— Нет.

— Если месье пожелает, моя жена и я будем у вас убирать.

— Хорошо. Квартира мне подходит,— выйдя за порог, сказал посетитель, в то время как консьерж запирает дверь,— но мне бы хотелось платить за нее шестьсот франков.

— Если месье пожелает оставить свой адрес, я переговорю с домовладельцем и передам вам ответ. Вообще-то, месье видит, что дом очень спокойный. На втором этаже живет пожилая дама, совершенно одинокая, третий — не сдан, на четвертый — еще не вселились, а над мсье проживает только один молодой человек, сверхштатный служащий в министерстве народного образования, месье Альфред, но он вечно бывает у матушки, которая живет в провинции. Мы не терпим в доме ни кошек, ни собак. У месье нет животных?

— Нет.

В следующую минуту они снова очутились возле каморки консьержа. Старик отпер дверь, немного пошарил на комод, где стояли две вазочки с искусственными цветами, и протянул своему будущему жильцу сомнительного вида перо, не делавшее чести ни тому гусю, из которого его выдернули, ни тому человеку, который его очинял; затем он положил на стол листок писчей бумаги, рядом поставил фарфоровую чернильницу, являвшую собою фигурку императора с налитыми в шляпу чернилами,— и молодой человек написал свой адрес: «Эдуар Дидье, улица...» и так далее.

— Вот и хорошо,— проговорил консьерж, читая адрес.— Завтра я зайду к месье,— добавил он, провожая молодого человека до входной двери.— Мне не нужно говорить месье, что и домовладелец и мы хотим иметь только спокойных жильцов. Молодость есть молодость, мы это прекрасно понимаем, но некоторые молодые люди этим злоупотребляют, принимают... много... гостей, так сказать, они шумят, жильцы жалуются — и вот вам неприятности.

— Я принимаю лишь самых близких друзей,— ответил, удаляясь, молодой человек.

Консьерж расплылся в неестественной улыбке, являющейся привилегией глупцов

Пройдя совсем немного, Эдуар повстречал приятеля, три или четыре месяца назад отбывшего в путешествие и всего несколько дней как вернувшегося.

Посыпались слова удивления и радости от встречи.

— Так ты откуда? — поинтересовался приятель по имени Эдмон Л...

— Я смотрел квартиру, которую намерен снять.

— Я тоже ищу квартиру. Это далеко?

— Нет.

— Послушай, если не возражаешь, пойдем посмотрим еще раз. Что как ты не решишься, а мне она подойдет, я ее тогда и сниму.

— Сожалею,— отвечал Эдуар,— но шансов на то, что я решусь, много.

— И все же посмотрим.

Консьерж был вынужден показывать квартиру вторично, и Эдмон пришел от нее в восторг.

— Дорогой мой,— сказал он,— вот уже неделя, как я вернулся и ищу квартиру, но такой прелестной мне еще не попадалось. Ты точно собираешься ее снять?

— Ну да.

— Вот несчастье! Нет ли у вас другой такой, похожей? — обратился он к консьержу.

— Нет, месье, другие все больше и дороже.

— Вот несчастье! — повторил Эдмон.

— Ты хорошо попутешествовал? — спросил Эдуар, когда они спускались по лестнице.

— Хорошо.

— И были любовные приключения?

— Увы, нет! Мне, как ты знаешь, двадцать два года, из них вот уже шесть лет я ищу предмет страсти — и так же, мой дорогой, не могу его отыскать, как и квартиру. Я отправился в Италию, поскольку мне говорили, что у итальянок врожденная любовь к французам. Куда там! Они все смеялись мне в лицо.

— И ты вернулся...

— Как уехал, так и приехал. Правда, вчера я написал одной миленькой женщине и теперь иду за ответом.

— Что ж, удачи тебе!

— Если откажешься от квартиры, — повторил Эдмон, расставаясь с Эдуаром, — уведоми меня.

— Хорошо.

— Прощай.

Как уже ясно читателю, Эдмон принадлежал к числу несуразных типов. Мир не видывал более скованного и неуклюжего человека, чем этот несчастный малый, вечно отстающий от моды и чувствующий себя стесненно в любом из своих костюмов. Он был одним из тех, кого женщины терпеть не могут за то, что они напускают на себя перед ними бесцеремонность проиждо, когда в действительности имеют за душой одни школярские теории. Видя их насквозь, женщины смеются над ними — если обладают хорошим характером, либо выставляют их за дверь — если обладают характером дурным. Когда какой-нибудь приятель Эдмона имел несчастье познакомиться его со своей любовницей, он мог быть уверен, что спустя два дня услышит следующее:

«Что за господина вы мне представили?»

«Это один из моих друзей».

«Скажите ему, что это наглость писать мне то, что он написал, и что я запрещаю ему являться сюда».

Поначалу кое-кто сердился, но, убедившись, что зло сие неизлечимо, переставал обращать на это внимание, тем более что за письмами ничего не следовало, да и женщины, будто сговорившись, давали на них один и тот же ответ.

Что до Эдуара, с которым нам предстоит познакомиться поближе, то он был, что называется, славный малый, которого все рады были видеть: достаточно богатый, чтобы быть независимым, он тем не менее изучал право — чтобы иметь право ничего не делать; готовый ради товарища подставить под пулю собственный лоб; живой, обаятельный, болтливый, неспособный на серьез-

ное чувство и мечтающий о вечной любви; обликом горделивый, лицом насмешливый. Лицо это по временам омрачалось легкой и быстротечной грустью, точно перед ним проходили тени отца и матери — двух любящих существ, которые распахивают двери в жизнь другим и которых он никогда не знал. Оттого-то, не ведая никакого горя и даже не предчувствуя надвигающихся неприятностей, он часами пребывал в глубокой печали, когда душа его замыкалась в себе, и среди взрывов смеха, среди мимолетных светских удовольствий ему виделось чье-то мертвенно-бледное лицо, уже опозитизированное временем, которое глядело на него с улыбкой, некогда озарявшей его колыбельку, а потом понемногу стиралось и с полными глазами слез исчезало совсем.

В часы, когда он был погружен в себя, Эдуар размышлял о всех своих однодневных привязанностях, на которые растратил свое сердце и которые в моменты грусти, коими прошлое всегда омрачает настоящее, не могли утешить его в его недолгом одиночестве. Лишь присутствие веселого друга способно было избавить его от этих болезненных, но преходящих ощущений.

В такие дни погода обыкновенно стояла пасмурная, он не знал, чем заняться, рано возвращался домой, и в тишину его комнаты, освещенной двумя свечами, в гости к нему являлись воспоминания, передавая через какой-нибудь портрет, мебель, а то и просто через какой-нибудь пустяк одно из тех радостных впечатлений детства, которые в конце концов почти всегда дают повод к грусти. Потом он ложился, брал в руки книгу какого-нибудь из наших поэтов, с кем он мог бы поговорить о своей тоске, засыпал, и на следующий день, если погода была хорошей, видения исчезали, и он вновь становился веселым приятелем, коим был в предшествующие дни.

Итак, это была одна из тех милых, типично парижских натур, которых, кажется, так много, а на самом деле так мало в этом городе. Его посещения, редкие правда, Школы правоведения, с одной стороны, и его несколько аристократические привычки — с другой, давали ему доступ в два мира: развязных студентов и праздных молодых людей. И он был горячо любим всеми: одними за то, что одалживал им деньги, на которые они ездили развлекаться в Шомьер, другими за то, что одалживал свои остроты, позволявшие блистать в салонах по вечерам и за это друзья и любовницы были ему весьма признательны.

Прекратив поиски квартиры, Эдуар отправился обедать. Вернувшись к себе, он сравнил то жилище, куда намеревался переехать, с тем, которое намеревался покинуть, и, убедившись, что ничего не выигрывает, разве что просто меняет обстановку, испытал сожаление, приходящее всякий раз, когда оставляют холостяцкую квартиру, какой бы тесной и неудобной она ни была. В памяти всплывает все, что с нею связано: давнишние чувства — их рождение и угасание каждый день видели ее стены, распутившиеся поутру цветы — и от них осталось лишь то, что зовется воспоминанием. Теперь уж начинаешь жалеть обо всем, вплоть до назойливого фортепиано, проклятого фортепиано, которое есть везде, где бы вы ни жили, и которое по утрам и вечерам исторгает из себя вечные и непостижимые гаммы; вплоть до консьержа, который вечером вручал вам ваш подсвечник и ключ, а иногда и долгожданное письмо, и вы почти так же благословляли руку, вручившую его вам, как и руку, его написавшую.

Потом наступает канун того дня, на который назначен переезд. Нужно собирать вещи, и вы рано возвращаетесь домой, иногда с приятелем, выразившим желание вам помогать, но чаще всего один; вы открываете шкафы и разную другую мебель, переворачиваете все вверх дном, прикасаетесь ко множеству вещей, так и не укладывая их; вы не знаете, с чего начать; потом вдруг в каком-нибудь ящике, о существовании которого вы уже забыли, вы находите такое же забытое письмо, потом другое, третье, вы садитесь на край кровати и принимаетесь читать свое прошлое, прерывая чтение немymi монологами, вроде: «Бедняжка! Славная Луиза! Она, верно, любила меня! Что с ней случилось?»

Уже вечер на исходе, вы так ничего и не делаете, перед вами проходят смутные тени женщин, и эти женщины, без сомнения, в тот час, когда вы вспоминаете о них, говорят другому милые и лживые слова, которые еще недавно говорили вам.

На следующий день, когда вы встаете с постели и в вашем распоряжении имеется всего лишь два часа на переезд, вы обнаруживаете, что все пребывает в том же беспорядке, что и накануне.

Вряд ли стоит говорить, что консьерж принес Эдуару положительный ответ. Эдуар в обмен на согласие вручил ему задаток и, поскольку квартира была свободна, тотчас же занялся переездом.

Два дня спустя он уже совершенно устроился в новых апартаментах за шестьсот франков в год.

II

ЛАНДСКНЕХТ

Так минуло около месяца, когда однажды, выходя из дому, Эдуар увидел, как в соседний дом входит пожилая дама, на которую, признаться, он не обратил особого внимания, с девушкой — прекрасной, словно богиня, озаряющая своею красотой все вокруг. На мгновение она повернула головку в его сторону, и, каким бы кратким ни был этот миг, Эдуар смог разглядеть голубые глаза, черные волосы, бледное лицо и белые зубки — мечту художников и поэтов; в выражении лица девушки, в изгибах ее тела было нечто яркое и вызывающее, что изобличало в ней пылкую и эксцентричную натуру.

Девушка вошла в ворота, закрывшиеся за ней, и исчезла точно видение. Эдуар двинулся своей дорогой, и, когда пришел на бульвар в надежде встретить там кого-нибудь из приятелей, прелестный образ уже вовсе стерся в его воображении.

Погуляв какое-то время и поприветствовав некоторых особ, он наконец нашел подходящего человека и, взяв его под руку, сделал с ним два или три круга по бульвару.

— Ты ужинаешь со мной? — спросил его Эдуар. — Не хочешь ли заглянуть к Мари? Я ее уже два дня не видел, бедняжку.

Уйдя с бульвара, молодые люди направились к дому на улице Вивьен, поднялись на пятый этаж и без всяких церемоний позвонили.

Женщина, похожая на горничную, открыла им дверь.

— Мари у себя?

— Да, месье.

Они прошли в комнату, похожую на гостиную, где стояли вещи, похожие на мебель.

Две женщины и два молодых человека сидели за столом и оживленно беседовали.

— Хорошо, что вы пришли, это Анри и Эдуар! — воскликнула прелестная головка, бело-русо-розовая, точно пастель Мюллера. — Вы явились кстати! Мы играем в ландскнехт. Садитесь, если найдете стулья, и играйте, если есть деньги.

Два стула в конце концов ссыскались.

— Кто выигрывает? — поинтересовался Эдуар.

— Клеманс. Она плутует.

Эдуар наклонился к уху Мари и, поцеловав ее, совсем тихо спросил:

— У тебя все хорошо?

— Прекрасно!

— Почему же тебя не было вчера?

— Плохо себя чувствовала.

— Врешь!

— Вношу тридцать су, — сказала Клеманс.

— Я — двадцать, — сказала Мари. — Эдуар, поставь за меня, я проигрываю.

Молодые люди пожали друг другу руки.

— Кто мечет банк? — спросил Анри.

— Я, — ответила Клеманс.

— Опять она? Она мечет уже семнадцатый раз!

— «Мечет молнии она...» — пропел кто-то фальшивым голосом.

— Играем? — воскликнула Клеманс. — Ставлю тридцать су.

— Беру двадцать, — ответила Мари.

— Я — десять, — сказал Эдуар.

— А я — остальное, — сказал Анри.

— Туз и валет, — объявила Клеманс.

— Туз — это хорошо.

— Галюше лучше.

— Что еще за Галюше?

— Это валет.

— Разве его зовут Галюше?

— Черт возьми, а как бы ты хотел, чтоб его звали?

— Скажи, Анри, ты знаешь, как ловят крокодилов?

— Нет.

— Вот и я тоже не знаю.

— Туз выиграл.

— Разумеется... Галюше еще ни разу не проигрывал.

— Передай таллю.

— Ставлю сто су, — сказал Эдуар.

— Беру четыре франка, — сказала Мари.

— Ну конечно! — отозвалась Клеманс.

— Я — двадцать су, — сказал кто-то.

— А я — остаток, — сказал Анри.

— Анри всегда берет остаток, когда уже ничего не остается. Эдак он скоро коляску купит.

— Да! Кстати, о колясках. Она теперь есть у Августины.

— Ба!

— Да,

— Смотри-ка!

— Семерка и десятка,— сказал Эдуар.

— Десятка — это хорошо.

— Семерка выиграла,— объявил банкومت.

— Ты удваиваешь?

— Да.

— Беру семь франков,— сказала Мари.

— Пятьдесят су,— сказала Клеманс.

— Остается пятьдесят сантимов, ты возьмешь их

Анри?

— Нет.

— Поистине разорение тебе не грозит: берешь всегда, когда ничего нет, и ничего не берешь, когда есть.

— Дама плохая,— сказал Анри,— она уже четыре раза выходила.

Опершись белыми ручками о стол, обе молодые женщины, улыбаясь, внимательно следили за падающими одна за другой картами, но, видя, что они не принесят им выигрыша, принялись ругать их.

Игра в компании с женщинами имеет ту прелесть, что в ходе нее их лица меняют множество разных выражений, от неподдельной печали до безумной радости, в зависимости от того, проигрывают они или же выигрывают. Женщины ведь в противоположность нам не дают себе труда скрывать свои чувства.

— Дама выиграла! — объявила Клеманс. — Черт бы побрал эту монаршую особу!

— В банке двадцать франков,— сказал Эдуар.

— Беру десять,— сказала Мари.

— Я... ничего,— проговорила Клеманс, подсчитывая деньги, лежавшие перед ней. — Впрочем, не взять ли мне сто су?

— Я — остальное,— смиренно сказал Анри.

— Две восьмерки! — сообщил Эдуар.

— Я буду должна тебе десять франков,— сказала ему Мари.

— Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь другой был мне должен только пять, и я бы тогда выиграл еще сто су.

— Я тоже больше не плачу, он уже третий раз выигрывает,— сказала Клеманс,— но я беру десять франков.

— И я десять.

— А я пять.

— Пять.

— Десять.

Галия окончилась. Эдуар раскрыл карты.

— Два валета! — смеясь, сказал он.

— Негодный Галюше! — разом проговорили обе женщины.

— Итого я должна тебе двадцать франков, — сказала Мари.

— Продаю этот долг за тридцать су, — сказал Эдуар. Никто не ответил.

— Ничего себе доверне! — прошептал Анри.

— Послушайте, вот мои десять франков, я больше не играю, — надув розовые губки, сказала Клеманс.

— Передаю таллю, — сказал Эдуар и, обращаясь к Мари, у которой не было больше денег, добавил: — Послушай, Мари, ты мне должна двадцать франков, вот сорок, и ты мне больше не должна ничего.

— Сколько было в банке? — спросила Клеманс у Эдуара.

— Восемьдесят франков.

— Предлагаю ту же сумму.

В этот момент в дверь позвонили.

— Тс-с-с, — прошептала Мари.

Было слышно, как дверь открылась и начался разговор пришедшего с открывшим; потом дверь затворилась с шумом, обычно свидетельствующим о том, что пришелец остался снаружи.

Вошла женщина, похожая на горничную, и вручила Мари визитную карточку. Прочитав имя, Мари с улыбкой передала ее Эдуару, который передал ее Клеманс, а та — соседу, так что карточка обошла весь стол, вызвав всеобщий смех.

— Что вы ответили? — спросила Мари у Жозефины.

— Что мадам поехала к сестре в Отёй.

— Голосую за то, чтобы дать Жозефине луидор, — сказал один из игроков.

— Парламент за.

Луидор был передан Жозефине.

— Теперь, когда месье отчалил, — полный вперед! — сказала Клеманс. — Восемьдесят франков!

— Двадцать, — сказал Эдуар.

— Десять, — сказала Мари.

— Пятнадцать.

— Пять.

— Остаток.

Клеманс минуту колебалась: ее мучила мысль, что она может потерять восемьдесят франков. Прикинув, нет ли возможности сплутовать, и увидев, что глаза всех уставились на карты, она все же решилась и выбросила даму и валета.

— Плачу половину и выхожу из игры.

Дама уже выпадала пять раз.

— Отказываемся.

— И снова да-ма,— принялась напевать Клеманс.— Я продолжаю, ставлю восемьдесят франков, шансы недурственные.

— Извини, но ты должна передать таллю, ты мечешь только один раз.

— Верно. В таком случае, мои ангелочки, я более не играю.

— Ну вот! Теперь еще и Клеманс не дает отыграться.

— Да посмотри! Я выиграла всего лишь пятьдесят франков.

— Я их у тебя беру,— сказала Мари.

Клеманс соединила мизинец одной руки с большим пальцем другой и, приставив свободный большой палец к носу, пошевелила руками — получился знакомый всем жест.

— Если Клеманс выходит, то мы больше не играем,— сказала Мари.

— Ну ладно, ставлю двадцать франков,— передумав, сказала Клеманс.

— Держу.

Вновь замелькали карты.

— Ты хорошо знаешь Ламбера? — спросил у Эдуара Анри.

— Да, он изучал право.

— Он недавно поступил на медицинский.

— А, вот кому я доверю лечить моего дядюшку!

— Я выиграла,— сказала Мари, беря двадцать франков Клеманс.

— Ставлю тридцать франков,— сказала та,— с условием, что ты мне передашь таллю... Решай скорее, мне нужно уходить.

— Согласна.

Клеманс выложила семерку и девятку — девятка выиграла.

Более огорченную физиономию редко можно увидеть, лицо Клеманс могло заставить плакать турка.

— Ставлю мой остаток,— сказала она.

— Держу,— ответила Мари.

На третьей карте Мари выиграла.

Теперь лицо Клеманс могло выжать слезу у ростовщика.

— Голосуем двадцать два су в пользу Клеманс, чтобы она могла заплатить за кабриолет,— предложил Анри.

— Подите вы к черту! — бросила Клеманс, надевая шляпку.

— Послушай, Клеманс,— сказал Эдуар,— ставлю за тебя двадцать франков, играй, и даю тебе честное слово, что в любом случае деньги будут твои.

— Ладно.

Выиграв двадцать франков и забрав деньги, она накинула шаль и исчезла, только ее и видели.

— Бедная Клеманс! — сказал Анри.

— Брось! Вчера вечером она выиграла восемнадцать лундоров у Жюльетты.

Завязался разговор, потом стали понемногу расходиться. Эдуар и Анри уходили последними, и Мари согласилась отпустить их с условием, что они вернуться после ужина.

— Славная девушка эта Мари! — сказал Эдуар, спускаясь по лестнице.

— А где ты с ней познакомился?

— У бедняги Альфреда, который теперь в Африке

— Она лучше Клеманс.

— Несравненно.

Молодые люди удалялись, расточая похвалы женщине, которая в эту минуту приникла к окну и, адресуя улыбку Анри, а взгляд Эдуару, провожала их до тех пор, пока оба не скрылись за углом.

— Теперь, когда мы одни, сударь,— слегка недовольным тоном сказала Мари,— вы мне поведаете, что вы делали в последние два дня и отчего забыли бывать здесь.

Эдуар улегся у ног своего красивого и строгого судьи и принялся разворачивать перед ним систему защиты, которая сделала бы честь опытнейшему адвокату.

Разбирательство длилось долго. Суд, поразмыслив и приняв во внимание любовь, которую он испытывал к

обвиняемому, учел смягчающие обстоятельства и объявил подсудимого невиновным.

Вот чем в общих чертах были заполнены дни Эдуара, когда милое утреннее видение ненадолго погрузило его в сладостные мечты.

III

В МАСКЕ

Близился бальный сезон в Опере. Надобно заметить, что балы в Опере — это то место в Париже, где публика более всего скучает и куда вповь и вновь устремляется, уж и не знаю почему, с наибольшим удовольствием. Мари тоже с радостью ожидала наступления сезона, намереваясь не пропустить ни одного бала.

Впрочем, Мари была из тех умных женщин, которые берут своего кавалера под руку лишь при входе, а очутившись в зале, предоставляют ему свободу до того момента, когда нужно ехать домой или идти ужинать.

На сей раз все происходило так, как обыкновенно происходит в первую субботу. Однако едва Мари оставила Эдуара, как тот почувствовал, что кто-то взял его за руку.

Он обернулся.

— Ты кого-нибудь ждешь? — спросило его домино, которого совершенно невозможно было узнать, так оно было спрятано, укутано, укрыто в своем развевающемся паряде с капюшоном.

— Нет.

— Не хочешь ли дать мне руку?

— С удовольствием, — ответил Эдуар, сжимая тонкую аристократическую ручку и пытаясь по глазам распознать ту, которая запросто к нему подошла.

— Напрасно стараешься, — сказала домино, — ты меня не узнаешь.

— А ты-то меня знаешь?

— Прекрасно.

— Докажи.

— Нет ничего проще. Но поскольку то, что я хочу сказать, интересно только тебе, не нужно, чтобы другие это слышали. Иди за мной.

Незнакомка стремительно пошла сквозь толпу и, дойдя до ложи, постучала. Другое домино открыло дверь и вышло, оставив ее с Эдуаром наедине.

— А теперь ответь,— сказала незнакомка,— любишь ли ты Мари.

— Смотря как.

— Не понимаю.

— Если как подругу, то очень люблю, если как любовницу, то люблю в меру, головы не теряю.

— А Луизу ты любишь?

— Меньше, чем я думал, но, быть может, больше чем думаю теперь,— с улыбкой ответил Эдуар.

— А когда тебе бывает грустно?

— На следующий день после маскарада. Завтра, например, будет грустно.

— Отчего же?

— Оттого, что я видел тебя слишком, слишком мало.

— Сегодня ты не можешь видеть меня больше. Смирись. В утешение тебе скажу, что я молода и красива.

— От этого мне будет еще грустней.

— А что нужно, чтобы развеселить тебя?

— Нужно, чтобы я увидел тебя вновь или, вернее, просто увидел.

— Ты меня увидишь.

— Когда?

— Завтра.

— Где?

— Не все ли тебе равно, лишь бы увидеть?

— А послезавтра я снова тебя увижу?

— Возможно.

— И я тебя узнаю?

— Нет.

— Но кто же ты?

— Кто я? Женщина, которая никогда не говорила с тобой и которая хочет тебя узнать.

— А!

— Теперь прощай!

— Ты уходишь?

— Да.

— Почему?

— Так нужно.

— У тебя есть муж? — спросил Эдуар, зная, что такое предположение всегда лестно для женщины в маскараде.

— Нет.

— Мы уйдем вместе?
— Дитя!
— Почему же дитя?
— Потому что это невозможно.
— Но почему невозможно?
— Потому, что я еще недостаточно люблю тебя, и потому, что я, быть может, уже слишком тебя люблю.

— Ты говоришь как сфинкс.
— Постарайся отвечать как Эдип.
— Да ты умна!
— Иногда.
— А сердце у тебя есть?
— Всегда.
— Ты знаешь, что я последую за тобой?
— А ты знаешь, что я запрещаю тебе делать это?
— Но по какому праву?
— По праву, которое всякая женщина имеет над благородным мужчиной.
— Тогда прощай!
— До свидания, забывчивый!

Эдуар поцеловал руку незнакомки, и та, открыв дверь
ложи, скрылась в толпе.

Оставшись один, Эдуар принялся искать Мари и вскоре нашел ее. До конца вечера он был если не печален, то, по меньшей мере, крайне зантригован.

Назавтра он шагу не мог ступить без того, чтобы не посмотреть по сторонам, не заглянуть вопросительно в каждое лицо, в каждые глаза. Однако не обнаружил ни малейшей черточки, которая позволила бы ему распознать домино. К вечеру он впал в совершенное отчаяние.

Когда он вернулся к себе, консьерж вручил ему письмо, написанное мелким красивым почерком. Вот что в нем говорилось:

«Ты словно евангельский человек: имеешь глаза, да не видишь. Если бы ты, прогуливаясь, смотрел не вперед и назад, а вверх, ты бы увидел.

Счастье падает с неба — туда и нужно устремлять свой взор... Еще один день потерян. Тем хуже для тебя! До субботы.

Ни слова обо всем этом, иначе ты меня больше не увидишь. Спокойной ночи!»

Эдуар бил себя по голове, чесал кончик носа, дотыпывался у консьержа, час целый стоял и смотрел на горящую свечу, потом перечитывал письмо, но, так ничего и не разгадав, решился лечь спать.

Между тем, как бы ни был Эдуар склонен к неверности и болтливости, он не смел рассказать о своем приключении друзьям; он опасался мистификации, и всякий раз, когда ему говорили хоть слово, имеющее отношение к балу в Опере, он непременно думал, что его хотят изобличить и насмеяться над ним. Ближайшей субботы он ждал с некоторым нетерпением, которое его самолюбие именовало любопытством.

Впрочем, до сей поры он не очень-то верил маскарадным интригам, считая, что они бывают только в романах, а не в жизни. Собственные его похождения, всегда заканчивавшиеся в тот же день ужином, убедили его в том, что это единственно вероятная развязка. И все же в тоне, манерах, складе ума его домино было что-то настолько исключительное, и в приказе следовать за ней — столько гордости, а в позавчерашнем письме — столько таинственности, что Эдуар терялся в догадках, словис Тезей в лабиринте, и ему стоило большого труда дожидаться субботы, не показывая письма никому из своих приятелей с целью услышать от них если не разъяснение ситуации, то хотя бы мнение относительно ее правдоподобия.

Вожденная суббота наступила. Эдуар день целый провел с Мари, все раздумывавшей, ехать ли ей на бал, и в конце концов решившей остаться дома. В этом отказе он усмотрел подтверждение того, что против него существует заговор; со всей осторожностью, на какую он только был способен, он наблюдал за молодой женщиной, но, как ни приглядывался, ничего не прочел на ее лице, разве только то, что она была утомлена и, поскольку мало развлекалась на предыдущем балу, опасалась, что вовсе загрустит на нынешнем.

Под тем предлогом, что у него назначена встреча с двумя приятелями, Эдуар в полночь покинул Мари.

Первое, что он сделал, явившись на бал, — заглянул в ложу, куда его приводили неделю назад.

Там никого не было.

Он отправился в залу, но все же время от времени наведывался в благословенную ложу. Наконец около

часу ночи он почувствовал, что чья-то рука похлопала его по плечу, и услышал, как кто-то тихо сказал:

— Вас ждут.

— Где?

— Ложа номер двадцать.

— Благодарю.

Действительно, придя в двадцатую ложу, он нашел там свою прежнюю домино.

У Эдуара заколотилось сердце.

— Точна ли я? — слышался голос, всю неделю звучащий у него в голове.

— О да, вы словно кредитор.

— У вас всегда такие милые сравнения?

— А разве я не должен заплатить вам долг? Долг признательности за прелестное письмо, которое заставляет меня предаваться мечтам днем и не дает заснуть ночью!

— Вы всегда будете таким пошлым?

— А вы всегда будете такой злоюкой?

— В чем же я злоюка?

— Вы обращаетесь ко мне на «вы»!

— Быть может, это шаг вперед.

— В таком случае вы слишком неторопливы.

— Оставим шутки, мне грустно.

— Что с вами? — спросил Эдуар тоном человека, обеспокоенного всерьез.

— Что со мной? — повторила незнакомка, уставив на него взгляд, точно хотела проникнуть в самую глубину его сердца и прочесть самые потаенные мысли.— Со мной то, что я боюсь вас полюбить.

— Такие слова с ума меня сведут. В чем же несчастье, если вы меня полюбите?

— Несчастье в том, что я не принадлежу к тем женщинам, которые много обещают, но ничего не дают, и еще в том, я думаю, что, любя вас, я могу потерять себя.

«Ну вот! — думал Эдуар.— Дело принимает обычный ход. Три франка на экипаж туда, шестьдесят франков ужин, три франка на обратную дорогу. Это мне обойдется в шестьдесят шесть франков».

— О чем вы думаете?

— Я думаю,— отвечал Эдуар, не умея скрыть улыбку,— что, с того времени как Ева в земной жизни ска-

вала эту фразу Адаму, ее уже столько раз повторяли, что пора придумать что-нибудь поновей.

— Прощайте!

— Вы уходите?

— Я вас ненавижу!

— Тогда сядьте.

— Послушайте,—сказало домино,— вы меня не знаете. Я из тех женщин, что способны отдать жизнь, душу мужчине, которого они любят; они страстны в любви, но страшны в ненависти. Вас это пугает, не так ли?

— Только ненависть.

— Вы верите во что-нибудь?

— Во все... Неужели вы считаете, что в моем возрасте мужчина уже утрачивает всякую веру?

— Я полагаю, что в ваши годы ее еще имеют.

— Отчего же?

— Оттого, что еще слишком мало страдали и уже слишком много любили.

— Вы заблуждаетесь, мадам. Едва ли мы задумываемся над легковесными и доступными любовными утечками, на которые, казалось бы, растрачиваем душу; но однажды является женщина и с удивлением обнаруживает под пеплом сгоревших любовных страстей нетронутое сердце — точно Помпеи под пеплом Везувия.

— Да, нетронутое, но мертвое,—прошептала молодая женщина.

— В таком случае испытайте меня.

— Что если бы я вам сказала: нужно всем пожертвовать ради меня, оставить любовниц и легкие увлечения, всякий день рисковать жизнью за минуту свидания со мной, никогда не говорить ни лучшему другу, ни матери, ни самому Господу Богу о том, что я стану делать для вас, и в обмен на эту ежедневную опасность, на это всегдашнее молчание — любовь, какой у вас никогда не было?

— Я бы согласился.

— А если бы я вам еще сказала: быть может, однажды я разлюблю вас, и тогда вам не останется места в моей жизни; вы не сможете бросить мне упрек, вы вообще не сможете высказать мне ни единого слова; если же вы нарушите клятву или просто проболтаетесь... я убью вас!

— Я бы все равно согласился,—сказал Эдуар тоном Горация, клянущегося спасти Рим, а сам думал при

этом: «Ей-богу, занятно было бы найти эдакую женщину, уж я бы быстро сумел ее обработать!»

— А теперь порвите мое письмо... Вот так, хорошо... Завтра вы узнаете мое имя.

— Кто мне его сообщит?

— Вы сами догадаетесь.

— Но как?

— Если я скажу как, вам не останется никакой работы для ума. Вы увидите меня, когда узнаете мое имя, а в четыре часа вы вернетесь домой и узнаете о моих приказах. У вас есть время до завтра, чтобы распроситься с Мари. До скорого свидания!

— Вы мне это обещаете?

— Я вам клянусь.

Она подошла к неизменно сопровождающей ее женщине, и обе стали спускаться по большой лестнице, не обращая внимания на веселые словечки и фривольности, которые летели им вслед.

IV

РАЗГАДКА

Эдуар вернулся в бальную залу, не понимая, что с ним происходит. Множество женщин говорили ему о своей репутации, об имени, о семье и о том, что они готовы все потерять ради него, а затем, в один прекрасный день, исчезали, чтобы те же самые уловки обратить на кого-нибудь другого; но еще никогда от него не требовали столь категорических клятв и столь упорного молчания, и потому он сомневался, стоит ли ему продолжать эту интрижку.

Однако мало-помалу, видя вокруг себя беззаботных людей, видя мир, полный цветов, остроумия и веселья, он уверился, что все женщины одинаковы и что даже та, которую он только что покинул, хотела просто-напросто посмеяться над ним и сделать его своим любовником, подвергнув тем же примерно испытаниям, как если бы из него делали франкмасона.

Он убедил себя, что назавтра получит разгадку и все закончится к полному его удовлетворению. Да если бы он мог хоть на миг серьезно отнестись к подобному при-

ключению, он бы ни за что в него не ввязался. Ему, в полном смысле слова повесе, живущему пустячными связями и шумными развлечениями, опутать свою жизнь какой-то немислимой любовью, которая поначалу пьянит, а после убивает,— это показалось ему невозможным, так то крайней мере думал он, находясь на балу и держа руку одной из тех женщин, чья любовь вся соткана из воздуха и чье лицо он узнавал под маской, а сердце — за остроумными замечаниями. Но, вернувшись домой, он — таким уж изменчивым был его характер — принялся, точно Пигмалион, создавать статую, в которую сам же и влюбился. Он мечтал теперь только о страсти подобно вертеровской, исключая, разумеется, самоубийство; ему чудились веревочные лестницы, томительные ожидания по вечерам, похищения, слежки, дуэли; а поскольку он был уставшим и в ушах его еще звучала музыка бала, то все в конце концов смешалось у него в голове, пустилось галопом, и он забылся беспокойным сном.

Когда он проснулся, был уже день; чувствовал он себя так, будто солнце встало случайно да еще не там, где вставало обычно. Эдуар потерял глаза, взглянул на часы и, открыв дверь спальни, увидел консьержа, спокойно убравшего комнату. Эдуар спросил, нет ли для него чего-нибудь.

— Нет, месье,— ответил старик.— А! Совсем забыл! Месье принесли подписной лист для бедняги рабочего, который вчера вечером в нашем квартале упал со строительных лесов и сломал ногу. Несчастный — отец семейства.

— Дайте,— сказал Эдуар, протянув руку.

Он стал пробегать глазами подписной лист, желая выяснить, сколько жертвовали другие и сколько следует пожертвовать ему.

Последним стояло имя мадемуазель Эрминни де***, подписавшейся на пятьсот франков.

— Кто эта особа, которая дала больше всех? — поинтересовался Эдуар.

— О! Это весьма достойная барышня, она делает много добра беднякам,— отвечал консьерж.— Она живет неподалеку.

— Это не та ли высокая брюнетка, немного бледная?

— Да, Месье ее знает?

— Нет, просто я недавно видел, как она входила в ворота соседнего дома, и по вашим словам я догадался, что это она.

— Да, месье, это она. Мадемуазель Эрминия живет там с теткой. Вообразите, месье, она скачет на лошади и фехтует не хуже мужчины.

— Кто, тетка?

— Да нет же, мадемуазель Эрминия.

— В самом деле? Хорошенькое воспитаньице для молодой девушки!

— У себя в полку я был учителем фехтования,— продолжал консьерж,— и могу сказать, что шпагой я владею прекрасно. Так вот, месье, она прослышала об этом и не успокоилась, пока я с ней не пофехтовал. Вовек не забуду: это было как-то утром, в прошлом месяце, вы еще у нас не жили. Хотя нет! Уже жили. Она прислала за мной. Меня привели в небольшую залу, очень уютную, и там я увидел красивого молодого человека. Это была она, и она хотела состязаться. Мне дали рапиру и нагрудник. Я надеваю маску, перчатку — и вот мы готовы к бою. О, месье, это настоящий демон! Она нанесла мне пять ударов, прежде чем я смог всего лишь парировать! А приемы! Это нужно было видеть! Шпага архангела Михаила да и только! Клянусь честью, я выдохся, изнемог, а она была свеженькой, как ни в чем не бывало! Ох и отчаянная девица!

— А как тетушка смотрит на эти ее занятия?

— А как бы вы хотели, чтоб она на них смотрела, эта славная женщина? Можно ли препятствовать, коли они тешат молодость?.. Тут уж папенька ее виноват...

— Почему же?

— Отец ее, говорят, был человек солидный, ветеран и любимец императора. Он горел желанием иметь мальчика, чтоб вырастить из него солдата, как его отец воспитал солдатом его самого. И вот его супруга в положении, он доволен, думает, что будет сын, а нет! Рождается девка, а бедная жена в родах умирает. А потом, знаете, беда-то ведь одна не ходит, вот уж и император возвращается после Ватерлоо, начинается беспорядочное бегство, все вверх дном, короче, ветеран оказывается один-одинешенек в деревне, рядом — могила жены да колыбелечка дочери. Когда малышка-то немного подросла, он и захотел сделать из нее мальчишку: одевал ее соответственно, учил скакать на лошади, стрелять из

листолета, плавать, фехтовать и еще черт знает чему! Так что сорви-голова, у которой было железное здоровье, носилась как угорелая и колошматила всех мальчишек подряд, что очень нравилось папеньке.

— Да ну! Очень мило! Продолжай, старик.

Эдуар заметил улыбку на лице консьержа и отвернулся.

Рассказчик, опершись на половую щетку, продолжал:

— Но это еще не все. Папенька был не единожды ранен, вдобавок страдал ревматизмом и в один прекрасный день взял да и сыграл в ящик, как говорили у нас в полку. Мадемуазель Эрминия — ей в ту пору было пятнадцать лет — осталась со своей теткой, а та любит свет, деревня ей надоела, и вот она с племянницей приехала жить в Париж и поселилась в соседнем доме. Когда девушке исполнилось семнадцать лет, стали поговаривать о замужестве. Но куда там! Она заявила, что выйдет замуж только за того, кто, как она, просыет сабельный клинок двадцатью пятью пулями кряду и нанесет ей десять ударов шпагой против ее пяти. Так что претенденты отправились восвояси ни с чем.

— Очень любопытно, — скептически заметил Эдуар. — Подайте-ка сапоги, мне надобно выйти.

— Пожалуйста, месье.

— Она богата?

— Очень богата. О, надо видеть, как она ездит верхом в сопровождении слуги. Джон давеча сказывал мне, что с прогулки в Булонский лес возвращается вконец обессиленный, просто мочи нет... Сейчас уж все попривыкли, никто и внимания-то не обращает, относятся к ней совсем как к мужчине.

— Держите, вот двадцать франков на пожертвования.

— Месье нужно расписаться

— Ах, верно.

Эдуар взял перо и поставил свое имя под именем прекрасной амазонки, как вдруг, остановившись, проговорил:

— Это невозможно.

— Месье отказывается вносить эти двадцать франков? Месье волен поступить как хочет.

— Мне знаком этот почерк, — прошептал Эдуар.

— Что месье сказал?

— Ступайте, вы мне больше не понадобятся. Этот

лист я задержу у себя, возьмет его, когда за ним явятся...

«Где, черт побери, я видел этот почерк?» — думал, оставшись один, Эдуар.

Вдруг он хлопнул себя по лбу и принялся рыться в карманах платья, ища там письмо от домино; но, вспомнив, что отдал его илц, вернее, разорвал у нее на глазах, вернулся к листу, дабы убедиться в полном сходстве почерков.

То, что виденная им всего лишь раз девушка и есть героиня двух его маскарадов, было настолько невероятно, что он отбросил всякие на сей счет подозрения. И, однако, он ежеминутно взглядывал на имя и, пока держал его перед глазами, пребывал в убеждении, что письмо написано той же рукой, которая подписала пожертвование в пятьсот франков.

Поистине в это невозможно было поверить — и оттого Эдуар с каждой минутой все больше укреплялся в своей вере.

«Черт возьми! — подумал он, — она ведь сказала, что сегодня я узнаю ее имя — так вот оно, ее имя. И еще она сказала, что я увижу ее. Я сейчас выйду из дому и встречу ее непременно».

Он принялся одеваться, удалившись в умывальную комнату, окно которой, как помнит читатель, выходило в маленький дворик. Консьерж оставил окно открытым, и в тот момент, когда Эдуар подошел к нему, чтобы закрыть, он увидел в окне напротив девушку, которая глядела на него, приложив палец к губам. Знак этот у всех в мире означает одно — *молчание!*

Девушка вскоре исчезла, и занавеска вернулась на свое место.

Эдуар стоял в оцепенении. Сердце его рвалось из груди.

Наконец он затворил окно, сел и стал размышлять.

В результате раздумий он мог сказать себе, что теперь он кое-что знал, зато не понимал решительно ничего.

Покончив с одеванием, он вышел.

«Я уверен, что сумею хранить тайну! — говорил себе Эдуар. — Как она прекрасна! А эта бедняжка Мари, с которой я ей пообещал более не видеться? Что же сделать, чтобы порвать с ней?»

С такими мыслями он пришел на улицу Вивьен и застал Мари сидящей у камина; вид у нее был недовольный.

— Здравствуй,— сказал он, входя.

— Здравствуй,— сухо ответила молодая женщина.

— Ты нездорова?

— Нет.

— Тогда что с тобой?

— Со мной ничего.

— Отчего же ты надулась?

— Оттого.

— Неубедительно. Прощай.

— Ты уходишь?

— Да.

— Скатертью дорога.

Эдуар вышел на лестницу. Спустившись на один этаж, он услышал, как Жозефина крикнула ему, перегнувшись через перила:

— Месье!

— Что? — отозвался Эдуар, подняв голову.

— Мадам желает с вами поговорить.

Эдуар вернулся.

— Что ты от меня хочешь? — входя в комнату, спросил он.

— Сядь там.

— Ну, что дальше? — продолжал он, в свою очередь, недовольным тоном.

— С кем ты вчера был на балу в Опере?

— С Анри и Эмплем.

— А что за женщина, с которой ты проговорил весь вечер?

— Это моя тетушка.

— Ах, оставь шутки!.. Послушай, Эдуар, если ты больше не любишь меня, так признайся в этом, но не выставляй меня на посмешище и не вынуждай то и дело слышать, что ты бросил меня больную, чтобы вести кого-то там в Оперу.

— Как все это смешно! — воскликнул молодой человек, принявшись щипцами шевелить угольки в камине, и с улыбкою продолжал:

— Во-первых, никого я на бал в Оперу не водил. Какая-то женщина сама подошла ко мне, не полицию же мне было звать!

— Кто эта женщина?
— Я ее не знаю.
— Ты лжешь!
— Клянусь тебе. Прямо в толк не возьму, что на тебя нашло? Я пришел повидаться с тобой, вместо того чтобы заняться делами, идти в Школу, и вот пожалуйста...

— По воскресеньям в Школу не ходят.

— Да, но я мог бы позаниматься.

— Ну так иди, мой дорогой, иди. Теперь уж я знаю, что мне делать.

— Делай все, что захочешь. Если угодно, можешь даже писать трактаты на тему морали. Но учти, я их читать не буду.

— Смотри как заговорил!

— А ты уж больно загордилась! Точно академик или сенатор какой-нибудь. Очень мило.

— Слушай, убирайся вон! Иначе эти щипцы полетят тебе в голову!

— Не стоило меня звать, чтобы сообщить это.

— Хочу, чтобы сегодня вечером ты поехал со мной в цирк.

— В твоих словах нет никакой последовательности. Это невозможно.

— Почему?

— Потому, что я ужинаю не дома.

— Ну и прекрасно! Теперь ты меня не скоро увидишь.

— Ничего, дорогая подружка, я подожду.

Мари, с силой хлопнув дверью, скрылась в соседней комнате.

А Эдуар, уходя от Мари, думал:

«Вот я и поссорился. Пусть теперь мне кто-нибудь скажет, что Провидение тут ни при чем!..»

Было около четырех часов. Взяв экипаж, Эдуар вернулся домой.

Внизу ему вручили письмо; открыв его, он прочел:

«Я слышала об одном человеке, который, узнав, что его возлюбленная живет в доме напротив, на следующий же день изыскал способ перебросить мост между двумя окнами и по нему явился к ней в полночь.

Поистине у этого мужчины имелись ум, отвага и сердце».

Кроме того, ему передали визитную карточку Эдмона, которой он уведомлял, что в пять часов будет ждать его напротив Парижского кафе.

V

БЕЗ МАСКИ

Эдуар поднялся к себе. Нужно было оценить расстояние между окнами и, как говорилось в письме, «перебросить мост». Дело предстояло нешуточное, тем более что расстояние можно было определить лишь приблизительно. Но время терять не стоило, и потому Эдуар, прикинув как можно точнее размеры «моста», отправился к плотнику, коего мастерская находилась неподалеку, и заказал к завтрашнему дню доску шириною в один фут, длиною в десять и толщиной в два дюйма. Оставив свой адрес и заплатив, Эдуар вышел из мастерской.

В пять часов он встретил Эдмона, ждавшего его на бульваре.

— Что новенького? — спросил Эдуар.

— Ничего.

— Тебе ответили на письмо?

— Да, вот ответ.

Эдуар прочел:

«Месье, за кого вы меня принимаете? Вы глупец!

Элеонора».

Эдуар не мог удержаться от смеха.

— Что ты на это скажешь?

— Скажу, что обнадеживающим такой ответ не назовешь.

— Ты знаешь столько женщин, сделай так, чтоб и я узнал хоть одну.

— Так ты по-прежнему свободен?

— По-прежнему.

Это «по-прежнему» прозвучало как самые грустные слова, когда-либо и где-либо произнесенные.

— Так и быть, я познакомлю тебя.

— Ты шутишь?

— Вовсе нет.

— Когда?

— Да прямо сегодня.

— Она блондинка?

— Да.

- Порядочная?
- Еще какая! Только очень чувствительная.
- Ты меня представишь?
- Нет, пойдешь один.
- Да она выставит меня за дверь.
- Ты ей кое-что передашь от меня. Мне нужно сделать ей подарок, а ты просто воспользуешься ее хорошим настроением.

Эдуар зашел к Марсе, выбрал браслет и сопроводил его письмом:

«Моя дорогая Мари, забудь о том, кем я был для тебя еще вчера, но всегда помни о том, кем я буду для тебя отныне — искренним и верным другом.

Позволь мне украсить этим браслетом твою правую ручку; если она не пожелает, позволь украсить левую.

Вручит его тебе мой хороший приятель, который хотел бы стать и твоим».

— А теперь,— сказал Эдуар,— отнеси это мадемуазель Мари, улица Вивьен, сорок девять.

Эдмон исчез в мгновение ока.

Эдуар, не зная, чем заполнить вечер, рано вернулся домой, снова оглядел пространство между домами и, размышляя о том, что с ним приключилось, уснул.

Утром следующего дня его разбудил плотник, принесший заказ. Славный малый был страшно заинтригован и непременно желал знать, что же такое можно делать с десятифутовой доской в столь маленькой квартирке. Для себя он это объяснял лишь исключительной любовью заказчика к дереву и потребностью всегда иметь его под рукой. Не удержавшись, плотник спросил, куда положить доску.

— В умывальную.

— А как поставить?

— Прямо, прислонить к стене.

— Ежели б месье пожелал сказать, для чего она, мы могли бы теперь же ее и приладить... Ежели для того, чтоб ставить на нее какие-нибудь тяжести,— а раз месье заказал такую крепкую доску, то речь идет не иначе как о тяжестях,— тогда снизу нужны хорошие подпорки...

— Доска предназначается для одной китайской игры,— сказал Эдуар.— Остальное уж мое дело.

Плотник удалился.

Некоторое время спустя вошел Эдмон.

— Какие новости? — спросил его Эдуар.

— Э-э! Не очень-то радушно она меня приняла.

— Что же она сказала?

— Да почти ничего. Письмо для тебя передала.

Эдуар, раскрыв письмо, прочел:

«Мой дорогой Эдуар, благодарю тебя за браслет, но когда ты захочешь доставлять мне своими подарками удовольствие, не вручай их через послов столь же вызывающе глупых, как твой приятель...»

— Обо мне она упоминает? — спросил Эдмон.

— Вовсе нет! Тут все о частностях.

— Сегодня я снова отправлюсь туда.

— Как знаешь.

День прошел так, как обычно проходят дни, на исходе которых предстоит сделать нечто гораздо более важное, чем накануне; иначе говоря, Эдуар был поглощен одной-единственной мыслью, и все, кто встречался ему в тот день на пути, проходили мимо, словно тети, не оставляя в его голове ни малейшего воспоминания. Занавеси в окне напротив неизменно оставались задернутыми, и бывали даже минуты, когда Эдуар думал, что все это ему приснилось, и не мог взять в толк, что ему делать дальше. Стрелки стенных часов, которые, по всей вероятности, после полуночи побегут стремительно, теперь словно замедлили свое движение.

Одна из людских странностей состоит в том, что человек, с нетерпением ожидающий какого-нибудь часа, склонен навязывать времени такой же быстрый ход, какой имеет человеческая мысль. Так, Эдуар слонялся по комнате, припоминал, как началось его приключение, представлял себе все возможные его последствия, мечтал о неведомом мире, куда ему предстояло войти,— и остался крайне удивлен, что на все эти занятия ушло не более пяти минут.

Однако, как бы медленно ни двигалось время, долгожданный час приходит, и тогда, странное дело, все несущественное вмиг исчезает и уж кажется, что час этот наступил слишком скоро

Пробило полночь!

Эдуар приблизился к окну, желая посмотреть, нет ли в окне его прекрасной соседки какого-либо движения, которое вернуло бы его к действительности.

Спустя две или три минуты он заметил, что занавесь на окне едва заметно приподнялась, и сердце его, только и ждавшее этого сигнала, бешено заколотилось.

Эдуар широко раскрыл окно.

В ответ окно напротив тоже широко растворилось.

Стояла крошечная тьма. Эдуар пошел за доской. Она была тяжеленная, и Эдуар понял, как нелегко будет установить эдакую махину между двумя домами.

«Что если она окажется короткой?» — мелькнуло в голове Эдуара.

Обуреваемый мыслями, которые навязывала ему обстановка, он поднес доску к окну и, желая удостовериться, что никто посторонний его не видит, выглянул наружу.

И в домах, и в природе — кругом все спало, от небесного Нептуна до земного консьержа, и Эдуар, приставив край своего моста к подоконнику, принялся двигать его, пока он не коснулся противоположного окна.

Осуществление этого маневра стоило Эдуару неимоверного труда: ему пришлось всем телом налечь на свой край доски, дабы она не вылетела, словно стрела, и не перебудила всю округу, разбив нижние окна. Мало того, что подобная оплошность враз лишила бы его всех предвкушаемых радостей, падение доски невозможно было бы объяснить соседям. Какими бы странными и эксцентричными ни могли быть привычки жильца, он не сумеет дать вразумительный ответ на вопрос, для чего он после полуночи кидал доску в десять футов длиной и два дюйма толщиной в окна соседнего дома, и понимание встретит разве что у стекольщиков.

Правды ради нужно признать, что, когда Эдуар ступил на мост, страх сломать себе шею тоже присутствовал в его душе.

Ясное дело, долго стоять на качающемся мосту он не мог, и очень скоро оказался верхом на доске, которая, какой бы толстой ни была, все же обладала свойствами трамплина, доставляющими удовольствие в гимнастическом зале и приводящими в ужас на высоте четвертого этажа.

Отступать, однако, было некуда, и Эдуар двинулся вперед с осторожностью, равной цене, которую он при- давал своей жизни.

Добравшись до середины, он вспомнил о Мари. Те- перь ему еще милей станет ее истрепанная добродетель, которую он всегда находил, одолев восемьдесят ступе- нек лестницы, милей, чем та, совсем новая, добродетель, к которой ведет дорога хоть, правда, и более короткая, но гораздо более трудная, и которая вынуждает его проделывать весь этот в высшей степени нелепый трюк.

Коснувшись наконец края окна, он не мог удержать- ся от «уф!», вызванного скорее радостью от того, что он остался цел и невредим, нежели счастьем видеть свою возлюбленную.

Едва он спрыгнул на пол, как услышал прелестный голос, уже слышанный им на балу:

— Уберите доску.

«Ну и ну! — подумалось Эдуару, — не любовь, а про- сто переселение на другую квартиру».

И он принялся втаскивать доску.

В комнате, где он очутился, было совсем темно; он стоял, обхватив руками дурацкую доску и не зная, куда ее деть. Если бы горел свет или он мог бы видеть себя со стороны, он бы в ту же секунду бросился в окно, предпочтя ужас нелепости своего положения.

Поскольку ухо его не улавливало никаких распоря- жений, он отважился спросить:

— Куда можно положить доску?

Тотчас он почувствовал руку, которая повела его в темноте, и, обнаружив стену, доверил ей то, что через час или два будет ему дороже всего на свете. Потом ру- ка повела его дальше и усадила на козетку. Тут в кро- мешной тьме начался полупшепотом следующий истори- ческий диалог:

— Вы намерены сдержать ваши обещания?

— Да.

— Знаете ли вы, чем я рискую, принимая вас здесь?

— А знаете ли вы, что я претерпеваю на пути сюда?

— Я могу потерять свою репутацию!

— А я могу свернуть себе шею!

— Но ведь жизнь в сущности такая безделица!

— Позвольте, позвольте! Если вы ею не дорожите, не надо отбивать охоту у других.

— Я же сказала вам, что вы сможете меня видеть, только если каждый день будете преодолевать опасность. Если вы не настолько меня любите, чтобы подвергать себя испытанию, еще не поздно, вернитесь домой и забудьте меня, как я забуду вас.

— Я люблю вас,— сказал Эдуар, взяв ее руки в свои.

— Мое поведение должно показаться вам странным, но вы ведь помните, я предупреждала вас, что я женщина не такая, как все. Я люблю вас в качестве любовника, но я возненавидела бы вас в качестве мужа. Одна только мысль, что кто-то, кто окажется сильнее меня, получит право отнять у меня мою свободу, способна причинить мне невыносимую муку. Вы — моя первая любовь, но я не говорю вам, что вы будете и последней. Я никогда прежде не любила, я не знаю, сколько времени длится любовь, и в день, когда я почувствую, что больше не люблю вас так, как сейчас, я потребую, чтобы мы оба вновь стали свободными. А до тех пор я хочу, чтобы вы хранили все в строжайшей тайне, равно как и с моей стороны не будет и намек на болтливость, и как только мы по моему первому желанию расстанемся, что бы ни случилось, вы перестанете знать со мной и пойдете своей дорогой, не оглядываясь назад.

«Да эта особа любовника берет, точно прислугу,— подумал Эдуар.— Поглядим, каково будет жалованье!»

— Другая,— продолжала девушка,— вышла бы замуж и, пользуясь своим новым положением, сохранила бы свои увлечения, скрыв любовников за спиной мужа и выставив на осмеяние перед всем светом честного человека, который отдал ей свое имя и половину жизни. Я же никого не обманываю; я свободна как в помыслах своих, так и в любви; я пришла к вам потому, что люблю вас, и потому, что, как бы вы ни были храбры, вы бы никогда не осмелились прийти ко мне.

«Прекрасно,— подумал Эдуар,— вот и мне найдено место, где-то среди лошадей и собак».

— Только один человек посвящен в нашу тайну, но она, как и я, будет молчать, потому что обязана мне всем, верит и надеется лишь на меня и еще потому, что

в день, когда она попытается меня погубить, она погибнет сама. Оттого она больше чем свидетель. она — союзник.

Хотя эта стихийная и неистовая любовь девушки тешила тщеславие Эдуара, место, которое ему при этом отводилось, вряд ли льстило его самолюбию. Как сам он считал, его числили в ранге домашних животных: для своей любовницы он становился кем-то, чуть большим, чем ее горничная, но чуть меньшим, чем ее собака, каким-то аксессуаром, безделушкой, развлечением, и брали его, чтобы удовлетворить страсть, как, впрочем, и он когда-то использовал немало женщин для удовлетворения своего каприза.

И все же, какой бы унижительной ни была его роль, он согласился на нее, полагая, что, когда он действительно сделается любовником этой женщины, он сможет возыметь довольно власти если не над сердцем ее, то хотя бы над разумом, и перейти по крайней мере из разряда вещей второстепенных в разряд вещей полезных.

Эдуар был из тех мужчин, кто убежден, что любовь занимает важное место в жизни женщины и тот, кому удастся завладеть этой любовью, станет женщинами по-велевать. Он ошибался, особенно в отношении Эрминии. исключительное воспитание которой более воспламенило ее воображение, нежели растревожило сердце. Она прекрасно себя знала, и к чести ее надобно сказать, с Эдуаром она была искренна. Она любила его и находила совершенно естественным ему в этом признаться, равно как и закрыть перед ним свое окно тогда, когда она закроет свое сердце. Однако, полагая любовь приятной забавой, она почитала жизнь в свете за милое удовольствие и не желала жертвовать удовольствием ради развлечения. Именно поэтому она требовала от Эдуара гробового молчания.

Эдуар же не испытывал к ней любви. Будь она кроткой и робкой девушкой, он бы чувствовал себя рядом с ней сильным и, возможно, полюбил бы ее, хотя бы для того только, чтобы испытать в жизни такую любовь, которая встречается в романах. Если бы Эрминия, презиравшая предрассудки, находясь с ним наедине, презирала бы их на глазах у всех; если бы она взяла его, мо-

любого и безвестного, наперекор свету и написала бы на его лбу: «Этот мужчина — мой возлюбленный!» — он бы погубил голову, оттого что жажда удовольствия и тщеславия его были бы тут удовлетворены. Но связь тайная, сопровождаемая угрозами смерти в случае малейшей педержанности, — все это не очень привлекало мужчину, привыкшего к неохраемым сердцам, сдающимся, словно испанские крепости, при первой же атаке и никогда не имеющим оружия против осаждавших, как только они становятся властителями. И лишь потому он согласился на условия Эрминии, что, прежде всего, красивая молоденькая девушка, направляющая на вас весь пыл своей первой любви, встречается не каждый день, и потому еще, что, как он тоже говорил себе, всегда будет волен разорвать этот ночной союз и подвести всю эту историю к такой развязке, какую сочтет подходящей.

При всем том следует заметить, что эти идеи, которые, очевидно, с каждым днем должны были становиться в голове Эдуара все отчетливее, поначалу, когда он находился наедине с девушкой, существовали лишь как смутное предчувствие. Слушая ее, держа ее нежную руку, он полагал себя способным все презреть ради нее, ради женщины, сердце которой так наивно просило открыть ему неведомое счастье, а душа отдавалась совсем удивлением и радостью первой любви. И Эрминия, вначале так холодно говорившая о своей страсти, казалось, совершенно переменялась: она любила его, совсем позабыв и о свете, и о будущем. Так что в три часа утра приблизительно, когда Эдуар, чтобы вернуться к себе, вновь стал проделывать те же маневры, которые он предпринял, чтобы попасть в комнату своей возлюбленной, все для него дышало поэзией и жизнь нужна была ему только для того, чтобы на завтра вновь подвергнуть себя смертельной опасности.

VI

БЛИЗОК ЛОКОТОК, ДА НЕ УКУСИШЬ

Проснулся Эдуар в совершенном убеждении, что он безумно влюблен в Эрминию. Он давал себе обеты верности и молчания и думал лишь о той счастливой мину-

те, когда снова предстанет перед ней. Во второй раз всё произошло так, как накануне. Разве что Эдуар, отчасти уже натренировавшись, шел по мосту с изумительной быстротою и беспечною. И на третий день — та же любовь, та же вера. Шло время, и каждую ночь все повторялось сызнова, так что к концу недели уж не было в Париже человека, могущего столь же ловко ходить по доске, как Эдуар. Продлилось это дело год — он бы стал, пожалуй, одним из самых замечательных акробатов столицы.

Первые десять или двенадцать дней промелькнули для Эдуара незаметно. Все они были наполнены воспоминаниями о прошедшем свидании и ожиданием вечера; тем не менее по временам ему стало казаться, что дни все больше делаются какими-то пустыми, и он ощутил потребность вновь видеться со старыми друзьями, которых совсем забыл ради своей новой любви.

Что до Мари, легко примирившейся, казалось, с бегством своего любовника, то она очень хотела бы знать, что с ним случилось, и даже была бы не прочь, если бы случай как-нибудь отомстил ему за нее; но, как ни старалась, она ничего не смогла выведать: Эдуара не видели нигде — ни на прогулке, ни в театре, и уже начали подумывать, не бросился ли он, точно Курций, в какую-нибудь бездну. Тут-то он и появился на бульваре — месте ежедневных встреч его приятелей.

Одним из первых он увидел Эдмона, по-прежнему искавшего квартиру и любовницу и, разумеется, не находившего ни того, ни другого.

— Ах, мой дорогой! — говорил он Эдуару. — Мне нужна такая женщина, как Мари, и такая квартира, как твоя!

— Так Мари не хочет тебя любить?

— Увы!

— Как она тебя принимает?

— Иногда плохо, но чаще очень плохо.

— Найди к ней особый подход.

— Я не знаю особого подхода.

— Что мне в таком случае тебе посоветовать?

Жди.

— Если б еще я мог перебраться на другую квартиру! Но найти ее невозможно. Тебе вот как-то быстро удается!

— Ищи.

— Я только этим и занят. Если надумаешь оставить свою, уступи ее мне.

— Не надумаю.

— Ну так прощай.

— Прощай!

Той же ночью, в двенадцать часов, Эдуар вновь ступил на воздушную дорогу, по которой шел накануне и которой должен будет пройти завтра.

Однако жизнь его становилась несколько однообразной. Не однажды уже он отказывался от развлечений, на которые прежде, двумя неделями ранее, с охотою согласился бы и которых теперь был вовсе не чужд, несмотря на свое новое состояние. Он видел, что все его приятели продолжают жить той же жизнью, которой некогда жил и он, и уж находил их более счастливыми. Первое упоение прошло, он стал раздумывать о нелепости своего положения, и прежние мысли о том, что с ним происходило, вернулись к нему, только более настоятельные и отчетливые, чем вначале. По временам у него выдавался свободный вечер, оттого что Эрминия отправлялась на бал и посвящала платьям, цветам и танцам время, которое ежедневно должна была отдавать ему. Как читатель уже убедился, Эдуар не был влюблен серьезно, однако рассуждал так, как если бы был, и сердился на Эрминию за то именно, что весьма часто доставляло немалую радость ему самому. Итак, хотя удовольствие было велико, но тяготы огромны, и то ли оттого, что он не мог выносить ночных бдений, то ли из-за требовательного характера Эрминии, но Эдуар заметно скучал.

Балы шли своим чередом. Эрминии очень хотелось бывать на них, и в то же время она не желала, чтобы свободные вечера ее любовник занимал чем-либо иным, нежели мечтаниями о ней, а поскольку в лице той женщины, которая непременно сопровождала ее в Оперу, она имела отличную полицию, в случае, если бы до нее дошло, что Эдуар провел ночь вне дома, она на следующий же день устроила бы ему сцену упреков и ревности. И Эдуар чувствовал, что, чем дальше, тем менее сносным будет становиться его положение, и малейшая случайность сделает его с его доской постыдно смешным в глазах друзей.

Множество раз он пробовал коротать с Эрминией часы уныния, и прежде наступавшие в его душе, но с некоторых пор участившиеся. Он устраивался у ее ног и в течение нескольких минут пытался забыть, что она его любовница, и вспомнить, что она могла бы быть еще и его другом; но очень скоро он замечал, что та задушевная беседа, которой предаются люди самые счастливые и которая, словно сон, дает отдохновение, совершенно неведома девушке. Ей несвойственно было даже то сочувствие, какое имела Мари, у которой, какой бы сумасбродкой она ни была, исчезала улыбка с розовых губок, когда на Эдуара находила грусть. Раз двадцать уже он брал ее руки в свои и с тем блаженством, которое испытывает всякий мужчина, когда говорит о своей жизни, пусть безразличной для других и однообразной для него самого, он рассказывал Эрминии о своей юности, ища в ее любви продолжение любви материнской. Но никогда ни слова утешения не слетало с уст девушки, ее сердце, пылкое и открытое страстям, казалось наглухо закрытым для простых чувств.

Эдуар, пойдя на эту новую и необычную для него любовную связь, хотел привнести в нее как можно больше поэзии; однако он вынужден был признаться себе, что дело это неосуществимое и что он будет счастлив, если его роману с Эрминией придет конец. Итак, случилось то, что должно было случиться: не найдя в этой женщине ничего истинного, кроме страсти, он стал презирать ее и думал теперь только о том, как бы разорвать связь, длившуюся от силы два месяца.

В канун четверга на третьей неделе великого поста Эдуар, как и во все предыдущие дни, установил доску между двумя окнами, прошел по ней, убрал, потом вновь установил, прошел и снова убрал — и все это с видом покорности судьбе.

— Завтра вы будете свободны, — сказала ему Эрминия. — В Опере последний бал, я хочу на него пойти. Я ведь увижу вас там, не правда ли?

Эдуар так долго не ходил на балы, что, словно ребенок, обрадовался дарованному ему позволению и на следующий день поехал в Оперу.

Первым к нему подошел Эдмон.

— Ну что, — спросил Эдуар, — ничего нового? Нашел квартиру?

— Нет.
— А женщину?
— Тоже нет.
— А та, что только что держала тебя под руку?
— Это Мари.
— По-прежнему непреклонна?
— По-прежнему.
— Тем лучше для тебя, с женщинами ведь не все вы-
глядит в розовом цвете.

— У тебя сердечные огорчения?
— Нет, но, признаюсь тебе, я весьма озабочен.
— Расскажи.
— Ты проболтаешься.
— Да нет же, расскажи.

И Эдуар, уже давно испытывавший потребность пове-
дать кому-нибудь о своих приключениях и злополучи-
ях, принялся рассказывать Эдмону, пообещавшему все
держат в секрете, о том, как познакомился с Эрминией,
какие получил от нее письма, о еженощных свиданиях, о
странностях ее натуры и, наконец, выложил все причи-
ны, побуждающие его разорвать связь. Эдмон слушал
очень внимательно. Когда Эдуар закончил, он ска-
вал:

— Тебе остается только одно.
— Что же?
— Уехать.
— Я думал об этом. Кстати...
— Что?
— Если хочешь, я уеду и квартиру оставлю тебе.
— Я хотел просить тебя об этом. А когда?
— Завтра же. Преимущество серьезных решений в
том, что они осуществляются без промедлений. Мне все-
гда хотелось съездить посмотреть пирамиды. Вот я и
воспользуюсь случаем.

«Я счастливейший из людей!» — подумал Эдмон.

— Ну, уговорились, — продолжал Эдуар. — Мебель
я оставлю тебе, пользуйся до моего возвращения.

— Превосходно!
— Но никому ни слова!
— Будь спокоен.
— Завтра в полдень у меня.
— Я буду, прощай.

Эдуар постучался в ложу номер двадцать, где находилась Эрминия. А Эдмон в эту минуту весь искрился радостью оттого, что завладеет вожаделенной квартирой.

Кто-то в домино взял его за руку. Он узнал Мари.

— Эдуар здесь? — спросила она.

— Здесь.

— Двадцатая ложа, не так ли? Я только что видела его там с женщиной.

— Может быть.

— Вы ее знаете?

— Нет.

— Назовите мне только ее имя.

— Я его не знаю.

— Вы лжете.

— Все, что я могу вам сказать, это то, что я переселяюсь в его квартиру. Если вы сообразоволите пожаловать туда...

— А куда девается он?

— Он уезжает.

— Почему?

— Ах, не спрашивайте! — ответил Эдмон тоном человека, наполовину посвященного в тайну и делающего вид, что намерен ее хранить.

— Мой Эдмондик, — ласково зашебетала Мари, — ну скажите мне почему.

— Вы слишком болтливы.

— Ну я прошу вас! Я стану вас очень любить.

— В самом деле? И вы никому не выдадите эту тайну?

— Никому, вот увидите.

И Эдмон принялся слово в слово пересказывать Мари то, что сообщил ему Эдуар.

— Вот так история! — воскликнула Мари.

— Но обо всем этом молчок!

— Можете на меня положиться. Простите, я увидела знакомого.

Под предлогом, что ей нужно с кем-то поговорить, Мари оставила Эдмона, потом покинула бальную залу и стала наблюдать в окошечко за тем, что делается в ложе номер двадцать. Эдуар был еще там, но через несколько минут он вышел. Когда его уже не было в Опере, Мари приблизилась к окошку ложи и, приподнявшись на носки и взявшись руками за проем, сказала:

— Доска по-прежнему крепка?

Эрминия резко обернулась, словно ее ужалила змея, но Мари, безумно хохоча, уже скрылась.

Эрминия немедленно уехала с бала.

А тем временем Эдуар вернулся к себе и улегся спать, чтобы назавтра встать пораньше и заняться приготовлениями к отъезду. Поутру он вышел из дому, сбегал взять место в почтовой карете до Марсея, отдал паспорт на визу, сходил за деньгами к нотариусу и в половине двенадцатого возвратился домой.

В полдень к нему явился Эдмон.

— Так ты едешь?

— Как видишь! — ответил Эдуар, показав на частички уложенные вещи.

— Я, стало быть, могу распорядиться, чтобы сюда везли мои?

— Конечно, можешь.

— Я пробуду с тобой до шести и провожу тебя.

— Ну и прекрасно.

Эдмон, сияя от счастья, принялся осматривать свою новую квартиру.

— Ах, так вот эта здоровенная доска! — воскликнул он, войдя в умывальную комнату.

— Да.

— А-а, понимаю, ты клал ее на оба подоконника и шел по ней. Смотри-ка, счастливый малый! Ты отправлялся в дом напротив в полночь?

— Да.

— Подавал сигнал?

— Нет, я открывал свое окно, она открывала свое — и я шел.

— А если бы тебя кто-нибудь увидел?

— Ни у меня, ни у нее в окне не было света, к тому же комната, где она меня принимала, отдалена от остальных покоев, а ее тетка живет в другой части дома.

Когда все вещи были уложены, оба приятеля вышли из дому.

— Я уезжаю, — сказал Эдуар консьержу. — Пока я буду отсутствовать, в моей квартире поживает этот господин. Я вернусь через четыре месяца. Кстати, заплачено за шесть.

— Хорошо, месье. Вам только что пришло письмо.

— Дайте.

Эдуар узнал почерк Эрминии.

— Она велит мне не манкировать сегодня вечером,— сказал он Эдмону, пробежав глазами письмо.— Вечером я буду в двадцати лье от Парижа!

В шесть часов Эдуар уехал.

В полночь Эдмон, устроившись на новом месте, пошел в умывальную и раскрыл окно. Тотчас же растворилось и окно Эрминии. Стоял туман, и противоположной стены не было видно. Взяв доску, Эдмон стал проталкивать ее вперед и вскоре почувствовал, что кто-то взял противоположный конец.

«Что за женщина! — думал Эдмон.— Черт меня побери, если на этот раз я не заставлю себя обожать».

Он двинулся по доске, и сердце у него учащенно забилося. Через минуту он ощутил, что чья-то рука остановила его, и услышал обращенный к нему голос:

— Вы помните, что я сказала вам в первый раз, когда вас увидела?

— Что же?

— Что, если вы когда-нибудь расскажете обо мне, я вас убью! Я держу слово!

В тот же миг молодая женщина оттолкнула доску, и та, с шумом упав, заглушила последний крик Эдмона.

* * *

Эдуар возвратился, как и обещал, через четыре месяца.

Очутившись на своей улице, он увидел, что дом Эрминии сносят. Он спросил, дома ли Эдмон, и в ответ консьерж поведал ему, что на следующий же день после его отъезда во дворе был найден труп его друга и доска: упав, она размозжила ему голову.

— Так и не дознались, что он собирался делать с этой доской,— добавил консьерж.

Эдуар все понял и остолбенел.

— А почему сносят соседний дом? — наконец проговорил он.

— Мадемуазель Эрминия, когда уезжала в Италию, три месяца назад, продала его, а новый владелец взял да и перепродал, чтобы на этом месте могли проложить улицу.

Эдуар словно лишился рассудка. Он поднялся к себе, нашел все на прежних местах, увидел окно напротив, которое пока еще оставалось нетронутым, потом вновь оделся, вышел из дому и, поспешив к Мари, застал там все тех же, кто был у нее шесть месяцев назад, когда мы начинали эту историю. Только вместо ландскнехта теперь играли в двадцать одно

Это была единственная перемена в жизни его давней подруги.



Жорси́канские
братья
романъ

Перевод
Н. В. Друзиной



I

В начале марта 1841 года я путешествовал по Корсике.

Нет ничего прекраснее и удобнее, чем путешествовать по Корсике: вы садитесь на судно в Тулоне и через двадцать часов вы — в Айяччо или через двадцать четыре — в Бастиа.

Там вы покупаете или нанимаете лошадь. С ночлегом и того проще: путешественник приезжает в деревню, проезжает вдоль всей главной улицы, выбирает подходящий дом и стучит в дверь. Через минуту на пороге появляется хозяин или хозяйка, приглашает путешественника войти, предлагает разделить с ним его ужин, целиком распорядиться его кроватью, если другой там нет. На следующий день он провожает гостя до самой двери и благодарит за оказанное ему предпочтение.

О каком-либо вознаграждении не может быть и речи: хозяин выглядит оскорбленным при одном упоминании об этом. Если в доме прислуживает молодая девуш-

ка, ей можно предложить какой-нибудь шейный платок, с помощью которого она соорудит себе живописную прическу, когда пойдет на праздник Кальви или Корта. Если прислуга — мужчина, он с радостью примет кинжал или нож, которым он при встрече сможет убить своего врага.

Но при этом следует заранее осведомиться, не приходятся ли слуги, а это иногда случается, родственниками хозяину. Они ему помогают вести хозяйство, за что получают пищу, жилье и один или два пиастра в месяц.

И не верьте, что хозяева, которым прислуживают их внучатые племянники или кузены в седьмом колене, будут из-за этого хуже обслужены. Нет, ничего подобного. Корсика — это французский департамент, но Корсике еще очень далеко до того, чтобы стать Францией.

О воровстве не слышно разговоров, разбойников хватает, да, это так, но не следует путать одних с другими.

Смело отправляясь в Айяччо, в Бастиа с кошельком, набитым золотом, привязанным к ленчику¹ вашего седла, вы пересечете весь остров без тени беспокойства; но лучше не рискуйте проехать из Окканы в Левако, если у вас есть враг, который объявил вам вендетту, в этом случае я бы не поручился за вас уже на расстоянии двух лье.

Я был на Корсике, как уже говорил, в начале марта.

Я прибыл туда с острова Эльба, сошел на берег в Бастиа и купил лошадь.

Я посетил Корт и Айяччо и теперь осматривал окрестности Сартена.

В тот день я ехал из Сартена в Суллакаро.

Расстояние было небольшим, возможно, десять лье, из-за поворотов и главного отрога горного хребта, который формирует позвоночник всего острова и который предстояло пересечь, поэтому я взял проводника, боясь заблудиться в этих дебрях.

К пяти часам мы добрались до вершины холма, который возвышается над Олмето и Суллакаро.

Там мы остановились ненадолго.

— Где Ваша Милость желает остановиться? — спросил проводник.

¹ Ленчик — деревянный остов седла. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

Я посмотрел на селение, улицы которого хорошо просматривались, и оно показалось мне почти пустынным: лишь какие-то женщины изредка появлялись на улицах, но они быстро проходили, озираясь вокруг.

В силу установившихся правил гостеприимства, о которых упоминал, я мог выбирать из ста или ста двадцати домов, составляющих селение, я поискал глазами жилище, в котором мне было бы уютно, и остановился на квадратном доме, построенном в виде крепости с машикулями¹ над окнами и дверью.

Я впервые видел подобные домашние укрепления, но нужно сказать, что окрестности Сартена — местность, где царят законы вендетты.

— Вот и хорошо,— сказал мне проводник, посмотрев в направлении моей руки,— мы отправимся к мадам Савилья де Франчи. Ваша Милость, ей-богу же, сделала неплохой выбор, видно, что вы человек опытный.

Не забудем отметить, что в этом 86-м департаменте Франции постоянно разговаривали на итальянском языке.

— Но,— спросил я,— не будет ли это неприличным, что я хочу попросить пристанища у женщины? Если я правильно понял, этот дом принадлежит женщине.

— Конечно,— ответил он удивленно,— но что неприличного в этом находит Ваша Милость?

— Если эта женщина молода,— ответил я, движимый чувством приличия или, может быть, самолюбием парижанина,— то, если я переночую в ее доме, ведь это может ее скомпрометировать?

— Ее скомпрометировать? — повторил проводник, явно пытаясь понять смысл этого слова, которое я переделал на итальянский манер, с тем банальным апломбом, который присущ нам, французам, когда случается говорить на иностранном языке.

— Ну конечно! — продолжил я, начиная терять терпение.— Эта дама вдова, да?

— Да, Ваше Превосходительство.

— Ну и что, она примет у себя молодого мужчину?

В 1841 году мне было тридцать шесть с половиной лет, и я еще называл себя молодым человеком.

— Примет ли она молодого человека? — повторил проводник.— А какая ей, собственно, разница, молодой вы или старый?

¹ М а ш и к у л и — навесные бойницы.

Я понял, что ничего не добьюсь, если буду расспрашивать подобным образом.

— Сколько лет мадам Савилья? — спросил я.

— Сорок или около того.

— А! — откликнулся я скорее на свои собственные размышления. — Ну и замечательно. У нее, конечно, есть дети?

— Два сына, двое бравых молодых парней.

— Я их увижу?

— Вы увидите одного, того, который живет с ней.

— А другой?

— Другой живет в Париже.

— А сколько им лет?

— Двадцать один год.

— Обоим?

— Да, они братья-близнецы.

— А чем они занимаются?

— Тот, что в Париже, будет адвокатом.

— А другой?

— Другой будет корсиканцем.

— Ну-ну, — сказал я, находя ответ достаточно характерным, хотя он и был произнесен вполне естественным тоном, — ну хорошо, давайте отправимся в дом мадам Савилья де Франчи.

И мы отправились в дорогу.

Десять минут спустя мы вошли в селение.

В это время я заметил одну вещь, которую я не мог увидеть с вершины горы. Каждый дом был укреплен, как дом мадам Савилья, только без машикулей — бедность их владельцев, конечно, не позволяла им иметь такие роскошные укрепления, просто-напросто внутренние части окон были обшиты брусьями, чтобы пули не прошли через отверстия. В других домах окна были укреплены красным кирпичом.

Я спросил своего проводника, как называются эти бойницы, он ответил, что это амбразура для ЛУЧНИКА, и из его ответа я понял, что вендетта на Корсике существовала еще до изобретения огнестрельного оружия.

По мере того как мы продвигались по улицам, селение приобретало все более пустынный и унылый вид.

Большинство домов, казалось, пережили осаду и были изрешечены пулями.

Иногда сквозь эти бойницы мы видели искрящиеся любопытные глаза, которые смотрели, как мы проходили

мимо, но различить мужской это был глаз или женский было невозможно.

Мы подошли к дому, на который я указал проводнику. Он был действительно самым заметным в селении. Единственно, что меня поразило, это то, что на окнах не было ни брусьев, ни кирпичей, ни амбразур, лишь простые стеклянные плитки, которые на ночь прикрывались деревянными ставнями.

Правда, эти ставни хранили следы, в которых внимательный взгляд наблюдателя безошибочно узнавал пулевые отверстия. Но эти отверстия были старыми и появились здесь с десятков лет тому назад.

Едва мой проводник постучал, как дверь открылась, не робко и осторожно приоткрылась, а открылась настеж, и появился лакей...

Я не прав, говоря «лакей», я должен был бы сказать «мужчина».

Лакея делает лакеем ливрея, а этот индивидуум был одет в обычную вельветовую куртку, короткие брюки из той же ткани и кожаные гетры. Брюки на талии были перетянуты поясом из пестрой шелковой ткани, из-за которого торчала рукоятка испанского ножа.

— Друг мой,— сказал я,— не будет ли нескромным то, что иностранец, который никого не знает в Суллакаро, пришел просить пристанища у вашей хозяйки?

— Конечно, нет, Ваша Милость,— ответил он,— этот иностранец оказывает честь дому, выбрав его. Мария,— продолжил он, повернувшись в сторону служанки, которая показалась за ним,— предупредите мадам Савилья, что это французский путешественник, который просит его приютить.

Тем временем он спустился по крутой лестнице из восьми ступенек, которая вела к входной лестнице, и взял повод моей лошади.

Я быстро спешился.

— Пусть Ваша Милость ни о чем не беспокоится,— сказал он,— весь ваш багаж отнесут в вашу комнату.

Я воспользовался этим милым приглашением к ничегонеделанию, одним из самых приятных для путешественника.

II

Я довольно легко взобрался по упомянутой лестнице и сделал несколько шагов внутрь помещения.

На повороте коридора я очутился лицом к лицу с высокой женщиной, одетой в черное.

Я понял, что эта женщина тридцати восьми — сорока лет, сохранившая красоту, была хозяйкой дома, и я остановился перед ней.

— Мадам,— сказал я ей, раскланявшись,— вы, наверное, считаете меня совершенно бестактным, но меня оправдывают местные обычаи и приглашение вашего слуги.

— Вы — желанный гость для матери,— ответила мне мадам де Франчи,— и разумеется, будете желанным гостем для сына. С этого момента, месье, дом в вашем распоряжении, пользуйтесь им как своим собственным.

— Я прошу о приюте лишь на одну ночь, мадам. Завтра утром на рассвете я уйду.

— Вы вольны поступать, как вам будет удобно, месье. Однако, я надеюсь, что вы измените свои планы, и мы будем иметь честь принимать вас гораздо дольше.

Я снова раскланялся.

— Мария,— продолжила мадам де Франчи,— проводите месье в комнату Луи. Сразу же разожгите огонь и принесите горячей воды. Извините,— сказала она, поворачиваясь в мою сторону, в то время, как служанка собиралась выполнять ее указания,— я знаю, что первое, в чем нуждается усталый путешественник — это вода и огонь. Идите за этой девушкой, месье. Если вам что-либо потребуется, спросите у нее. Мы ужинаем через час, и мой сын, который к тому времени вернется, будет рад пригласить вас ужинать.

— Вы извините мой костюм путешественника, мадам?

— Да, месье,— ответила она, улыбаясь,— но при условии, что вы, в свою очередь, извините нас за простоту приема.

Служанка пошла наверх.

Я раскланялся в последний раз и последовал за ней.

Комната находилась на втором этаже и выходила во двор, с окнами на чудесный сад, весь засаженный миртом и олеандром, его пересекал извилистый очаровательный ручеек, который впадал в Таваро.

В глубине обзор был ограничен своеобразной изгородью из деревьев, так близко стоящих друг к другу, что это можно было назвать забором. Как и во всех комнатах в итальянских домах, стены были побелены из-

вестью и украшены фресками с изображенными на них пейзажами.

Я сразу же понял, что мне отвели эту комнату, принадлежащую отсутствующему сыну, как самую удобную в доме.

И мне пришла мысль, пока Мария разжигала камин и готовила мне воду, произвести опись моей комнаты и по ее мебелировке составить представление о том, кто в ней жил.

Я сразу же стал реализовывать свой проект, вращаясь на левой пятке и поворачиваясь вокруг самого себя, что позволило мне рассмотреть одну за другой различные вещи, которые меня окружали.

Меблировка была вполне современной, что в этой части острова, куда еще не дошла цивилизация, было признаком довольно редкой роскоши. Она состояла из железной кровати с тремя матрасами и одной подушкой; дивана, четырех кресел и шести стульев, двойного книжного шкафа и письменного стола — все из красного дерева и явно куплено в лучшей мастерской краснодеревщика в Айяччо.

Диван, кресла и стулья были обтянуты цветастым ситцем, шторы из той же самой ткани висели на двух окнах, этим же была покрыта кровать.

Я был в самом разгаре составления моей описи, когда Мария вышла, что позволило мне более тщательно довести до конца мое исследование.

Я открыл книжный шкаф и обнаружил собрание всех наших великих поэтов: Корнеля, Расина, Мольера, Лафонтена, Ронсара, Виктора Гюго и Ламартина.

Наших моралистов: Монтеня, Паскаля, Лабруйера.

Наших историков: Мезерея, Шатобриана, Огюста Тьерри.

Наших ученых: Кювье, Бодана, Эли де Бомонта.

И, наконец, несколько томов с романами, среди которых я с некоторой гордостью отметил мои «Путевые впечатления».

Ключи были в ящиках письменного стола, я открыл один из них.

Там я нашел фрагменты из истории Корсики — работы о том, что можно сделать, чтобы уничтожить вендетту; несколько французских стихов, итальянских сонетов — все в рукописях. Этого было более, чем требовалось, у меня было чувство, что нет необходимости про-

должать мои изыскания, чтобы составить мнение о господине Луи де Франчи.

Это, должно быть, молодой человек добрый, прилежный, сторонник французских преобразований. Я понял, что он уехал в Париж с намерением получить профессию адвоката.

Вступая на путь этой карьеры, он, конечно, думал о будущем всего человечества. Я размышлял об этом, одеваясь.

Моя одежда, как я и говорил мадам де Франчи, хотя и не была лишена некоторой изысканности, все же нуждалась в некотором снисхождении.

Она состояла из черного велюрового пиджака, с незашитыми швами на рукавах, чтобы можно было остыть в жаркое время суток, и через эти своего рода дыры в рукавах была выпущена шелковая полосатая рубашка; из брюк, заправленных от колена в испанские гетры, расшитые по бокам цветным шелком; и из фетровой шляпы, которой можно было придать любую форму, в частности — сомбреро.

Я заканчивал надевать свой костюм, который я рекомендую путешественникам, как наиболее удобный из всего, что мне известно, когда дверь открылась и тот же самый человек, который впустил меня, появился на пороге.

Он пришел, чтобы объявить мне, что его молодой хозяин, господин Люсьен де Франчи только что прибыл и просит меня оказать ему честь, конечно, если я смогу принять его, засвидетельствовать мне свое почтение.

Минуту спустя я услышал шум быстрых шагов и я сразу же оказался лицом к лицу с моим хозяином.

III

Это был, как и говорил мой проводник, молодой человек двадцати-двадцати одного года, с черными глазами и волосами, с загорелым лицом, высокий, прекрасно сложенный.

Спеша засвидетельствовать мне свое почтение, он поднялся не переодеваясь. На нем был костюм для верховой езды, который состоял из сюртука зеленого драпа с опоясывающей его сумкой для патронов, которая придавала юноше воинственность, и брюк из серого дра-

ла, обшитых изнутри юфтью¹. Сапоги со шпорами и фуражка в стиле тех, что носят охотники в Африке, дополнили его костюм.

По обе стороны его патронной сумки висели дорожная фляга и пистолет.

Кроме того, он держал в руке английский карабин.

Несмотря на молодость моего хозяина, верхняя губа которого едва прикрывалась небольшими усиками, во всем его облике была независимость и решительность, которые меня поразили.

Передо мной был человек, воспитанный для настоящей борьбы, привыкший жить в опасности и не бояться ее, но и не пренебрегать ею; серьезный, потому что держался особняком, спокойный, потому что ощущал свою силу.

Ему было достаточно одного взгляда, чтобы увидеть мои вещи, оружие, одежду, которую я только что енял и ту, что одел.

Его взгляд был стремительным и уверенным, взгляд, от которого зависела жизнь человека.

— Извините меня, если я вам помешал, месье, — сказал он мне, — но я сделал это с добрыми намерениями, чтобы узнать, не испытываете ли вы в чем-либо недостатка. Я всегда с определенным беспокойством встречаю прибывающих к нам с континента: мы ведь еще такие дикие здесь на Корсике, что просто дрожим от страха, особенно, при встрече с французами. Это устарелое гостеприимство, которое вы вскоре ощутите, пожалуй, единственная традиция, которая нам останется от наших отцов.

— Вы опоздали с вашими опасениями, месье, — ответил я, — трудно вообразить себе что-либо лучшее после всех тех забот о путешественнике, которые оказала мне мадам де Франчи, впрочем, — продолжил я, осмотревшись, в свою очередь, в комнате, — уж конечно, не здесь я мог бы жаловаться на эту пресловутую дикость, о которой вы меня предупреждали, вряд ли чистосердечно, и если бы я не видел из окон этой комнаты прекрасный пейзаж, я мог бы подумать, что нахожусь в квартире на улице д'Антен.

— Да, — ответил молодой человек, — это было манией моего бедного брата Луи: ему нравилось жить на

¹ Юфть — дубленая кожа из шкур крупного рогатого скота, свиней, лошадей. Характеризуется значительной толщиной и водостойкостью.

французский манер, но я сомневаюсь, что после Парижа это жалкое подобие цивилизации, которое он здесь оставил, его удовлетворит так, как удовлетворяло до его отъезда.

— А ваш брат, месье, он давно покинул Корсику? — спросил я своего молодого собеседника.

— Десять месяцев назад, месье.

— Вы думаете он скоро приедет?

— О, не раньше чем через три или четыре года.

— Это слишком долгая разлука для двух братьев, которые, без сомнения, никогда раньше не расставались!

— Да, и тем более для тех, кто так любит друг друга, как мы.

— Он, конечно, приедет с вами повидаться до окончания учебы?

— Вероятно: по крайней мере он нам это обещал.

— Во всяком случае, ничего не мешает вам сейчас нанести ему визит?

— Нет... я не выезжаю с Корсики.

В интонации, с которой он произнес эту фразу, была такая любовь к своей родине, что остальному миру оставалось лишь чувство презрения.

Я улыбнулся.

— Вам это кажется странным, — заметил он, в свою очередь, улыбаясь, — что я не хочу покинуть столь презренную страну, как наша. А что же вы хотите! Я своего рода творение этого острова, как каменный дуб, как олеандр; мне необходима атмосфера, пропитанная запахами моря и горного воздуха. Мне необходимы стремительные потоки, которые нужно пересекать, скалы, которые нужно преодолевать, леса, которые нужно исследовать; мне необходимо пространство, необходима свобода, если бы меня перевезли в город, мне кажется, я бы умер там.

— Но неужели возможно столь разительное духовное различие между вами и вашим братом?

— И это при таком физическом сходстве, добавили бы вы, если бы видели его.

— Вы очень похожи?

— До такой степени, что когда мы были детьми, мой отец и мать были вынуждены помечать нам одежду, чтобы отличить одного от другого.

— А когда выросли? — спросил я.

— Когда мы выросли, наши привычки привели нас к отличию цвета кожи на лице, вот и все. Прибывая вза-

перти, склоненный над книгами и своими чертежами, мой брат стал очень бледным, в то время как я, наоборот, был всегда на воздухе, ходил по горам и равнинам, и поэтому загорел.

— Я надеюсь,— сказал я ему,— что вы мне позволите убедиться в этой разнице, поручив что-либо передать господину Луи де Франчи.

— О, конечно, с большим удовольствием, если вы хотите оказать мне любезность. Но, извините, я заметил, что вы уже намного опередили меня и переоделись, а через четверть часа уже будет ужин.

— И это из-за меня вам придется менять костюм?

— Если бы это было так, вам бы пришлось упрекать только самого себя; так как это вы подали мне пример, но, во всяком случае, поскольку я сейчас в костюме для верховой езды, мне необходимо переодеться в костюм горца. У меня есть дела после ужина и мои сапоги со шпорами будут мне очень мешать.

— Вы уйдете после ужина? — спросил я.

— Да,— ответил он,— свидание...

Я улыбнулся.

— О! Не в том смысле, что вы подумали, это деловое свидание.

— Вы считаете меня слишком самонадеянным, чтобы думать, что у меня есть право на ваше доверие?

— Почему бы и нет? Нужно жить так, чтобы можно было громко и откровенно говорить о том, что делаешь. У меня никогда не было любовницы и никогда не будет. Если мой брат женится и у него будут дети, то, вероятно, я никогда не женюсь, и, напротив, если у него вообще не будет жены, то придется женой обзавестись мне: это надо будет сделать для того, чтобы не прекратился наш род. Я вам уже говорил,— добавил он, смеясь,— что я настоящий дикарь, и я родился на сто лет позже, чем следовало. Но я продолжаю трещать как сорока, а к ужину я не успеваю быть готовым.

— Но мы можем и дальше разговаривать,— заметил я,— ведь ваша комната находится напротив этой? Оставьте дверь открытой, и мы будем разговаривать.

— Мы сделаем лучше: заходите ко мне, и пока я буду переодеваться в своей умывальной комнате... мне показалось, что вы любите оружие, вот и посмотрите мою коллекцию, там есть несколько по-настоящему ценных вещей, даже исторических.

Это предложение вполне отвечало моему желанию сравнить комнаты двух братьев, и я его принял. Я поспешил последовать за своим хозяином, который, открыв дверь в свои покои, прошел впереди меня, чтобы показать дорогу.

Мне показалось, что я вошел в настоящий арсенал.

Вся мебель была сделана в пятнадцатом-шестнадцатом веках: резная кровать под балдахином, который поддерживали внушительные витые колонны, была задрапирована зеленой шелковой тканью, украшенной золотыми цветами, занавеси на окнах были из той же материи; стены были покрыты испанской кожей и везде, где только можно, были военные трофеи, старинные и современные.

Трудно было ошибиться в привязанностях того, кто жил в этой комнате: они были настолько воинственными, насколько мирными были привязанности его брата.

— Обратите внимание,— сказал он мне, проходя в умывальную комнату,— вы сейчас находитесь в трех столетиях: смотрите! А я сейчас переоденусь в костюм горца, ведь я говорил вам, что сразу после ужина мне нужно будет уйти.

— А где среди этих мечей те аркебузы и кинжалы, то знаменитое оружие, о котором вы говорили?

— Их там три: начнем по порядку. Поищите у головы моей кровати кинжал, висящий отдельно, с большой чашкой эфеса, головка которого образует печать.

— Я нашел его. И что?

— Это кинжал Сампьетро.

— Знаменитый Сампьетро, который убил Ванину?

— Не убил, а казнил!

— Мне кажется, это одно и то же.

— Во всем мире, может быть, да, но не на Корсике.

— А этот кинжал подлинный?

— Посмотрите, на нем есть герб Сампьетро, только там еще нет французской лилии, вы, наверное, знаете, что Сампьетро разрешили изображать этот цветок на своем гербе только после осады Перпиньяна.

— Нет, я не знал этих особенностей. И как этот кинжал стал вашей собственностью?

— О! Он в нашей семье уже триста лет. Его отдал Наполеону де Франчи сам Сампьетро.

— А вы знаете при каких обстоятельствах?

— Да. Сампьетро и мой предок попали в засаду генуэзцев и защищались, как львы. У Сампьетро упал с головы шлем, и генуэзский всадник уже хотел ударить его своей дубинкой, когда мой предок вонзил ему свой кинжал в самое уязвимое место. Всадник, почувствовав, что он ранен, пришпорил лошадь и скрылся, унося с собой кинжал Наполеона, который так глубоко вошел в рану, что он сам не мог его вытащить. И так как мой предок, по-видимому, дорожил этим кинжалом и сожалел, что потерял его, Сампьетро отдал ему свой. Наполеон при этом ничего не потерял, так как этот кинжал испанской выделки, как вы видите, и он пронзает две сложенные вместе пятифранковые монеты.

— Можно мне попытаться это сделать?

— Конечно.

Я положил две монеты по пять франков на паркет и с силой резко ударил по ним.

Люсьен меня не обманул.

Когда я поднял кинжал, обе монеты остались на его острие, проткнутые насквозь.

— Ну, ну,— сказал я,— это действительно кинжал Сампьетро. Единственное, что меня удивляет, это то, что, имея подобное оружие, он воспользовался какой-то веревкой, чтобы убить свою жену.

— У него не было больше такого оружия,— сказал мне Люсьен,— потому что он отдал его моему предку.

— Действительно.

— Сампьетро было более шестидесяти лет, когда он срочно вернулся из Константинополя в Экс, чтобы преподать миру важный урок того, что женщинам не следует вмешиваться в государственные дела.

Я склонился в знак согласия и повесил кинжал на место.

— А теперь,— сказал я Люсьену, который все еще одевался,— когда кинжал Сампьетро находится на своем гвозде, перейдем к следующему экспонату.

— Вы видите два портрета, которые висят рядом друг с другом?

— Да, Паоли и Наполеон.

— Так, хорошо, а рядом с портретом Паоли — шпага.

— Совершенно верно.

— Это его шпага.

— Шпага Паоли! Такая же подлинная, как кинжал Сампьетро?

— По крайней мере, как и он, она попала к моим предкам, но к женщине, а не к мужчине.

— К женщине из вашего рода?

— Да. Вы, наверное, слышали об этой женщине, которая во время войны за независимость приехала к башне Суллакаро в сопровождении молодого человека.

— Нет, расскажите мне эту историю.

— О, она короткая.

— Тем более.

— У нас уже нет времени разговаривать.

— Я слушаю.

— Ну, хорошо. Эта женщина и тот молодой человек приехали к башне Суллакаро, желая поговорить с Паоли. Но так как Паоли был занят и что-то писал, им не разрешили войти, и двое часовых их пытались остановить. Тем временем Паоли, который услышал шум, открыл дверь и спросил, что случилось.

— «Это я,— сказала женщина,— я хочу с тобой поговорить.

— И что ты мне пришла сказать?

— Я пришла тебе сказать, что у меня было два сына. Я узнала вчера, что первый был убит, защищая свою родину, и я проделала двадцать лье, чтобы привезти тебе второго».

— То, что вы рассказываете, похоже на сцену из жизни Спарты.

— Да, очень похоже.

— И какой была эта женщина?

— Она была моим предком. Паоли вытащил свою шпагу и отдал ей.

— Я вполне одобряю такую манеру просить прощение у женщины.

— Она была достойна и того, и другого, не правда ли?

— А теперь эта сабля?

— Именно она была у Бонапарта во время сражения при Пирамидах в Египте.

— И, без сомнения, она попала в вашу семью таким же образом, как кинжал и шпага?

— Точно. После сражения Бонапарт отдал приказ моему деду, офицеру гвардии, атаковать вместе с полсотней человек горстку мамелюков, которые все еще держались вокруг раненого предводителя. Мой дед повиновался: разбил мамелюков и привел их главаря Первому консулу. Но, когда он хотел вложить в ножны саблю, клинок ее оказался настолько изрублен дамасскими саблями

мамелюков, что уже не входил в ножны. Мой дед далеко отшвырнул саблю и ножны, так как они стали ненужными. Это видел Бонапарт и отдал ему свою.

— Но,— сказал я.— На вашем месте я скорее предпочел бы иметь саблю моего деда, всю изрубленную, какой она была, чем саблю генерала аншефа, совершенно целую и невредимую, какой она сохранилась.

— Посмотрите напротив и вы ее там обнаружите. Первый консул ее подобрал, приказал сделать инкрустацию из бриллиантов на эфесе и переслал ее моей семье с надписью, которую вы можете прочесть на клинке.

Действительно, между двух окон, наполовину выдвинутый из ножен, куда он не мог больше войти, висел клинок, изрубленный и искривленный, с такой простой надписью:

«Сражение при Пирамидах 21 июля 1798».

В этот момент тот же слуга, который меня встречал и приходил объявить мне, что прибыл его молодой хозяин, вновь появился на пороге.

— Ваша Милость,— сказал он, обращаясь к Люсьену,— мадам де Франчи сообщает вам, что ужин подан.

— Очень хорошо, Гриффо,— ответил молодой человек,— скажите моей матери, что мы спускаемся.

Тут он вышел из кабинета, одетый, как он и говорил, в костюм горца, который состоял из мягкого велюрового пиджака, коротких брюк и гетр. От его прежнего костюма остался только патронташ, который опоясывал его талию.

Он застал меня за рассматриванием двух карабинов, висящих один напротив другого, на каждом из них была дата, выгравированная на рукоятках:

«21 сентября 1819, одиннадцать утра».

— А эти карабины,— спросил я,— они тоже имеют историческую ценность?

— Да,— сказал он,— по крайней мере для нас. Один из них принадлежал моему отцу

Он остановился.

— А другой? — спросил я.

— А другой,— сказал он, улыбаясь,— другой принадлежал моей матери. Но давайте спускаться, вы знаете, что нас уже ждут.

И, пройдя вперед, чтобы указывать дорогу, он сделал мне знак следовать за ним.

Признаюсь, я спускался, заинтригованный последней фразой Люсьена: «Этот карабин принадлежал моей матери».

Это заставило меня посмотреть на мадам де Франчи более внимательно, чем я это сделал при первой встрече.

Сын, войдя в столовую, почтительно поцеловал ей руку, и она приняла этот знак уважения с достоинством королевы.

— Мама, простите, что я заставил вас ждать,— сказал Люсьен.

— Во всяком случае, это произошло по моей вине, мадам,— сказал я, склонившись в поклоне,— господин Люсьен рассказывал и показывал мне такие любопытные вещи, что из-за моих бесконечных расспросов был вынужден задержаться.

— Успокойтесь,— сказала она,— я только что спустилась, но,— продолжила она, обращаясь к сыну,— я торопилась тебя увидеть, чтобы расспросить о Луи.

— Ваш сын болен? — спросил я мадам де Франчи.

— Люсьен этого и опасается,— сказала она.

— Вы получили письмо от вашего брата? — спросил я.

— Нет,— сказал он,— и это-то меня и беспокоит.

— Но откуда вы знаете, что он болеет?

— Потому что последние дни мне самому было не по себе.

— Извините за бесконечные вопросы, но это не объясняет мне...

— Вы разве не знаете, что мы близнецы?

— Да, знаю, мой проводник сказал мне об этом.

— А вам неизвестно, что, когда мы родились, у нас были сросшиеся ребра?

— Нет, я не знал этого обстоятельства.

— Так вот, потребовался удар скальпеля, чтобы нас разделить, это привело к тому, что, даже когда мы вдаль друг от друга, как сейчас, у меня впечатление, что у нас одна плоть, будь то в физическом или духовном смысле. Один из нас невольно чувствует то, что испытывает другой. А в эти дни без какой-либо причины я был печален, мрачен и угрюм. Я ощущал ужасную тоску: очевидно, мой брат переживает глубокое горе.

Я удивленно рассматривал этого молодого человека, который говорил такие странные вещи и, казалось, не

сомневался в их достоверности. Его мать, впрочем, по-видимому, испытывала те же чувства.

Мадам де Франчи печально улыбнулась и сказала:

— Те, кого нет с нами,— в руках Господних. Главное, что ты уверен, что он жив.

— Если бы он был мертв,— спокойно сказал Люсьен,— я бы это знал.

— И ты бы, конечно, сказал мне об этом, мой мальчик?

— Да, сразу же, я вам это обещаю, мама.

— Хорошо... Извините, месье,— продолжила она, поворачиваясь в мою сторону,— что я не смогла сдержаться перед вами свои материнские переживания: ведь дело не только в том, что Луи и Люсьен мои сыновья, но они ведь также последние в нашем роде... Присаживайтесь справа от меня... Люсьен, а ты садись вон там.

И она указала молодому человеку свободное место слева.

Мы устроились за длинным столом, на его противоположном конце было накрыто еще на шесть персон. Это было предназначено для тех, кого называют на Корсике «семьей», то есть для тех лиц, которые в больших домах находятся по положению между хозяевами и слугами.

Трапеза была обильной и сытной.

Но признаюсь, хотя я в этот момент просто умирал от голода, однако погруженный в свои мысли, я довольствовался лишь тем, что насыщался, не в силах смаковать и получать удовольствие от гастрономических деликатесов.

И действительно, мне показалось, что попав в этот дом, я очутился в таинственном мире, где я жил как в сказке.

Кто она, эта женщина, у которой, как у солдата, было свое оружие.

Кто он, этот брат, который испытывает те же страдания, что переживает другой брат за триста лье от него?

Кто она, эта мать, которая заставляет поклясться своего сына, что если он узрит смерть второго сына, то обязательно ей об этом скажет?

Все это, должен сознаться, давало мне немало пищи для размышлений.

Между тем я заметил, что мое молчание затянулось

и стало уже неприличным, я поднял голову и тряхнул ею; как бы отбрасывая все свои мысли.

Мать и сын тотчас же обернулись, думая, что я хочу присоединиться к разговору.

— Значит, вы решились приехать на Корсику? — сказал Люсьен так, как будто возобновил прерванный разговор.

— Да. Видите ли, у меня уже давно было это намерение, и вот теперь наконец я его реализовал.

— По-моему, вы правильно сделали, пока еще не слишком поздно, потому что через несколько лет при таком планомерном вторжении французских вкусов и нравов те, кто приедет сюда, чтобы увидеть Корсику, больше ее здесь не найдут.

— Во всяком случае, если древний национальный дух отступит перед цивилизацией и укроется в каких-то уголках острова, то это будет, конечно, в провинции Сартена и долине Тавары.

— Вы так думаете? — спросил молодой человек, улыбаясь.

— Но мне кажется, что то, что окружало меня здесь, что я видел здесь — это прекрасная и достойная картина старых корсиканских обычаев.

— Да, но тем не менее именно в этом самом доме с зубцами и машикулями, где мы с матерью храним четырехсотлетние традиции семьи, французский дух отыскал моего брата, отнял его у нас и отправил в Париж, откуда он к нам вернется адвокатом. Он будет жить в Айяччо, вместо того, чтобы жить в доме своих предков, он будет защищать кого-то в суде, если у него хватит таланта; он, возможно, будет именоваться королевским прокурором и будет преследовать бедолаг, которые прикончили кого-нибудь, как говорят у нас, перестанет отличать тех, кто вершит правосудие от простых убийц, как это вы сами недавно сделали; он будет требовать от имени закона головы тех, которые, должно быть, сделали то, что их отцы сочли бы за бесчестье не сделать. Божий суд подменит людским. И однажды, когда он приготовит чью-нибудь голову для палача, он поверит, что служил стране и внес свою лепту в храм цивилизации... как говорит наш префект... О, Боже мой, Боже мой!

И молодой человек возвел очи к небу.

— Но, — ответил я ему, — вы же прекрасно понимае-

те, что Господь хотел все уравновесить и поэтому сделал вашего брата последователем новых принципов, а вас — приверженцем старых обычаев.

— Но кто меня убедит, что мой брат не последует примеру своего дяди, вместо того, чтобы последовать моему примеру? И что я сам окажусь достойным рода де Франчи?

— Вы? — удивленно воскликнул я.

— Да, Боже мой, я. Хотите, я вам скажу, что вы приехали искать в провинции Сартен?

— Говорите.

— Вы приехали сюда, охваченный любопытством светского человека, художника или поэта: я ведь не знаю, кто вы, я вас об этом не спрашиваю, вы нам скажете об этом, покидая нас, если захотите; или, будучи нашим гостем, вы сохраните молчание: вы абсолютно свободны... Итак, вы приехали в надежде увидеть какую-нибудь деревню, охваченную вендеттой, познакомиться с каким-нибудь колоритным разбойником, наподобие того, которого описал господин Мериме в «Коломбе».

— Но мне кажется, что я не слишком уж ошибся, — ответил я, — или я плохо рассмотрел, или ваш дом — единственный в селении, который не укреплен.

— Это доказывает, что я тоже начал отступать от традиций; мой отец, дед, мои самые древние предки приняли бы участие в одной из враждующих группировок, которые вот уже десять лет борются между собой в нашем селении. И знаете, какую роль я отвел себе здесь, среди оружейных выстрелов, ударов ножей и кинжалов? Я судья. Вы приехали в провинцию Сартен, чтобы увидеть разбойников, не так ли? Вот и хорошо, пойдете со мной сегодня вечером, я вам покажу одного из них.

— Как! Вы позволите мне сопровождать вас?

— Да, если это вас позабавит, это будет зависеть только от вас.

— Отлично! Я с большим удовольствием соглашаюсь.

— Месье очень устал, — сказала мадам де Франчи, бросив взгляд на сына, как если бы она разделяла стыд, который он испытывал, видя, как приходит в упадок Корсика.

— Нет, мама, нет, напротив, нужно чтобы он пошел, и если в каком-нибудь парижском салоне при нем захо-

ворят об этой ужасной вендетте и об этих беспощадных корсиканских бандитах, которые еще наводят страх на маленьких детей в Бастиа и Айяччо, по крайней мере он сможет пожать плечами и сказать, что он там был и сам видел.

— А по какой причине началась эта грандиозная ссора, которая насколько я могу судить из того, что вы мне сказали, готова прекратиться?

— О! — воскликнул Люсьен. — Разве имеет значение причина, вызвавшая ссору. Важно то, к чему она приводит. Ведь если человек умирает, даже из-за пустяка — от укуса пролетевшей мухи, например, — все равно он мертв.

Я видел, что он не решается сказать мне о причине этой ужасной войны, которая вот уже десять лет опустошает селение Суллакаро.

Но чем дольше он молчал, тем настойчивее я становился.

— Однако, — сказал я, — у этой распри была какая-то причина. Это тайна?

— Боже мой, нет. Все это началось между семьями Орланди и Колона.

— Почему?

— Потому что однажды курица сбежала с птичьего двора Орланди и перелетела во двор семьи Колона.

Орланди потребовали свою курицу, Колона настаивали, что это была их курица.

Орланди угрожали Колона, что отведут их к мировому судье и заставят присягнуть там.

Но старушка-мать, которая держала курицу, свернула ей шею и бросила ее в лицо своей соседки, говорят

— Если она твоя, на, жри ее.

Тогда один из Орланди поднял курицу за лапы и хотел ударить ту, что бросила ее в лицо его сестры. Но в тот момент, когда он поднял руку, мужчина из семьи Колона, у которого было заряженное ружье, выстрелил в упор и убил его.

— И сколько жизней заплатились за эту ссору?

— Уже девять убитых.

— И все это из-за несчастной курицы, которая стоит двенадцать су.

— Несомненно, но я вам уже говорил, важен не повод ссоры, а то, к чему она приводит.

— И так как уже есть девять убитых, то нужно, чтобы был и десятый?

— Но вы видите... что нет,— ответил Люсьен,— поскольку я выступаю в качестве судьи.

— И, конечно, по просьбе одной из двух семей?

— Да нет же, это из-за моего брата, с которым разговаривал министр юстиции. Интересно, какого черта они там в Париже вмешиваются в то, что происходит в какой-то несчастной деревне на Корсике. Это префект сыграл с нами такую шутку, написав в Париж, что, если я захотел бы произнести хоть слово, все это закончилось бы как водевиль: свадьбой и куплетами для публички. Поэтому они обратились к моему брату, а тот сразу воспользовался случаем и написал мне, что поручился за меня. Что ж вы хотите! — добавил молодой человек, поднимая голову.— Никто не может сказать, что один из де Франчи поручился словом за своего брата, а брат не удостоился его выполнить.

— И вы должны все уладить?

— Боюсь, что так.

— И, конечно, сегодня вечером мы увидим главу одной из двух группировок?

— Совершенно верно. Простой ночью я встречался с противоположной стороной

— Мы нанесем визит Орланди или Колона?

— Орланди.

— А встреча назначена далеко отсюда?

— В руинах замка Висентелло д'Истриа.

— Да, действительно... мне говорили, что эти руины находятся где-то в округе

— Почти в одном лье отсюда

— Таким образом, у нас в запасе сорок пять минут.

— Чуть больше.

— Люсьен,— сказала мадам де Франчи,— обрати внимание, что ты говоришь только за себя. Тебе, родившемуся в горах, действительно потребуется сорок пять минут, но месяц не сможет пройти там, где ты собираешься идти

— Действительно, нам потребуется по крайней мере часа полтора

— Не следует терять время,— сказала мадам де Франчи, бросив взгляд на часы.

— Мама,— проговорил Люсьен,— Вы позволите нам вас покинуть?

Она протянула ему руку, которую молодой человек поцеловал с тем же уважением, которое выказал, когда мы пришли.

— Однако,— сказал Люсьен,— если вы предпочитаете спокойно закончить ваш ужин, подняться в свою комнату и согреть ноги, куря сигарету...

— Нет, нет! — закричал я.— К черту! Вы мне обещали разбойника, так представьте!

— Хорошо. Давайте возьмем ружья, и в дорогу!

Я вежливо распрощался с мадам де Франчи, и мы вышли в сопровождении Гриффо, который освещал нам дорогу.

Наши приготовления не заняли много времени.

Я подвязался дорожным поясом, который приготовил перед отъездом из Парижа, на нем висел охотничий нож. В поясе были уложены с одной стороны порох, а с другой — свинец.

Люсьен появился с патронташем, с двустволкой системы Мантон и в остроконечной шляпе — шедевре вышивки — дело рук какой-нибудь Пенелопы из Суллакаро.

— Мне идти с Вашей Милостью? — спросил Гриффо.

— Нет, не нужно,— ответил Люсьен,— только отпусти Диаманта, вполне возможно, что мы поднимем несколько фазанов, а при такой яркой луне их можно подстрелить как днем.

Минуту спустя крупный спаниель прыгал вокруг нас, завывая от радости.

Мы отошли шагов на десять от дома.

— Кстати,— сказал Люсьен, поворачиваясь,— предупреди в селении, если услышат несколько выстрелов в горах, то пусть знают, что это мы стреляли.

— Будьте спокойны, Ваша Милость.

— Без этого предупреждения,— пояснил Люсьен,— могут подумать, что возобновились вооруженные стычки и вполне возможно, что мы услышим, как наши выстрелы эхом отзовутся на улицах Суллакаро.

Мы сделали еще несколько шагов, затем повернули направо, в проулок, который вел прямо в горы.

VI

Хотя было самое начало марта, погода была прекрасной, можно даже сказать, что было жарко, если бы не чудесный морской ветер, который нас освежал и доносил до нас терпкий запах моря.

Из-за горы Канья взошла луна, чистая и сияющая. Я бы мог сказать, что она проливали потоки света на

весь восточный склон, который делит Корсику на две части и в какой-то степени образует из одного острова две разные страны, которые все время воюют друг с другом.

По мере того, как мы взбирались все выше, а ущелья, где протекала Таваро, погружались в ночную тьму, в которой было трудно что-либо разглядеть, перед нами открывалось Средиземное море, спокойное и похожее на огромное зеркало из полированной стали, раскинувшееся до горизонта.

Некоторые звуки, свойственные ночи, которые либо тонут днем в других шумах, либо по-настоящему оживают лишь с наступлением темноты, теперь были отчетливо слышны. Они производили сильное впечатление, конечно, не на Люсьена, привычного к ним, а на меня, слышавшего их впервые, вызывая восторженное изумление и неутрачиваемое возбуждение, порожденные безудержным любопытством ко всему, что видишь.

Добравшись до небольшой развилки, где дорога делилась на две: одна, по всей вероятности, огибала гору, а другая превращалась в едва заметную тропинку, которая почти отвесно шла вверх, Люсьен остановился:

— У вас ноги привычные к горам? — спросил он.

— Ноги да, но не глаза.

— Значит ли это, что у вас бывают головокружения?

— Да, меня неудержимо тянет в пустоту.

— Так мы можем пойти по этой тропинке, там не будет пропастей, но нужно сказать, что это весьма нелегкий путь.

— О, трудная дорога меня не пугает.

— Идем по тропе, это сэкономит нам три четверти часа.

— Ну что же, идем по тропе.

Люсьен пошел вперед, через небольшую рощу каменного дуба, туда же за ним последовал и я.

Диамант бежал в пятидесяти или шестидесяти шагах от нас, мелькая среди деревьев то справа, то слева и время от времени возвращаясь на тропинку, радостно махал хвостом, как бы объявляя нам, что мы можем без опаски, доверяясь его инстинкту, спокойно продолжать наш путь.

Подобно лошадям наших «джентльменов-полуаристократов» (днем они маклеры, а вечером — светские львы), выполняющих двойную нагрузку — они ходят под седлом и их запрягают в кабриолет, — Диамант был на-

учен охотиться и за двуногими и четырехногими, и за разбойниками и за кабанами.

Чтобы не показаться совсем уж невежей относительно корсиканских обычаев, я поделился своими наблюдениями с Люсьеном.

— Вы ошибаетесь,— сказал он,— Диамант действительно охотится и за человеком, и за животными. Но человек, за которым он охотится, совсем не разбойник, это триединая порода — жандарм, солдат и их помощник — доброволец.

— Как,— спросил я,— значит, Диамант сам является собакой разбойника?

— Совершенно верно. Диамант принадлежал одному из Орланди, которому я иногда посылал хлеб, порох, пули и многое другое, в чем нуждаются скрывающиеся от властей разбойники. Он был убит одним из Колона, а я на следующий день получил его собаку, которая и раньше прибегала от Колона, поэтому мы так легко сдружились.

— Но мне кажется,— сказал я,— что из окна своей комнаты, или скорее, конечно, из комнаты вашего брата, я заметил другую собаку, не Диаманта?

— Да, это Брюско. Он такой же замечательный, как и Диамант. Только он мне достался от одного из Колона, который был убит кем-то из Орланди. Поэтому, когда я иду навестить семейство Колона, я беру Брюско, а когда, напротив, у меня есть дело к Орланди, я выбираю Диаманта. Если же их выпустить, не дай Бог, одновременно, то они загрызут друг друга. Дело в том, что,— продолжал Люсьен, горько улыбаясь,— люди вполне могут мириться, прекращать вражду, даже причащаться из одной чаши, но собаки никогда не будут есть из одной миски.

— Отлично, — ответил я, в свою очередь, улыбаясь,— вот две истинно корсиканские собаки. Но мне кажется, что Диамант, как и подобает скромным натурам, скрылся от нашей похвалы, на протяжении всего нашего разговора о нем мы его не видели.

— О, это не должно вас беспокоить,— сказал Люсьен,— я знаю, где он.

— И где он, если не секрет?

— Он около «Мучио».

Я уже отважился на следующий вопрос, рискуя утомить своего собеседника, когда услышал какие-то завывания, такие печальные, жалобные и такие долгие, что

я вздрогнул и остановился, схватив молодого человека за руку.

— Что это? — спросил я его.

— Ничего. Это плачет Диамант.

— А кого он оплакивает?

— Своего хозяина... Разве вы не понимаете, что сабаки — не люди, и они не могут забыть тех, кто их любил?

— А, понятно, — сказал я.

Послышалось очередное завывание Диаманта, еще более тяжкое, более печальное и жалобное, чем первое.

— Да, — продолжил я, — его хозяина убили, вы мне говорили об этом, и мы приближаемся к месту, где он был убит.

— Совершенно верно, Диамант нас покинул, чтобы пойти туда, к «Мучио».

— «Мучио» — это что, могила?

— Да, так называется своеобразный памятник, который каждый прохожий, бросая камень или ветку дерева, воздвигает на могиле убитого. И в результате вместо того, чтобы опускаться, как другие могилы, под грузом такого великого нивелировщика, как ВРЕМЯ, могила жертвы все время растет, символизируя месть, которая должна жить и непрерывно расти в сердцах его ближайших родственников.

Вой раздался в третий раз, но на этот раз так близко к нам, что я невольно содрогнулся, хотя мне теперь было ясно, что это означает.

И действительно, там, где поворачивала тропинка, в двадцати шагах от нас, белела куча камней, образующих пирамиду высотой четыре-пять футов. Это и был «Мучио».

У подножия этого странного памятника сидел Диамант, вытянув шею и разинув пасть. Люсьен подобрал камень и, сняв шапку, приблизился к Мучио.

Я проделал то же самое.

Подойдя к пирамиде, он сломал ветку дуба, бросил сначала камень, а потом ветку и большим пальцем быстро перекрестился, как это обычно делают корсиканцы.

Я повторил за ним все до мелочей.

Затем мы возобновили путь, молчаливые и задумчивые.

Диамант остался сидеть у памятника.

Примерно минуты через две мы услышали последнее

завывание и почти сразу же Диамант с опущенной головой и хвостом решительно пробежал вперед, чтобы вновь приступить к своим обязанностям разведчика.

VII

Мы продвигались вперед и, как предупредил Люсьен, тропка становилась все более и более крутой. Я повесил ружье через плечо, так как видел, что скоро мне понадобятся обе руки. Что касается моего проводника, то он продолжал идти с той же легкостью и, казалось, не замечал трудностей пути.

Мы несколько минут карабкались по скалам, цепляясь за лианы и корневища, и добрались до своего рода площадки, на которой возвышались разрушенные стены Эти руины Замка Вичентелло д'Истриа и были целью нашего путешествия.

Через пять минут — новый подъем, более трудный и более отвесный, чем первый. Люсьен, добравшись до последней площадки, протянул руку и вытянул меня за собой.

— Неплохо, неплохо, — сказал он мне, — вы неплохо справляетесь для парижанина.

— Это из-за того, что парижанин, которому вы помогли сделать последний шаг, уже совершал несколько путешествий подобного рода.

— Действительно, — сказал Люсьен, смеясь, — нет ли у вас недалеко от Парижа горы, которую называют Монмартр?

— Да, я это не отрицаю, но, кроме Монмартра, я поднимался также и на другие горы, которые называются Риги Фолхорн, Гемми, Везувий, Стромболи, Этна.

— Ну, теперь, напротив, вы будете меня презирать за то, что я никогда не поднимался ни на какие другие горы, кроме Ротондо. Как бы то ни было, мы добрались. Четыре столетия назад мои предки могли бы открыть ворота и сказать вам: «Добро пожаловать в наш замок». Сегодня их потомок указывает вам на этот пролом и говорит: «Добро пожаловать на наши руины».

— А этот замок, он тоже принадлежал вашей семье после смерти Вичентелло д'Истриа? — спросил я, возобновляя прерванный разговор.

— Нет, но еще до его рождения это было жилище одной из женщин нашего рода — известной Савилья, вдовы Люсьена де Франчи.

— А не с этой ли женщиной произошла ужасная история?

— Да... Если бы сейчас был день, вы могли бы отсюда еще увидеть руины замка де Валль, там жил сеньор де Джудиче, столь же ненавидимый всеми, насколько она была любима. Он влюбился, и поскольку она не топилась ответить на эту любовь, он сделал ей предложение, что, если она не решится дать согласие стать его женой в назначенное время, он захватит ее силой. Савилья сделала вид, что уступила, и пригласила Джудиче на обед. Он был на седьмом небе от радости, совершенно забыв, что достиг этого лестного результата с помощью угрозы, и откликнулся на приглашение, придя в сопровождении всего лишь нескольких слуг. Позади них закрылась дверь и через пять минут Джудиче, арестованный, был заперт в темнице.

Я прошел по дорожке, которую указал мне Люсьен, и очутился в каком-то квадратном дворике.

Через образовавшиеся в стенах щели луна освещала землю, усыпанную обломками, неровными световыми пятнами.

Остальная часть площади оставалась в тени, которую отбрасывали еще уцелевшие крепостные стены.

Люсьен достал часы.

— О,— сказал он,— мы пришли на двадцать минут раньше. Давайте сядем, вы, должно быть, устали.

Мы уселись, или, точнее говоря, улеглись на каком-то пологом спуске, поросшем травой, лицом к большой щели.

— Но мне кажется,— сказал я своему спутнику,— что вы мне не рассказали историю до конца.

— Да, ну так вот,— продолжил Люсьен,— каждое утро и вечер Савилья спускалась в темницу, где был заключен Джудиче, и там, отделенная от него лишь решеткой, раздевалась и представляла перед пленником обнаженной.

«Джудиче,— говорила она ему,— как мужчина, столь безобразный, как ты, мог вообразить себе, что будет владеть всем этим?»

Такая пытка продолжалась три месяца, возобновляясь дважды в день. Но на исходе третьего месяца, благодаря горничной, которую он соблазнил, Джудиче удалось бежать. Он вернулся со всеми своими вассалами, по численности намного превосходившими вассалов де Савилья. Они штурмом захватили замок. После того,

как он сам овладел де Савилья, он запер ее голой в большую железную клетку и поставил ее на перекрестке в лесу Вокка ди Чилаччия, он сам предлагал ключ от этой клетки любому прохожему, кого привлечет ее красота. Через три дня после подобного публичного глумления Савилья умерла.

— Да, но мне кажется,— заметил я,— ваши предки понимали толк в мести, а их потомки, кого-то попросту убивая из ружья, кого-то ударом ножа, понемногу вырождаются.

— Не говоря уже о том, что они в конце концов вообще прекратят убивать друг друга. Ну, по крайней мере,— заметил молодой человек,— этого не произошло в нашей семье. Двое сыновей де Савилья, которые находились в Айяччо под присмотром их дяди, были воспитаны как настоящие корсиканцы и начали борьбу с потомками Джудиче. Эта война продолжалась четыре столетия, а кончилась лишь 21 сентября 1819 года в одиннадцать часов утра, о чем вы могли прочитать на карабинах моего отца и матери.

— Действительно, я заметил эту надпись, о которой у меня не было времени расспросить, потому что сразу после того, как я ее прочитал, мы спустились ужинать.

— Так вот. Из семьи Джудиче в 1819 году осталось только два брата, а из семьи де Франчи — только мой отец, который женился на своей кузине. Через три месяца после женитьбы Джудиче решили покончить с нами одним ударом. Один из братьев устроился в засаде на дороге из Олмедо, чтобы дожидаться моего отца, который должен был вернуться из Сартена; а в это время другой, воспользовавшись отсутствием хозяина, должен был захватить наш дом. Все было сделано по плану, но обернулось совсем по-другому, не так, как рассчитывали нападавшие. Мой отец, предупрежденный, был настороже. Моя мать, также предупрежденная, собрала наших пастухов, таким образом, в момент этой двойной атаки каждый приготовился к обороне. Через пять минут после начала сражения оба брата Джудиче пали, один — сраженный моим отцом, другой — моей матерью. Увидев, как упал его враг, мой отец достал часы: **БЫЛО ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ!** Увидев побежденным своего противника, моя мать повернулась и посмотрела на часы: **БЫЛО ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ!** Все закончилось в одну и ту же минуту, больше не существовало Джудиче, их род был истреблен. Победившая семья де Франчи отныне

могла спокойно жить, и поскольку она достойно завершила свое участие в этой четырехсотлетней войне, она более ни во что не вмешивалась. Мой отец лишь выгравиравал дату и час этого знаменательного события на рукоятке каждого из карабинов, которые сделали решающие выстрелы, и повесил их по обе стороны от часов, на том самом месте, где вы их видели. Спустя семь месяцев моя мать родила двух близнецов, один из которых — к вашим услугам, корсиканец — Люсьен, а другой — филантроп Луи, его брат.

В этот момент я увидел, как на одной из освещенной луной части площадки легли тень человека и тень собаки

Это была тень разбойника Орланди и нашего друга Диаманта.

Одновременно мы услышали бой часов в Суллакаро, которые медленно отбивали девять часов.

Глава семейства Орланди придерживался, по всей вероятности, мнения Людовика XV, который, как известно, считал, что точность — это вежливость королей.

Невозможно было быть более точным, чем этот король гор, которому Люсьен назначил встречу ровно в девять.

Мы оба поднялись, заметив его.

VIII

— Вы не один, месье Люсьен? — спросил разбойник.

— Пусть это вас не волнует, Орланди, месье — мой друг, он слышал о вас и захотел навестить вас. Я не стал отказывать ему в этом удовольствии.

— Добро пожаловать к нам в провинцию, месье, — проговорил разбойник, поклонившись и сделав затем несколько шагов в нашу сторону.

Я поприветствовал его как можно вежливее.

— Вы, наверное, уже давно пришли сюда? — спросил Орланди.

— Да, двадцать минут назад.

— Точно, я слышал голос Диаманта, когда он выл на Мучно, и уже прошло четверть часа, как он ко мне присоединился. Это доброе и верное животное, не так ли, месье Люсьен?

— Да, именно так, Орланди, доброе и верное, — ответил Люсьен, глядя Диаманта.

— Но если вы знали, что месье Люсьен здесь,— спросил я,— почему вы не пришли раньше?

— Потому что у нас встреча в девять,— ответил разбойник,— и как неправильно приходить на четверть часа раньше, так и на четверть часа позже.

— Это упрек мне, Орланди? — спросил, улыбаясь, Люсьен.

— Нет, месье, у вас, возможно, для этого были причины, вы ведь не один, и, возможно, из-за месье вы нарушили свои привычки, потому что вы, месье Люсьен, пунктуальный человек и я это знаю лучше, чем кто-либо, слава Богу! Вы, месье, достаточно часто из-за меня беспокоетесь.

— Не стоит благодарить меня за это, Орланди, потому что этот раз, возможно, будет последним.

— Мы не могли бы перекинуться парой слов по этому поводу, месье Люсьен? — спросил разбойник.

— Да, если хотите, идите за мной...

— Как прикажете...

Люсьен повернулся ко мне.

— Надеюсь, вы меня извините? — спросил он меня.

— О чем вы говорите, конечно!

Оба отошли и поднялись в пролом, через который нас увидел Орланди. Они остановились там, выделяясь на фоне крепости в свете луны, которая как бы омывала контуры их темных силуэтов жидким серебром.

Теперь я мог рассмотреть Орланди более внимательно.

Это был высокий мужчина с длинной бородой и одетый практически так же, как и молодой де Франчи, за исключением того, что его одежда носила следы постоянного проживания в лесу, где жил ее хозяин: колючего кустарника, через который ему неоднократно приходилось спасаться бегством, и земли, на которой он спал каждую ночь.

Я не мог слышать, о чем они говорили, во-первых, потому что они были шагах в двадцати от меня, а во-вторых, потому что они говорили на корсиканском диалекте.

Но я по их жестам сразу понял, что разбойник очень горячо опровергал доводы молодого человека, которые тот приводил со спокойствием, делающим честь той беспристрастности, с которой он вмешался в это дело.

В конце концов жестикуляция Орланди стала не такой быстрой и энергичной и речь, кажется, не была уже

такой напористой; он опустил голову и, наконец, через какое-то время протянул руку молодому человеку.

Совещание, по всей вероятности, закончилось, так как оба вернулись ко мне.

— Мой дорогой гость,— сказал мне молодой человек,— вот Орланди, который хочет пожать вам руку, чтобы поблагодарить вас.

— За что? — спросил я.

— За желание быть одним из его поручителей. Я уже согласился от вашего имени.

— Если уж вы дали согласие за меня, то вы, наверное, понимаете, что я соглашусь, даже не зная, о чем идет речь.

Я протянул руку разбойнику, который оказал мне честь, коснувшись кончиков пальцев.

— Таким образом,— продолжил Люсьен,— вы можете сказать моему брату, что все улажено, как они хотели, и даже, что вы подписали контракт.

— Речь идет о свадьбе?

— Нет, пока нет, но, возможно, это произойдет.

Разбойник высокомерно улынулся.

— Мир, потому что вы этого очень хотели, месье Люсьен,— сказал он,— но не союз: до предательства еще не дошло.

— Нет,— сказал Люсьен,— это будет решено, по всей вероятности, в будущем. Но давайте поговорим о других вещах. Вы ничего не слышали, пока я разговаривал с Орланди?

— Вы имеете в виду то, о чем вы говорили?

— Нет, я имею в виду то, о чем говорил фазан недалеко отсюда.

— Действительно, мне показалось, что я слышал ку-дахтанье, но я подумал, что ошибся.

— Вы не ошиблись; есть один петух, который сидит на большом каштане, месье Люсьен, в ста шагах отсюда. Я его слышал, когда проходил мимо.

— Ну и хорошо,— радостно сказал Люсьен,— его нужно завтра съесть.

— Я бы его уже снял,— сказал Орланди,— если бы не опасался, что в селении подумают, что я стреляю совсем не по фазану.

— Я это предусмотрел,— сказал Люсьен.— Кстати,— добавил он, поворачиваясь ко мне и вскидывая на плечо свое ружье, которое он только что зарядил,— окажите честь.

— Минуту! Я не настолько уверен в своем выстреле, как вы, а мне очень хочется съесть свою часть этого фазана, поэтому стреляйте вы.

— Конечно,— сказал Люсьен,— у вас нет привычки, как у нас, охотиться ночью, и вы, конечно, выстрелите слишком низко. Однако, если вам нечем заняться завтра днем, вы сможете взять реванш.

IX

Мы вышли из развалин со стороны, противоположной той, через которую входили.

В момент, когда мы оказались в кустарнике, фазан обнаружил себя, вновь начав кудахтать.

Он был примерно в восьмидесяти шагах от нас или чуть ближе, скрытый в ветвях каштана, подходы к которому были затруднены растущим всюду густым кустарником.

— Как же вы к нему подойдете, чтобы он вас не услышал? — спросил я Люсьена.— Мне кажется, это не легко сделать.

— Да нет,— ответил он мне,— если бы я смог его только увидеть, я застрелил бы его отсюда.

— Как это отсюда? Ваше ружье может убить фазана с восьмидесяти шагов?

— Дробью нет, а пулей да.

— А! Пулей, можете не продолжать, это совсем другое дело. И вы правильно сделали, что взяли на себя выстрел.

— Вы хотите его увидеть? — спросил Орланди.

— Да,— ответил Люсьен,— признаюсь, это доставило бы мне удовольствие.

— Тогда подождите.

И Орланди принялся имитировать кудахтанье курочки фазана.

Почти сразу же, не видя фазана, мы заметили движение в листве каштана. Фазан поднимался с ветки на ветку, отвсечая своим кудахтаньем на призывы, которые посылал ему Орланди.

Наконец он появился на верхушке дерева и был хорошо виден, выделяясь в неясной белизне неба.

Орланди замолк, и фазан замер.

Люсьен сразу же снял ружье и, прицелясь, выстрелил.

Фазан мешком упал вниз.

— Иди, ищи! — приказал Люсьен Диаманту.

Собака бросилась в кусты и через пять минут вернулась, держа фазана в зубах.

Пуля пробила птицу насквозь.

— Прекрасный выстрел, — сказал я, — не могу не высказать моего восхищения вами и вашим замечательным ружьем.

— О! — сказал Люсьен. — В том, что я сделал, моей заслуги меньше, чем вы думаете. один из стволов имеет резьбу и стреляет как карабин.

— Неважно! Даже если это был выстрел из карабина, он заслуживает всяческих похвал.

— Ого! — воскликнул Орланди. — Из карабина месье Люсьен попадает с трехсот шагов в пятифранковую монету.

— А из пистолета вы стреляете так же хорошо, как из ружья?

— Ну, — сказал Люсьен, — почти, с двадцати пяти шагов я всегда выбиваю шесть из двенадцати по лезвию ножа

Я снял шляпу и поприветствовал Люсьена.

— А ваш брат, — спросил я его, — он так же силен?

— Мой брат? — переспросил он. — Бедный Луи! Он никогда не прикасался ни к пистолету, ни к ружью. И я все время опасаюсь, как бы в Париже не случилось с ним беды, потому что, будучи смелым человеком и желая поддержать честь нашей Корсики, он позволит себя убить.

И Люсьен опустил фазана в большой карман велюровых брюк.

— А теперь, — сказал он, — мой дорогой Орланди, до завтра.

— До завтра, месье Люсьен.

— Я знаю вашу точность; в десять часов вы, ваши друзья и родственники, будете в конце улицы, не так ли? Со стороны горы, в этот же час, на другом конце улицы будет находиться Колона также со своими родственниками и друзьями. Мы будем на ступенях церкви.

— Договорились, господин Люсьен, спасибо за заботу. И вас, месье, — продолжал Орланди, поворачиваясь в мою сторону и приветствуя меня, — вас я благодарю за честь.

И мы расстались, обменявшись приветствиями. Ор-

ланди скрылся в кустах, а мы вернулись на дорогу, ведущую в селение.

Диамант же оставался какое-то время между Орланди и нами, оглядываясь то направо, то налево. После пятиминутного колебания он оказал честь, отдав нам предложение.

Признаюсь, что перебираясь через двойную гряду отвесных скал, о которых упоминал выше, я испытывал некоторое беспокойство относительно того, как я буду спускаться. Спуск, как известно, вообще намного труднее, чем подъем.

Я с нескрываемым удовольствием заметил, что Люсьен, без сомнения, догадываясь о моих мыслях, выбрал другую дорогу, не ту, по которой мы пришли.

Эта дорога имела преимущество — она давала возможность продолжить разговор, который, естественно, прерывался на трудных участках.

Итак, поскольку склон был пологим, дорога легкой, я не сделал и пятидесяти шагов, как тут же приступил к привычным расспросам.

— Итак, мир заключен? — спросил я.

— Да, и, как вы могли видеть, не без труда. В конце когнов я ему объяснил, что Колона первыми заговорили о мире. А у них пять человек убитых, в то время как у Орланди всего четыре. Колона согласились вчера на примирение, а Орланди пошли на это лишь сегодня. К тому же Колона согласились принародно отдать живую курицу Орланди. Уступка, которая подтверждает, что они признают себя неправыми. Она и решила дело и заставила согласиться Орланди.

— И именно завтра должно произойти это трогательное примирение?

— Завтра, в десять часов. Вы, я полагаю, не слишком огорчены? Вы ведь надеялись увидеть вендетту!

Молодой человек совсем не весело рассмеялся:

— Ай-ай-ай, какая чудесная вещь — вендетта. На протяжении четырехсот лет на Корсике только о ней и говорят. А вы увидите примирение. Да это вещь гораздо более редкая, чем вендетта.

Я расхохотался.

— Вот видите, — сказал он мне, — вы смеетесь над нами и вы правы: по правде говоря, мы странные люди.

— Нет, я смеюсь по другому поводу: у вас так хорошо получается сердиться на самого себя за то, что вам удалось сделать доброе дело.

— Неужели? Да если бы вы могли понимать корсиканскую речь, вы бы восхитились моим красноречием. Вот приезжайте через десять лет и будьте спокойны, все здесь будут говорить по-французски.

— Вы прекрасный адвокат.

— Да нет, вы же знаете, я судья. Какого дьявола! Обязанность судьи — это примирение. Меня назначили судьей между Богом и Сатаной, чтобы я попытался их примирить, хотя в глубине сердца я убежден, что, послушав меня, Бог сделает глупость.

Х

Гриффо ждал.

Еще до того, как хозяин обратился к нему, он пошарил в его охотничьей сумке и извлек оттуда фазана. Он услышал и узнал выстрел.

Мадам де Франчи еще не спала, она лишь ушла в свою комнату и попросила Гриффо передать сыну, чтобы он зашел к ней перед сном.

Молодой человек, поинтересовавшись, не нужно ли мне чего, и получив отрицательный ответ, попросил у меня разрешения подняться к матери.

Я предоставил ему полную свободу и поднялся в свою комнату.

Я оглядел ее, немного гордясь собой. Мои попытки провести аналогии не были ошибочными. Я гордился тем, что угадал характер Луи так же, как я угадал характер Люсьена.

Я неторопливо разделся и взял томик стихов Виктора Гюго из библиотеки будущего адвоката, лег в постель довольный собой.

В сотый раз перечел я стихотворение Гюго «Небесный огонь» и вдруг услышал шаги: кто-то поднимался по лестнице и остановился прямо у моей двери. Я догадался, что это был хозяин дома, который пришел с намерением пожелать мне спокойной ночи и, конечно, опасается, что я уже уснул, и поэтому сомневается, открывать ли дверь.

— Войдите,— проговорил я, кладя книгу на ночной столик.

Действительно, дверь открылась и появился Люсьен.

— Извините,— сказал он мне,— но я подумал, что я все-таки был недостаточно приветлив с вами сегодня

вечером, и не хотел идти спать, не принеся вам своих извинений. Я пришел покаяться перед вами, и поскольку у вас, вероятно, еще есть ко мне изрядное количество вопросов, то я отдаю себя полностью в ваше распоряжение.

— Тысяча благодарностей,— ответил я.— Напротив, именно благодаря вашей любезности я узнал почти все, что хотел. Осталось лишь выяснить одну вещь, о которой я пообещал себе вас не спрашивать.

— Почему?

— Потому что это будет действительно слишком нескромно. Однако я вас предупреждаю, не настаивайте, иначе я за себя не отвечаю.

— Ну хорошо, спрашивайте: нет ничего хуже неудовлетворенного любопытства, оно естественно порождает разные предположения. И из трех предположений одно или два весьма невыгодны для того, о ком идет речь, и весьма далеки от истины.

— Успокойтесь, мои самые оскорбительные на ваш счет предположения сведутся к тому, что вы, вероятно, колдун.

Молодой человек рассмеялся.

— Черт! — сказал он.— Вы и из меня сделали столь же любопытного, как и вы. Говорите, я вас сам об этом прошу.

— Хорошо. Вы были столь любезны, что разъяснили все, что мне было неясно, кроме одного: вы мне показали прекрасное оружие с историческим прошлым, на которое я попросил бы у вас разрешение еще раз взглянуть перед отъездом...

— Итак, это первое...

— Вы мне объяснили, что означает эта двойная надпись на рукоятях двух карабинов.

— Это второе...

— Вы мне объяснили как благодаря феномену вашего рождения вы испытываете, даже находясь в трехстах лье от вашего брата, чувства, которые он переживает, так же, как и он, без сомнения, остро чувствует ваши переживания.

— Это третье.

— Увидев, как вы мучаетесь от тоски, вызванной тем, что с братом явно происходит что-то неприятное, мадам де Франчи взволнованно осведомилась у вас о том, жив ли ваш брат, вы ответили: «Да, если бы он был мертв, я бы это сразу же узнал».

— Да, верно, я так ответил.

— Пожалуйста, если только объяснение будет доступно непосвященному, объясните мне ваши слова, прошу вас.

По мере того как я говорил, лицо молодого человека принимало столь серьезное и значительное выражение, что последние слова я произнес почти заикаясь.

И после того как я замолчал, наступила мертвая тишина.

— Хорошо, я вижу, что был бестактным,— сказал я ему,— давайте считать, что я ничего не говорил.

— Нет,— произнес он,— но дело в том, что как человек светский, вы относитесь ко всему в какой-то мере недоверчиво. И я опасюсь, что вы сочтете суеверием старинную традицию нашей семьи, которая существует у нас на протяжении четырехсот лет.

— Послушайте,— сказал я ему,— я вас уверяю, что касается легенд и традиций, то трудно найти человека, который бы верил в них так, как я. И особенно безоглядно я верю в разного рода невероятные, казалось бы, невозможные вещи.

— Так вы верите в сверхъестественные видения?

— Хотите, я вам расскажу, что произошло со мной?

— Да, это придаст мне смелости.

— Мой отец умер в 1807 году, следовательно, мне тогда не было и трех с половиной лет. Когда врач объявил о близкой кончине больного, меня переселили к старой кухне, которая жила в доме, стоящем между двором и садом.

Она поставила мне кровать рядом со своей, меня уложили спать в обычное время, несмотря на несчастье, которое мне грозило и о котором я даже не имел понятия. Я уснул. Вдруг в дверь нашей комнаты трижды сильно постучали. Я проснулся, спустился с кровати и направился к двери.

— Ты куда? — спросила моя кузина.

Разбуженная как и я этими тремя ударами, она не могла справиться с охватившим ее ужасом, так как прекрасно знала, что, поскольку выходящая на улицу дверь была закрыта, никто не мог постучать в дверь комнаты, в которой находились мы.

— Я хочу открыться папе, он пришел со мной попрощаться,— ответил я.

Она соскочила с кровати и уложила меня силой, потому что я рыдал и все время выкрикивал:

— Там за дверью папа, я хочу увидеть папу перед тем, как он уйдет навсегда.

— А потом это видение возобновлялось? — спросил Люсьен.

— Хотя я довольно часто его призывал, нет, он не появлялся. Но, может быть, Господь дарит детской чистоте преимущества, в которых отказывает грешному человеку.

— Тогда, — улыбаясь сказал мне Люсьен, — мы в нашей семье более удачливы, чем вы.

— Вы видите ваших умерших родственников?

— Всегда, когда должно произойти или уже произошло какое-нибудь важное событие.

— А чем вы объясняете эту привилегию, дарованную вашей семье?

— Это сохраняется у нас как традиция. Я вам говорил, что Савилья умерла, оставив двух сыновей.

— Да, я помню.

— Пока они росли, всю ту любовь, которая была бы адресована их родителям, будь те живы, оба мальчика направляли лишь друг на друга. Когда выросли, они поклялись, что ничто не сможет их разлучить, даже смерть. Я не знаю, вследствие какого страшного события это произошло, но, однажды они написали кровью на куске пергамента торжественную клятву о том, что тот, кто первым умрет, предстанет перед другим, сначала в момент своей смерти, а потом во всех знаменательных моментах жизни другого. Три месяца спустя один из братьев был убит, попав в засаду, как раз в тот момент, когда другой брат запечатывал предназначенное ему письмо, собираясь нажать печаткой на еще дымящийся воск. В этот момент он услышал вздох позади себя. Обернувшись, он увидел своего брата, который стоял рядом, положив руку ему на плечо, хотя он этого и не ощущал. Совершенно машинально он протянул предназначенное тому письмо. Брат взял письмо и исчез. Накануне своей смерти он его вновь увидел. И, конечно, в это были втянуты не только оба брата, но и их потомки. С этого времени привидения вновь появляются не только в момент смерти умирающего, но и накануне важных событий.

— А у вас были видения?

— Нет, но поскольку мой отец в ночь накануне своей смерти был предупрежден своим отцом, что он умрет, я предполагаю, что я и мой брат также обладаем привиле-

гией наших предков, так как ничего предосудительного не совершили, чтобы потерять этот чудесный дар.

— Эта привилегия принадлежит только мужчинам из вашей семьи?

— Странно!

— Но это так.

Я оглядел молодого человека, который рассудительно и спокойно, полный достоинства, говорил мне о вещах, казалось бы, совершенно невозможных, и я повторил вслед за Гамлетом:

«Гораций, много в мире есть того,
Что вашей философии не снилось»¹!

В Париже я принял бы такого молодого человека за мистификатора, но здесь, в сердце Корсики, в отдаленном маленьком селении он скорее выглядел простаком, который искренне заблуждается, или избранником судьбы, который считает себя более счастливым, а может, и более несчастливым, чем другие люди.

— А теперь,— спросил он после долгого молчания,— знаете ли вы все, что хотели узнать?

— Да, благодарю,— ответил я,— я тронут вашим доверием ко мне и обещаю вам сохранить тайну.

— Боже мой,— сказал он, улыбаясь,— да в этом нет никакой тайны, любой крестьянин в селе расскажет историю, подобную той, что я рассказал вам. Я лишь надеюсь, что брат мой не будет никому в Париже рассказывать о нашем чудесном даре. Это не приведет ни к чему хорошему: мужчины будут открыто смеяться, женщины впадать в истерику от ужаса...

При этих словах он встал, пожелал мне спокойной ночи и вышел из комнаты.

Я заснул не сразу, хотя и устал, а когда уснул, то сон мой был беспокойным.

В своих снах я смутно вновь увидел тех, с кем я днем встречался в реальности, но все они действовали как-то странно и беспорядочно. Только на рассвете я спокойно заснул и проснулся тогда, когда раздался звук колокола, который, казалось, бил мне по ушам.

Лежа в постели, я дернул свой колокольчик, потому что мой цивилизованный предшественник позаботился о том, чтобы шнурок колокольчика было можно до-

¹ Перевод Б. Пастернака.

стать рукой — роскошь, единственная в своем роде во всем селении.

Вскоре появился Гриффо с теплой водой.

Я отметил, что Луи де Франчи достаточно хорошо вышколил своего камердинера.

Люсьен уже дважды спрашивал, не проснулся ли я, и объявил, что в половине десятого, если я не подам признаков жизни, он сам войдет в мою комнату.

Было двадцать пять минут десятого, и, следовательно, он вот-вот должен был появиться.

На сей раз он был одет на французский манер и даже с французской элегантностью. На нем был черный редингтон, цветной жилет и белые брюки, ибо к началу марта на Корсике уже давно надевают белые брюки.

Он заметил, что я его разглядываю с удивлением.

— Вам нравится моя одежда, — сказал он, — это еще одно доказательство, что я не совсем дикарь.

— Да, конечно, — ответил я, — и сознаюсь, я немало удивлен, обнаружив такого прекрасного портного в Айяччо. А я в своем велюровом костюме выгляжу как какой-нибудь увалень по сравнению с вами.

— Это потому что мой костюм целиком от Уманна, и ничего больше, мой дорогой гость. Так как мы с братом абсолютно одинаковых размеров, то он, шутки ради, присылает мне свой гардероб, который я надеваю, как вы прекрасно понимаете, лишь в особых случаях: когда приезжает господин префект; когда совершает турне командующий 86-м департаментом; или если я принимаю такого гостя, как вы. И это удовольствие совпадает с торжественным событием, которое должно произойти.

Этот молодой человек сочетал в себе неиссякаемую иронию с высоким интеллектом. Он мог порой озадачить своего собеседника, но всегда оставался вежливым и сдержанным.

Я ограничился поклоном в знак благодарности, между тем как он с положенной в этих случаях тщательностью натянул пару желтых перчаток, сшитых по его руке Боуваном или Руссо.

В этой одежде у него действительно был вид элегантного парижанина.

А тем временем я и сам закончил одеваться.

Прозвонило без четверти десять.

— Итак, — сказал Люсьен, — если вы хотите увидеть этот спектакль, я думаю, что нам уже пора занимать на-

ши места, конечно, если вы не предпочтете остаться завтракать, что будет более разумно, как мне кажется.

— Спасибо, но я редко завтракаю раньше одиннадцати или полудня.

— В таком случае, отправимся в путь.

Я взял свою шляпу и последовал за ним.

XI

Мы возвышались над площадью, стоя на верху лестницы из восьми ступенек, ведущих к двери укрепленного замка, в котором жили мадам де Франчи и ее сын.

Находящаяся прямо напротив площадь была заполнена людьми; однако вся эта толпа состояла из женщин и детей младше одиннадцати лет: не было видно ни одного мужчины.

На нижней ступени церкви в торжественной позе стоял мужчина, подпоясанный трехцветным поясом,— это был мэр.

Под портиком другой мужчина, одетый в черное, сидел за столом, а перед ним лежала исписанная бумага. Этот человек был нотариусом. А бумага была договором о примирении.

Я занял место по одну сторону стола с поручителями Орланди. С другой стороны были поручители Колона. Позади нотариуса устроился Люсьен.

В глубине, на хорах церкви были видны священнослужители, готовые отслужить мессу.

Часы прозвонили десять часов.

По толпе тут же пробежал ропот. Глаза устремились к двум противоположным выходам улицы, если можно назвать улицей неровный промежуток, оставленный между пятьюдесятью домами, расположенными произвольно, по прихоти владельцев.

Вскоре можно было увидеть, как со стороны горы появился Орланди, а со стороны реки — Колона, каждый в сопровождении своих сторонников. И согласно принятому решению ни у кого не было оружия. Их можно было принять за церковную процессию, если бы не бросалось в глаза чересчур суровое выражение некоторых лиц.

Предводители двух группировок резко отличались друг от друга.

Орланди, как я уже говорил, был крупным, поджарым, смуглым и гибким.

Колона был маленький, коренастый и крепкий, с короткими вьющимися рыжими волосами и бородой.

Каждый из них держал в руке оливковую ветвь, символическую эмблему мира, который они собирались заключить. Это была поэтическая выдумка мэра.

Колона к тому же торжественно нес белую курицу, волоча ее за ноги. Она предназначалась для передачи в качестве возмещения убытков. Ведь именно курица десять лет назад положила начало ссоре.

Курица была живой.

Этот пункт долго обсуждался и чуть было не расстроил все дело. Колона рассматривал как двойное унижение то, что ему предстояло возвращать курицу живой. Его тетя бросила тогда в лицо двоюродной сестры Орланди не живую, а уже убитую курицу.

С большим трудом Люсьену все же удалось убедить Колона отдать курицу, а Орланди ее принять.

В момент, когда появились оба противника, колокола, которые замолчали на какое-то время, вновь зазвонили изо всех сил.

Заметив друг друга, Орланди и Колона импульсивно сделали одно и то же движение, в котором явно было заметно взаимное отвращение, но, однако, продолжили свой путь.

Они остановились лишь перед самой дверью, ведущей в церковь, на расстоянии примерно четырех шагов.

Если бы дня три назад эти двое мужчин заметили друг друга на расстоянии ста шагов, один из двух совершенно точно остался бы лежать на месте.

Это длилось минут пять, и не только в двух противостоящих группах, но и во всей толпе воцарилось молчание, которое, несмотря на примирительные цели церемонии, было отнюдь не миролюбивым.

Тогда взял слово господин мэр.

«Ну, Колона,— сказал он,— разве вы не знаете, что начать должны вы?»

Колона сделал над собой усилие и произнес несколько слов на корсиканском наречии.

Я понял, что он выразил сожаление, что десять лет продолжалась вендетта с его хорошим соседом Орланди, и он предлагает в качестве возмещения белую курицу, которую держит в руках.

Орланди подождал, пока его противник выскажется, и ответил также в нескольких словах по-корсикански, что со своей стороны дает обещание помнить о тор-

жественном примирении, которое состоялось под покровительством господина мэра, при содействии господина Люсьена и было записано с помощью господина нотариуса.

После чего оба снова замолчали.

«Итак, господа,— сказал мэр,— если не ошибаюсь, было условлено, что вы пожмете друг другу руки».

Непроизвольным движением оба противника убрали руки за спины.

Мэр спустился со ступеньки, на которой стоял, нащупал за спиной руку Колона, вытащил из-за спины Орланди его руку и после некоторых усилий, которые он, улыбаясь, пытался скрыть от своих подчиненных, ему удалось соединить обе руки.

Нотариус воспользовался моментом, поднялся и стал читать текст примирения, в то время как мэр держал скрепленными обе руки, которые сначала пытались высвободиться, но потом смирились и остались одна в другой:

«В присутствии Жузепе Антонио Саррола, королевского нотариуса в Суллакаро, провинция Сартрена, На главной площади села, перед церковью, в присутствии господина мэра, посредников и всего населения,

Между Гаэтано-Орсо Орланди, прозванном Орландини, и Марко-Винченцио Колона, прозванном Скиоппоне, была торжественно прекращена с сегодняшнего дня, 4 марта 1841 года, вендетта, начавшаяся десять лет тому назад.

С этого дня они будут жить как добрые соседи и приятели, как их родители до того несчастного случая, после которого начались разлады между их семьями и их друзьями.

В доказательство чего они подписали этот документ под сводами нашей церкви вместе с господином Поло Арбори — мэром общины, господином Люсьеном де Франчи, судьей, посредниками с каждой стороны и нами, нотариусом.

Суллакаро, 4 марта 1841 года».

Я с удовлетворением заметил, что из чувства предосторожности нотариус ни словом не упомянул курицу, которая поставила Колона в столь неудобное положение перед Орланди.

А лицо Колона прояснилось по мере того, как мрачнел Орланди. Последний смотрел на курицу, которую держал в руках человек, явно испытывающий сильное желание запустить ее в лицо Колона. Но один взгляд Люсьена де Франчи пресек этот злой умысел в самом его начале.

Мэр понял, что нельзя терять ни минуты, он пятась поднялся, все время держа соединенные руки, чтобы ни на миг не терять из виду новоиспеченных примиренцев.

Потом, дабы предупредить споры, которые могли бы возникнуть во время подписания, и, видя, что оба противника считают, что уступят, если подпишут первыми, он взял перо и подписал сам, как бы показав этим, что поставить свою подпись — это не позор, а высокая честь, после чего он передал перо Орланди, тот взял перо, подписал и передал его Люсьену, который так же использовал эту примирительную уловку и, в свою очередь, передал перо Колона, который поставил крест вместо подписи.

В этот момент послышалось церковное пение, так поют «Te Deum», отмечая победу.

Потом стали подписываться мы, не разбирая рангов и титулов, подобно тому как французское дворянство сто двадцать три года тому назад подписало протест против герцога дю Мейна.

Затем оба героя дня вошли в церковь, чтобы преклонить колени на том месте, которое было каждому предназначено заранее.

Я заметил, что с этого момента Люсьен был совершенно спокоен: все закончилось, примирение юридически оформлено не только перед людьми, но и перед Богом.

Остальная часть церковной службы прошла без каких-либо событий, о которых стоило бы рассказывать.

По окончании мессы Орланди и Колона вышли с той же торжественностью.

В дверях они еще раз по настоянию мэра пожали руки. Потом каждый в сопровождении друзей и родственников пошел в свой дом, куда они уже не заходили в течение трех лет.

А мы с Люсьеном вернулись к мадам де Франчи, где нас ждал обед.

Мне не трудно было заметить, как возросло ко мне внимание, после того как Люсьен прочитал мое имя через плечо в момент, когда я подписывался под соглашением, и это имя не было ему незнакомым.

Утром я сказал Люсьену о своем решении уехать после обеда. Меня настоятельно влекли в Париж репетиции пьесы «Свадьба во времена Людовика XV», и я не поддался на уговоры матери и сына и не отказался от своего намерения.

Люсьен попросил у меня разрешения воспользоваться моим предложением и написать своему брату, а мадам де Франчи, повинувшись порыву и не пряча своих материнских чувств, взяла с меня обещание, что я лично передам письмо ее сыну.

В конечном счете не так уж это было и трудно: Луи де Франчи, как настоящий парижанин, обосновался на улице Элдера, дом 7.

Я изъявил желание в последний раз осмотреть комнату Люсьена, который меня сам туда и сопроводил.

«Если вам что-нибудь понравилось,— сказал он,— вы можете считать этот предмет своим».

Я снял с крючка небольшой кинжал, который висел в углу. Достаточно невзрачный, чтобы я мог предположить, что он имеет хоть какую-нибудь ценность. И так как я заметил, что Люсьен с любопытством поглядывал на мой охотничий пояс и хвалил его убранство, я предложил ему его взять. У Люсьена хватило такта согласиться сразу и не заставляя меня просить дважды.

В это время Гриффо появился в дверях.

Он пришел сообщить мне, что моя лошадь оседлана и проводник ждет меня.

Я приберег подарок и для Гриффо: это был тоже охотничий нож, но очень оригинальный по конструкции: он был соединен с пистолетом, барабан которого находился в рукоятке ножа.

Я никогда не видел радости, подобной той, что охватила Гриффо.

Я спустился и нашел мадам де Франчи стоящей внизу лестницы; она ждала меня, чтобы пожелать доброго пути, на том же месте, где она меня приветствовала, когда я приехал. Я поцеловал ей руку, ведь я чувствовал глубокое уважение к этой простой и в то же время столь достойной женщине.

Люсьен проводил меня до двери.

— В любой другой день,— сказал он,— я оседлал бы свою лошадь и проводил вас по ту сторону горы; но сегодня я не вправе покинуть Суллакаро из опасения, что один из двух наших новоиспеченных друзей может сделать какую-нибудь глупость.

— Вы правильно делаете,— ответил я,— что касается меня, поверьте, я счастлив, что увидел церемонию, довольно необычную для Корсики и в которой я даже участвовал.

— Да, да,— сказал он,— можете радоваться, потому что вы видели то, от чего, должно быть, содрогнулись наши предки в своих могилах.

— Я понимаю, в их время данное слово было священо и не было никакой необходимости в присутствии какого-то нотариуса на примирении.

— Для них вообще не существовало примирения. Он пожал мою руку.

— А вы не хотели бы, чтобы я обнял вашего брата? — спросил я.

— Да, конечно, если это вас не очнь затруднит.

— Тогда давайте мы обнимемся с вами, я не могу передавать то, чего не получал

Мы обнялись.

— Может, мы когда-нибудь увидимся? — спросил я.

— Да, если вы приедете на Корсику.

— Нет, если вы сами приедете в Париж.

— Я туда никогда не поеду,— ответил Люсьен.

— Во всяком случае, вы найдете мои визитные карточки на камине в комнате вашего брата. Не забудьте адрес.

— Я вам обещаю, если случай приведет меня на континент, свой первый визит я нанесу вам.

— Хорошо. Договорились.

Он пожал мне руку в последний раз, и мы расстались, но пока он мог видеть, как я спускаюсь по улице вдоль реки, он провожал меня глазами.

В селении было достаточно спокойно, хотя можно было заметить особую суматоху, характерную для больших событий. Проходя по улице, я посматривал на каждую дверь, рассчитывая увидеть, как из нее выходит мой протеже Орланди, который, по правде говоря, должен был бы поблагодарить меня, но не сделал этого.

Я миновал последний дом в селении и выехал в сельскую местность, так и не увидев никого похожего на него.

Я подумал, что, наверное, он обо всем забыл, и искренне прощал ему эту забывчивость. Она вполне естественна среди тех забот, которые, должно быть, переживал в подобный день Орланди. Но вдруг, доехав до зарос-

лей Бикшисано, я увидел, как из чаши вышел человек и остановился посреди дороги.

Я сразу же узнал того, кого из-за своего французского нетерпения и парижских понятий о приличии обвинил в неблагодарности.

Я заметил, что он уже успел переодеться в тот же костюм, в котором он появился в развалинах Висентелло, то есть он надел патронташ, на котором висел пистолет, и был вооружен ружьем.

Когда я был в двадцати шагах от него, он уже снял свой головной убор, а я, в свою очередь, пришпорил коня, чтобы не заставляя его ждать.

— Месье,— сказал он,— я не хотел, чтобы вы уехали из Суллакаро, а я не поблагодарил бы за честь, которую вы оказали такому бедному крестьянину, как я, выступив за него в качестве поручителя. Я неловок и не умею говорить, и поэтому я пришел сюда, чтобы подождать вас.

— Я благодарю вас,— ответил я,— и право, не стоило из-за этого беспокоиться, это для меня была большая честь.

— И потом,— продолжал разбойник,— что ж вы хотите, не так-то легко избавиться от четырехлетней привычки. Горный воздух коварен: однажды вдохнув его, потом везде задыхаешься. Теперь в этих жалких домах мне каждую минуту кажется, что крыша свалится мне на голову.

— Но постепенно,— ответил я,— вы вернетесь к привычной жизни. Мне говорили, что у вас есть дом, земля, виноградник.

— Да, конечно, но моя сестра присматривает за домом, Луквасы жили там, чтобы обрабатывать мою землю и собирать мой виноград. Мы, корсиканцы, совсем другие, мы не работаем на земле.

— А чем же вы занимаетесь?

— Мы следим за тем, как идут работы, прогуливаемся с ружьем на плече и охотимся.

— Ну, что ж, мой дорогой месье Орланди,— сказал я ему, пожимая руку,— счастливо! Но помните, что моя честь, как и ваша, обязывает вас отныне стрелять лишь по диким баранам, ланям, кабанам, фазанам и куропаткам и никогда по Марко-Винченцо Колона или по кому-либо из его семьи.

— Ах! Ваша милость,— ответил мне мой протеже с таким выражением лица, которое мне доводилось ви-

деть лишь у нормандских крестьян, когда они приходили с жалобой к судье,— курица, что он мне отдал, оказалась слишком тощей.

И не говоря больше ни слова, он повернулся и скрылся в кустах.

Я продолжал свой путь, размышляя над этим вполне реальным поводом для разрыва между Орланди и Колона.

В тот же вечер я укладывался спать в Албитессни. На следующий день я прибыл в Айяччо.

Восемь дней спустя я был в Париже.

ХII

Я отправился к Луи де Франчи в день приезда, но его не было дома. Я оставил свою визитную карточку с небольшой запиской, в которой сообщал, что прибыл прямо из Суллакаро и что у меня для него есть письмо от Люсьена, его брата. Я приглашал его к себе в удобное ему время, добавив, что мне поручили передать ему это письмо лично.

Чтобы провести меня в кабинет своего хозяина, где я должен был написать это послание, слуга провел меня через столовую и гостиную.

Я огляделся с вполне понятным любопытством и узнал тот же вкус, который я заметил еще в Суллакаро, только здесь он был отмечен парижской элегантностью. Мне показалось, что у господина Луи де Франчи вполне изящное жилище молодого холостяка.

На следующий день, когда я одевался, т. е. около одиннадцати часов утра, мой слуга доложил, что прибыл господин Луи де Франчи. Я распорядился, чтобы его провели в гостиную, предложили ему газеты и сказали, что через минуту я буду в его распоряжении.

И, действительно, через пять минут я входил в гостиную.

Привлеченный шумом, господин де Франчи, который, конечно же, из вежливости был занят чтением моего очерка, опубликованного тогда в «Прессе», поднял голову.

Я остановился, пораженный его сходством с братом. Он поднялся.

— Месье,— сказал он,— я был счастлив, прочитав вашу записку, которую передал мне слуга, когда я вернул-

ся. Я двадцать раз заставлял его повторить, как вы выглядите, чтобы убедиться, что он описывает именно ваш портрет. И, наконец, сегодня утром, горя от нетерпения поблагодарить вас за то, что вы привезли мне весточку от моей семьи, я пришел представиться вам, не обращая внимания на время. Боюсь, что я явился слишком рано.

— Извините,— ответил я,— если я не сразу отвечаю на ваши любезные комплименты, но должен признаться, месье, что я смотрю на вас и спрашиваю себя, с кем я имею честь разговаривать: с Люсьеном или Луи де Франчи.

— Неужели? Да, сходство большое,— добавил он — Когда я был еще в Суллакаро, только мы с братом нас не путали. Впрочем, если он еще со времени моего отъезда не отказался от своих корсиканских привычек, то вы наверняка постоянно видели его в костюме, который делает нас несколько несхожими.

— Да, конечно,— ответил я,— но случайно случилось, что, когда я расставался с ним, он был одет, как вы сейчас, если не считать белых брюк, которые еще пока рано одевать здесь, в Париже. Вот почему для меня даже это отличие исчезло. Но,— продолжил я, вынимая из бумажника письмо,— я, конечно, понимаю, что вы спешите узнать семейные новости, возьмите это письмо, которое я бы оставил у вас вчера, если бы не пообещал мадам де Франчи передать его вам лично.

— Вы их всех покинули в добром здравии?

— Да, но они беспокоятся.

— Обо мне?

— О вас. Но прочтите письмо, я прошу вас.

— Вы разрешите?

— Само собой!..

Господин де Франчи распечатал письмо, я же тем временем достал сигареты.

Я наблюдал за ним, пока он быстро пробежал глазами братское послание, время от времени он улыбался и бормотал:

— Этот милый Люсьен! Моя прекрасная матушка!.. да. да... я понимаю...

Я все еще не мог привыкнуть к этому странному сходству. Между тем, как и говорил мне Люсьен, я отметил у его брата более бледную кожу и более чистое французское произношение.

— Ну хорошо,— сказал я, предлагая ему сигарету, которую он, закончив читать, прикурил от моей,— вы поня-

ли, что, как я вам и говорил, ваша семья была обеспокоена, но, к счастью, я вижу, что это было напрасно.

— Нет,— ответил он мне с грустью в голосе,— вовсе нет. Я совсем не болен, это верно, но у меня довольно большое горе, которое усугубляется от мысли, что, страдая здесь, я заставляю там страдать брата.

— То, что вы говорите, я уже слышал от господина Люсьена. Дабы поверить, что эта правда, а не его домыслы, я сейчас действительно получил тому достаточно убедительное доказательство. А вы сами, месье, уверены, что недомогание, которое там испытывает ваш брат, вызвано именно вашими страданиями здесь?

— Да, месье, совершенно уверен.

— Тогда, поскольку ваш утвердительный ответ еще больше заинтересовал меня в том, что же с вами случилось, то позвольте вас спросить, поверьте, не из праздного любопытства, это несчастье, о котором вы только что говорили оно уже прошло или как-то улаживается?

— О, Боже мой! Знаете ли, месье,— сказал он,— даже самые тяжелые переживания притупляются со временем. И если какой-нибудь несчастный случай не разбередит мое сердце, то оно, конечно, прекривоточит какое-то время и в конце концов заживет. А пока примите еще раз мои благодарности и позвольте мне иногда приходить к вам беседовать о Суллакаро.

— С превеликим удовольствием,— сказал я,— а почему бы нам прямо сейчас не продолжить разговор, который интересен и вам и мне? Подождите, вот мой слуга, который собирается объявить мне, что завтрак готов. Доставьте мне удовольствие и съешьте вместе со мной отбивную, и мы побеседуем в свое удовольствие.

— К сожалению, это невозможно. Вчера я получил письмо от министра юстиции, который просит меня сегодня в полдень быть у него в министерстве, и вы прекрасно понимаете, что я, начинающий бедный адвокатик, не могу заставить ждать такую важную персону.

— Возможно, он вас вызывает по делу Орланди и Колона.

— Я вполне допускаю это, тем более что, как мне пишет брат, распри закончены...

— ...в присутствии нотариуса. И я вам могу сообщить подробности: я подписал контракт как поручитель за Орланди.

— Да, мой брат написал мне об этом в нескольких словах. Послушайте,— сказал он, доставая свои часы,—

уже почти полдень, и я должен прежде всего объявить господину министру юстиции, что мой брат сдержал данное мной слово.

— Совершенно точно. Если нужно, я могу подтвердить.

— Мой милый Люсьен! Я прекрасно знал, что, хотя это было для него неприятно, он сделает, раз обещал

— Да, и нужно быть ему особо признательным, ибо я знаю, чего ему стоило уладить дело.

— Мы поговорим о корсиканских делах позже... Вы ведь прекрасно понимаете, какое для меня счастье хотя бы мысленно вновь повидать вызванных вашими воспоминаниями мою мать, брата, мою страну! И если вы мне скажете, когда вам будет удобно...

— Сейчас довольно трудно сказать. В первые несколько дней после возвращения я почти не буду находиться дома. Но, может, вы мне сами скажете, где вас можно найти.

— Погодите,— задумался он,— ведь завтра традиционный зимний бал-маскарад в Опере, не так ли?

— Завтра?

— Да.

— Ну и что?

— Вы собираетесь туда?

— И да, и нет. Да, если вы назначите там мне встречу, и нет, если не будет какой-то определенной цели

— Мне же нужно туда пойти, я даже обязан это сделать.

— А! Понятно! — усмехнулся я — Теперь ясно, почему вы говорили, что время притупляет самые тяжелые несчастья и что рана в вашем сердце зарубцуется.

— Вы ошибаетесь, возможно, я иду туда, чтобы обрести новые страдания.

— Ну, так не ходите.

— Но разве все на свете делают то, что хотят? Я вовлечен в это помимо моей воли; и иду туда, куда меня влечет судьба... Было бы, конечно, лучше, если бы я туда не пошел, я это прекрасно знаю и все-таки — пойду.

— В таком случае, завтра в Опере?

— Да.

— Во сколько?

— В половине первого, если вас это устроит.

— А где?

— В фойе. В час у меня свидание под часами.

— Договорились.

Мы пожали друг другу руки, и он быстро вышел. Часы вот-вот должны были пробить полдень.

Весь остаток дня и следующий день я был занят теми неизбежными визитами, которые обязан наносить человек, только что вернувшийся из восемнадцатимесячного путешествия.

А вечером, в половине первого, я был на месте свидания.

Пришлось некоторое время подождать Луи. Он шел вслед за маской, которую, казалось, узнал, но маска затерялась в толпе, и он не мог ее отыскать.

Я хотел поговорить о Корсике, но Луи был слишком рассеян, чтобы поддержать столь серьезную тему. Его глаза были постоянно сосредоточены на часах, и внезапно он меня покинул, проговорив:

— Ах, вот мой букет фиалок!

И он стал пробираться через толпу к женщине, которая действительно держала в руках огромный букет фиалок.

Поскольку для удовлетворения гуляющих в фойе были всевозможные букеты, то со мной заговорил букет камелий, обратившийся с поздравлениями по поводу моего счастливого возвращения в Париж.

К букету камелий присоединился букет из бутонов роз.

К букету из бутонов роз — букет из гелиотропов.

Я общался уже с пятым букетом, когда повстречал Д.

— Ах, это вы, мой дорогой, — воскликнул он, — добро пожаловать, вы очень удачно появились: у меня сегодня ужинают такой-то и такой-то (он назвал три или четыре имени наших общих знакомых), и мы рассчитываем на вас.

— Очень признателен, милейший, — ответил я, — но, несмотря на большое желание принять ваше приглашение, я не могу этого сделать. Видите ли, я здесь не один.

— У меня так заведено: каждый гость вправе привести с собой кого захочет. Итак, договорились, на столе будет шесть графинов с водой, предназначенных лишь для того, чтобы букеты не завяли.

— Что вы, мой друг, вы ошибаетесь, у меня нет букета для ваших графинов: я здесь с другом.

— Ну, тем лучше, вы же знаете поговорку: «Друзья наших друзей...»

— Этого молодого человека вы не знаете.

— Так мы познакомимся.

— Я передам ему ваше приглашение.

— Хорошо, но если он откажется, приведите его силой.

— Я сделаю все, что смогу, обещаю... В котором часу вы садитесь за стол?

— В три часа, и, поскольку мы будем там до шести, у вас достаточно времени.

— Хорошо.

Букет незабудок, который, возможно, слышал окончание нашего разговора, взял Д. под руку и удалился с ним.

Через несколько минут я встретил Луи, который, по всей вероятности, уже объяснился со своим букетом фиалок.

Отделавшись от назойливых масок, я взял под руку Луи.

— Итак,— спросил я,— вы узнали что хотели узнать?

— Да, но вам же известно, что на маскированных балах, как правило, вам отвечают так, чтобы оставить в неведении.

— Мой бедный друг. Извините, что я вас так называю, но мне кажется, что я знаю вас с тех пор, как познакомился с вашим братом... Видите ли... Вы несчастны, не так ли?.. В чем дело?

— О, да ничего особенного.

Я понял, что он хочет сохранить свою тайну и замолчал.

Мы сделали два или три круга в молчании — я достаточно безразлично, поскольку никого не ждал — он все время настороже, разглядывая каждый маскарадный костюм, который попадался нам на глаза.

— Погодите,— сказал я ему,— знаете, что вам предстоит сделать?

Он вздрогнул как человек, которого оторвали от его размышлений.

— Я?.. Нет!.. Что вы говорите? Извините...

— Я предлагаю вам отвлечься, в чем, мне кажется, вы нуждаетесь.

— Как?

— Пойдемте ужинать к одному моему другу.

Да нет, ну что вы... Я буду слишком тоскливым сотрапезником.

— Там будет весело, и вы отвлечетесь.

— Но я не приглашен.

— Вы ошибаетесь, вы приглашены.

— Это очень великодушно со стороны хозяйна, но, честное слово, чувствую, что недостойн...

В этот момент мы столкнулись с Д. Он был очень увлечен своим букетом незабудок.

Но все же он меня увидел.

— Итак, значит, договорились, да? В три часа.

— Нет, не договорились, мой друг. Я не смогу быть у вас.

— Чертовски жалы!

И он продолжил свой путь.

— Кто этот господин? — спросил меня Луи, явно только для того, чтобы поддержать разговор.

— Так это Д., один из моих друзей, умный малый, хотя и работает редактором одной из наших ведущих газет.

— Господин Д.! — воскликнул Луи. — Господин Д.! Вы его знаете?

— Конечно. Два или три года сотрудничаем вместе и даже дружим.

— Это у него вы собирались ужинать сегодня?

— Конечно, да.

— И к нему вы меня приглашали?

— Да.

— Тогда совсем другое дело, я согласен и согласен с превеликим удовольствием.

— Ну что же! Прекрасно.

— Может быть, мне не следует туда ходить, — проговорил Луи, грустно улыбаясь, — но вы же помните, что я вам говорил позавчера: мы идем не туда, куда хотим, а туда, куда нас толкает судьба, и доказательством тому то, что мне не следовало сегодня вечером приходить сюда.

Наши пути вновь пересеклись с Д.

— Мой друг, — сказал я, — я изменил свои намерения.

— И вы будете у меня?

— Да.

— Bravo! Однако я должен предупредить вас об одной вещи.

— О какой?

— Тот, кто ужинает с нами сегодня вечером, должен там же поужинать на следующий день.

— Это в силу какого же закона?

— В силу пари, заключенного с Шато-Рено.

Я почувствовал, как вздрогнул Луи, который держал меня под руку.

Я посмотрел на него, но, хотя он и стал более бледным, чем был минуту назад, лицо его оставалось бесстрастным.

— А что за пари? — спросил я Д.

— Долго рассказывать! Кроме того, есть одна особа, которая заинтересована в этом пари, и если она услышит разговоры о нем, то может вынудить Шато-Рено проиграть его.

— Ну, всего наилучшего. До трех часов.

— До трех.

Мы вновь разошлись. Проходя мимо часов, я бросил взгляд на циферблат. Было два часа тридцать пять минут.

— Вы знаете этого господина де Шато-Рено? — спросил Луи голосом, в котором тщетно пытался скрыть свои переживания.

— Только внешне. Я встречал его несколько раз в обществе.

— И он не ваш друг?

— Это всего лишь мимолетное знакомство.

— Тем лучше! — проговорил Луи.

— Почему же?

— Да так.

— Нет, все-таки. Вы его знаете?

— Лишь понаслышке.

Несмотря на уклончивый ответ, я сразу понял, что между господином де Франчи и господином де Шато-Рено были загадочные отношения, в которых наверняка была замешана женщина. Неосознанное чувство подсказало мне, что в таком случае для моего приятеля было бы лучше остаться дома.

— Послушайте, — предложил я, — господин де Франчи, может быть, вы послушаетесь моего совета?

— А в чем дело? Скажите же.

— Не ходите ужинать к Д.

— Почему же? Разве он нас не ждет, а вы разве не сказали ему только что, что привезете ему еще одного гостя?

— Да, точно. Но не в этом дело.

- Так почему же?
- Потому что я просто-напросто полагаю, что нам туда лучше не ходить.
- Ну да, у вас, конечно, есть причина менять свои намерения, ведь буквально только что вы настаивали и собирались вести меня туда чуть ли не силой.
- Мы же встретимся там с Шато-Рено.
- Тем лучше,— произнес он очень любезно,— я буду счастлив познакомиться с ним поближе.
- Хорошо, пусть так. Идемте, коль вы так желаете.

Мы спустились, чтобы взять наши пальто.

Д. жил в двух шагах от Оперы. Стояла прекрасная погода, и я подумал, что свежий воздух немного остудит пыл моего приятеля. Я предложил ему идти пешком, и он согласился.

ХIII

Мы встретили в гостиной множество моих друзей, за-всегдаев фойе в Опере, постоянных абонентов теат-ральных лож. Здесь были де Б., Л., В., А. К тому же, а я это и предполагал, две или три дамы, уже без масок, держали свои букеты в руках, ожидая, когда их можно будет поставить в графины.

Я представил Луи де Франчи и тем и другим. Излиш-не говорить, что он был любезно встречен и теми и дру-гими.

Через десять минут пришел и Д. в сопровождении бу-кета незабудок, легко и непринужденно снявшего маску, под которой оказалась привлекательная женщина, это во-первых, а во-вторых, женщина, привычная к подоб-ного рода вечеринкам.

Я представил де Франчи хозяину дома.

— А теперь,— провозгласил де Б.,— коль скоро все представления сделаны, я желаю, чтобы приглашали к столу.

— Все представления сделаны, но не все приглашен-ные пришли,— ответил Д.

— Кто же отсутствует?

— Пока еще нет Шато-Рено.

— А! Действительно. А нет ли здесь пари? — спро-сил В.

— Да, пари на ужин для двенадцати персон, если он не приведет сюда некую даму, которую он обещал нам привести.

— А что это за дама,— спросил букет незабудок,— она так нелюдима, что ради нее заключается подобное пари?

Я посмотрел на де Франчи: внешне он был спокоен, но бледен, как смерть.

— По правде сказать,— откликнулся Д.,— я не думаю, что было бы очень бестактно назвать вам маску. Тем более что, по всей вероятности, вы ее не знаете. Это мадам...

Луи взял Д. за руку.

— Месье, принимая во внимание наше недавнее знакомство, окажите мне любезность.

— Какую, месье?

— Не называйте персону, которая должна прийти вместе с господином де Шато-Рено: вы ведь знаете, что она замужняя дама.

— Да, но ее муж сейчас в Смирне, в Индии, в Мексике или где-то еще. Когда муж так далеко, то можно считать, что его вообще нет.

— Ее муж вернется через несколько дней, мне это известно. Он порядочный человек и мне бы хотелось, если это возможно, оградить его от неприятности выслушивать по возвращении, что его жена совершила подобный необдуманый поступок.

— Прошу прощения, месье,— пробормотал Д.,— я не знал, что вы знакомы с этой дамой, я даже не знал точно, что она замужем, но, поскольку вы ее знаете, поскольку вы знакомы с ее мужем...

— Да, я знаком с ними.

— Мы сохраним все это в тайне. Дамы и господа, придет ли Шато-Рено или не придет, придет ли он один или не один, выиграет ли он пари или проиграет, я прошу вас сохранять все это в тайне.

Все в один голос пообещали сохранить тайну, но, вероятнее всего, не ради сохранения приличий, а из-за того, что были очень голодны и, следовательно, торопились сесть за стол.

— Благодарю вас, месье,— сказал де Франчи, обращаясь к Д. и пожав ему руку,— могу вас заверить, что вы поступили как порядочный человек.

Мы прошли в столовую и каждый занял свое место. Два места оставались незанятыми: это были места,

предназначенные для Шато-Рено и для той персоны, которую он должен был привести.

Слуга хотел убрать приборы.

— Не нужно,— сказал хозяин дома,— оставьте. Ждем Шато-Рено до четырех часов. В четыре часа можете убрать приборы. Когда прозвонит четыре часа, будем считать, что он проиграл.

Я не спускал глаз с де Франчи и заметил, как он повернул глаза к часам: они показывали три часа сорок минут.

— Вы беспокоитесь? — холодно спросил Луи.

— Меня это не касается,— ответил Д. смеясь,— пусть это интересует Шато-Рено, я сверил его часы с моими настенными, чтобы он не жаловался потом, что его обманули.

— Ах, господа,— воскликнул букет незабудок,— рави Бога, если уж мы не можем говорить о Шато-Рено и его незнакомке, давайте не будем о них говорить, иначе начнутся символы, аллегории, загадки, а это смертельно скучно.

— Вы правы, Эст...— подтвердил В.,— есть столько женщин, о которых можно говорить. Они только и ждут, чтобы о них говорили.

— Выпьем за здоровье таких женщин,— предложил Д.

И он начал наполнять бокалы охлажденным шампанским. Перед каждым приглашенным стояла бутылка.

Я заметил, что Луи лишь слегка коснулся губами своего бокала.

— Пейте же,— сказал я ему,— вот увидите, он не придет.

— Сейчас еще без четверти четыре,— проговорил он.— А в четыре часа, несмотря на то, что я сейчас отстаю, я вам обещаю, что наверстаю упущенное и еще обгоню всех.

— В добрый час.

Пока мы негромко разговаривали, общая беседа становилась сумбурной и шумной. Время от времени Д. и Луи посматривали на часы, которые бесстрастно продолжали свой ход, совершенно безразличные к нетерпению двух присутствующих, которые следили за их стрелкой.

Без пяти четыре я посмотрел на Луи.

— За ваше здоровье! — предложил я.

Он, улыбаясь, взял бокал и поднес его к губам.

И он уже выпил половину, когда прозвенел звонок.

Я полагал, что он уже не сможет стать более бледным, чем был до того, но я ошибался.

— Это он, — проговорил Луи.

— Да, но, может быть, не она, — ответил я.

— Мы это сейчас увидим.

Звонок привлек всеобщее внимание. Глубокая тишина сразу же сменила шумный разговор за столом.

Из прихожей доносились приглушенные голоса.

Д. быстро поднялся и пошел открывать дверь.

— Я узнал ее голос, — сказал Луи, схватив меня за запястье и сильно его сжимая.

— Ну, ну, успокойтесь, будьте мужчиной, — ответил я, — очевидно, если она ужинает в доме совершенно незнакомого ей человека с людьми, которых она прежде не знала, значит, она шлюха, а шлюха не достойна любви порядочного человека.

— Ну я вас умоляю, мадам, — говорил Д. в прихожей, — войдите, я вас уверяю, здесь только ваши друзья

— Войдем же, дорогая Эмилия, — говорил де Шато-Рено, — ты можешь не снимать маску, если захочешь.

— Негодяй, — прошептал Луи де Франчи.

В этот момент вошла женщина, которую скорее тащили, чем вели, Д., который считал, что выполняет долг хозяина дома, и Шато-Рено.

— Без трех минут четыре, — совсем тихо проговорил Шато-Рено.

— Отлично, мой друг, вы выиграли.

— Пока еще нет, месье, — сказала незнакомка, обращаясь к Шато-Рено, и, остановившись, выпрямилась во весь рост. — Я теперь поняла вашу настойчивость... вы поспорили, что приведете меня сюда ужинать, не так ли?

Шато-Рено молчал. Она обратилась к Д.

— Поскольку этот человек не отвечает, ответьте вы, месье, — сказала она. — Не правда ли, господин де Шато-Рено заключил пари, что приведет меня сюда ужинать?

— Не буду от вас скрывать, мадам, но господин де Шато-Рено дал мне такую надежду.

— Так вот, господин де Шато-Рено проиграл, поскольку я не знала, куда он меня везет, и думала, что мы едем ужинать к одной моей знакомой, и, поскольку я пришла не по своей воле, господин де Шато-Рено должен, как мне кажется, признать поражение.

— Но сейчас, раз уж вы здесь, дорогая Эмилия,— воскликнул де Шато-Рено,— останьтесь, хорошо? Посмотрите, у нас прекрасная компания мужчин и веселая компания женщин.

— Коль уж я здесь,— сказала незнакомка,— я благодарю господина, который, кажется, является хозяином дома, за прекрасный прием, оказанный мне, но поскольку, к сожалению, я не могу ответить на замечательное приглашение, то я прошу господина Луи де Франчи дать мне руку и отвести меня домой.

Луи де Франчи мгновенно оказался между господином де Шато-Рено и незнакомкой.

— Я хочу вам заметить, мадам,— процедил Шато-Рено, сжав от злости зубы,— я вас сюда привел и, следовательно, я вас и провожу.

— Господа,— сказала незнакомка,— вас здесь пятеро мужчин, и я полагаюсь на вашу честь. Я надеюсь, вы помешаете господину де Шато-Рено совершить надо мной насилие.

Шато-Рено сделал какое-то движение, и мы все сразу вскочили на ноги.

— Ну хорошо, мадам,— сказал он,— вы свободны. Я знаю, кто мне за это заплатит.

— Если вы обо мне, месье,— заметил Луи де Франчи с непередаваемым высокомерием,— вы можете найти меня завтра на улице Элдера, дом семь, я весь день буду дома.

— Хорошо, месье, возможно, я не буду иметь чести лично прийти к вам, но думаю, что вместо меня вы захотите принять двух моих друзей.

— Месье,— проговорил Луи де Франчи, пожимая плечами,— вы ведете себя непочтительно, назначая при даме подобное свидание. Пойдемте, мадам,— продолжил он, беря руку незнакомки.— Я от всего сердца благодарен вам за честь, которую вы мне оказали.

И оба вышли в полнейшей тишине.

— Ну так что, господа? — спросил Шато-Рено, когда дверь закрылась.— Я проиграл, вот и все. Завтра вечером я жду всех, кто здесь присутствует, у «Братьев Провансаль».

Он сел на один из свободных стульев и протянул свой бокал Д., который до краев его наполнил.

Однако все прекрасно понимали, отчего, несмотря на шумное веселье, Шато-Рено оставался мрачным до конца ужина.

XIV

На следующий день, или вернее в тот же день, в десять часов утра я был у дверей дома Луи де Франчи.

Поднимаясь по лестнице, я встретил двух молодых людей, которые спускались: один из них явно был светским человеком, другой, награжденный орденом Почетного Легиона, похоже, был военным, несмотря на партикулярное платье.

Я догадался, что эти два господина вышли от Луи де Франчи, и проводил их глазами до конца лестницы, затем продолжил свой путь и, подойдя к двери, позвонил.

Дверь открыл слуга, его хозяин был в кабинете.

Когда он вошел, чтобы доложить обо мне, Луи, который сидел и что-то писал, поднял голову.

— Ах, как кстати,— проговорил он, скомкав начатую записку и бросив ее в огонь,— эта записка предназначалась вам, я собирался отправить ее. Вот что, Жозеф, меня нет ни для кого.

Слуга вышел.

— Не встретились ли вам на лестнице два господина? — продолжил Луи, пододвигая кресло.

— Да, и один из них награжден.

— Да, да.

— Я догадался, что они вышли от вас.

— И вы правильно догадались.

— Они приходили от господина де Шато-Рено?

— Это его секунданты.

— Ах, черт возьми! Кажется, он принял все всерьез.

— Он и не мог поступить иначе, вы же понимаете,— ответил Луи де Франчи.

— И они приходили?..

— Просить меня послать к ним двух моих друзей, чтобы обсудить дело с ними; вот почему я подумал о вас.

— Сочту за честь вам услужить, но не могу же я поехать к ним один.

— Я попросил одного из своих друзей, барона Жирдано Мартелли прийти ко мне на завтрак. В одиннадцать часов он будет здесь. Мы позавтракаем вместе, а в полдень, сделайте одолжение, съездите к этим господам. Они обещали быть дома до трех часов. Вот их имена и адреса.

Луи передал мне две визитные карточки.

Одного звали барон Рене де Шатоград, другого господин Адриан де Буасси.

Первый жил на улице Мира, дом 12.

Другой, тот, о ком я догадался по его награде, был лейтенантом из полка Африканских стрелков и жил на улице де Лилль, дом 29.

Я вертел в руках визитки.

— Вас что-нибудь смущает? — спросил Луи.

— Скажите мне откровенно, относитесь ли вы к этому делу серьезно. Вы же понимаете, что от этого зависит наше поведение там.

— Ну конечно! Очень серьезно! Впрочем, вы должны понимать, что я нахожусь в распоряжении господина Шато-Рено, ведь это он прислал мне своих секундантов. Я ничего не могу поделать.

— Да, конечно... но...

— Оставим это, — ответил Луи, улыбаясь.

— Но... хотелось бы знать из-за чего вы деретесь. Нельзя же безучастно наблюдать, как два человека перережут друг другу горло, не зная причину поединка. Вы прекрасно понимаете, что положение секунданта обязывает относиться к этому строже самих участников поединка.

— Тогда я в двух словах расскажу о причине этой вражды. Слушайте.

Когда я приехал в Париж, один из моих друзей, капитан второго ранга, познакомил меня со своей женой. Она была красива, молода. Ее облик произвел на меня такое глубокое впечатление, что я, боясь влюбиться, старался как можно реже пользоваться полученным разрешением бывать у них в любое время.

Мой друг обвинял меня в безразличии, и я откровенно сказал ему правду, т. е. что его жена слишком хороша, чтобы я рисковал видеть ее чаще. Он улыбнулся,

взял меня за руку и настоял, чтобы я в тот же день пришел обедать к нему.

— Мой дорогой Луи,— сказал он мне за десертом,— я уезжаю через три недели в Мексику и, может быть, буду отсутствовать три месяца или шесть, а может, и дольше. Мы ведь моряки, мы знаем иногда время отправки, но никогда не знаем, когда вернемся. В мое отсутствие я оставляю на вас Эмилию. Эмилия, я вас прошу относиться к Луи де Франчи как к вашему брату.

Молодая женщина ответила мне, пожав руку.

Я был ошеломлен, не зная, что и ответить, и, должно быть, показался совсем глупым моей будущей сестре.

Три недели спустя мой друг действительно уехал.

Но за эти три недели по его настоянию я ходил к нему обедать по крайней мере раз в неделю.

Эмилия осталась со своей матерью, и нет нужды говорить, что доверие мужа сделало ее для меня недосыгаемой и что, любя ее больше, чем должен любить брат, я смотрел на нее только как на сестру.

Прошло шесть месяцев.

Эмилия жила у своей матери. Уезжая, ее муж настоял, чтобы она продолжала принимать. Мой бедный друг ничего так не опасался, как прослыть ревнивым мужем. Он обожал Эмилию и полностью ей доверял.

...Итак, Эмилия продолжала принимать. Но приемы были немногочисленными, а присутствие ее матери не давало возникнуть и малейшему поводу для упреков, и поэтому никому и в голову не приходило сказать хоть слово, задевающее ее репутацию.

Но вот примерно три месяца назад появился господин де Шато-Рено.

Вы верите в предчувствие? При его появлении я вздрогнул, он не сказал мне даже слова, он вел себя в гостинной, как подобает светскому человеку, но, однако, когда он ушел, я его уже ненавидел.

Почему? Сам не знаю.

Скорее всего потому, что заметил он явно испытывал то же чувство, что и я, когда в первый раз увидел Эмилию.

С другой стороны, мне показалось, что Эмилия приняла его с чрезмерным кокетством. Конечно, я ошибал-

ся. Но я вам говорил, что в глубине души не переставал любить Эмилию и поэтому ревновал.

На следующем приеме я не спускал глаз с де Шато-Рено. Возможно, он заметил, что я слежу за ним, и мне показалось, что, разговаривая вполголоса с Эмилией, он пыгался высмеять меня.

Если бы я послушался того, что подсказывало мне сердце, то в тот же вечер нашел бы предлог и дрался с ним, но я повторял себе, что такое поведение абсурдно.

И что же — каждая пятница стала для меня отныне пыткой.

Господин де Шато-Рено — человек с утонченными манерами, всегда элегантен, настоящий светский лев; я признавал, что у него было множество преимуществ передо мной, но мне казалось, что и Эмилия приняла его лучше, чем он того заслуживает.

Вскоре я обратил внимание, что не один вижу это предпочтение Эмилии по отношению к де Шато-Рено. И это предпочтение настолько возросло и стало таким заметным, что однажды Жиордано, который, как и я, часто бывал в этом доме, заговорил об этом со мной.

Тогда я принял решение самому поговорить с Эмилией, убежденный, что она просто не задумывалась над тем, что происходит, и что я лишь открою ей глаза на ее поведение, чтобы она изменила его до того, как ее обвинят в легкомыслии.

Но к моему большому удивлению Эмилия не восприняла всерьез мои замечания, утверждая, что я сошел с ума и тот, кто разделяет мои мысли на этот счет, тоже помешался.

Я настаивал.

Тогда Эмилия ответила, что не может на меня положиться в таком деле, потому что влюбленный мужчина будет непременно несправедливым судьей.

Я был просто ошеломлен, ибо это означало, что муж рассказал ей обо всем.

С этого момента, вы понимаете, представ в роли несчастного и ревнивого обожателя, я выглядел нелепо и неприглядно. Поэтому я прекратил ходить к Эмилии.

Хотя я и перестал присутствовать на приемах у Эмилии, но оставался в курсе ее дел... Я знал не меньше,

чем прежде, о том, что она делает, однако это меня совсем не радовало, потому что уже все стали замечать ухаживания де Шато-Рено за Эмилией и заговорили об этом вслух.

Я решился написать ей со всеми предосторожностями, на какие был способен. Я умолял ее именем отсутствующего мужа, который ей полностью доверяет, именем ее уже скомпрометированной чести здравомыслие осмыслить то, что она делает. Она мне не ответила.

Ничего не поделаешь! Любовь не зависит от нашей воли. Бедняжка любила. А так как она любила, то была слепа или, скорее всего, хотела таковой быть.

Спустя некоторое время я уже слышал, как открыто говорили, что Эмилия стала любовницей де Шато-Рено.

Не могу передать, как я страдал.

Это и заставило моего брата испытывать на себе отголоски моего горя.

Между тем прошло примерно недели две, и приехали вы.

В тот день, когда вы появились у меня, я получил анонимное письмо. Это письмо было от незнакомой мне женщины, которая назначила свидание на балу в Опере.

Она писала, что собирается мне сообщить кое-какие сведения, касающиеся одной знакомой мне дамы. В письме она упомянула только ее имя.

Это имя было — Эмилия.

Я должен был узнать автора письма по букету фиалок.

Я вам говорил, что не хотел идти на этот бал, но, повторяю, меня влекла туда судьба.

Я пришел и нашел эту женщину в условленное время и в назначенном месте. Она подтвердила то, что мне довелось уже слышать: де Шато-Рено был любовником Эмилией, и, поскольку я сомневался, а точнее, сделал вид, что сомневаюсь в этом, она в подтверждение своих слов рассказала о заключенном де Шато-Рено пари: привести свою новую любовницу на ужин к господину Д.

Случаю оказалось угодно, чтобы вы были знакомы с господином Д. и вас пригласили на этот ужин, позволив привести туда друга, и вы предложили мне пойти, я согласился.

Остальное вы знаете.

И теперь мне ничего другого не остается, как ждать и принимать сделанные мне предложения, так ведь?

Я ничего не мог на это ответить и лишь склонил голову.

— Но,— с сомнением проговорил я,— мне кажется, что ваш брат говорил мне о том, что вы никогда не держали в руках ни пистолета, ни шпаги.

— Это правда.

— Но вы же совершенно беззащитны перед вашим противником

— Что поделаты! Да поможет мне Господь!

XV

В этот момент слуга объявил о приходе барона Жирдано Мартелли.

Это был, как и Луи де Франчи, молодой корсиканец из провинции Сартен. Он служил в 11-м полку и в двадцать три года заслужил звание капитана своими блестящими военными подвигами. Но, конечно, сейчас он был одет в штатское.

— Ну что же,— сказал он, поздоровавшись со мной,— рано или поздно это должно было произойти. Судя по тому, что ты мне написал, по всей вероятности, сегодня должен последовать визит секундантов господина де Шато-Рено

— Они уже были у меня,— ответил Луи.

— Эти господа оставили свои адреса и имена?

— Вот их визитные карточки.

— Хорошо, твой слуга сказал мне, что уже накрыто к обеду, давайте поедим, а потом нанесем им визит.

Мы прошли в столовую и больше ни словом не упоминали о собравшем нас вместе деле.

Луи расспрашивал меня лишь о моем путешествии на Корсику, и мне наконец представился случай рассказать ему все, о чем читатель уже знает.

К этому времени, когда немного улеглось волнение, вызванное предстоящим поединком, его сердце вновь учащенно забилося при мысли о родине и семье.

Он заставил меня по двадцать раз повторять то, о чем говорили его брат и его мать. Он был очень тронут, зная истинно корсиканский характер Люсьена, теми стараниями, которые тот приложил, чтобы уладить вражду между Орланди и Колона.

Часы прозвонили полдень.

— Я совсем не хочу торопить вас, господа, но мне кажется, что подошло время визита к этим господам. Задерживаясь, мы дадим им повод подумать, что ими пренебрегают,— сказал Луи.

— О да, не волнуйтесь из-за этого,— вставил я,— они ушли отсюда всего лишь два часа назад, а вам нужно было время, чтобы предупредить нас.

— Неважно,— сказал барон Жиордано,— Луи прав.

— Ну, а теперь,— сказал я Луи,— мы должны знать, какое оружие вы предпочитаете: шпагу или пистолет.

— Боже мой, я вам говорил, мне это совершенно безразлично, я не владею ни тем ни другим. К тому же господин де Шато-Рено облегчит мне затруднения с выбором. Он, конечно, считает себя оскорбленным и, в связи с этим, может выбрать оружие по своему желанию.

— Еще неизвестно, кто из вас оскорбленный. Вы всего лишь предложили даме руку, откликаясь на ее просьбу.

— Послушайте,— сказал мне Луи,— любые рассуждения, по-моему, могут быть восприняты как желание уладить дело. Я весьма миролюбивый по натуре, вы это знаете, я вовсе не дуэлянт, тем более, это мой первый поединок, но именно поэтому я хочу выглядеть достойным игроком.

— Легко вам говорить, дружище, вы рискуете только своей жизнью, а нам придется нести ответственность за то, что случится, перед всей вашей семьей.

— О, об этом можете не беспокоиться. Я знаю своего брата и свою мать. Они лишь спросят вас: «Луи вел себя достойно, как подобает мужчине?» И когда вы им ответите: «Да»,— они скажут: «Ну вот и хорошо».

— Но, черт возьми, в конце концов нужно же нам знать, какое оружие вы предпочтете.

— Ладно, если вам предложат пистолет, сразу же соглашайтесь.

— Я тоже так считаю,— сказал барон.

— Пусть будет пистолет,— ответил я,— если вы этого оба хотите. Но пистолет — это скверное оружие.

— У меня разве есть время научиться владеть шпагой до завтра?

— Нет. Однако после хорошего урока у Грисьера вы, возможно, сможете защищаться.

Луи улыбнулся.

— Поверьте мне,— сказал он,— то, что произойдет со мной завтра утром, уже предписано сверху, и, чтобы мы ни делали, вы и я, мы ничего не изменим.

После этих слов мы пожали ему руку и ушли.

Естественно, первый визит мы нанесли секунданту, который жил неподалеку от нас.

Мы отправились к господину Рене де Шатогранду, жившему, как уже говорилось, на улице Мира, дом 12.

Он не принимал никого, кроме тех, кто придет от Луи де Франчи.

Мы объявили о цели нашего визита, вручили наши визитные карточки, и нас тотчас впустили.

Господина де Шатогранда мы нашли по-настоящему утонченным и светским. Он не захотел нас задерживать и затруднять еще одним визитом к господину де Буасси и сообщил нам, что они условились о следующем: тот, к кому первому мы придем, пошлет за другим.

Он послал своего лакея предупредить господина де Буасси, что мы ждем его здесь.

Пока мы ожидали, он не задал ни одного вопроса о деле, которое нас сюда привело. Мы говорили о бегах, охоте и Опере.

Через десять минут прибыл господин де Буасси.

Эти господа тоже не стали настаивать на выборе оружия. Шпага или пистолет — это было совершенно безразлично для де Шато-Рено, он предоставил выбор господину де Франчи или жребию. Мы подбросили в воздух луидор: орел — шпага, решка — пистолет. Луидор упал решкой.

Потом мы договорились, что поединок состоится завтра, в девять часов утра в Винсентском лесу, расстояние между противниками будет в двадцать шагов. Один из нас три раза хлопнет в ладоши, и после третьего хлопка они стреляют.

Мы поспешили сообщить обо всем де Франчи.

Этим же вечером я обнаружил у себя визитные карточки господ де Шатогранда и де Буасси.

В восемь часов вечера я был у де Франчи, чтобы узнать, нет ли для меня каких-нибудь поручений, но он попросил меня подождать до завтра, проговорив загадочно: «Ночь подскажет».

Однако на следующий день вместо того, чтобы прийти к нему к восьми часам, а этого было бы вполне достаточно, чтобы успеть на место к девяти, я был у Луи де Франчи в половине восьмого.

Он был в своем кабинете и писал.

На звук открываемой мною двери он обернулся.

Я заметил, что он очень бледен.

— Извините, — сказал он мне, — я заканчиваю письмо для матери. Садитесь, возьмите газету, если газеты уже пришли. Возьмите хотя бы «Прессу», там есть довольно забавный фельетон господина Мери.

Я взял упомянутую газету и сел, с удивлением отмечая разительный контраст между почти мертвенной бледностью и его спокойным, значительным и тихим голосом.

Я попытался читать, но глаза пробежали по строчкам, я не понимал их смысла.

Прошло пять минут.

— Я закончил, — сказал он.

Он позвонил и вызвал слугу:

— Жозеф, меня ни для кого нет дома, даже для Жиордано. Проведите его в гостиную. Я хочу, чтобы никто, кто бы то ни был, не помешал мне побыть десять минут наедине с этим господином.

Слуга закрыл дверь.

— Послушайте, — сказал он, — мой дорогой Александр Жиордано — корсиканец, и он мыслит по-корсикански, я не могу ему доверить то, что хочу. Я буду просить его сохранить тайну, и это все. Вас же я хочу попросить пообещать мне точно исполнить мои инструкции.

— Конечно! Это задание для секунданта?

— Задание гораздо более важное, потому что вы, можете быть, сможете уберечь нашу семью от второго несчастья.

— Второго несчастья? — спросил я удивленно.

— Возьмите, — он протянул мне письмо, — это то, что я написал матери, прочтите его.

Я взял письмо из рук де Франчи и стал читать его с возрастающим удивлением.

«Моя добрая мама,

Если бы я не знал, что вы сильны, как спартанка, и покорны, как христианка, я бы постарался изо всех сил, чтобы приготовить вас к ужасному событию, которое вас потрясет. Когда вы получите это письмо, у вас останется всего лишь один сын.

Люсьен, мой чудный брат, люби мать за нас двоих!

Позавчера у меня был приступ воспаления мозга. Я не обращал внимания на начальные симптомы, и врач приехал слишком поздно!

Милая мама, мне не на что больше надеяться, если только на чудо, но какое у меня право на то, чтобы надеяться, что Бог сотворит для меня это чудо?

Я пишу вам в момент просветления. Если я умру, то это письмо отнесут на почту через четверть часа после моей смерти, так как моя любовь к вам эгоистична и я хочу, чтобы вы знали, что я умер, не сожалея так ни о чем на свете, как о вашей нежности и о любви моего брата.

Прощайте, матушка.

Не плачьте. Вас любила душа, а не тело, и, где бы она не была, она будет вас любить вечно.

Прощай, Люсьен.

Никогда не покидай нашу мать и помни, что, кроме тебя, у нее никого нет.

*Ваш сын,
твой брат
'Луи де Франчи».*

Прочитав последние слова, я повернулся к тому, кто их написал.

— Итак, — сказал я, — что это значит?

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет.

— Я буду убит в девять часов десять минут.

— Вы будете убиты?

— Да.

— Да вы с ума сошли! Откуда у вас подобные сумасбродные мысли.

— Я не сумасшедший и не сумасброд, мой друг... Меня предупредили, вот и все.

— Предупредили? Кто?

— Разве мой брат не рассказывал вам, — спросил Луи, улыбаясь, — что мужчины в нашей семье пользуются своеобразной привилегией?

— Действительно,— проговорил я, чувствуя, что меня помимо моей воли начинает знобить.— Он говорил мне об этом.

— Так вот, сегодня ночью мне являлся мой отец, и именно поэтому вы нашли меня таким бледным. Вид мертвецов делает бледными живых.

Я смотрел на него с удивлением, граничащим с ужасом.

— Вы сказали, что видели вашего отца сегодня ночью?

— Да.

— И он говорил с вами?

— Он объявил мне о моей смерти.

— Это был, наверное, просто страшный сон,— сказал я.

— Нет, это была страшная реальность.

— Вы спали?

— Я бодрствовал... Вы не верите в то, что отец может посетить своего сына?

Я опустил голову, ведь в глубине души я и сам верил в эту возможность.

— Как это произошло? — спросил я.

— Боже мой, очень просто и естественно. Я читал, ожидая отца, ибо знал, что, если мне грозит какая-нибудь опасность, мой отец появится. В полночь моя лампа сама собой погасла, дверь медленно открылась и появился отец.

— Но как? — воскликнул я.

— Да как живой: одет в свою обычную одежду, но только очень бледный и с невидящими глазами.

— О, Боже...

— Он медленно приблизился ко мне. Я, лежа на кровати, приподнялся на локте.

— «Добро пожаловать, отец»,— сказал я ему.

Он приблизился ко мне, пристально на меня посмотрел, и мне показалось, что сила отцовской любви оживила этот мертвенный взгляд.

— Продолжайте... это ужасно!..

— Его губы шевелились, но странно: хотя его слова были беззвучны, я отчетливо слышал, как они звучали внутри меня, отчетливо и звонко, как эхо.

— И что он вам сказал?

— Он сказал мне: «Думай о Боге, сын мой!»

«Я буду убит на этой дуэли?» — спросил я. И увидел, как две слезы скатились из глаз призрака.

«В котором часу?»

Он показал пальцем на часы. Я посмотрел в указанном направлении. Часы показывали девять часов десять минут.

«Хорошо, отец, — ответил я. — Пусть исполнится Божия воля. Я покидаю мать, это так, но для того, чтобы соединиться с вами».

Бледная улыбка пошевелила его губы, и, сделав мне прощальный знак, он удалился.

Дверь сама открылась перед ним... Он исчез, и дверь сама закрылась.

Рассказ был так прост и очевиден, что стало ясно: или сцена, о которой рассказал де Франчи, произошла на самом деле, или в его воспаленном сознании — игра воображения, которую он принял за реальность и которая была так ужасна.

Я вытер пот, струившийся у меня по лицу.

— Так вот, — продолжил Луи, — вы ведь знаете моего брата, не так ли?

— Да.

— Как вы думаете, что он сделает, если узнает, что я был убит на дуэли?

— Он в ту же минуту покинет Суллакаро, чтобы драться с тем, кто вас убил.

— Правильно, и, если его тоже убьют, моя мать станет вдовой трижды: вдовой мужа и двух сыновей.

— О, я понимаю, это ужасно!

— Значит, этого нужно непременно избежать. Вот я и решил написать это письмо. Веря, что я умер от воспаления мозга, мой брат не будет никому мстить. Матери будет не так тяжело, если она поверит в то, что мною распорядилась воля Божья, а не рука человека. Разве только...

— Разве только?.. — повторил я.

— О! Ничего... — ответил Луи. — Я надеюсь, что этого не произойдет.

Я понял, что он, отвечая сам себе, чего-то опасался. Я не стал его больше ни о чем спрашивать.

В этот момент открылась дверь.

— Дорогой мой де Франчи, — проговорил барон де Жиордано, — я повиновался твоему запрету насколько это было возможно, но уже восемь часов, а встреча в де-

вать. Нам нужно проделать около полутора лье, и поэтому нужно выезжать.

— Я готов, мой милый, — ответил Луи. — Войди. Я сказал уже все, что собирался сказать.

Он посмотрел на меня и приложил палец к губам.

— Что касается тебя, мой друг, — продолжил он, поворачиваясь к столу и беря запечатанное письмо, — то вот тебе поручение. Если со мной произойдет несчастье, прочитай это письмо и, я прошу тебя, сделай все, о чем я тебя в нем прошу.

— Хорошо!

— Вы принесли оружие?

— Да, — ответил я. — Но в последний момент я заметил, что заедают курки. Поэтому, когда будем проезжать, возьмем пистолеты у Девизма.

Луи посмотрел на меня, улыбаясь, и пожал мне руку. Он понял, что я не хотел бы, чтобы он был убит из моих пистолетов.

— У вас есть экипаж? — спросил Луи. — Или послать за ним Жозефа?

— Я на двуколке, — сказал барон, — и, потеснившись, мы уместимся там втроем. И поскольку мы уже немного опаздываем, то приедем гораздо быстрее на моих лошадях, чем на нанятых экипажных.

— В путь, — сказал Луи.

Мы спустились. У двери нас ждал Жозеф.

— Мне пойти с вами, месье? — спросил он.

— Нет, Жозеф, — ответил Луи, — нет, это ни к чему, вы мне не нужны.

Затем, немного поотстав:

— Возьмите, друг мой, — сказал он и положил ему в руку столбик золотых монет, — и, если порой, когда я был в плохом настроении, я был с вами резок, простите меня.

— О! месье, — воскликнул Жозеф со слезами на глазах, — что это значит?

— Тише! — проговорил Луи.

Он вскочил в коляску и сел между нами.

— Он был хорошим слугой. — Луи последний раз посмотрел на Жозефа. — И если вы сможете ему чем-либо помочь, кто-нибудь из вас, то я вам буду признателен за это.

— Ты что, увольняешь его? — спросил барон.

— Нет,— ответил Луи, улыбаясь,— я его покидаю, вот и все.

Мы остановились у дверей Девизма только для того, чтобы взять пистолеты, порох и пули, затем тронулись в путь, пустив лошадей крупной рысью.

XVII

Мы прибыли в Винсент без пяти девять.

Еще одна коляска остановилась одновременно с нашей— это была коляска де Шато-Рено.

Мы въехали в лес двумя разными дорогами. Наши кучера должны были поставить коляски рядом на большой аллее.

Через несколько минут все были на месте встречи.

— Господа,— сказал Луи,— вы знаете— никаких приглашений.

— Однако...— проговорил я, приближаясь.

— О, мой друг, помните, что после того доверия, которое я вам оказал, вы не должны настаивать на том, чтобы с чем-то соглашаться или что-то предлагать.

Я склонил голову перед этой безоговорочной волей, которая для меня была волей свыше.

Мы оставили Луи у коляски, а сами направились к де Буасси и де Шатогранду.

Барон Жиордано держал в руке коробку с пистолетами.

Мы обменялись приветствиями.

— Господа,— сказал барон Жиордано,— в наших обстоятельствах уместно будет ограничиться самыми короткими приветствиями, потому что с минуты на минуту нам могут здесь помешать. Наша обязанность была принести оружие— вот оно. Можете их проверить, они только что куплены у оружейного мастера, и мы даем слово, что господин Луи де Франчи их даже и не видел.

— Излишне было давать слово, месье,— ответил виконт де Шатогранд,— мы знаем, с кем имеем дело.

И, взяв пистолет, в то время как де Буасси взял другой, оба секунданта проверили их исправность и уточнили калибр.

— Это пистолеты для обычной стрельбы, ими еще никогда не пользовались,— сказал барон.— Мы привезли оружие, а вам его заряжать.

Молодые люди взяли по пистолету, точно отмерили одинаковое количество пороха, взяв наугад две пули, и вбили их в дула деревянными молотками.

Во время этой операции, принимать участие в которой у меня не было ни малейшего желания, я подошел к Луи, встретившему меня улыбкой.

— Не забудьте ни о чем, что я вас просил,— сказал он мне,— и добейтесь от Жиордано, которого я также просил в письме, оставленном для него, чтобы он ничего не рассказывал ни моей матери, ни брату. Позаботьтесь также о том, чтобы газеты ни словом не обмолвились об этом деле, или, уж если и напишут что-нибудь, то пусть не упоминают имен.

— Вы все еще находитесь в этом ужасном убеждении, что дуэль будет для вас роковой? — спросил я.

— Я убежден в этом больше, чем когда-либо. Вы мне, по крайней мере оставьте это право, хорошо? Чтобы я принял смерть как настоящий корсиканец.

— Ваше спокойствие, мой дорогой де Франчи, настолько велико, что это дает мне надежду, что вы сами в это не верите.

Он достал часы.

— Мне осталось жить еще семь минут,— сказал он,— возьмите, вот мои часы, сохраните их, я вас прошу, в память обо мне: это великолепный брегет.

Я взял часы и пожал руку де Франчи.

— Надеюсь вернуть их вам через восемь минут,— сказал я.

— Не будем больше об этом говорить, видите, к нам идут,— ответил он.

— Господа,— сказал подойдя де Шатогранд,— здесь справа должна быть поляна, которой я сам воспользовался в прошлом году. Давайте ее поищем. Это будет лучше, чем в аллее, где нас могут увидеть и помешать.

— Ведите нас, месье,— сказал барон де Жиордано Мартелли,— мы пойдем за вами.

Виконт пошел первым, мы следом, образуя две группы. Действительно, скоро мы оказались, после почти незаметного спуска, посреди поляны, которая раньше, несомненно, была прудом. После того как пруд высох, об-

разовался овраг, окруженный со всех сторон склонами. Площадка, как будто специально созданная, чтобы служить театром для сцены, подобной той, которая здесь должна была разыграться.

— Месье Мартелли,— спросил виконт,— вы не хотите вместе со мной отсчитать шаги?

Барон ответил утвердительным жестом, и, идя рядом с де Шатограндом, они отмерили двадцать шагов.

Я на несколько секунд вновь остался один на один с де Франчи.

— Кстати,— сказал он,— вы найдете мое завещание на столе, там, где я писал, когда вы вошли.

— Хорошо,— ответил я,— будьте спокойны.

— Господа, если вы готовы...— сказал виконт де Шатогранд.

— Я готов,— ответил Луи.— Прощайте, мой друг, спасибо за все, что вы сделали для меня, не считая того,— добавил он с меланхолической улыбкой,— что вы для меня еще сделаете.

Я взял его за руку: она была холодной, но не дрожала.

— Послушайте,— сказал я ему,— забудьте видение этой ночи и цельтесь как можно лучше.

— Прощайте!

По дороге он встретил барона Жиордано, который держал предназначенный ему пистолет, взял его, взвел курок, даже не посмотрев на него, пошел на свое место, отмеченное носовым платком.

Господин де Шато-Рено стоял уже на своем.

В полном молчании оба молодых человека поприветствовали своих секундантов, затем секундантов своих противников, а потом друг друга.

Шато-Рено казался привычным к подобного рода делам. Он улыбался как человек, уверенный в своих силах. Возможно, он знал, что Луи де Франчи сегодня впервые взял в руки пистолет.

Луи был спокоен и холоден, его красивая голова была похожа на мраморный бюст.

— Итак, господа,— объявил де Шато-Рено,— вы видите, мы ждем.

Луи посмотрел на меня в последний раз, а потом, улыбнувшись, поднял глаза к небу.

— Господа, приготовьтесь,— сказал Шатогранд.

Затем он стал считать, хлопая в ладоши:

— Раз... два... три...

Два выстрела слились в один.

В это же мгновение я увидел, как Луи де Франчи, дважды обернувшись вокруг себя, опустился на одно колено.

Де Шато-Рено остался стоять: был слегка задет лишь лацкан его редингтона.

Я поспешил к Луи де Франчи.

— Вы ранены? — спросил я.

Он попытался мне ответить, но не смог: на губах его появилась кровавая пена.

Тогда он бросил пистолет и поднес руку к правой стороне груди.

Мы с трудом рассмотрели на его редингтоне дырку, в которую бы мог войти кончик мизинца.

— Господин барон, — закричал я, — бегите в казарму и приведите полкового хирурга.

Но де Франчи собрал силы и остановил Жиордаю, сделал ему знак, что это уже бесполезно.

Тут он упал на второе колено. Де Шато-Рено тотчас удалился, но оба его секунданта приблизились к раненому.

Мы же тем временем расстегнули редингтон и разорвали жилет и рубашку.

Пуля вошла под шестым ребром справа и вышла немного выше левого бедра.

При каждом вздохе умирающего кровь фонтанировала из обеих ран.

Было очевидно, что рана была смертельной.

— Господин де Франчи, — сказал виконт де Шато-гранд, — мы огорчены, поверьте, всей этой печальной историей, и мы надеемся, что вы не держите зла на господина де Шато-Рено.

— Да... да... — пробормотал раненый, — да, я прощаю его. но пусть он уедет... пусть он куда-нибудь уедет...

Затем, с трудом повернувшись ко мне:

— Помните о своем обещании, — проговорил он — А теперь, — сказал он, улыбаясь, — посмотрите на часы.

Он вновь упал и издал тяжелый вздох.

Это был его последний вздох.

Я посмотрел на часы: было ровно девять часов десять минут.

Потом я закрыл глаза Луи де Франчи: он был мертв.

Мы отвезли труп домой, в то время как барон де Жиордано поехал сделать заявление в комиссариат полиции квартала; вместе с Жозефом я поднял его в комнату.

Бедный парень заливался горючими слезами.

Входя, я помимо своей воли посмотрел на часы. Они показывали девять часов десять минут.

Конечно, их просто забыли завести, и они остановились, отмечая это время.

Через минуту барон Жиордано вернулся вместе с судебными исполнителями, которые, предупрежденные им, принесли свои печати, чтобы опечатать квартиру.

Барон хотел отправить письма друзьям и знакомым умершего, но я попросил его прежде прочитать письмо, которое написал ему Луи де Франчи перед нашим уходом.

Это письмо содержало просьбу скрыть от Люсьена причину его смерти, просьбу никого не посвящать в эту тайну и похороны устроить без помпы и шума.

Барон Жиордано взял на себя все эти хлопоты, а я сразу же навестил господ де Буасси и де Шатогранда, чтобы попросить их хранить молчание об этом трагическом поединке и предложить де Шато-Рено на какое-то время покинуть Париж, не говоря ему по какой причине они так настаивают на его отъезде.

Пообещав помочь в моем деле, насколько это в их власти, они пошли к де Шато-Рено, я же отнес на почту письмо, адресованное мадам де Франчи, в котором сообщалось, что ее сын только что умер от воспаления мозга.

XVIII

Вопреки обычаям, эта дуэль наделала мало шума.

Даже газеты, эти громогласные и лживые общественные рупоры, промолчали.

Всего лишь несколько самых близких друзей провожали тело несчастного молодого человека на Пер-Лашез. Единственно, несмотря на неоднократные настоятельные просьбы к де Шато-Рено, он отказался покинуть Париж.

Был момент, когда я следом за письмом Луи к семье хотел послать свое письмо, но хотя цель и была возвы-

шенной, ложь по отношению к смерти сына и брата мне претила. Я был убежден, что Луи перед этим долго боролся с собой и что у него были важные причины, о которых он мне рассказал, чтобы решиться на это.

Я рисковал быть обвиненным в безразличии или даже в неблагодарности, сохраняя молчание. И я был убежден, что и барон де Жиордано также переживал.

Через пять дней после случившегося, где-то около одиннадцати часов вечера, я работал за столом у камина, один, в довольно мрачном расположении духа, когда вошел мой слуга, быстро закрыл за собой дверь и весьма взволнованным голосом сказал, что господин де Франчи хочет со мной поговорить.

Я повернулся и пристально на него посмотрел: он был очень бледный.

— Что вы сказали, Виктор? — переспросил я.

— О, месье, — ответил он, — правда, я сам ничего не понимаю.

— Какой еще господин де Франчи хочет со мной поговорить? Ну!

— Друг месье... я видел как он приходил к вам один или два раза...

— Вы с ума сошли, мой дорогой! Вы разве не знаете, что пять дней назад мы пережили горечь его потери?

— Да, месье, и вот из-за этого, месье видит, я так взволнован. Он позвонил, я был в прихожей и открыл дверь. Я сразу же отскочил, когда увидел его. Он вошел и спросил, дома ли месье. Я был так взволнован, что ответил да. И он мне сказал: «Ступайте сообщите ему, что господин де Франчи просит разрешения с ним поговорить», вот почему я пришел.

— Вы сошли с ума, мой дорогой! Прихожая была слабо освещена, и вы, конечно, плохо видели, вы все еще не проснулись и не расслышали. Вернитесь и спросите еще раз имя.

— О, это совершенно бесполезно, и уверяю, месье, что не ошибаюсь: я хорошо видел и хорошо слышал.

— Тогда пусть войдет.

Виктор, весь дрожа, вернулся к двери, открыл ее и потом, оставаясь внутри комнаты, сказал:

— Пусть месье соблаговолит войти.

И я услышал, несмотря на то, что ковер их приглушал, шаги, которые пересекли прихожую и приблизились к моей комнате, затем почти сразу же я действительно увидел, как на пороге двери появился господин де Франчи.

Признаюсь, что первым охватившим меня чувством было чувство ужаса. Я поднялся и сделал шаг назад.

— Извините, что беспокою вас в подобный час,— сказал мне господин де Франчи,— но я приехал всего лишь десять минут назад, и вы понимаете, что я не хотел ждать до завтра, чтобы прийти поговорить с вами.

— О, мой дорогой Люсьен,— воскликнул я, бросившись к нему и обняв,— это вы, это ведь вы!

И помимо воли я прослезился.

— Да,— сказал он,— это я.

Я подсчитал, сколько времени прошло: едва ли письмо должно было дойти, не говоря уже о Суллакаро, но даже и до Айяччо.

— О, Боже мой,— воскликнул я,— так вы ничего не знаете!

— Я знаю все,— сказал он.

— Как это все?

— Да, все.

— Виктор,— сказал я, поворачиваясь к слуге, все еще не пришедшему в себя,— оставьте нас, или лучше вернитесь через четверть часа с сервированным подносом: вы поужинаете со мной, Люсьен, и вы останетесь здесь ночевать, не так ли?

— Я согласен со всем этим,— сказал он,— я не ел от самого Оксерра. Тем более меня никто не знает, и к тому же,— добавил он с очень печальной улыбкой,— из-за того, что все принимают меня за моего бедного брата, меня не впустили в его дом, и я ушел, оставив всех в сильном смятении.

— Это и понятно, мой дорогой Люсьен, ваше сходство с Луи так велико, что даже я сам сейчас был поражен.

— Как! — воскликнул Виктор, который все еще не мог собраться с силами и уйти.— Месье — это брат?..

— Да, но сейчас идите и принесите нам поесть.

Виктор ушел, мы остались одни.

Я взял Люсьена за руку, подвел к креслу и сам сел рядом с ним.

— Но,— проговорил я, все больше поражаясь тому, что вижу его,— вы, должно быть, были уже в дороге, когда узнали эту ужасную новость?

— Нет, я был в Суллакаро.

— Невозможно! Письмо вашего брата едва ли еще пришло.

— Вы забыли балладу о Бюргере, мой дорогой Александр. «Мертвые ходят быстро!»

Я содрогнулся.

— Что вы хотите сказать? Объясните, не понимаю.

— А вы не забыли, что я вам рассказывал о видениях в нашей семье?

— Вы видели вашего брата? — воскликнул я.

— Да.

— Когда же?

— В ночь с шестнадцатого на семнадцатое.

— И он вам все сказал?

— Все.

— Он вам сказал, что он мертв?

— Он мне сказал, что убит: мертвые не лгут.

— А он вам сказал, как это произошло?

— На дуэли.

— С кем?

— С господином де Шато-Рено.

— Не может быть! — воскликнул я.— Нет, вы узнали об этом каким-то другим путем?

— Вы думаете, что я расположен шутить?

— Извините! Но, в самом деле, то, что вы говорите, так необычно. И все что с вами происходит, с вами и вашим братом, настолько выходит за рамки привычного...

— Что вы не хотите в это верить, не так ли? Я понимаю! Но посмотрите,— сказал он и распахнул рубаху, показывая мне синюю отметину на коже над шестым правым ребром,— в это вы верите?

— Действительно,— воскликнул я,— именно на этом месте была рана у вашего брата.

— И пуля вышла вот здесь, не так ли?..— продолжил Люсьен, показывая пальцем над левым бедром.

— Фантастично! — воскликнул я.

— А теперь,— сказал он,— хотите я вам скажу в каком часу он умер?

— Говорите!

— В девять часов десять минут.

— Послушайте, Люсьен, расскажите мне все по порядку: я ума не приложу, о чем вас спросить, чтобы услышать ваши невероятные ответы. Мне больше по душе связанный рассказ.

XIX

Люсьен облокотился на кресло, пристально посмотрел на меня и продолжил:

— Да, Боже мой, все очень просто. В день, когда убили брата, я выехал на лошади ранним утром, собираясь навестить наших пастухов со стороны Карбони. Как вдруг, после того как я посмотрел на часы и убрал их в карман жилета, я получил такой сильный удар под ребро, что потерял сознание. Когда я вновь открыл глаза, то уже лежал на земле и меня поддерживал Орланди, который поливал мне водой лицо. Моя лошадь была в четырех шагах от меня, она стояла, повернув морду ко мне, раздувая ноздри и отфыркиваясь.

— Так что же с вами случилось? — спросил Орланди.

— Боже, — ответил я, — да я и сам ничего не знаю. А вы не слышали выстрела?

— Нет.

— Мне кажется, что мне сюда попала пуля.

И я показал ему место, где ощущал боль.

— Во-первых, — заметил он, — не было никакого выстрела ни из ружья, ни из пистолета, а во-вторых, у вас нет дырки на сюртуке.

— Значит, — ответил я, — это убили моего брата.

— А, это другое дело, — ответил он.

Я расстегнул сюртук и нашел отметину, которую только что вам показал. Единственное, она поначалу была свежей и казалась кровоточащей.

На какое-то мгновение я потерял контроль над собой, настолько я был сломлен этой двойной болью: физической и моральной. Я хотел вернуться в Суллакаро, но я подумал о матери: она ждала меня лишь к ужину, и надо было как-то объяснить причину возвращения, а мне ей нечего было сказать.

С другой стороны, я не хотел, будучи не совсем уверенным, объявлять ей о смерти брата.

Я продолжил свой путь и вернулся домой лишь в шесть часов вечера.

Моя бедная мать встретила меня как обычно; было очевидно, что она ни о чем не догадывается.

Сразу после ужина я пошел в свою комнату. Когда я проходил по коридору, который вы помните, ветер задул свечу.

Я хотел спуститься, чтобы вновь ее зажечь, когда вдруг заметил сквозь дверные щели свет в комнате брата.

Я подумал, что Гриффо, должно быть, что-то делал в этой комнате и забыл унести лампу.

Я толкнул дверь: восковая свеча горела около кровати брата, а на кровати голый и окровавленный лежал мой брат.

Признаюсь, минуту я стоял, застыв от ужаса, потом подошел.

Я дотронулся до него.. Он уже был холодным. Он получил сквозную рану именно в том месте, где я почувствовал удар, и несколько капель крови стекали с лиловых краев раны.

Для меня стало ясно, что мой брат убит.

Я упал на колени, склонил голову у кровати и, закрыв глаза, прочитал молитву.

Когда я их вновь открыл, то увидел, что нахожусь в полной темноте, свеча погасла, а видение исчезло.

Я ощупал кровать, она была пуста.

Знаете, я, признаюсь, считал себя достаточно храбрым, но, когда я на ощупь выходил из комнаты, у меня волосы дыбом стояли, а по лицу струился пот.

Я спустился, чтобы взять другую свечу. Мать, увидев меня, вскрикнула.

— Что с тобой? — спросила она. — И почему ты такой бледный?

— Со мной ничего не произошло, — ответил я.

И, взяв другой подсвечник, я ушел наверх.

На этот раз свеча больше не гасла, и я зашел в комнату брата. Она была пуста.

Восковая свеча исчезла, и не было никаких вмятин на матрасе.

На полу лежала моя первая свеча, которую я вновь зажег.

Несмотря на то, что новых доказательств не было, я к тому времени уже достаточно видел, чтобы убедиться.

В девять часов десять минут утра мой брат был убит, я вышел и спал той ночью очень беспокойно.

Как вы понимаете, мне потребовалось много времени, чтобы заснуть. Наконец усталость поборола волнение и мной овладел сон.

Но это все продолжалось уже в виде сна: я видел, как разворачивалось действие, я видел мужчину, который его убил, и слышал, как произнесли его имя: его звали де Шато-Рено.

— Увы! Это все слишком правдоподобно,— проговорил я.— Но зачем вы приехали в Париж?

— Я приехал, чтобы убить того, кто убил моего брата.

— Убить его?..

— О, не беспокойтесь, не по-корсикански: не из-за ограды или со стены, нет, нет, по-французски: в белых перчатках, жабо и манжетах.

— А мадам де Франчи знает, что вы приехали в Париж с этим намерением?

— Да.

— И она отпустила вас?

— Она поцеловала меня и сказала: «Езжай!» Моя мать — настоящая корсиканка.

— И вы приехали!

— Вот он я.

— Но когда ваш брат был жив, он не хотел, чтобы за него мстили.

— А он изменил свою точку зрения с тех пор как умер,— сказал Люсьен, горько усмехаясь.

В это время вошел слуга, неся ужин: мы сели за стол.

Люсьен ел как обыкновенный беззаботный человек.

После ужина я проводил его в отведенную ему комнату. Он поблагодарил меня, пожал мне руку и пожелал спокойной ночи.

Такое спокойствие наступает у сильных натур после принятия ими твердого решения.

На следующий день он вошел ко мне сразу, как узнал от слуги, что я встал.

— Вы не хотите поехать со мной в Винсенн? — спросил он.— Дело в том, что я собираюсь сходить поклониться месту гибели брата. Если у вас нет времени, я поеду один.

— Как это один! А кто вам покажет место?

— О, я его легко узнаю, разве я вам не говорил, что оно предстало перед моим взором во сне?

Мне было любопытно узнать, насколько было точным это необыкновенное видение.

— Я еду с вами,— сказал я.

— Хорошо. Собирайтесь, а я тем временем напишу Жюрдано. Вы позволите мне использовать вашего слугу, чтобы он отнес письмо?

— Он в вашем распоряжении.

— Спасибо.

Он вышел и вернулся через десять минут с письмом, которое вручил слуге.

Я отправился искать коляску. Мы сели и поехали в Винсеннский лес. Когда мы добрались до перекрестка, Люсьен спросил:

— Мы уже приближаемся, не так ли?

— Да, в двадцати шагах отсюда мы входили тогда в лес.

— Вот мы и приехали,— проговорил молодой человек, останавливая коляску.

И он не ошибся.

Люсьен не колеблясь вошел в лес, как будто он уже много раз бывал здесь. Он повернул направо к оврагу, потом ненадолго остановился, чтобы сориентироваться, и пошел вперед точно к тому месту, где упал его брат, затем наклонился к земле и, увидев под ногами красноватое пятно, сказал:

— Это здесь.

Он медленно опустил голову и поцеловал траву.

Поднявшись, он с горящими глазами пересек дно оврага и направился туда, откуда стрелял де Шато-Рено:

— Он стоял здесь,— сказал он, топнув ногой.— И здесь вы его увидите лежащим завтра.

— Как это завтра? — спросил я.

— Да. Он негодяй, и завтра я посчитаюсь с ним.

— Но, дорогой мой Люсьен,— сказал я,— вы же знаете, что во Франции обычно дуэль не влечет за собой каких-либо других последствий, кроме естественных для поединка. Господин Шато-Рено дрался с вашим братом, которого он вызвал. Но вы-то здесь непричастны.

— По-вашему, выходит, что у господина де Шато-Рено было право потребовать сатисфакции у моего брата только потому, что он предложил свою помощь женщине, которую Шато-Рено трусливо обманул? И вы считаете, что он мог вызвать на дуэль моего брата? Господин де Шато-Рено убил моего брата, который никогда не держал в руках пистолет. Он убил его с таким спокойствием, словно стрелял вон в ту косулю, которая смотрит на нас, а я, значит, не имею права вызвать де Шато-Рено? С этим я не согласен!

Я молча склонил голову.

— Впрочем,— продолжил он,— вам ничего не придется делать для этого. Не беспокойтесь, сегодня утром я написал Жиордано, и, когда мы вернемся в Париж, все будет сделано. Вы думаете, что де Шато-Рено не примет мой вызов?

— Господин де Шато-Рено, к сожалению, имеет репутацию смельчака, которая, должен признаться, не позволяет мне иметь ни малейшего сомнения в этом отношении.

— Ну, что же, отлично,— сказал Люсьен.— Пойдем же завтракать.

Мы вышли из аллеи и сели в коляску.

— Кучер,— сказал я,— улица де Риволи.

— Нет, нет,— сказал Люсьен,— завтракать отведу вас я... Кучер, в «Кафе де Пари». Ведь там обычно обедал мой брат?

— Мне кажется, да.

— И там я назначил свидание Жиордано.

— Ну, что ж, поехали в «Кафе де Пари».

Через полчаса мы были у дверей ресторана.

ХХ

Приход Люсьена в зал ресторана стал новым подтверждением поразительного сходства между ним и его братом.

Слух о смерти Луи уже разошелся, возможно, не во всех деталях, это понятно, но разошелся. И появление Люсьена, казалось, поглотило всех в изумление.

Я заказал кабинет в глубине зала.

Люсьен принялся читать газеты с хладнокровием, которое смахивало на бесчувственность.

Жиордано пришел к середине завтрака.

Молодые люди не видели друг друга четыре или пять лет, однако пожатие руки было единственным проявлением дружбы, которое они себе позволили.

— Так вот, все улажено,— сказал барон.

— Господин де Шато-Рено согласен?

— Да, при условии, что потом его оставят в покое.

— О, в этом он может быть уверен: я последний из де Франчи. Он вас принимал лично или вы говорили с его секундантами?

— С ним самим. Он обязался предупредить господ де Буасси и де Шатогранда. Что касается оружия, времени и места, то они будут теми же.

— Чудесно... Устраивайтесь вон там и завтракайте. Барон сел, и мы заговорили о других вещах.

После завтрака Люсьен попросил нас познакомить его с комиссаром полиции, который все опечатывал, чтобы тот представил его владельцу дома, в котором жил его брат. Он хотел провести эту ночь, отделявшую его от мести, в комнате Луи.

Все эти хлопоты заняли какую-то часть дня, и только лишь к пяти вечера Люсьен смог войти в квартиру брата. Мы оставили его одного: нужно было уважать его чувство горя.

Люсьен назначил нам свидание на восемь часов следующего дня, попросив меня иметь при себе те же самые пистолеты, даже купить их, если они продаются.

Я сразу же пошел к Девизму, и сделка удалась с помощью шестисот франков. На завтра без четверти восемь я был у Люсьена.

Когда я вошел, он сидел на том же месте и писал за тем же столом, где я застал пишущим его брата. На губах его была улыбка, хотя он был очень бледен.

— Здравствуйте,— сказал он,— я пишу матери.

— Надеюсь, что вы сообщаете ей новость менее трагичную, чем та, о которой сообщал ваш брат ровно восемь дней тому назад.

— Я сообщаю ей, что она может спокойно молиться за своего сына и что он уже отомщен.

— Как вы можете говорить с такой уверенностью?

— Разве мой брат не рассказал вам заранее о сво-

ей смерти? Так вот, я тоже заранее объявляю вам о смерти де Шато-Рено.

Он поднялся и, касаясь моего виска, сказал:

— Смотрите, я пошлю ему пулю вот сюда.

— А вы?

— Меня он даже не заденет!

— Но подождите хотя бы исхода этой дуэли, прежде чем отправлять письмо.

— В этом нет необходимости.

Он позвонил. Появился слуга.

— Жозеф,— сказал он,— отнесите это письмо на почту.

— Так вы опять видели вашего брата?

— Да,— ответил он.

Станным было то, что в этих двух дуэлях, которые следовали одна за другой, один из противников приговорен заранее. Тем временем пришел барон Жиордано. Было восемь часов. И мы отправились в путь.

Люсьен очень торопился доехать и так подгонял кучера, что мы прибыли на место за десять минут до назначенного часа.

Наши противники приехали ровно в девять. Все трое были верхом, и их сопровождал слуга, также верхом на лошади.

Де Шато-Рено держал руку в кармане, и я сперва даже подумал, что она у него на перевязи.

В двадцати шагах от нас все спешились, отдав поводья слугам.

Де Шато-Рено остался позади и бросил взгляд в сторону Люсьена. Даже на таком расстоянии я заметил, как он побледнел. Он отвернулся и стал развлекаться тем, что плетью, которую держал в левой руке, принялся срывать небольшие цветы, торчащие из травы.

— Мы готовы, господа,— сказали нам господа де Шато-гранд и де Буасси.— Но вам известны условия: эта дуэль последняя и каким бы ни был исход, господин де Шато-Рено ни перед кем больше не будет отвечать за двойной результат.

— Хорошо, договорились,— ответили Жиордано и я.

Люсьен поклонился в знак согласия.

— Оружие у вас, господа? — спросил виконт де Шато-гранд.

— Да.

— Оно не знакомо господину де Франчи?

— Больше, чем господину де Шато-Рено, который пользовался им уже один раз, а господин де Франчи его даже еще и не видел.

— Хорошо, господа. Идемте, Шато-Рено.

Вскоре мы вошли в лес, не произнеся ни слова. Еще была жива в памяти та сцена, которую нам вновь предстояло пережить. Каждый из нас чувствовал, что сейчас произойдет нечто не менее ужасное.

Мы спустились в овраг.

Шато-Рено благодаря своей выдержке казался спокойным, но тот, кто его видел на этих двух встречах, мог, однако, заметить перемену.

Время от времени он украдкой бросал взгляды на Люсьена, и в этих взглядах было что-то очень похожее на ужас и беспокойство.

Может быть, его так беспокоило это необыкновенное сходство двух братьев, и, возможно, он видел в Люсьене мстительную тень Луи.

Пока занимались пистолетами, я наконец увидел, как он вытащил руку из сюртука: его рука была обернута намоченным платком, который должен был сдерживать лихорадочную дрожь.

Люсьен ждал его со спокойным и неподвижным взглядом, как человек, который уверен, что он отомстит.

Без нашей помощи Люсьен занял место, где стоял его брат, это, естественно, заставило де Шато-Рено направиться к тому месту, где он уже стоял раньше.

Люсьен взял свой пистолет с радостной улыбкой.

Шато-Рено, беря пистолет, стал мертвенно-бледным. Потом он провел рукой между галстуком и шеей, будто бы галстук его душил.

Я не мог отделаться от произвольного чувства ужаса, с которым смотрел на этого молодого человека: красивого, богатого, элегантного, который еще накануне утром верил, что впереди у него долгая жизнь, и который сегодня, обливаясь потом, с замиранием сердца чувствовал себя приговоренным.

— Господа, вы готовы? — спросил де Шатоград.

— Да, — ответил Люсьен.

Де Шато-Рено сделал утвердительный знак.

Что касается меня, то я отвернулся, ибо у меня не хватило решимости смотреть на все это.

Я услышал, как один за другим прозвучали два хлопка руками, а затем раздались выстрелы из двух пистолетов.

Я повернулся.

Шато-Рено распростерся на земле, убитый наповал, не успев ни вздохнуть, ни пошевелиться.

Я приблизился к труп, движимый тем непреодолимым любопытством, которое толкает вас наблюдать за катастрофой до конца. Пуля попала ему в висок в том самом месте, куда указал Люсьен.

Я подбежал к нему: он оставался спокоен и неподвижен, но, увидев, что я к нему подошел, он бросил свой пистолет и кинулся ко мне в объятия.

— О, мой бедный брат! — воскликнул он.

И он разрыдался.

Это были его первые слезы.

Содержание

БЛЭК

Перевод Балахонцевой Е. В.

Глава I, в которой читатель знакомится с двумя главными персонажами романа	7
Глава II, в которой мадемуазель Марианна обнаруживает свой характер	15
Глава III. Внутренний и внешний вид дома шевалье де ля Гравери	24
Глава IV, в которой рассказывается, когда и при каких обстоятельствах родился шевалье де ля Гравери	29
Глава V. Первая и последняя любовь шевалье де ля Гравери	38
Глава VI. Как шевалье де ля Гравери служил в серых мушкетерах	45
Глава VII, в которой случилось событие, на три месяца освободившее шевалье де ля Гравери от конвойной службы .	54
Глава VIII, в которой шевалье де ля Гравери заводит новые знакомства	63
Глава IX. Разбитое сердце	77

Глава X, в которой доказывается, что путешествия закаляют характер юношей	85
Глава XI. Мааунн	94
Глава XII. Как шевалье де ля Гравери научился плавать . . .	103
Глава XIII. Человек предполагает, а Бог располагает . . .	110
Глава XIV. Возвращение во Францию	121
Глава XV, в которой шевалье отдает последний долг капитану и поселяется в Шартре	128
Глава XVI, в которой автор возобновляет нить своего прерванного повествования	135
Глава XVII. Галлюцинация	146
Глава XVIII, в которой Марианне становятся известными заботы шевалье	157
Глава XIX. Два младших лейтенанта	167
Глава XX, в которой де ля Гравери испытывает необъяснимую тревогу	174
Глава XXI, в которой вмешательство вооруженной силы водворяет спокойствие в доме	180
Глава XXII. Куда Блэк привел шевалье	186
Глава XXIII. Шевалье-сиделка	195
Глава XXIV, в которой луч солнца показывается сквозь тучи . . .	205
Глава XXV. Сюрприз	220
Глава XXVI, в которой шевалье де ля Гравери принимает решение	229
Глава XXVII, в которой шевалье де ля Гравери некоторое время взволнован тем скандалом, который он вызвал в добродетельном городе Шартре	236
Глава XXVIII, в которой шевалье отправляется в Париж . . .	242
Глава XXIX. О том, что произошло в мальпосте, и какой там состоялся разговор	249
Глава XXX. Как барон де ля Гравери понимал и следовал заветам Евангелия	261
Глава XXXI, в которой описывается, как пираты с Итальянского бульвара рубят швартовы и уводят караваны	273
Глава XXXII. Какая разница существует, между головой с бакенбардами и головой с усами	283
Глава XXXIII, из которой явствует, что и у штатских порой просыпаются воинственные наклонности	291
Глава XXXIV, в которой шевалье разом встречает то, что искал, и то, что не искал	300
Глава XXXV, в которой шевалье не только возвращает обратно свою собаку, но и встречает также друга	311
Глава XXXVI. Она придется по вкусу тем нашим читателям, которым нравится наблюдать, как полишинель, в свою очередь, побеждает дьявола	322

Глава XXXVII, которая благоразумно воздержится от того, чтобы закончиться иначе, чем обычно заканчиваются последние главы	332
---	-----

ЭРМИНИЯ

Перевод Леоновой Е. Ю.

I. Поиски квартиры	341
II. Ландскнехт	348
III. В маске	354
IV. Разгадка	360
V. Без маски	367
VI. Близок локоток, да не укусышь	374

КОРСИКАНСКИЕ БРАТЯ

<i>Перевод Друзиковой Н. В.</i>	385
---	-----

Дюма А.

Д 96 **Блэк. Эрминия. Корсиканские братья. Романы.** Перев. с фр. / Сост. и общ. ред. Ю. П. Уварова, Оф. Ю. К. Бажанова.— М.: Пресса, 1994.— 480 с.

ISBN 5—253—00785—7

Произведения, вошедшие в сборник, продолжают серию «XIX век в романах Александра Дюма». Они могут служить образцом романтической литературы, отстаивающей высокие сильные чувства, твердые моральные принципы и яркое горение любви.

Остросюжетное повествование романа «Блэк» переносит читателя из Парижа периода Реставрации (20-е годы) на далекий остров Таити в Тихом океане, затем во французский город Шартр

На долю героя романа и его преданного друга — черной собаки Блэк — выпадают необыкновенные и захватывающие интересные приключения. Автор прославляет любовь, верность и преданность.

В небольшой повести «Эрминия» Александр Дюма создал романтический образ непокорной, гордой и сильной девушки.

В повести «Корсиканские братья» писатель рассказывает о семье корсиканских аристократов, с любовью воссоздавая экзотические нравы и обычаи Корсики, показывает неистребимость «вендетты» (кровной мести) даже в условиях цивилизованного Парижа.

4703010100—2966

Д 080(02)—94—2966—94

84.4 Фр

Литературно-художественное издание

ДЮМА Александр

БЛЭК

ЭРМИНИЯ

КОРСИКАНСКИЕ БРАТЬЯ

Романы

Составитель

Уваров Юрий Петрович

Редактор

Г. Ф. Фролова

Оформление художника

Ю. К. Бажанова

Художественный редактор

Р. А. Клочков

Технический редактор

Т. С. Трошина

Младший редактор

Е. В. Силаева